ДБ
380 том 5
ф-49
Энгиер В.
ПСС. 1920

ДБ 380
Ф-49
3Ф
87

ВЕРА ФИГНЕР

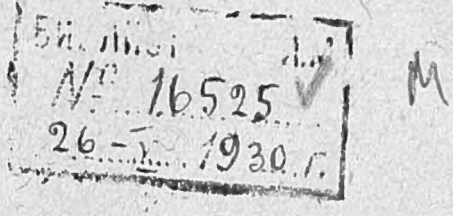
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

1929 г.

ВЕРА ФИГНЕР

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ V



Москва. Главлит А 38.913. 5.000 экз.

„Мосполиграф", 16-я тип., Трехпрудный пер., 9.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, РЕЧИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН

1. ПРАВЛЕНИЕ — Москва, 34, Лопухинский пер., д. 5, тел. 3-64-73.
2. МАГАЗИН „Маяк"—Москва-центр, Петровка, 7, тел. 3-63-20 и 4-18-12.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В этом томе впервые печатаются главы: «Родословная», «Дедушка», «Отец», «Мать», сообщающие автобиографические данные, о которых в начале 1-го тома «Запечатленного Труда» говорится лишь вскользь, менее, чем на двух страницах текста.

В конце тома помещены некоторые, более или менее случайно сохранившиеся речи, произнесенные в разное время на публичных собраниях по тому или другому поводу, так или иначе связанному с нашим революционным движением.

Остальная, гораздо большая часть тома представляет сборник моих литературных произведений, появлявшихся с 1908 года в периодической и непериодической печати (Русск. Богатство, Русск. Записки, Русск. Ведомости, Энциклопедич. Словарь Граната и др.) в виде отдельных статей, фельетонов, биографий или отдельных книжек, как «Студенческие годы», или брошюр: «Жены декабристов», «Процесс 50-ти».

Со всем этим, в отдельности, читающая публика отчасти, вероятно, знакома, теперь же в полном собрании сочинений будет иметь под рукой в одном томе.

Вера Фигнер.

Апрель 1929 г.

ОЧЕРКИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ.

Родословная.

— Откуда у вас такие, совсем не русские качества?— спрашивал меня как-то в Лондоне один знакомый, говоря о моей точности и деловой аккуратности.

— Все от наследственности,—не задумываясь, рассмеялась я.

Наследственность! Ею так интересуются и так многое об'ясняют теперь: в ней ищут элементы характера той или другой личности, исследуют генеалогию ее, не ограничиваясь одними родителями.

Но я хватилась за это поздно: отец давно умер, а расспрашивать мать не пришлось по условиям моей жизни. Теперь же с вопросами не к кому и обратиться.

Отец мой, Николай Александрович Фигнер, и мать, Екатерина Христофоровна (урожд. Куприянова),—дворяне Казанской губернии; но небольшое имение Стукалово, наследованное отцом от его матери, Евгении Ильинишны Фигнер, урожденной Кружевниковой, находилось в Ардатовском уезде, Нижегородской губ. [1]).

Отец говорил, что наши предки вышли из Швеции, и в детстве я не раз слыхала от него, что знаменитый, безумно отважный и жестокий партизан войны 1812 г., Александр Самойлович Фигнер,—наш дед. Но факты опровергают это.

---

[1]) Оно досталось ей от Гурьяновых.

В брошюре Н. Д. Михайлова: «Партизаны 12-го года» («Отечественная Библиотека» № 5. 1910. СПБ.), изданной по случаю столетия войны с Наполеоном I, указано, что предки партизана Фигнера вышли *из Германии* в царствование Петра I, и в семейном архиве моего покойного брата Николая Николаевича имеется старинная, большого формата грамота с печатью и гербом французского орла на имя Fügner von Rudmersbach, свидетельствующая о происхождении от южно-германских рыцарей. По сведениям брата, в архиве Псковского археологического о-ва был документ, указывавший, что партизан происходит из рода Фигнеров из Германии и предки его назывались Fügner von Rudmersbach.

В потомственные дворяне Российской империи отец партизана, Самуил Самуилович Фигнер, был возведен имп. Павлом грамотой, датированной 18 февраля 1801 г. и хранящейся в том же семейном архиве покойного брата.

У Самуила Самуиловича, поместье которого находилось в *Псковской* губернии, было три сына: старший—Николай [1]), второй—Александр (партизан, род. в 1787 г., погиб в 1813 г. при переправе через Эльбу) и младший—Владимир.

От сына этого последнего, Владимира Владимировича Фигнер, мой брат и получил указанный старинный документ Fügner von Rudmersbach'a.

Владимир Владимирович дважды в прессе отрекался от родства с нами: в первый раз, в 1877 г., когда по процессу «50-ти» судили мою сестру Лидию, и в 1880 г., когда по процессу «16-ти народовольцев» судили сестру Евгению. Но, когда брат Николай был на вершине славы, Владимир Влад., впавший в большую бедность, явился к брату в качестве родственника просить помощи и передал ему находившуюся

---

[1]) Николай детей не имел.

в его руках старинную грамоту Fügner von Rudmersbach'a и указ о дворянстве деда (Самуила Самуиловича Фигнер).

Партизан, Александр Самойлович Фигнер, был женат на дочери *псковского* губернатора Бибикова, Ольге Михайловне Бибиковой. Этот брак был заключен при обстоятельствах, довольно необычных. Племянник партизана, Владимир Влад. Фигнер, в своих воспоминаниях о дяде, помеченных 1873 годом и помещенных в журнале «Военный Мир» за 1911 г., рассказывает об этом браке следующее [1]).

Перед войной 1812 года Александр Самойлович приехал в Псков к своему отцу (который занимал там должность вице-губернатора) и сошелся с семейством Бибикова. В то время Бибиков впал в немилость государя Александра I-го, был предан суду, а имения его были конфискованы.

Однажды в обществе, в присутствии Александра Самойловича, разговор зашел о четырех дочерях Бибикова, при чем присутствовавшие высказывали обидное соболезнование, что теперь им не сделать хороших партий. Возмущенный этими пересудами, Александр Самойлович заявил, что он первый готов жениться, если его предложение будет принято. На другой же день он действительно сделал предложение младшей дочери Бибикова, Ольге Михайловне.

Мать Александра Самойловича, Марья Павловна Фигнер, была против этого брака, но он обвенчался тайно и вскоре уехал из Пскова. С женой, по словам автора воспоминаний, Ал. Сам. прожил лишь несколько месяцев, а Ольга Михайловна до конца своей жизни оставалась в этом городе и умерла в 1856 году [2]).

Очевидно, отец мой, Николай *Александрович* Фигнер, родившийся в 1817 году и имевший двух сестер (Екатерину

---

[1]) В журнал «Военный Мир» эти воспоминания были переданы моим братом, который получил их от автора.

[2]) Детей она не имела.

и Елизавету) и двух братьев—Александра и Аркадия, *сыном* партизана никоим образом быть не мог.

Из документа, который покойный брат Петр показывал мне в 1915 г. и в настоящее время хранится в семье брата Николая, я впервые узнала, что нашего деда с отцовской стороны звали *Александром Александровичем*, что он был выходцем из Лифляндии (как это видно из имеющегося послужного списка его), и в чине подполковника приписан в 1828 году к казанскому дворянству. По справкам, наведенным в родословных книгах Казанской губ., в алфавитном указателе к I тому 2 части (куда вносятся роды дворянства военного), под № Дело а/1052 значится—«Александр Александрович Фигнер. Время определения Казанского депутатского собрания—7/II—1828 г. А. А. Фигнер, подполковник; жена—Евгения Ильинишна Кружевникова». И перечислены: сыновья Николай (мой отец), Александр, Аркадий и дочери Екатерина и Елизавета.

Таким образом, легенда, что мы ведем свой род от партизана Александра Самойловича Фигнер, может считаться документально разрушенной.

Мой брат чрезвычайно дорожил старинными документами, полученными от племянника партизана: не довольствуясь собственной славой знаменитого оперного певца, он хотел иметь и знаменитых предков. Но, на ряду с фамильными документами Влад. Влад., потомка Fügner von Rudmersbach, брат честно хранил и все наши семейные бумаги, и когда я писала свой «Запечатленный Труд», я могла рассмотреть их, произвести розыски в Казани и выяснить неправильность предположений о нашем происхождении и родстве с партизаном.

Дедушка.

О родителях моего отца я не слыхала никаких рассказов: должно быть, они умерли задолго до моего рождения. А с материнской стороны моим дедушкой был Христофор Петрович Куприянов, а бабушкой — Настасья Федоровна, урожденная Данилова. Эти дворянские фамилии звучат, как чисто русские. Но судя по тому, что передавала мать, с одной из этих сторон, кажется, со стороны Даниловых (наверное, не помню), была примесь чужеземной крови. Мать рассказывала, что ее дед (?) служил в Китае (помнится, как-будто, она говорила, консулом) и вывез оттуда жену—китаянку. По ее словам, во время Пугачевского бунта, когда крестьянская вольница явилась громить именье прадедушки, крепостные слуги пожалели прабабушку-китаянку, которая в то время была беременна, и чтобы спасти ее, спрятали под опрокинутую кадку, что легко удалось благодаря ее малому росту. Там, под кадкою, прабабушка и родила.

Как бы то ни было, но дедушка Христофор Петрович Куприянов был русский человек, типичный помещик своего времени: широкая натура, великий хлебосол и беспечный транжира и жуир. Получив в наследство обширные земли—6.269 десятин в Уфимской губ., дедушка продал их за 281.750 рублей ассигнациями и прожил все это состояние, оставив столь неопределенную сумму долгов, что дядя Петр Христофорович Куприянов предпочел отказаться от уфим-

ского наследства, с которого еще шли платежи. За ним и его сестрами осталась лишь одна Христофоровка (400 десятин) в Тетюшском у., Казанской губ. Дедушка был уездным судьей и жил в собственном доме в г. Тетюшах. Я живо помню его высокую, солидную фигуру, всегда в халате, так как он был уже стар и болен. Но, несмотря на болезнь, он рисуется мне всегда веселым, шутливым и широко гостеприимным.

Я помню его дом с мезонином [1]), с большим органом и попугаем в клетке в зале; при доме был сад с размалеванной беседкой, на одной из стен которой, под изображением женской фигуры за чайным столом, стояла надпись: «Не хочу чаю, хочу—шампанского!». В саду, в оранжерее, среди цветов зрели лимоны и померанцы... Помню толпу гостей и труппу местных песенников, которые, сидя по-парно на полу в зале, изображали гребцов и пели: «Вниз по матушке, по Волге»... Помню поездку на Волгу, чтоб взять рыбную «тюню», и огни, освещавшие весь дом, полный гостей... В увеселении этих гостей участвовала восьмилетней девочкой и я вместе с сестрой Лидией: мы плясали «русскую», которой научила нас наша первая гувернантка: я—в бархатном кокошнике с жемчугами, в розовом шелковом сарафане, а сестра Лидия—одетая мальчиком.

Жизнерадостный дедушка любил широко пожить и, принимая у себя весь уезд, стоял на высоте социального положения богатых помещиков [2]).

После его смерти к нам в Никифорово переехал толстый фолиант знаменитой в то время «Искры» и сделался достоянием детворы, смешные карикатуры и сильные словечки которой очень потешали нас, конечно, совершенно не по-

---

[1]) Он был цел еще в 1923 г., когда я посетила Тетюши.

[2]) Некоторые черты дедушки повторились в брате Николае, который, любя жизнь и все ее радости, был всегда весел, расточителен и беспечен.

нимавших политической соли этого сатирического издания. А потом к нам попал дедушкин стереоскоп с обширной коллекцией голых красавиц...

Одним из детских воспоминаний, связанных с посещением дедушки в уездном городе, является виденная мной сцена: мимо окна, у которого я стояла в гостиной вместе с матерью, одним утром медленно ехала, окруженная народом, большая черная колесница с эшафотом; на эшафоте сидела бледная женщина, и на груди ее, на доске, была надпись: «Детоубийца». Ее везли на площадь, где должна была совершиться так называемая «торговая казнь»...

Несколько лет спустя после того, как в уездном городе, перед окнами гостиной дедушки, прошло это видение, прошла мимо меня другая колесница, на которой сидел человек, осужденный на смертную казнь.

В институте, однажды утром, когда все мы были еще в дортуаре, кто-то из стоявших у окна крикнул: «Смотрите!». Тотчас мы сбежались: на «Арском поле», площади, которая теперь уже не существует, обширной и всегда пустынной, двигалась большая толпа: солдаты, разношерстная публика и высокая, громоздкая колесница, на которой сидел приговоренный. Разумеется, мы не знали, кто это и по какому делу. И лишь много позже я узнала, что это был поручик Черняк, казненный 15 октября 1865 г. по делу о так называемом Казанском заговоре, подробности о котором стали появляться в печати лишь в начале текущего столетия [1]).

Эти две колесницы, два эшафота, виденные в детстве, сделали то, что хотя я не видела казни моих товарищей, Перовской и Желябова, но при мысли о них с яркостью гал-

---

[1]) Впервые я прочла об этом заговоре в «Голосе Минувшего», 1913 года, кн. 6 и 7.

люцинации в воображении встает картина их последнего шествия. Я как-будто воочию вижу эшафот, вижу Желябова со слегка приподнятыми бровями и чуть белеющими из-за губ зубами, как это бывало у него в минуты возбуждения: он думает о том, что будет дальше с «Народной Волей»? Вот—Кибальчич с его миролюбивой физиономией, небольшой бородкой и не то скорбной, не то презрительной полуулыбкой: он думает о своем аэроплане. А вот круглое, белое личико Перовской,—личико, в котором всегда видишь что-то детское. Она думает: «Рада умереть!»... и боится быть растроганной мыслью о матери...

Они едут по Николаевской улице, мимо дома, в котором жил Суханов: там мы вместе так часто бывали.

А он, Суханов, высокий, стройный, в шинели морского офицера, стоит у ворот дома с нервно-напряженным лицом и остановившимся взглядом смотрит на кортеж.

Скоро и он умрет, расстрелянный в Кронштадте.

Отец.

(Род. в 1817 г., умер в 1870 г.).

Как отец, так и моя мать по энергии, силе характера и умственному развитию далеко превосходили средний уровень людей своего класса.

По характеру и темпераменту очень различные, они обладали многими качествами в равной степени: оба были правдивы, прямодушны и очень работоспособны; оба отличались определенностью в слове и в действии; оба были настойчивы в преследовании целей.

Мой отец, Николай Александрович Фигнер, родился в 1817 г., а умер в 1870, когда из всех детей только я—старшая—кончила образование (в институте).

Он был высокий, стройный, худощавый человек, с темными, почти черными волосами, темной некурчавой бородой, с глазами, о которых он говорил, что они бутылочного цвета, и с правильными чертами лица, которые передал почти всем нам.

Духовный облик его, как отца и воспитателя, достаточно выявлен в описании нашего раннего детства, в моей книге: «Запечатленный Труд», т. I, в главе «Няня».

Мои дальнейшие воспоминания о нем касаются, главным образом, его общественной деятельности и относятся к эпохе освобождения крестьян, когда, оставив должность

лесничего, он стал мировым посредником так называемого «первого призыва».

В этот период, который можно назвать периодом либерализма, общественного и его личного, я помню его таким, каким он изображен на имеющейся фотографии: в ходячем тогда костюме передовых людей 60-х годов—красной рубашке на выпуск, широких шароварах и высоких сапогах.

В то время он сильно увлекался личностью Гарибальди и часто говорил о нем; подвиги Гарибальди, как освободителя Италии, гремели тогда в России не меньше, чем во всей Европе. Быть может, этот героический образ стоял в воображении отца, когда однажды он сделал заявление, с его стороны совершенно неожиданное. Как-то на каникулах, в деревне, когда в сумерках, собравшись всей семьей, мы сидели на террасе, разговор зашел о крестьянской реформе.

Среди этого разговора отец сказал:

— *Если бы крестьян не освободили, и они восстали, я встал бы во главе их.*

Едва ли отец сознавал ответственность за эти слова, но на меня эти слова произвели незабываемое впечатление: смутное сочувствие к мысли отца зародилось в уме; и как-будто приподняло его в моих глазах.

Мне было тогда 13, а, может быть, 14 лет.

Известна репутация мировых посредников первого призыва. Отец, как многие другие, стоял на высоте положения. Он правильно понимал экономические интересы крестьян той эпохи, поскольку эти интересы обеспечивались законом, и со всей энергией защищал эти интересы на почве положения 63-го года. С необузданной горячностью он уговаривал крестьян не надеяться на новую «волю» и брать «полный» надел, не боясь выкупа. Случалось, за обедом он с гневом говорил о смутьянах, поддерживающих среди крестьян слухи о том, что воля, об'явленная 19 февраля,—воля не настоящая, и впереди крестьян ждет иная, полная воля,

которая безвозмездно отдаст в их руки всю землю помещиков. Как об одном из таких смутьянов, он упоминал о крестьянине Спасского уезда, Антоне Петрове, агитация которого вызвала известный крестьянский бунт в «Бездне» (Спасского у., Казанской губ.), стоивший множества жертв [1]). На той же почве аграрных отношений отец постоянно воевал с полуграмотными «облакатами», темными личностями, которые из своекорыстных расчетов сбивали крестьян с толку и, пользуясь непониманием и неграмотностью их, строчили всевозможные бумаги и, предпринимая хождения по делам, вводили крестьян в бесконечные тяжбы и расходы.

Третьим врагом, которого отец громил в домашних беседах, были: монастыри, монахи и нищенствующие «странники». Ненависть к монашествующим, как к паразитам, в нем зажег, кажется, Гарибальди. Боюсь, не ошибаюсь ли — что Гарибальди был автором романа, в котором монахи изображались в самом отталкивающем свете.

Отец только под конец жизни научился владеть собой: вспыльчивый и властный, в сношениях с крестьянами он крайне горячился. Бывало, на каникулах, на дворе, в коридоре дома и в кабинете отца стоят целые толпы крестьян, и на весь дом гремит его голос. Он не мог говорить и убеждать хладнокровно и подкреплял свои доводы не аргументами, а криком, приводившим всех домашних в смущение. Но это не была ругань: по крайней мере я никогда не слыхала, чтоб отец произносил ругательства, и кричал он на крестьян из бескорыстных мотивов, возмущаясь их непониманием собственных интересов. По отношению к начальству, в частности к губернатору, которым в то время в Казани был большой самодур Скарятин, как и вообще по от-

---

[1]) Об этом бунте и подавлении его военной силой я узнала лишь много лет позднее.

ношению к людям, отец держался независимо. От частных лиц еще при его жизни я слышала отдельные отзывы о нем, как о человеке щедром и великодушном.

Отец, как и мать, любил читать. Любимым чтением его сначала был «Современник», а потом «Отечественные Записки». Из газет он выписывал и читал от корки до корки лучший орган того времени «С.-Петербургские Ведомости», издававшиеся Ф. Коршем.

В «Отечественных Записках» мать прежде всего читала ему вслух статьи известного тогда публициста Демерта, который сам был мировым посредником в одном из уездов Казанской губ. и писал в журнале внутреннее обозрение.

Однажды отец откуда-то привез рукописное сатирическое стихотворение, озаглавленное: «Акафист мировому посреднику». Возможно, что автором был тот же Демерт. Стихотворение остроумно и метко осмеивало низкопоклонство и заискивание посредника перед начальством, при чем каждая строфа заканчивалась возгласом: «Радуйся, посредниче, великий миротворче!». Отец долго потешался, цитируя то один, то другой куплет, в особенности останавливаясь на том, в котором говорилось о посреднике, «воеводу в плечо лобызающем». Натура деятельная и кипучая, отец находил удовлетворение в применении своих сил к крестьянскому делу, и когда посредники были упразднены, не знал, чем наполнить свою жизнь. Он стал увлекаться чтением романов, и притом самых забористых. Невозможно было оторвать его от Понсон де Террайля: напрасно звали его к обеду и кричали, что «все простыло»—он не вставал с места, весь погруженный в чтение. В это время я была 17-летней девушкой, читала кое-какие статьи Писарева и считала недостойным развитого человека читать бульварные романы. Нередко я подсмеивалась над отцом, но он, гордый и вспыльчивый, терпеливо сносил мои смешки на этот счет.

Только в Шлиссельбурге, на примере некоторых товарищей, упивавшихся описанием самых невероятных приключений в приложениях к дешевым журналам, я поняла, что необычайные переживания, испытываемые при подобном чтении, заполняли пустоту жизни отца: он скучал от бездействия, и фантастические романы помогали ему переносить отсутствие деятельности.

Как хозяин-землевладелец, отец был предприимчив и постоянно носился с какой-нибудь затеей: строил круподерку и одно время ввел у нас дома топку печей шелухой гречи, устраивал мертворожденный базар в Никифорове, где в округе некому было ни продавать, ни что-либо покупать; держал построенный им постоялый двор на Казанском тракте близ Христофоровки; вместе со знакомым муллой разводил пчел, проектировал устройство кирпичного завода в Никифорове и задумывал точение деревянной посуды при помощи водяной силы небольшого ручья в нашем саду; пропагандировал среди крестьян огнеупорные, саманные постройки и посев чечевицы, но ни в том, ни в другом успеха не имел [1]).

Хозяйственная предприимчивость отца сказалась в обоих моих братьях: брат Коля увлекался, между прочим, преобразованием водяной мельницы в своем имении Васильевке и выписал для постановки в ней турбину, для которой оказалось мало воды в реке, а для постройки дома на Черноморском участке купил в Финляндии разборный дом, который по прибытии на место так и остался непоставленным. А брат Петр, горный инженер, думал разбогатеть, организовав что-то в роде семейного товарищества на паях для добывания рассыпного золота в какой-то реке на Урале. Куплена была драга, получались радостные телеграммы о

---

[1]) В настоящее время, как я могла лично видеть, посев чечевицы в тех местах довольно распространен. А огнеупорные постройки отсутствуют и теперь.

количестве промывного золота; потом наступило молчание, и все дело было предано забвению. О его сельско-хозяйственных начинаниях сказано в главе «Противоречия жизни» в моей книге «После Шлиссельбурга».

В уезде отец считался по тому времени довольно богатым. К тем 230 десятинам, которые он имел в Никифорове, он прикупил землю одного помещика-соседа, ликвидировавшего свои дела при освобождении крестьян; при чем цена была 10—12 руб. за десятину. Позднее была куплена земля одной никифоровской помещицы, так что после смерти матери земли было уже 480 десятин.

Родовое имение отца в Нижегородской губернии было ничтожно по размерам, и отец еще при своей жизни запродал тамошнюю землю за дешевую цену местным крестьянам, сильно нуждавшимся в ней.

Отец любил играть в карты и, случалось, проигрывал сотни рублей, когда бывал в гостях, где велась карточная игра. Дома у нас никаких приемов не было—гости не приезжали. Общий строй жизни и обстановка в деревне были обычные для провинциальной помещичьей среды, к которой принадлежали мои родители. Ко времени моего выхода из института тот ригоризм, которому отец подчинял нас в детстве, исчез, и мы жили, как вообще жили дворяне в своих поместьях: это было довольство, но не роскошь.

Мать.

(Род. в 1832 г., ум. в 1903 г.).

С любовью останавливаясь на образе моей матери, я чувствую себя, как школьник, идущий на экзамен и сомневающийся в успехе. Так трудно, кажется, найти те краски и тона, в которых хотелось бы изобразить ее личность.

Мать родилась и воспитывалась в царствование Николая I-го, в эпоху незыблемого крепостного права. Но если, по полному отсутствию тогда женских гимназий и малому числу институтов, мать получила лишь самое крошечное домашнее образование, то дух крепостничества, как это было с другими лучшими людьми той эпохи, каким-то чудом не бросил на нее ни малейшей тени. Мать научили дома немножко играть на фортепьяно, немного петь и чуточку говорить по-французски. Вот все, что ей досталось извне и даром. Остальное для обогащения ума она приобрела собственными усилиями, как все даровитые личности, учась и совершенствуясь до конца жизни. На 60-е годы—время перелома русской жизни — повидимому, падает расцвет ее умственных сил, а нравственная красота ее раскрывается в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, когда она становится вершителем судеб своих детей, их другом и опорой.

Религия играла в жизни матери громадную роль и была привита ей с малых лет. По ее рассказам, ее бабушка рано

ослепла, и матери, еще ребенком, приходилось постоянно читать ей Четьи-Минеи. Это чтение глубоко западало в душу маленькой чтицы: мать выросла горячо верующей, и, быть может, пример христиан первых времен в рассказах Четьи-Миней, читанных в детстве, не раз одушевлял и укреплял ее в те годы, когда политическая карьера трех дочерей причиняла ей боль и страданье.

И хоть не столь важная черточка, но мне теперь же хочется отметить, что на ряду с религиозным чувством прабабушка привила матери деятельную любовь к цветам и деревьям, — любовь, которая выражалась в том, что всю жизнь, где бы мать ни жила, она не переставала украшать ими землю.

Замуж мамочка вышла почти ребенком. По обычаю того времени, между ней и женихом не было продолжительного знакомства: после второго визита родители спросили, нравится ли ей новый знакомый, а после третьего она стала невестой.

Если судить по духовным контрастам, которые представляли супруги, их семейная жизнь должна бы сложиться дурно. Насколько отец был порывист, взыскателен и деспотичен, настолько же мать имела характер ровный, вдумчиво-мягкий. Оба были люди сильной воли, но он властно ломал чужое «я», а она принадлежала к той аристократии духа, основной чертой которой является проникновенное уважение к чужой самоценной личности. Казалось, конфликты были неизбежны. А между тем никогда между отцом и матерью не было ссор и даже видимых размолвок, и мы имели счастье провести детские годы в атмосфере полной чистоты, без каких бы то ни было домашних сцен, дрязг и неурядиц. Только необыкновенный такт и изумительная выдержанность матери совершали каждодневно это чудо.

Пылит, бывало, отец... гневается; кричит, ни дать, ни взять, как истый крепостник-барин...

А мать—молчит: потупила глаза и—ни слова... Ах, это молчанье! Эти опущенные вниз милые глаза! Они красноречивы!.. А у отца—ум хорошо организован: он, потом, поймет: он сам лучший судья своих промахов и аберраций чувства.

И не странно ли, что отец, этот порой дикий человек, раздражавшийся на детей, на прислугу, никогда, решительно никогда не обращался с укором к матери, никогда не молвил ей сурового слова. Мать, в свою очередь, никогда ничем не подрывала авторитета отца и не делала нас судьями между собой и им...

Была ли мать счастлива в своей супружеской жизни? Тайна их отношений осталась для нас скрытой. Никогда и никому мать не открывалась в этом отношении, как ни тяжелы, быть может, были иные вспышки нашего сурового родителя. Только по вечерам склонившаяся перед киотом трогательная фигура ее с губами, что-то страстно шепчущими, и глазами, молитвенно устремленными к лику угодников, как-будто говорила о скрытых душевных переживаниях и молила о даровании сил на ежедневный подвиг.

В раннем детстве мать не играла большой роли в нашей жизни: главное место занимал отец, занимала няня. В первые 12 лет супружества мать перенесла восемь беременностей и рождений (двое мальчиков умерли в малолетстве). Всем известно, какую громадную затрату со стороны организма требует подобное материнство. Где уж тут было отдаваться нам, старшим, когда на груди почти всегда—сосунец!

Редко-редко мать расскажет в сумерки сказку. Да и мало их она знала; еще реже, насколько помню, она читала нам вслух из чуть не единственного выходившего в начале 60-х годов детского журнала какой-нибудь рассказ. Кажется, это было «Детское Чтение». А когда в доме появились гувернантки, то ни мать, ни отец не вмешивались

в дело нашего учения: ни разу не присутствовали они ни на одном уроке, никогда не заходили в классную комнату и не спрашивали нас о занятиях.

С годами старился отец, мужала мать, бывшая на 15 лет моложе; подрастали дети, наступала пора отдавать нас одного за другим в учебные заведения. С этого момента постепенным ходом событий на задний план отходил отец, отходила няня: выдвигалась мать, росло ее значение, росло влияние.

Началось с того, что, когда мы с сестрой приезжали на вакат из института, мать стала давать нам книги для чтения. Правда, это была от начала до конца только беллетристика: русские классики—Гоголь и Пушкин, Гончаров и Тургенев; а потом—Григорович, Решетников, Помяловский; романы Шеллера-Михайлова; повести в передовых русских журналах, а из иностранной литературы—Диккенс, Теккерей, Шпильгаген.

Выбор был тщательный и хороший. Когда однажды, указывая на какую-то повесть, мать сказала: «Не читай—повесть пустая!»..., я все же полюбопытствовала и, вынув книжку из библиотеки матери, погрузилась в ее отсутствии в чтение. Рассказ оказался пошленьким: какие-то любовные похождения молодого человека, который лазил в окно к замужней женщине. Я поставила книжку на место посрамленная и с тех пор уж не сомневалась в отзывах матери.

Романы, романы... все романы, повести и рассказы!

Разумеется, это чтение было одностороннее, но мать не замечала этого, а я поняла слабую сторону такого выбора книг только много позже. Научная область совершенно отсутствовала в этой программе; не входила в нее и литературная критика. Ум, в тесном смысле слова, не получал необходимой пищи; развивалась исключительно эмоциональная сторона, а эстетическое восприятие художественных произведений не сопровождалось критическим разбором их.

Такой подбор книг несомненно должен был положить известный отпечаток на личность, и это тем более, что в условиях воспитания в закрытом учебном заведении книжные влияния вплоть до 17-летнего возраста не встречали никакого противовеса со стороны жизни.

До института в деревне, в тесном кругу семьи, мы с сестрой жили совершенно вне потока даже скудной впечатлениями окружающей провинциальной жизни...

А в институте, как в монастыре, провели шесть лет. Из них два последние, самые важные для развития,—без выхода даже на 6-недельные каникулы!

Таким образом, в ранний период жизни, по всем условиям, вследствие дальности от жизни и людей, мы изучали их по книгам, по литературе. В уме запечатлевалась не реальность, как она есть, с ее красотой и безобразием, с ее поэзией и прозой, а квинт-эссенция жизни, как она отображается в произведениях мастеров-художников, больших и малых. Но художник в своих творениях преображает действительность, проводит ее через художественную призму, отбрасывая в сторону великое множество подробностей, красок и оттенков. Это придает образам цельность, большую стройность, законченность и большую эстетическую красоту, чем они имеют на самом деле.

Если в школе считают необходимым наглядное обучение, а не книжное знакомство с предметом, то надо ли говорить о вредных и невыгодных сторонах знакомства с жизнью, с людьми исключительно по описанию их в изящной литературе, как это было в данном случае?

Вопросы воспитания не были в то время так выдвинуты и разработаны, как теперь; литература по педагогике отсутствовала; детей воспитывали ощупью, не вдаваясь ни в какие тонкости, и мать, как большинство тогдашних родителей, не имела представления о необходимости гармонии в развитии формирующейся личности.

Все же, если говорить о себе, то мать оказала мне великую услугу: выбираемая ею литература расширяла мой горизонт; изображение материальных и нравственных страданий в человеческом обществе воспитывало сочувствие, и в душе создавался идеал честного человека и честного поведения в жизни, а первоначальное знакомство с мастерами слова, наверное, повлияло на то, что еще на школьной скамье я хорошо писала сочинения на задаваемые темы.

Каждое лето, проведя шесть недель дома, я возвращалась в институтские стены обогащенной и, благодаря хорошему чтению, с самого поступления в институт своим развитием превосходила девочек, находившихся в менее благоприятных условиях. А в последние два года, когда меня, *не в пример другим лучшим ученицам,* не пустили на вакат [1]), я тогда же заметила, что отпущенные догоняют меня и что мое развитие задержано.

В 1870 г. умер отец, и мать осталась самостоятельной с пятью младшими детьми, в которых уже начинали пробиваться индивидуальность и собственные стремления.

Как сложились бы отношения между отцом и всеми нами, когда мы стали расправлять свои крылья? Быть может, вышли бы конфликты, появилась рознь... По крайней мере мне отец нанес вред, не отпустив за границу, в университет, как я того хотела, о чем просила почти тотчас по выходе из института. Вместо того, в первую зиму после окончания института меня повезли в Казань, чтоб поблистать на балах в облаках белого газа, в темнорусых локонах. И когда, хлебнув светских удовольствий и даже несколько отуманенная ими, я все же просила отца отпустить меня на волю, на мою волю,—он отказал.

---

[1]) Оглядываясь назад и сравнивая себя с теми, которые, несмотря на те же 16 лет, были отпущены на вакат, я могу это об'яснить только тем, что по темпераменту и живости характера я представляла меньше гарантий против увлечения «идеями» современности.

Но мать доверяла нам, верила в нас. И как только Лидия, кончившая институт и увлеченная моим примером, выразила желание ехать в Цюрих вместе со мной (тогда уже замужней), мать дала свое согласие и обеспечила ее материальными средствами.

Брат Коля, чрезвычайно живой, резвый мальчик, не мог подчиниться учебному режиму классической гимназии. Латинские и греческие упражнения не шли ему в голову: он мечтал о море, об опасных плаваниях, о подвигах и славе моряка... Он просил мать взять его из Казанской гимназии и отдать в морское училище в Петербурге. Для этого пришлось сначала пройти подготовительную, довольно дорогую, школу в столице. Через год Коля, не без некоторой протекции со стороны дяди моего мужа, Алексея Алексеевича Пещурова, бывшего одно время тов. морского министра, поступил в желанное учебное заведение. Он кончил его и в турецкую войну 1877—78 г.г. участвовал в плавании Добровольного флота в Черном море.

Потом у него явились искания: мечты об артистической карьере певца. Природное дарование, признанное еще в морском училище, и страстное желание манили успехом. И новому начинанию мать тотчас протянула руку помощи. Благодаря ее материальной поддержке, брат мог отправиться в Италию, чтобы учиться пению. Он вышел блестящим тенором и совершил головокружительную карьеру, дав тысячам, десяткам тысяч людей высшее эстетическое наслаждение, как певец и вместе с тем художник-актер.

А потом, когда мы, три дочери ее, получив крещение в социализм, решили на практике приложить свои убеждения, то не матери, знавшей, что убеждение без дел мертво есть, было останавливать нас.

После двухлетнего пребывания за границей сестра Лидия оставила медицинский факультет и, вернувшись в Россию, поступила работницей на фабрику в Москве.

За год-полтора до окончания курса и получения докторского диплома оставила университет и я, чтобы служить в земстве фельдшерицей в деревне.

Из двух дорог: оперной певицы с прекрасным меццо-сопрано, или деревенской труженицы—сестра Евгения, обманывая, быть может, честолюбивые ожидания матери, выбрала последнее.

Никогда мать не оказывала противодействия нашим стремлениям, если видела, что они обдуманы и серьезны. Никогда не высказывала разочарования и не делала упреков. Она уважала в нас личность, дорожила нашей самостоятельностью, нашей свободой самоопределения...

Несколько лет спустя сердце матери подверглось сильным испытаниям. Отец, быть может, выказал бы себя стариком Раевским, но душа матери была душой княгини Волконской, воспетой Некрасовым.

После непродолжительного опыта социалистической пропаганды среди рабочих сестра Лидия была арестована и по процессу «50-ти» (в 1877 г.) приговорена особым присутствием сената к 5 годам каторги. По кассационной жалобе каторга была заменена лишением особых прав и преимуществ и ссылкой на житье в Сибирь.

В Сибири сестра пробыла 19 лет; там она вышла замуж за бывшего политического каторжанина 60-х годов, Сергея Григорьевича Стахевич [1]).

Недолго продолжалась и общественная деятельность сестры Евгении: по делу о взрыве 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце Петербургский военно-окружной суд приговорил ее к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение.

Сестра оставалась в Сибири 16 лет и там вышла замуж за бывшего политич. каторжанина, Михаила Петровича Сажина, осужденного по делу «193-х» (в 1878 г.).

---

[1]) На каторге он был одно время с Н. Г. Чернышевским.

В начале 1883 г. была арестована и я. Военно-окружной суд приговорил меня к смертной казни (1884 г., процесс «14-ти»). Император Александр III заменил ее каторгой без срока. Я была заключена в Шлиссельбургскую крепость, где пробыла 20 лет.

Мать не разделяла нашего увлечения социализмом, не была сторонницей наших политических убеждений. Но она понимала их—она все время шла в уровень с веком. Ее собственным исповеданием была вера в мирный культурный прогресс, в эволюцию, а не в революцию. Но широта ее взглядов была такова, что она никогда, ни в какой форме не покушалась на свободу наших мнений или свободу действий [1]). С непошатнувшейся доверчивой любовью и чарующей твердостью она являлась в трудные минуты к каждой из нас и приносила ласку и поддержку. Она знала, что положение требует от нас неуклонной твердости и ни одной слезой не заставила ни одну из нас дрогнуть.

Позднее, размышляя об этом, мне приходило в голову: не было ли при наших политических катастрофах поведение матери следствием психологической невозможности для свободного человека представить себе, что такое—это далекое

---

[1]) Каждому относительно нашей семьи не может не бросаться в глаза различие жизненных путей и судеб нас, четырех сестер, с одной стороны, и двух братьев—с другой. И справедливость требует сказать, что если в определении линии жизни брата Николая не было влияния матери, то на судьбе брата Петра оно сказалось. Когда по делу А. Соловьева, весной 1879 г., он был арестован и через 3 месяца выпущен, мать настояла, чтоб он продолжал и закончил свое образование в Горном институте, а уж «потом» определил свое назначение в жизни. До этого он примыкал к нашему кружку землевольцев (А. Соловьев, Ю. Богданович и др.), но связь с нами после дела Соловьева порвалась: я и Евгения стали нелегальными, и мы не могли посещать родных. В 1883 г. Петр кончил горным инженером и получил место на Урале. С тех пор, находясь исключительно в буржуазном окружении, он мало-по-малу усвоил по отношению к рабочим психологию своих патронов и начальствующих сослуживцев, так что, по выходе из Шлиссельбурга, я нашла в нем любящего брата, но такого политического противника, что часто чувствовала себя на острие.

и холодное существование в азиатском захолустье или сухое, каменное прозябание в безмолвии одиночной камеры крепости?

Однако, это было не так. Под конец суда надо мной мать при свидании неожиданно сказала:

— Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу.

— Никогда не дам, не зная, в чем дело,—ответила я.— Не думаете ли вы взять обязательство, что не покончу с собой?

— Нет!—сказала мать.—*Я знаю, что могут быть обстоятельства, когда смерть — наилучший исход.*

Если принять во внимание все условия, в которых происходил разговор, то для того, чтобы *мать* сказала *такие* слова *дочери,* конечно, надо было глубоко понимать, какая жизнь может предстоять мне.

В 1884 году мать пошатнулась—из ее глаз посыпались слезы: две ее дочери были в Сибири, в ссылке; я в ожидании суда—в Петропавловской крепости; брат Коля, только начинавший свою артистическую карьеру,—в Буэнос-Айресе; брат Петя—горным инженером на Урале, а младшая из нас, болезненная Ольга, — на морских купаньях в Аренсбурге... Дети рассеяны в 3-х частях света, а мать в деревне (Никифорово)—в полном одиночестве. Она—всегда окруженная, всегда отдающаяся другим, а теперь—одинокая, как-будто никому не нужная, в пустом «старом» доме, у всеми покинутого семейного очага.

Но она снова поднялась... И потом... потом... Разве мать не была верным другом и помощницей моим сестрам в Сибири, куда она отправилась, потеряв меня?

Разве после того, как 13-летний запрет был снят и мать получила возможность писать мне в крепость,—разве в своих письмах она не давала мне вместе с горечью пробужденных чувств животворный луч неизменной любви?..

И когда в разлуке должна была угаснуть ее жизнь, разве на мою просьбу отпустить мне вольные и невольные прегрешения против нее она не прислала слова, полные выразительной силы и редкой красоты: «*Материнское сердце не помнит огорчений*»?

После всего сказанного стоит ли говорить об обыденных превосходных качествах моей матери?

То, что мой знакомый в Лондоне называл не русскими свойствами, унаследовано от нее и не мной одной, а в той или иной мере всеми членами нашей семьи. Способность к самодисциплине, выдержка в труде, упорство в достижениях унаследованы нами от обоих родителей. Но длительный пример и укрепление этих качеств давались матерью. Она не выносила пустословия и бездеятельности и в семье энергично боролась с ними. У нее самой ум или руки всегда были заняты. Она то задумает учиться шить платья и ходит в школу кройки и шитья; то захочет делать шляпки и отправляется учиться в шляпный магазин. Понадобился французский язык—начинает брать уроки у француженки...

Чтению мать отдавала всегда много времени: она всем интересовалась и до конца жизни следила за текущей литературой пристальнее, чем, по словам сестер, они сами. Энергией и подвижностью, по их же свидетельству, она превосходила их вплоть до того, как слегла в смертельной болезни.

Мать нельзя было назвать красивой, но у нее было хорошее лицо, и вся наружность приятная и привлекательная. Среднего роста, с черными волосами и карими глазами, она имела неправильные черты лица, на котором никогда не появлялся румянец. Ее лицо было матовое; спущенные на висках, слегка гофрированные волосы прекрасно оттеняли его, а доброе выражение глаз, приветливая улыбка и мягкий

тембр голоса сразу делали ее друзьями всех, кто к ней приближался. Нечего и говорить, что нам, детям, ее лицо казалось прекраснее лиц всех матерей на свете.

Мягкий нравственный авторитет ее был до конца ее дней крепкой связью между всеми разнородными элементами такой сложной семьи, какой была наша: до конца она была нужна *всем,* как тому, кто был на вершине славы, так и той, которая томилась в безнадежности Шлиссельбурга. Для каждого из нас она была радостью и утешением и оставила воспоминания о себе, как о человеке идеальном.

Студенческие годы.

В 1869 году я вышла из Казанского Родионовского института. Семейные влияния матери и дяди П. Х. Куприянова и серьезный, простой режим, введенный в институте умной и доброй начальницей, Сусанной Александровной Мертваго, дали мне такую складку, что по выходе из института у меня была и потребность, и привычка учиться. Внушение окружающих, настроение, охватившее меня в деревне, где мы жили, противоположность относительного богатства домашней обстановки, с одной стороны, и крестьянской бедноты, с другой, сделали меня восприимчивой к *тому, что* после выпуска я встречала в книгах и на страницах лучших больших журналов.

Я всегда с раннего детства любила читать и любила учиться. Меня никогда никто ни дома, ни в учебном заведении не понукал к ученью, и при очень хороших способностях и явном общем поощрении я шла впереди как в семье, так и в классе, и кончила первой ученицей с золотым шифром. В литературе того времени, в 69—70-х г.г., я нашла статьи о высшем женском образовании и первые известия, что есть русские женщины, которые учатся в университетах—в Швейцарии.

Эти известия упали на подготовленную почву и подходящее настроение, описанное подробно в соответствующей главе первой части моего «Запечатленного Труда».

По редкой случайности у моей одноклассницы по институту, М. Делярю, сохранилось письмо, написанное мной 19 апреля 1871 года, формулирующее в наивных выражениях невыработанного слога стремления моей 19-ой весны. Любопытно взглянуть на этот документ, и я приведу его, опуская первые строки, не относящиеся к делу.

«Все, что ты говоришь о возможности приносить пользу кружку, в котором живешь, справедливо, но тебе хорошо разглагольствовать таким образом, когда твое умственное образование идет само собой, без препятствий, когда довольно махнуть мизинчиком, чтобы явились и учителя, и книги, и всевозможные пособия [1]). По-моему же, чтобы больше приносить пользы, надо больше знать, а где научишься, чему хотелось бы: не дома ли при небольших средствах, не в губернском ли городе,где эти средства от условий сократятся почти вдвое? Я нахожу только университет достойным, чтобы женщина жертвовала для него всем; только он стоит того, чтобы поступали в него, несмотря ни на скудость средств, ни на что другое. Но в России этот исход невозможен для женщин, потому что двери университетов закрыты для женщин, как двери алтарей. Поэтому, моя милейшая Мари, я решила ехать в Швейцарию, в Цюрих. Не улыбайся, не удивляйся и не сомневайся в том, что я достигну цели.

«Ведь, чтобы жить за границей, нужны средства, денежки любезные и на все полезные. И этого мы достигнем, хотя и медленным путем [2]). Мы хотим купить в долг небольшое имение с казенным долгом, которое бы давало 1 тысячу рублей в год [3]). Года в три мы непременно заплатим долг и

---

[1]) Делярю была очень богата.

[2]) На деле это вышло ровно через год после письма.

[3]) По справкам, этого было достаточно на двоих с платой за лекции, за меня и моего мужа. Нечего и говорить, что никакого имения не было куплено.

выпорхнем из Руссландии, чтобы возвратиться через пять лет, в течение которых мы будем жить на доход с именья. Воротимся мы в свое именье и заживем на славу; Алексей бросит казенную службу [1]) и будет земским врачом; я заведу больницу, открою школу или ремесленное заведение [2]). Чудно! Машенька, неужели все это исполнится? Тогда я считала бы себя счастливейшей в мире, потому что я чувствовала бы, что живу не напрасно и не потому только, что я рождена. Лишь бы внешние обстоятельства помогли, а я *не остановлюсь никогда и ни за что* (курсив сделан мной теперь), потому что весь этот план не выдумка праздной фантазии, а моя плоть и кровь, и стимулами к деятельности будут три потребности или три цели моего существования: экономическая самостоятельность, образование ума и польза, т.-е. *моя полезность для других* (курсив сделан мной теперь). Однако прощай, целую тебя крепко. Напиши, что ты думаешь о моем плане, критикуй его, находи слабые стороны, дай совет сделать лучше. Прощай, дорогая.

Твоя *Верочка*».

«Ты исполнила гораздо больше, чем обещала»,—писала мне кузина Н. Куприянова, посылая копию с этого простодушного письма, написанного в 1871 г.

После этих вводных строк читателю будет вполне понятен дальнейший текст. Прибавлю, что изложенное ниже есть вариант глав I части моего «Запечатленного Труда», не использованный при напечатании его, потому что был оставлен в 1915 году за границей и прибыл в Россию только в 1920 году, когда книга уже вышла с текстом, наново написанным и менее подробным.

---

[1]) Алексей Викторович Филиппов служил судебным следователем, когда осенью 1870-го года мы обвенчались.

[2]) Я подразумевала ремесленное училище для крестьян.

Цюрих.

Моросил скучный, непрерывный дождь. Из окон небольшого номера гостиницы на Limmatquai в Цюрихе виднелись только черепичные крыши тесно прижавшихся друг к другу домов. Было серо, неуютно и как-то тоскливо в этот ненастный день—первый в чужой стране, в незнакомом городе.

Цюрих! Давно желанный Цюрих, к которому в течение двух лет были направлены все мысли, все желания. В яркий апрельский день 1872 года, полный солнечного блеска и ароматов весны, я выезжала с сестрой из родного Никифорова на бойкой тройке с бубенцами в уездный город, на пароход, потом по железной дороге за границу, в Швейцарию, чтоб поступить в университет. Такой светлый, хороший и бодрящий был этот замечательный день. А теперь—Цюрих с узкими улицами старого города, с скучным, под дождем, некрасивым озером и безобразным видом из окна на черепицы...

Но вот на другой день прояснило, и мы торопливо отправились подавать прошение о принятии в университет. Идем с набережной все в гору; улицы становятся шире; кое-где появляются сады,—и, наконец, мы перед большим зданием политехникума, соединенного с университетом. С тихим чувством затаенного благоговения я поднимаюсь по широким ступеням: вот-вот я войду в храм науки и сопричислюсь к лику ее служителей.

Просто, без всяких формальностей, ректор немедленно принимает нас в число студентов и протягивает руку, беря этим рукопожатием обещание выполнять правила университетской дисциплины.

Сколько тревог было пережито до этого!.. Я предполагала ехать в Цюрих только осенью. Но русские газеты весной оповестили, что Цюрихский университет, за границей

единственно доступный в то время для женщин, вводит новые обременительные правила приема. Встревоженные, мы сделали запрос ректору и, получив успокоительный ответ о поступлении без экзаменов, поспешили выехать из нашей провинции. К началу весеннего семестра мы опоздали, но все же нас приняли.

Заветная цель достигнута, и почти бегом мы спускаемся с лестницы. Теперь начнется ученье. Ничего, кроме ученья, ученья и ученья. «Не буду ходить ни в театр, ни на прогулки», заверяла я еще дома дядю, который сочувствовал моему стремлению в университет, чтоб сделаться врачом,— врачом исключительно для бедных, для крестьян. «И рыбу ловить не буду», утверждала я, когда он указывал мне, большой любительнице этой ловли, что Цюрихское озеро, конечно, очень рыбное, будет соблазнять меня. «Ну, нет! не будет ни удочки, ни катанья на лодке!.. Ничего, кроме лекций и учебников!».

Я относилась к своей будущей профессии с великим увлечением, можно сказать, с фанатизмом. Два года я не только думала о медицине, но и подготовлялась к университету, занимаясь математикой, физикой, немецким языком и латынью. Приготовлялась и материально: необходимо было собрать тысячи 3-4, чтоб обеспечить несколько лет скромной студенческой жизни за границей вдвоем. Ради этого я забралась в глушь деревни, где жизнь в имении матери стоила гроши. Все жалованье мужа откладывалось для предполагаемой поездки; все вещи, данные мне недавно в приданое, были проданы для той же цели. И вот, освободившись от всякого домашнего скарба, всяких нужных и ненужных вещей, легкие, молодые и веселые, мы могли, наконец, прильнуть к источнику знания.

В то время мой умственный кругозор был крайне узок. Мне было 19 лет, и лишь два года назад кончилось мое институтское, чисто монастырское воспитание. Книг и даже

журнальных статей серьезного характера я читала мало и, живя в деревне, не имела решительно никакого общества. Кроме дяди, в этой глуши у меня не было никого, кто приоткрыл бы мир широких идей. Ему, этому дяде, я была обязана некоторыми основами общественности, как об этом рассказано в главе о моем настроении после института [1]). И это было—все.

Но, если дядя, бывший сам крупным общественным деятелем, привил мне некоторые принципы, которые я сохранила навсегда, то, не будучи естественником, он не мог пополнить тот пробел, о котором впоследствии я не могла не жалеть. Это было полное неведение с моей стороны, что медицина—наука прикладная и что естествознание есть основание ее. Ни один человек и никакая книга не раз'яснили мне этого. Более того, я поступила на медицинский факультет с совершенно легкомысленным отношением к естественным наукам. Правда, первые же лекции, на которые я записалась, были лекциями по естествознанию: минералогия и зоология. Но слушала я их специально для того, чтоб приучить ухо к немецкой речи. Дальше я записалась на ботанику, физику, но опять-таки только для проформы, так как этого требовала программа курса. Только химия интересовала меня благодаря тому, что я имела прекрасную книгу Менделеева: «Основы химии». Понятие об эволюции, в смысле закона, *об'емлющего все сущее,* было мне совершенно чуждо, хотя еще до поступления в университет я прочла «Происхождение видов» Дарвина. И лишь много позднее, в Шлиссельбурге, я поняла единство мироздания и связь человека со всей природой; не только поняла, но и почувствовала. Медицина, специально то, что нужно для понимания и изучения болезней организма и врачевания его,—вот что занимало мой ум и казалось мне наукой, которой я

---

[1]) См. «Запечатленный Труд».

предполагала посвятить свое время, память и воображение. Хотя я знала фразу, что науки развиваются, идут вперед, но это не было осознано мной, и в сущности, совсем по-детски, научное знание представлялось мне скорее в статическом состоянии, а не в непрерывном, текучем процессе приближения к истине. И, признаюсь, опять-таки только в Шлиссельбурге, следя за небольшим научным журналом Naturwissenschaftliche Wochenschrift я уразумела, что такое движение науки вперед; поняла, что сотни и тысячи людей неустанно и непрерывно, словно маленькими молоточками, стучат в двери природы, постепенно раскрывая ее тайны; что эти сотни ученых и исследователей составляют неоформленное товарищество, коллективный труд которого вечно изменяет и преобразует содержание науки. Для меня же, институтки-провинциалки, науку составлял учебник. И мне кажется, что большинство нашей студенческой молодежи в Цюрихе относилось к делу таким же образом. С этой стороны мы, женщины, не были подготовлены к университету ни предшествующей школой, ни влиянием вне ее. Но жажды до дна исчерпать свою узкую программу было много. Наш приезд за границу, стремление в университет не было модой или легкомысленным тщеславием. Мы были еще пионерки в достижении женщинами высшего образования, и поездка за границу далась всем не легко: предрассудки окружающей провинциальной среды, сопротивление новшеству со стороны родителей, их опасения отпустить дочерей в неведомую даль, материальные затруднения, — все надо было преодолеть серьезной твердостью, настойчивым усилием воли. И с этой стороны цюрихская молодежь 1872 года была высокопробной.

Университет.

Большая аудитория без амфитеатра уже переполнена молодежью, когда в первый раз я прихожу в политехникум

на лекцию минералогии. Серенькие костюмы, широкие плечи, румяные щеки довольно грубоватых лиц—вот студенты-швейцарцы. И среди них женские головки русских студенток. Какое множество прелестных, одухотворенных лиц! Прямо удивительно, как много собралось тут хорошеньких... Профессор небольшого роста, невзрачный и немолодой, шамкает несимпатичным голосом какие-то непонятные, многоэтажные кристаллографические определения и названия: он вертит в руках картонные и деревянные модели... Слышишь: октаэдр, тетраэдр... моноклиноэдрическая, гексагональная система... За немецкой скороговоркой с непривычки не поспеваешь... Первые лекции, в которых было введение,—пропущены, захватываешь продолжение, без начала. Понятно, в голове—одна смута. Скучно, и совсем ни к чему. Хочу быть доктором, хочу лечить больных! Какая же связь этого с мелочами кристаллографии? Не понимаешь и высиживаешь час, ничего не вынося, без интереса, и совсем не заглядываешь потом в учебник, так как экзамена по минералогии не будет: нужна лишь запись, что лекции по этому предмету прослушаны.

Вечером—лекция по зоологии. Профессор Фрей, известный гистолог, высокий старик с большими седыми усами, говорит стоя и держится совсем прямо. Как маг-волшебник, он возвышается за столом, богато декорированным: на нем красуются изящные сплетения ветвистых кораллов, белых, красных; в высоких банках выступают нежные очертания медуз и причудливые фигуры разноцветных голотурий, морские звезды, ежи, полипы—все чудеса морских глубин. Серьезная, сухая фигура профессора и все эти препараты залиты ослепительным вечерним освещением, и в аудитории жарко от множества слушателей. Зрелище красивое, и читает Фрей хорошо; но тешится только глаз, удовлетворяется эстетическое чувство, а любознательности, желания проникнуть в значение, смысл и связь всех этих низших орга

низмов между собой и с тем, что выше их, нет. Нет основы, той руководящей нити, которая, вероятно, дана была в первых лекциях при открытии семестра, а теперь, в середине, слушаешь внимательно, но все проходит в голове скоротечно, не оставляя в памяти следа, и не укрепляется потом учебником. Зачем зоология в медицине?

И экзамена по ней не будет...

Другое дело анатомия человека, физиология, наука о тканях. Тут изучаешь будущий об'ект врачебной деятельности. Знать это нужно; это интересно, без этого нельзя. Изучению этого и надо отдаться безраздельно.

Таково было мое отношение к занятиям при поступлении в университет.

Женский ферейн.

На одной из лекций по минералогии рядом со мной оказалась молодая девушка с целой копной черных стриженых кудрей. Нешироко разрезанные черные глаза походили на угольки, а круглое лицо с некрасивым кирпичным румянцем было оригинально по своему не то задорному, не то насмешливому выражению. Насмешлив был, собственно, нос, и с ним гармонировал как-то особенно отороченный рот.

— Вы на медицинском факультете?—спросила я.

— Нет. Я записалась в политехникум, в агрономы.

Вот удивительно! подумала я. Что за агрономия? К чему она моей соседке? Я думала, что за границу едут только для изучения медицины и что каждая студентка имеет и может иметь только одну цель, задаваться лишь мыслью о служении обществу, т.-е. *бедным*. Другого термина, кроме термина «бедные», у меня в запасе не было: общественную пользу я понимала исключительно в смысле служения массам, разумея под этим крестьян, а крестьян об'единяла в понятие бедных. Медицина казалась мне наилучшим средством служить им.

— Для чего же вам агрономия?—спросила я соседку. —Какую пользу может принести она?

— Мои родные—помещики Тамбовской губернии,—ответила она.—Я буду жить в деревне и применять приобретенные знания к обработке земли.

До тех пор я видела в именьях только совершенно необразованных приказчиков и так называемых «старост» из крестьян—тех же приказчиков, только сортом пониже и подешевле, а из систем земледелия знала лишь ту, которой следовали отцы и деды и испокон веков придерживались как крестьяне, так и помещики. Поэтому нельзя сказать, чтобы ответ уяснил мне что-либо в намерениях Бардиной.

Это была она — Софья Илларионовна Бардина, впоследствии прославившаяся своей речью на политическом процессе «50-ти». Не потребовалось тогда много времени, чтобы заметить, что она становится центром кружка женской молодежи, умственной главой которого она явилась на процессе.

Настоящее ученье началось только с осеннего семестра, к которому мы уже успели подготовиться, присмотревшись вместе с тем к окружающей обстановке.

Летом на каникулах я имела случай впервые повидать красоты Швейцарии. Я побывала на Риги-Кульм, на Пилатусе. Фирвальштедское озеро произвело на меня неизгладимое впечатление. Выйдя в Люцерне на каменную площадку на берегу озера, увидав впервые полукольцо высоких гор, обрамляющих его синеву, я пришла в неистовый, чисто ребяческий восторг. Картина была необычна для меня, нигде, кроме родного уезда, не бывавшей: чудный профиль гор, дымившихся в облаках, невиданное сочетание разнообразных оттенков голубой воды, зеленой растительности и синевы небес... Я бросилась обнимать и целовать мать и сестру, которые были моими спутницами...

Обогащенная всем виденным, вернувшись в Цюрих, я с жаром отдалась трудовой учебе. Но жизнь со всех сторон наступала на меня. Началось с того, что студенческая масса из раз'единенных атомов стала складываться в кружки и в общестуденческий конгломерат.

Однажды Бардина на лекции сказала мне:

— Сегодня созывается собрание русских студенток.

— Для чего? — спрашиваю я с некоторым испугом, что произойдет отвлечение от занятий.

— Внесено предложение образовать кружок исключительно из женщин. Этот женский ферейн будет иметь целью *научиться логически говорить.* В присутствии мужчин,— продолжала она, заметив мой недоумевающий взгляд,—женщины обыкновенно на всех собраниях молчат: они стесняются и потому не выступают. Между тем, упражнением можно научиться последовательно развивать свою мысль и не бояться говорить при публике. Чисто женский ферейн послужит нам школой.

— Что же, это хорошо! Где будет собрание?

— В Palmenhof на Оберштрассе, в 8 часов вечера. Приходите!

Еще до этого, узнав, что в Цюрихе существует русская библиотека, мы с сестрой поспешили абонироваться в ней. Библиотекаршей была миловидная, кокетливая, молодая женщина-студентка, очень приветливо встретившая нас. Она-то и была инициатором знаменитого в цюрихских анналах, хотя и недолговечного, женского ферейна.

После скудного студенческого ужина я и сестра Лидия в назначенный час отправились в Пальменгоф. Там в зале стоял длинный обеденный стол и вдоль него ряд стульев. Скромно одетая женская молодежь стояла и сидела, разбившись по два-три человека там и сям.

Шел гул от разговоров; кое-где оживленно спорили.

— Господа! Прошу занять места!—провозгласила высо-

кая блондинка со стриженными волосами. Это была жена врача Эммэ. Вслед затем раздался энергичный звонок. Места заняли и заседание открылось. Председательствовать выбрали ту же Эммэ, и она предоставила слово библиотекарше, которой принадлежала инициатива собрать нас.

Об'яснив цель будущего ферейна — *научиться логически говорить,* она выставила чтение рефератов и прения по поводу их, как средство для достижения желанной цели.

Началось обсуждение: нужен ли, вообще, подобный ферейн и из кого он должен состоять? Цель ферейна не встретила ни в ком отрицательного отношения. Зато горячие пререкания возникли по поводу состава ферейна исключительно из женщин. Такая постановка у многих вызывала насмешку: находили смешным боязнь присутствия мужчин и считали более естественным и целесообразным, не страшась мужской конкуренции, образовать кружок самообразования совместно с мужчинами. Но эти голоса потонули в решении большинства сорганизоваться сначала лишь одним студенткам.

Никакого устава ферейна, открытого для всех учащихся женщин, мы не вырабатывали, а, решив общий вопрос, тотчас приступили к делу, предложив желающим выбрать темы для следующих заседаний.

Первый реферат, как и следовало, был приготовлен библиотекаршей, которой принадлежала инициатива собрать нас. И, как это ни странно, его темой довольно неожиданно оказался вопрос о самоубийстве, от которого все мы, как нельзя более, далеки были в то время [1]). Доклад проводил мысль, что всякое самоубийство, без исключения, обусловлено психическим расстройством, и провозглашал, что самоубийц вполне нормальных не существует!

---

[1]) Впоследствии из присутствующих покончили с собой: Каминская, Бардина, Завадская, Хоржевская и Гребницкая, сестра писателя Писарева.

Хотя никто из нас не был знаком с вопросом и не имел ни малейшего представления о психиатрии, вызов, который казался нам вызовом здравому смыслу, был смело принят,— жаркие прения возгорелись: рука председательницы, потрясавшей колокольчиком, не мало потрудилась. Собрание было недисциплинированное; вместо правильного обсуждения все говорили разом. В конце-концов ясно определилось, что большинство против одностороннего взгляда референтки, и, умаявшись достаточно на вопросе: что такое *нормальный* человек? и существуют ли вообще *нормальные* люди? или, не только самоубийцы, но и все,—в том или в другом направлении,—немного сумасшедшие, — мы разошлись по домам, долго оглашая уснувшие улицы Цюриха звонкими голосами; все еще сыпалось: нормальный... ненормальный... психоз... где граница? И восклицания, что этой границы нет!..

Второй реферат читала В. И. Александрова, молодая, белокурая студентка, приятельница моей сестры Лидии; темой был бунт Стеньки Разина. Сам реферат, составленный по Костомарову, был слаб, но преисполнен идеализации личности Разина, как могучего вождя и разрушителя-героя в бакунинском духе.

На этот раз около личности Разина возник вопрос о науке и цивилизации. Полезны они или нет для человечества? Нужна ли наука для счастья людей? Приносит ли цивилизация какое-либо благо народу или один вред, создавая, с одной стороны, порабощение масс, а с другой—роскошь и утонченную культуру верхов? Тут были: и Руссо с его знаменитым сочинением, увенчанным Академией Наук, и Бакунин— этот ни с кем не сравнимый апостол разрушения. Самые голосистые стояли именно на точке зрения этих отрицателей цивилизации и культуры. Другие, взволнованные яростными нападениями на все приобретения человечества, давали энергичный отпор, как-будто в самом деле от наших дебатов погибнет цивилизация и наступит препрославленное

варварство. Я с истинным остервенением, как горячий адепт науки, к которой стремилась приобщиться, кричала о ее пользе и о том, что для водворения справедливости на земле нужно не истребить цивилизацию, а распространить ее на всех обездоленных. Пламенная полу-русская, полу-итальянка разрушала цивилизацию, сообразно своему южному темпераменту... Собрание превратилось в беспорядочную толпу, разгоряченную и нетерпимую; в криках ничего уж нельзя было разобрать. У итальянки из носу хлынула кровь, а председательница, имитируя обращенное к армии в Египте наполеоновское: «С высоты этих пирамид 40 веков на вас смотрят», прозвонив яростно в колокольчик, прочувствованно произнесла с укоризной: «Mesdames — вся Европа смотрит на вас!!...». Это упоминание о Европе, которая якобы внимательно следит за нами, русскими студентками в Швейцарии, вышло так комично, что единодушный хохот потушил как-то сразу весь пыл спорящих сторон. Собрание закрылось, но волнение не стихло, и на свежем воздухе, на улице все еще склонялись: цивилизация, наука, и спрягались глаголы: уничтожить, истребить; спасти и сохранить.

Как это ни смешно, но описанное заседание с рефератом о Разине было последним: существование нашего «женского» ферейна кончилось, как-будто в прения о цивилизации мы поместили весь свой жар и охоту научиться логически говорить. Быть может, увидали, что дело безнадежно... Во всяком случае, оппозиция против исключения мужчин после этого беспорядочного и слишком жгучего словопрения необычайно усилилась.

Произошло еще собрание, на котором снова был поднят вопрос о допущении сильного пола, при чем защитники первоначального решения как-то смякли, ослабели.

Поспорили, поговорили да и разошлись без всякого постановления. Ферейн, видимо, разваливался и, в противоположность прежнему многословию, бесшумно скончался, не

вырвав ни у кого, кроме, быть может, инициатора, вздоха сожаления.

Женский ферейн умер и не воскрес; но его кратковременное существование было не бесполезно. Он сблизил женскую молодежь, дав случай познакомиться и друг к другу приглядеться. В спорах обнаружились различные течения и темпераменты, и, благодаря этому, сходным элементам было легче сгруппироваться. Действительно, в русской колонии скоро образовалось несколько кружков.

Цюрихские кружки и библиотека.

После того, как в 1868 году Суслова и Бокова кончили медицинский факультет в Цюрихском университете, другие русские женщины пошли по их следам. Но число студенток не превышало 15—20 вплоть до 1872 г., когда не из одной Казани, как я с сестрой, но из разных углов России многие женщины поспешили в Цюрих. Таким образом, в весенний семестр этого года в университете и политехникуме оказалось 103—105 имматрикулированных студенток. Но это была лишь часть колонии учащихся в Цюрихе, а всех, говорящих на славянских наречиях, насчитывалось не менее 300 человек.

Наиболее многочисленными были поляки, но среди них была лишь одна учащаяся женщина; далее шли мы, русские, и среди нас большинство составляли женщины. Некоторое количество сербов и болгар обоего пола также слушали лекции в университете, и, наконец, была в Цюрихе довольно заметная группа мужчин и женщин с Кавказа.

Все эти национальности не были об'единены в одну общую, хотя бы рыхлую организацию, но, сплоченные каждая в отдельности, жили своей особой внутренней жизнью. От сербов и болгар нас отделял язык, а поляки до последних дней царизма держались за границей особняком от русских. Наиболее близкими нам были кавказцы, но и у них была

своя группировка, свои общие и общественные интересы, о которых русское большинство ничего не знало.

Центром притяжения русской учащейся молодежи была русская библиотека и кружок молодых эмигрантов, которые организовали ее за год или два до нашего приезда. Эти эмигранты—Росс, Смирнов, Эльсниц, Гольштейн и Ралли—покинули Россию недавно: четверо после того, как за студенческие беспорядки были исключены из высших учебных заведений, а пятый — Ралли — бежал из административной ссылки по нечаевскому делу. Среди внезапно нахлынувшей зеленой молодежи они являлись старожилами и как бы ветеранами колонии, далеко превосходя нас образованием, опытностью и политическим развитием. Познакомившись в Швейцарии с Бакуниным, жившим в Локарно, Эльсниц, Гольштейн, Ралли и Росс составили, по инициативе Бакунина, кружок анархистов, «пятерку», в которую входил и сам Михаил Александрович. В своем местожительстве — Цюрихе—они основали среди сербов и болгар славянскую секцию Интернационала, — «Славянски завес», а среди поляков—общество, носившее название: «Товариство социально-демократычне польске» [1]) с анархической программой, написанной Бакуниным. Часть учащихся женщин, прибывших раньше нас в Цюрих, уже сплотилась около бакунинского кружка эмигрантов. Сообща с ними, они заведывали библиотекой, открытой для всех учащихся, и потом помогали организации тайной типографии, которую задумали устроить бакунисты для издания произведений Михаила Александровича. Таким образом, с одной стороны, мы нашли довольно богатую и хорошо подобранную публичную библиотеку, забронированную от вторжения новых элементов уставом,

---

[1]) Об эфемерном существовании и неудовлетворительном составе этих двух организаций, программы которых были написаны самим Бакуниным, см. в сборнике «О минувшем» статью Ралли: «Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине». 1908 г.

выработанным основателями, а с другой—вполне готовую, сплоченную организацию, законспирированную от новичков, только-что явившихся из России. И та и другая сыграли большую роль как в истории нашего духовного развития, так и вообще всей нашей общественной жизни в Цюрихе. Библиотека была настоящей молчаливой школой пропаганды. Помимо всевозможных книг и периодических изданий, щедро присылаемых из России во имя молодежи, учащейся на чужбине, библиотека заключала превосходное собрание книг и изданий на французском и немецком языках по всем общественным вопросам, по истории и политической экономии. В ней была представлена вся заграничная запрещенная русская литература, и были налицо все главные лучшие сочинения по западно-европейскому социализму. На столах читальни в «Бремершлюсселе», доме, где помещалась библиотека и жили многие из кружка бакунистов, можно было найти не только русские журналы и газеты, но и все органы рабочей прессы Германии, Австрии и Швейцарии. Подбор книг, вновь выходящих брошюр и газет был таков, что невольно останавливал внимание на социальном вопросе и рабочем движении, уже тогда занимавшем громадное место в западно-европейской жизни. Тот, кто дома и не слыхивал, что на свете существует социализм и происходит борьба труда и капитала, не мог не задуматься над задачами рабочих организаций, читая о конфликтах в сфере промышленности, о стачках, рабочих союзах, конгрессах Международного общества рабочих и т. п. Новые мысли и перспективы открывались уму, новые интересы захватывали, и, путем печати, мы молчаливо приобщались к великому движению. Кроме удовлетворения своих умственных запросов и собственной потребности следить за социалистическим движением, старшее поколение цюрихской колонии, разумеется, имело в виду воспитательное влияние на вновь прибывающую молодежь. И эта цель легко достигалась как содержанием

библиотеки, так и благодаря всему строю окружающей свободной жизни Швейцарской республики. Заброшенные на чужбину, потому что не доверяли прочности и компетентности тех курсов «ученых акушерок», которые были открыты в Петербурге и составляли зародыш будущего Женского медицинского института, из'ятые из серых будней русской жизни и охлаждающих влияний старших членов семьи, мы, естественно, устремились к свету, к миру новых идей, раскрывавшихся перед нами. Все было ново и неожиданно в той литературе, которую мы находили в библиотеке, как все было ново и неожиданно в стране народоправства, о которой лишь кое-что можно было прочесть на родине, а тут на практике мы познавали в ней блага свободы слова и организаций и видели высокий культурный уровень народа, который всем этим пользовался. Библиотека и жизнь показывали, что изучать нужно не только медицину, но и общественные науки. Что такое социализм? Откуда он явился, чем вызван и какие фазы прошел в своем развитии? Рабочий вопрос, рабочее движение, Лассальянский всеобщий рабочий союз в Германии, тред'юнионы Англии, профессиональное движение в Швейцарии... Интернационал, с его грандиозной организацией и программой; восстание и подавление Парижской коммуны; восстание в Барцелоне...—все было новизной, во всем мы были несведущи, и недочеты в образовании необходимо было пополнять. Политическая экономия, история культуры, возникновение религии, семьи, собственности и государства,—все было неведомым царством и обратиться ко всему этому было гораздо важнее, чем учиться логически говорить в отсутствии подавляющего авторитета мужчин.

Были у студенчества некоторые общие материальные нужды. Лишь немногие из приехавших в Цюрих в 1872 г. принадлежали к богатым семьям. При высокой плате за учение, в особенности за практические занятия, при дороговизне

учебников, громадное большинство студенчества должно было соблюдать строжайшую экономию на одежде, жилище и питании. Но вопросы материальные шли мимо нас. Была устроена своя дешевая кухмистерская, но она не играла в общей жизни никакой роли. Вопрос, что есть, что пить и во что одеваться, никого не занимал. Другое дело—область умственная: здесь каждый спешил обогатиться, и, кажется, не было никого, кто не занимался бы в библиотеке.

Кроме тех организаций, о которых уже упоминалось,—болгарской, польской и кружка анархистов-бакунистов, державших в своих руках библиотеку,—остальная масса учащихся скоро распределилась по двум направлениям. К одному тяготели студентки старших курсов, специализировавшиеся на учебных занятиях и материально лучше обставленные. Их шутливо окрестили названием спокойно-либерально-буржуазной партии. Остальные, главным образом первокурсницы, отличались явно радикальной окраской и, стремясь к самообразованию в духе социалистическом, составляли отдельные кружки. Как-то само собой, кто жил в одном доме или у одной и той же квартирной хозяйки, те, кто сидел рядом на лекциях, или за одним и тем же препаратом в анатомическом зале, или вместе штудировал анатомию и гистологию, соединялись в группы для целей, стоящих вне медицины или другой избранной специальности. Наиболее выдающимися среди мелких и незаметных групп были два кружка, впоследствии работавших в России в качестве революционных организаций. Один кружок составляли так называемые «*сен-жебунисты*». В него входили три брата *Жебуневых,* Глушкова, Блинова, Трудницкий, Макаревич и Анна Розенштейн. Самое название, шутливо намекавшее на неутомимых ораторов этого кружка, было дано в параллель сен-симонистам, о неистовых спорах которых, вплоть до обмороков, мы читали в книге об Анфантене и Базаре. Все члены этого кружка участвовали потом в социально-

революционном движении 70-х годов и судились по процессу «193-х». Другим кружком, члены которого судились по процессу «50-ти» в 1877 г., были «фричи»—студентки, об'единившиеся около Бардиной и получившие коллективное название от имени хозяйки-швейцарки, у которой некоторые из них жили. В этом кружке участвовали: моя сестра Лидия, Варвара Ив. Александрова (впоследствии — Натансон), две сестры Любатович, три сестры Субботины, Каминская, Топоркова, Аптекман, а позднее и я. Кружок задался целью изучения социального вопроса, начав политической экономией (по Миллю с примечаниями Чернышевского), а затем участницы распределили между собой творения социалистических теоретиков для реферирования в историческом порядке одна взяла Томаса Моруса, другие—Кампанеллу, Роберта Оуэна, Фурье, Кабэ, Сен-Симона, Прудона, Луи-Блана, Лассаля. Затем таким же образом проштудировали историю народных движений и революций. А чтобы следить за современным рабочим движением, распределили между собой социалистические газеты, немецкие, австрийские, швейцарские, с тем, чтобы на еженедельных кружковых собраниях делать доклады о всех важнейших событиях в рабочем мире.

Лавров и Бакунин.

Осенью 1872 г. в Цюрих приехал П. Л. Лавров, эмигрировавший за 3 года перед тем из административной ссылки в Вологодской губ. Его приезд, как автора «Исторических писем», как ученого и эмигранта, произвел в колонии большую сенсацию. Поселился он в доме, где жили: Смирнов, кассир библиотеки, Идельсон, бывшая библиотекаршей, и несколько девушек из среды «фричей». Целью приезда Лаврова было основание тайной русской типографии и печатание журнала, принявшего название «Вперед».

Мысль об издании за границей нелегального журнала существовала среди русских эмигрантов еще за два года перед тем.

В 1870 году, при встрече с Бакуниным, она занимала эмигранта Росса (М. П. Сажин), члена вышеупомянутой цюрихской «пятерки» анархистов. При этом ими было решено привлечь к изданию и Лаврова, предоставив ему *отдел философии*. В этом смысле Бакунин через Росса передал в Париж письмо Лаврову. Но Лавров заявил Россу, что категорически отказывается от предложения, надеясь, с одной стороны, на возможность возвратиться в Россию, а с другой—по принципиальному расхождению с Бакуниным во взглядах.

Потом произошла перемена. Лавров сам задумал издание журнала и по приезде в 1872 г. в Цюрих, по рассказу Сажина [1]), стал уже искать участия анархистов в своем будущем журнале и в переговорах с Россом, тесно связанным с Бакуниным, сначала предлагал сотрудничество, а потом даже совместное редактирование журнала.

С этим предложением Росс ездил в Локарно, и Бакунин, хотя с неудовольствием, но согласился, уступая доводам Росса, что у Лаврова есть связи с литераторами и общественными деятелями в России, а в случае непримиримости взглядов из журнала можно всегда выйти.

Дело, однако, не состоялось: в Цюрихе, на собрании у Лаврова, в присутствии его сторонников Смирнова и Подолинского, с одной стороны, и единомышленников Росса—Эльсница и Ралли—с другой, Лавров неожиданно для Росса об'явил, что отказывается от сделанного предложения и не может, не имеет права разделять с кем бы то ни было редактирование журнала. После этого сторонники Бакунина покинули собрание, и всякие переговоры были прерваны: Лавров и Смирнов стали во главе будущего «Вперед», а Росс с товарищами Эльсницем, Ралли и Гольштейном поспешили

---

[1]) См. «Голос Минувшего» 1915 г., кн. 10. Статья Витязева, написанная со слов Сажина.

осуществить свой проект основания собственной типографии в Цюрихе, чтобы тотчас приступить к печатанию книги Бакунина: «Государственность и Анархия».

Так в Цюрихе образовались две типографии, выпускавшие потом два ряда изданий, которые выявили революционные направления, характерные для 70-х годов: пропагандистское, представителем которого явился Лавров, и бунтарское, окрещенное именем Бакунина. Около каждой типографии была своя группа учащихся женщин, а вскоре и вся цюрихская колония распалась на две враждебные части. Поводом для этого послужила русская библиотека, точнее, вопрос об управлении ею.

Небольшая группа молодых эмигрантов, из которых Росс был первым основателем библиотеки, выработала и приняла устав ее, как общественного учреждения, еще в эпоху, когда число учащихся в Цюрихе было незначительно. Состоя из людей уже определившихся, они хотели придать библиотеке характер общеобразовательный и вместе с тем сделать из нее школу для выработки социалистического мировоззрения. Чтобы обеспечить такой характер цюрихского книгохранилища, они создали правила, отдававшие все управление библиотекой в руки членов библиотеки, которыми являлись они сами и те, кого путем баллотировки они потом кооптировали, как подходивших к ним по направлению. С другой стороны, всякий, желающий пользоваться книгами библиотеки, мог за определенную плату записаться в число *читающих,* подобно тому, как это делается в обыкновенных коммерческих библиотеках.

Все управление и ведение библиотечного дела, как-то: сношения с Россией (с редакциями, издательствами и частными лицами—жертвователями), выбор и выписка газет, журналов и книг, распоряжение всеми денежными средствами библиотеки, выбор должностных лиц, контроль над ведением дел, выбор новых членов и пр.,—все было исключительно

в руках «членов», а читательская масса оставалась совершенно бесправной, имея право лишь высказывать свои «пожелания» в книге, специально для этого положенной в читальне. Между тем, с приездом множества женщин в 1872 г., численное соотношение (и сообразно этому приток библиотечных средств) между членами, с одной стороны, и читающей публикой, с другой, сделался совершенно несообразным: членов было 20—23, а читающих 100—120 человек.

Сначала, по приезде, никто не всматривался в свои права или свое бесправие—так все были рады неожиданно найти в Швейцарии библиотеку с русскими газетами, журналами, с большим выбором хороших русских и иностранных книг. Без этого трудно было бы существовать и, вероятно, тотчас пришлось бы сообща думать о подобном учреждении. И все спешили воспользоваться тем, что создали предшественники, тем более, что состав библиотеки не оставлял желать лучшего.

Но мало-по-малу вскрылась ненормальность того, что библиотека, считающаяся общественной, пополняемая пожертвованиями из России и средствами читающих, является делом кружка, а большинство учащихся, именем которых она создается, остается пассивным элементом в своем собственном деле. По мере того, как мы подрастали в умственном и общественном смысле—чему как нельзя более способствовала сама библиотека, все более странным казалось устранение всех нас от общего дела. Опасение, что библиотека может переменить направление и сделаться узко научной или библиотекой легкого чтения, если к управлению ею будут допущены все подписчики, являлось несостоятельным по явной симпатии к социализму со стороны всей учащейся молодежи. «Уравнение прав» сделалось лозунгом среди нас, и необходимость пред'явить к «членам» библиотеки требование уравнения стало предметом оживленной агитации. Бардина написала в этом смысле горячую статью

в книге жалоб, как мы называли книгу заявлений, лежавшую в читальне. Взяв эпиграфом красивую фразу из соч. Лассаля: «Der Sturm brach los, das Volk stand auf», она, от имени всех «читающих», формулировала общее недовольство и выставила справедливость требования *при равных обязанностях* иметь и *равные права.*

Наши желания казались так понятными и справедливыми, что мы ждали, что члены сделают уступку общественному мнению и не захотят остаться маленькой кликой, возбуждающей общее неудовольствие. Был составлен ультиматум, пред'явленный библиотечному правлению для рассмотрения на общем собрании *членов.* В случае отказа в уравнении прав, мы, читающие, решили выйти из библиотеки и основать свою собственную на началах равноправия.

По уставу, на общем собрании *членов* читающие имели право присутствовать в качестве публики. Поэтому в решительный день зал в Бремерхлюсселе был полным полнехонек мобилизованными силами обеих сторон. На одном конце стола заседало человек 20—23 действительных членов, а сотня недовольных заполняла остальное пространство. Прений долгих не было, потому что члены очень хорошо знали все неудовольствия и требования, а решение не уступать было у большинства их уже предрешено. Так, среди общего возбуждения, наше желание встретило отказ, и когда раздалось: «нет!», все возмущение вылилось наружу. Среди гула негодования кто-то произнес: «Господа! мы все выходим из этой библиотеки и организуем сейчас же свою новую!». Тут, как по сигналу, все двинулись вон. Тщетно Росс вскочил на стол и, жестикулируя, пытался сказать что-то, думая удержать публику. Никто не слушал, считая дело решенным.

На улице было решено тотчас же устроить собрание для принятия дальнейших решений. Несколько человек побежали вперед, быстро наняли помещение и вернулись указать

его. Собрание, на которое пришел и Лавров, до тех пор не вмешивавшийся в нашу распрю, состоялось многолюдное и оживленное: его целью было оборудовать материальную сторону необходимой для всех новой библиотеки. Было решено все книги, какие есть у кого-либо на руках, не сдавать в старую библиотеку, а, как общественное достояние, передать в новое учреждение. Кассир старой библиотеки (Смирнов) и библиотекарша (Идельсон) были все время на нашей стороне и вместе с нами ушли из Бремершлюсселя. Они заявили, что деньги и книги, имеющиеся у них, они передадут нам. Так нам достались те 10 пудов книг, которые только-что прибыли, как пожертвование из России. Был пущен подписной лист для приобретения книг и тотчас испещрен значительными суммами. В момент общего под'ема было внесено предложение обеспечить новорожденное учреждение постоянным помещением и для этого не больше, не меньше — купить дом. Подписка на это предприятие тотчас же дала 10—15 тысяч франков, при чем главный взнос был сделан богатыми орловскими помещицами Субботиными из кружка «фричей». На этом учредительном собрании присутствовавший П. Л. Лавров солидаризировался с нами, хотя до тех пор и не принимал никакого участия в брожении против самодержавного распоряжения библиотекой группой бремершлюссельцев.

Дом, действительно, был куплен несколько времени спустя: небольшой, двухэтажный, он находился в переулке, примыкающем к Plattenstrasse, на которой ютилось большинство студенток и студентов. Он стоил 90 тыс. франков или около этого, но так как был заложен, то приплата наличными была не более 10 или 12 тыс. Колонии приходилось затем только уплачивать проценты; они покрывались платой за комнаты верхнего этажа, сдававшиеся в наем, и платой за помещение библиотеки и кухмистерской, устроившихся внизу. Внизу же происходили все последующие обще-

ственные собрания, лекции и т. п. В верхний этаж перебрались многие из «фричей»; там же жила и я.

В Русском доме жизнь закипела во-всю. Внизу каждый вечер была публика. П. Л. Лавров читал здесь свои лекции по истории мысли. Тут же он предложил и начал читать курс высшей математики, кончившийся плачевно: кучка слушателей, вначале довольно многочисленная, начала таять не по дням, а по часам, и когда их осталось трое, то, по предложению самого лектора, занятия были прекращены.

По вечерам образовалось нечто в роде клуба—собирались желающие поговорить о чем-нибудь. Иногда заходил и Лавров. Но чаще бывали различные деловые собрания по библиотеке, кухмистерской или по поводу всевозможных проектов, которые предлагались колонии в изобилии некоторыми любителями. Так, обсуждался вопрос об организации бюро труда. Почвы для такового не было никакой, так как тогдашний состав учащихся, хотя не щедро, но все же был обеспечен средствами из России; ни спроса на наш труд в Цюрихе, ни связей в России для какого-нибудь литературного заработка не было; так все дело и кончилось разговорами. Те же инициаторы думали, что в Русском доме необходимо устроить различные мастерские. Не могу сказать—для заработка, или для физического упражнения? Кажется, ради принципа соединения умственного труда с физическим. Проект после продолжительных дебатов остался втуне: никаких мастерских не завели, и, вероятно, они пустовали бы, так как университетские занятия отнимали много времени, а ведь именно для них-то мы все приехали в Швейцарию. Много речей было также об об'единении всего русского студенчества, находящегося за границей. Но и это было пустопорожним делом. В Швейцарии в то время, кроме Цюриха, были две студентки только в Берне; в Париже тоже учились только две русские. Вообще, по позднейшему количеству русских в высших учебных заведениях

Бельгии, Франции, Германии, Италии и Швейцарии, трудно и представить себе, как мало их было в начале 70-х г.г. Об'-единять пришлось бы лишь одиночек, рассеянных кое-где в Европе.

Наконец, когда в Барцелоне произошло восстание под флагом анархо-федерализма, то по этому поводу тоже было собрание, и оно снарядило разведчика, чтобы иметь перво-источник, который доставлял бы сведения о ходе событий и степени распространения движения. Насколько помню, наш делегат как уехал в Испанию, так словно в воду канул и никаких сведений нам так и не доставил.

Все наши обсуждения требовали много времени, и «фри-чи» неохотно участвовали в этой толкучке. Но я обыкновен-но присутствовала и иногда со скандалом. Так, однажды меня выбрали председательницей, и, несмотря на сопротивление, мне пришлось занять место за председательским столом. Лились бесконечные речи: предложения, контр-предложения, замечания и возражения. Долго и скучно ораторствовала будущая докторесса г-жа С., и, признаться, в этом много-глаголании было много вздора. Председательница долго слу-шала, но наконец не выдержала и, ударив кулаком по столу, произнесла: «Вот дура». Произошло замешательство. С., обратившись к собранию, протестовала, что председатель-ница бранится. Нечего и говорить, что я сама была сконфу-жена своей несдержанностью, и поспешила заявить, что, не обладая терпением и спокойствием, необходимым для пред-седательствования, прошу выбрать вместо меня кого-нибудь другого. Уж после этого я на веки вечные была избавлена от неприятного поста и сидела скромно в рядах публики.

В другой раз я сделала большую неловкость в клубе. Кто-то из «фричей» дал мне первоначальную программу не-легального издания, предпринятого Лавровым. Громадное различие между ней и той программой, которая легла потом в основание «Вперед»,—при чем обе были написаны самим

Лавровым,—до крайности возмутило меня. Последняя говорила о социальной революции, которая изменит весь строй жизни человечества, а первая, не касаясь вопросов экономических, была в политическом отношении конституционной и отличалась полнейшей умеренностью: требуя культурной подготовки молодежи перед началом какой-либо пропаганды в народе, эта программа признавала, что и прокурор, и судебный следователь могут быть полезны делу служения народу. Считая, что программа журнала должна быть исповеданием веры составителя ее, я не могла примирить различия в содержании этих двух программ. Мне казалось невозможным, чтобы на протяжении самого краткого времени один и тот же человек мог предлагать, верить и защищать столь различные взгляды. Меня возмущал этот вольт руководителя журнала; я видела в нем неискренность и полное отсутствие твердого убеждения. И вот, с молодой прямолинейностью и откровенностью, держа в руках злополучную литографированную первую программу, я обратилась в клубе при всех к Лаврову с наивным вопросом, как совместить эту программу с содержанием последней программы «Вперед»? Выпалив это, я тотчас увидела, что сделала бестактность: наступило неловкое молчание; затем, Петр Лаврович, как мне показалось, не без некоторого замешательства сказал: «Здесь не место обсуждать это». Я поняла, что вопрос был неприятен, поэтому уж не поднимала его потом и в частном разговоре, а Петр Лаврович тоже никогда не возвращался к нему [1]).

Существование 3 программ (так как, кроме двух упомянутых, была и третья, промежуточная между первой и

---

[1]) Историю 3-х программ, написанных Лавровым, можно прочесть в его книге: «Народники-пропагандисты 73-78 г.г.» Сравнить также статью Ралли в сборнике «О минувшем» (1908 г.). под заглавием: «Из моих воспоминаний о Бакунине», стр. 290—292 и Витязева («Голос Минувшего», кн. 10, 1915 г.).

последней) не мало волновало цюрихскую колонию, вызывая недоумение и недовольство не у меня одной. Сам Лавров в книге «Народники-пропагандисты 73—78 годов» по поводу их пишет: «На меня сильно нападали за эти три *различные* программы «Вперед». Эти нападки были бы вполне справедливы лишь в том случае, если бы в этих программах во всех трех случаях имелась в виду одна и та же цель. Но дело было совсем иное. Первая программа была программой предполагавшегося издания, исходящего из русского литературного радикализма 60-х годов, выступающего теперь, как боевая партия, в подпольной литературе в 72 году. Личные мнения редактора были здесь элементом второстепенным. Вторая программа была программой издания, которое, не подчиняясь многим пунктам бакунизма 72 года, имела в виду сохранить единство социально-революционного движения в России в принципиальном отношении: личные взгляды редактора могли в ней проявиться лишь в той мере, в какой они не вредили этому единству. Лишь третья программа была личною программою редактора, принимавшего полную и исключительную ответственность за помещение одного и непомещение другого» (Стр. 61. П. Л. Лавров. «Народники-пропагандисты 73—78 годов». Изд. Розенфельда. П. Б. 1907 г.).

Если бы эти строки были опубликованы тогда же, в 1873 г., они все же не устранили бы нападок, потому что оставили бы незыблемым факт, что Петр Лаврович соглашался быть редактором журнала трех различных направлений и собственноручно составлял для них программы.

Вышеописанный демонстративный эпизод в клубе не испортил, однако, моих дальнейших отношений с Петром Лавровичем. Раз в неделю у него были журфиксы, на которые сходилось человек 8—10; между ними бывала и я. Посетители были всегда одни и те же: из мужчин—князь Александр Кропоткин, брат Петра Алексеевича, а из студен-

ток — «фричи». На журфиксах всегда царствовала скука: никогда не поднималось ни одного общего вопроса, не происходило ни одного интересного теоретического спора. Не умели мы, что ли, подойти к старику-ученому и стеснялись и его возраста и его учености, — только не было ни простодушной веселости, ни работы для мысли на этих натянутых вечерах. С наибольшим оживлением прошла беседа, когда Петр Лаврович неожиданно сообщил, что И. С. Тургенев намерен приехать в Цюрих, чтобы познакомиться с заграничными студентками, с целью запастись материалом для замышляемого романа. Лавров сказал, что думает представить знаменитому писателю нас, присутствующих. Тут все мы, сколько нас было, закричали и замахали руками, об'являя, что не желаем подобных «смотрин» и ни за что не пойдем к Тургеневу. Отпор был такой энергичный и единодушный, что, по тому или по другому, проект рухнул: Тургенев из Парижа так и не приехал, и мы в роман не попали. Роман, который собирался писать Тургенев, вылился потом в «Новь» [1]).

Говоря вообще, влияний личных на молодежь в Цюрихе было мало. Это покажется странным на ряду с такими именами, как Бакунин, Лавров. И все-таки это так: влияние идей—вот что было могущественно. С Петром Лавровичем все были далеки, кроме Смирнова, Идельсон, которые жили с ним на одной квартире, студента-медика Гинзбурга, довольно долго жившего в Цюрихе, и Подолинского, которого Лавров не раз упоминает в своих воспоминаниях. К личности Лаврова относились с почтительностью, но при этом не было ни теплоты, ни горячности. Другое дело—Бакунин.

---

[1]) Читая в свое время этот роман, я поражалась верностью типов, выведенных в нем. Хотя И. С. и не встречался ни с кем из «фричей», но его Машурина—вылитый портрет Веры Любатович, которую мы прозвали «Волчонком» за ее резкость, а Марианна—очень напоминала мою сестру Лидию.

Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм, и в общем можно сказать, что все мы, вплоть до «фричей», набиравших первый том «Вперед», были антигосударственниками в смысле бакунинском и увлекались поэзией разрушения в его листках и брошюрах. Под влиянием его статей мы верили в творческие силы народных масс, которые, стряхнув могучим порывом гнет государственного деспотизма, создадут самопроизвольно на развалинах старого строя новые, справедливые формы жизни, идеал которых инстинктивно живет в душе народа. Расстояние отделяло нас от всемирного бунтаря и разрушителя; он жил в Локарно, куда к нему из Цюриха наезжали только близкие приверженцы и ученики из ранней русской колонии. Иногда, впрочем, приезжал в Цюрих и он сам: ведь были у него друзья — бремершлюссельцы, а в руках Росса, Ралли и К° была типография для печатания его произведений. Но все это было за спиной широкой публики, было скрыто тщательной конспирацией от ее глаз. Сначала история со старой библиотекой, с бремершлюссельцами, оставшимися верными ей, а потом вскоре последовавшее избиение Смирнова, бывшего на нашей стороне, Соколовым, явившимся на квартиру Смирнова для об'яснений по поводу книги Соколова «Отщепенцы» с двумя спутниками бремершлюссельцами (Светловским и Ралли), не только положили непроходимую пропасть между враждующими лагерями, но и совершенно отрезали нас от личного общения с тем, кто был тогда для нас наиболее желанным учителем. Как величавая тень, проходил он где-то поблизости от нас в Цюрихе. Его колоссальную фигуру с львиной головой я видела лишь однажды мельком на улице [1]). Но не беда: любовь и удивле-

[1]) Мои друзья «фричи» были счастливее: они ездили на конгресс в Сент-Имье, на котором выступал Бакунин.

ние к нему не переставали жить в нас. Так, в истории русской революционной колонии в Цюрихе случилось, что бакунисты по идеям и темпераменту группировались около Лаврова, а не около Бакунина, и помогали изданию «Вперед», а не работали в типографии, печатавшей произведения Бакунина.

Выдача Нечаева.

Осенью 1872 г., благодаря предательству поляка Стемпковского, в Цюрихе был арестован, а потом выдан русскому правительству Нечаев. О пребывании Нечаева в Цюрихе и его подпольной деятельности студенческая масса ровно ничего не знала. Известие об аресте и о том, что русское правительство требует выдачи Нечаева, упало нам, как снег на голову, и удивительно, несмотря на нашу легкую возбудимость, оно не вызвало никакого особенного волнения. Зашевелились только близкие к Бакунину лица, имевшие сношения с Нечаевым, когда он скрывался в Цюрихе. Они издали небольшое воззвание к «Швейцарскому народу» на немецком языке и созывали собрания рабочих с целью протеста против ареста и для раз'яснения политического характера деятельности Нечаева, по которой он не должен был подлежать выдаче России. Все было тщетно: агитация имела совершенно ничтожные размеры и не могла иметь влияния на швейцарское правительство. Прошел месяц, в течение которого шли переговоры между федеральными властями Швейцарской республики и представителями самодержавной Российской империи, и на основании обещания, что за убийство Иванова Нечаев будет подвергнут суду, как уголовный, — он был выдан и увезен в Россию. Был между нами слух, что по дороге из тюрьмы на вокзал замышлялась попытка отбить Нечаева, и в воспоминаниях Ралли есть указание, что он должен был принять участие в этом деле, но Бакунин не сочувствовал попытке и удалил Ралли из Цю-

риха, дав ему поручение в Яссах [1]). Окруженный со всех сторон вооруженной стражей, Нечаев без инцидентов был препровожден на вокзал, и его судьба свершилась. Из студенток сильно волновалась только одна Южакова, бывшая и тогда, и после ярой якобинкой; мы остальные, можно сказать, и пальцем не пошевелили. Были ли мы недостаточно развиты политически, чтобы так или иначе активно реагировать на совершавшееся нарушение права убежища в республике, в стране свободного народа, или это зависело от того, что мы чувствовали нравственное отвращение к кровавому делу в гроте Петровско-Разумовского парка,—трудно сказать. Последнее, быть может, вернее. Ведь никто в то время не верил, что убитый Иванов был предателем, а политика Нечаева, его «цель оправдывает средства» отталкивала от него решительно всю молодежь. Симпатии к Нечаеву, как к человеку известного нравственного облика, ни у кого не было. Подняться над осуждением Нечаева, как общественного деятеля и человека, подняться во имя права, против лицемерия правительства могущественного государства и вероломства слабого, в ту эпоху мы были, видимо, не в состоянии.

Так кончилась эта печальная история, в которой мы выказали полное безучастие [2]).

Вакат 1873 года.

Весенний вакат был веселой интермедией. Сложив учебники гистологии и физиологии, мы, студентки, в количестве 8 душ, сели в поезд и двинулись вон из Цюриха провести несколько недель в новой обстановке. Не знаю, почему мы наметили целью своего путешествия Невшатель, совсем не

---

[1]) Сборник «О минувшем»; статья Ралли, стр. 335.

[2]) В настоящее время появилась великолепная монография о Нечаеве, составленная П. Щеголевым и рисующая трагическую личность Нечаева во весь рост (см. «Красный Архив», кн. 3 и 4).

отличающийся особенно живописным местоположением. Быть может, этот город привлекал тем, что там жил выдающийся член Интернационала, Джемс Гильом, с которым «фричи» познакомились на конгрессе анархистов в St. Imier. Однако, мы думали поселиться не в самом Невшателе, а где-нибудь в окрестностях, которые предполагали исходить пешком.

По приезде в Невшатель, прежде всего надо было утолить волчий аппетит молодых путешественниц. Зашли в ресторан, совершенно пустой, и по-домашнему разместились вокруг стола. После супа подают второе: что за диво? все какие-то маленькие, беленькие ножки. Спинка и при ней пара белых ножек. Птичка, что ли, какая-нибудь? недоумеваем мы. Неужели крошечные цыплята? «Что-то подозрительное»... ворчит младшая Любатович. «Неужели истребили столько молодых цыплят?», сокрушается Каминская.

У некоторых «фричей» были прозвища: младшую Любатович звали волчонком за угрюмый взгляд исподлобья и постоянную ругань чортом и буржуем. Старшую—в шутку—называли акулой за ненасытный аппетит; Аптекман прозвали гусаром за мужественный вид, а Бардину величали теткой за солидность и дипломатические способности.

— Тётка,—зашептали голоса,—спроси хозяина, что это за блюдо? мы не будем есть, пока не узнаем.

Бардина надевает пенснэ на свой остроконечный носик и задает вопрос. В ответ мы слышим:

— Ce sont des grenouilles, madame!

Конечно, никто не притронулся к лягушкам, и хозяин унес блюдо, удивляясь, что мы пренебрегаем подобным деликатессом.

Встав довольно налегке из-за стола и посмеявшись над своим невежеством относительно лягушек, мы отправились гуртом в обход окрестностей, сопровождаемые стаей уличных мальчишек, которые, при виде нашего «гусара», кричали:

— «Ce n'est pas une femme—c'est un homme!..».

В 3—4 километрах от города, на берегу Биеннского озера, мы попали в местечко Лютри. Селенье — маленькое, невзрачное, а озеро—изо всех виденных озер Швейцарии—самое плохонькое. Берега лишены лучшего украшения швейцарского пейзажа—гор, а вода не имеет ни синего, ни зеленого цвета, свойственного озерным водам этой страны. Но, как ни ничтожна деревушка, в ней оказался пансион для молодых девиц, в данный момент распущенных на вакат. Мы позвонили тут. Вышла особа, похожая на классную даму наших институтов: старая дева, в очках, с педагогически строгим выражением лица: m-lle Auguste — начальница и руководительница пансиона.

Никому из нас не было более 21 года, многие были коротко острижены и казались моложе своих лет—могли, пожалуй, сойти за свежий выводок тех же пансионерок, о которых пеклась мадмуазель Огюст. Осмотрев нас критическим взором и расспросив, кто мы и каковы наши намерения, она ушла посоветоваться с матерью, добродушной старухой, которая вела хозяйственную часть этого воспитательного заведения, и вернулась с благоприятным ответом. За очень умеренную плату мы водворились в этой тихой обители юных душ. В нашем распоряжении был дортуар — две комнаты с 8 кроватями; обедали мы в столовой, где нас кормили довольно скудно, и весь день могли проводить в саду. Скученные в дортуаре, мы не тяготились теснотой, и было весело, лежа в постелях, вечером и утром болтать и шутить, задирая друг друга. Стрелы направлялись порой на «тетку», порой на «волчонка», но всего чаще на «гусара», у которого мы находили смешные странности.

— Гусар! который час?—кричит кто-нибудь утром из-под одеяла.

Гусар молчит, хотя не спит и часы от него близехонько.

— Гусар!—рычит волчонок,—да отвечай же.

Гусар—ни ту-ту. Возгласы удваиваются... Тщетно.

Наконец, словно шипенье старинных стенных часов, под дружеский хохот всей колонии, раздается:

— Вы знаете, по утрам я не говорю!..

И только. Который час—так и остается неизвестным.

В Невшателе была секция Интернационала, во главе ее стоял уже упомянутый Гильом, по профессии преподаватель средней школы. Вместе с Швицгебелем и Спихигером он руководил Юрской федерацией Международного общества рабочих в Швейцарии. За полгода перед тем, в сентябре 1872 года, в Гааге состоялся общий конгресс Интернационала, имевший громадное значение на всю последующую историю его. Конгрессисты большинством голосов подчеркнули необходимость политической деятельности для пролетариата, усилили власть генерального совета Интернационала, но вместе с тем постановили перенести местопребывание его в Нью-Йорк. Строго осудив Alliance de la democratie socialiste,—тайную организацию, которую Бакунин завел в недрах Международного общества,—Гаагский конгресс исключил из числа членов общества как Бакунина, так и Гильома. Юрская федерация, бывшая детищем этих двух деятелей, протестовала против всех решений конгресса и стала центром, около которого мало-по-малу сгруппировались как все недовольные политикой генерального совета, которым управлял Маркс, так в особенности те федерации, которые под влиянием анархических идей Бакунина совершенно исключали какое бы то ни было участие рабочего класса в политике (Итальянская, Испанская, Бельгийская федерации). И если Santo maestro—Бакунин имел в Италии и Испании целую плеяду учеников и горячих последователей (Малатеста, Коста, Кафиеро, Фанелли, Алерини, Фарга и др.), то во французской Швейцарии правой рукой его был историк Интернационала, Джемс Гильом, в котором, на ряду с предан-

ностью Бакунину, даже время не погасило жгучей ненависти к Карлу Марксу.

В то время в немецкой Швейцарии Интернационал был развит слабо, и движение рабочего класса шло скорее в сторону профессиональных союзов и Bildungsverein'ов. В этой области уже тогда выдающееся место занимал Грелих, столь известный впоследствии член федерального совета Швейцарской республики. В Цюрихе, который далеко не был таким крупным промышленным центром, каким он является теперь, я даже не помню, чтоб, кроме Славянской секции Интернационала, была и Швейцарская. В Берне, куда я переехала, бывало человек 7—8 рабочих, не больше. Между тем организатором ее был очень деятельный, образованный французский изгнанник Брусс, учившийся одновременно со мной медицине в Бернском университете, и в секцию заглядывал знаменитый Элизе Реклю, производивший своей личностью чарующее впечатление. Большее распространение имел Интернационал во французской Швейцарии, сосредоточиваясь в местности, занятой часовым производством. Секции Локля, Шо-де фона, Сонвилье, Невшателя и др. и составляли Юрскую федерацию, бывшую одно время, благодаря центральному положению Швейцарии, чуть не главным очагом анархического Интернационала. Тут-то и были главными деятелями Швицгебель, Спихигер и Джемс Гильом. Худощавая фигура с крупными правильными чертами лица, одухотворенного выражением кроткой грусти, Гильом производил привлекательное впечатление. Невшательская секция, в которой он был главным деятелем, не отличалась многочисленностью членов. Но это только при теперешнем размере рабочего движения кажется ничтожным, а тогда все казалось нам грандиозным и в высшей степени многообещающим. Из Лютри до Невшателя—рукой подать, как же было не пойти на заседание секции, чтоб послушать Гильома и те прения

которые будут происходить между рабочими, а потом разайтись под пение революционной «Карманьолы».

И вот, в один злополучный вечер, наши друзья действительно отправились в Невшатель. Дома остались только двое — я да еще кто-то. И вышел скандал на все Лютри: русские взгляды вошли в конфликт с швейцарскими нравами.

Заседание секции началось, конечно, не раньше 8—8½ часов вечера, когда кончается рабочий день и ужин, и продолжалось до 11-ти. А потом надо было пройти еще 3—4 километра, чтоб добраться до Лютри. Наша деревенька уже потонула во мраке: ведь поселяне всюду рано ложатся спать. Потухли огни и в нашем пансионе. На деревенской колокольне пробило 10, роковой час, когда все порядочные люди Швейцарии должны быть в постели. А наших барышень—все нет. Половина 11-го... 11-ть... Встревоженная m-elle Auguste входит к нам, и начинается об'яснение. Молодым девушкам неприлично ходить по ночам. Наши подруги компрометируют не только себя, но и учебное заведение, приютившее их.. Кто захочет после такого скандала отдать свою дочь в пансион m-lle Auguste? Двенадцатый час, скоро полночь, а барышень, принятых в дом, все нет...

Как на грех, поднимается гроза, и дождь начинает поливать землю. Мать m-lle Auguste от беспокойства не может заснуть... Пустой дом, в котором испуганные фигуры беспрестанно бегают к окнам, кажется сам наполненным электричеством. Мы, две оставшиеся, на голову которых опрокинулись все жалобы и вопли благонамеренных швейцарских педагогов, сами приходим в нервное настроение; чего доброго—не случилось ли в самом деле чего-нибудь с запоздалыми путницами?! Мы ждем—не дождемся их.

Наконец, они приходят, возбужденные и промокшие... И целый поток упреков низвергается на легкомысленные головы. Никакие дипломатические способности «тетки», всегда выручавшие нас в трудные минуты, кажется, не по-

могли в этой деликатной ситуации, и, если не ошибаюсь, нас попросили в наикратчайший срок оставить тихую обитель, в которую мы внесли такое страшное нарушение общественных обычаев. А может быть, инцидент был предан забвению, так как и всего-то мы думали пробыть в Лютри лишь короткое время.

Но вот, что значит сила убеждения: «Гусар» начал пропагандировать m-lle Auguste, и та скоро привязалась к русской девушке и была обращена в социализм. Пугало нигилизма, так резко проявившееся в возвращении молодых студенток домой после полуночи,—было разрушено, и позднее m-lle Auguste была готова для Аптекман на всякую, хотя бы и нелегальную, услугу.

Указ правительства. Конец Цюриха.

Комично звучали слова Эммэ на собрании женского ферейна, что вся Европа смотрит на нас, но что общество и молодежь в России интересовались Цюрихской колонией и в лице отдельных представителей притягивались к ней, было неоспоримым фактом. Личность Бакунина и Лаврова, с которыми можно было встретиться в Цюрихе, их издательская деятельность на ряду с богатой вольной русской библиотекой, привлекали многих; познакомиться с заграничным русским студенчеством и, быть может, присмотреть среди него товарищей для деятельности в России влекло других. Достаточно упомянуть П. А. Кропоткина, первое знакомство которого с социализмом произошло в Цюрихе, где училась его родственница; доктор Кадьян, экономист Зибер, профессор Преображенский, известный петербургский преподаватель Я. Ковальский и многие другие побывали в Цюрихе, а, с другой стороны, Ковалик, Каблиц, В. Дебогорий-Мокриевич тоже прожили некоторое время в нем. Постепенно Цюрих делался некоторым умственным революционным центром, которого не хотел миновать ни один

русский интеллигент, попавший за границу. Но, кроме глаз благожелательных, на Цюрих устремлялось и недреманное око правительства. И вот, среди общего оживления, когда жизнь в Цюрихе кипела ключом, общественные учреждения стали крепко на ноги, обе тайные типографии энергично работали и молодежь пользовалась всеми свободами маленькой республики, приютившей ее, пользовалась весело, шумно и беззаботно, как-будто она тут и родилась и останется навсегда,—внезапно грянул гром и совершенно разрушил Цюрихскую колонию.

В конце весеннего семестра 1873 г. в «Правительственном Вестнике» появилось сообщение относительно цюрихских студенток. Лицемерно соболезнуя увлечениям молодежи революционными, коммунистическими идеями и не добром поминая рефераты о Стеньке Разине и Парижской коммуне, правительство воспретило студенткам дальнейшее пребывание в Цюрихе и, в случае упорства, угрожало недопущением к экзаменам в России.

Впечатление от этого распоряжения было удручающее. Цель, ради которой мы приехали в Цюрих и ради которой было сделано столько усилий, отнималась. Затрата сил оказывалась напрасной—в будущем мы лишались возможности практического применения приобретаемых знаний; наши планы общественной деятельности разрушались... Мало того, правительственное сообщение не остановилось перед грязной клеветой и во всеуслышание об'явило, что под видом наук студентки занимаются свободной любовью и применяют свои медицинские познания к истреблению последствий этой любви... Мы, учившиеся в Цюрихе, всего более были оскорблены этим обвинением. То, что нас изгоняли из Цюриха и заставляли раз'ехаться, бросить занятия в университете, было тяжело и горько, но не затрагивало чести.

Обдумав деловую сторону вопроса и вчитавшись в текст правительственного распоряжения, мы легко нашли возмож-

ность обойти угрозу: циркуляр упоминал лишь о Цюрихе. В будущем лишались прав только те, кто останется там; о других заграничных университетах не говорилось ни слова. Переехать в другие города и в них продолжать курс—таково было решение, которое напрашивалось само собой. Оно и было принято теми, кто хотел продолжать учиться за границей.

Но проглотить молча обвинение в безнравственности казалось невозможным, и мы непременно хотели протестовать против клеветы, протестовать публично, путем печати.

Созвали общее собрание студенток. Опять мы были одни только женщины, но собрались уж не для того, чтоб учиться говорить логично, а чтобы крикнуть: «Не клевещите!».

Собрание в Русском доме было многолюдно. Явились все, даже те, которые по благоразумию или по множеству занятий обыкновенно отсутствовали. Сразу обнаружилось разногласие и противоположность интересов; мы перво- и второкурсницы, фуксы, энергично защищали идею протеста, а спокойно-либерально-буржуазная партия — студентки, близкие к окончанию университета—доказывали бесполезность, нецелесообразность и опасность этого шага. После горячих споров они, наконец, заявили, что, если мы напечатаем протест, они выступят с контр-протестом и подпишут под ним свои имена. Мы были возмущены и моральной стороной такого контр-протеста, и самим разногласием, совершенно дискредитировавшим публичное выступление, которое должно было быть общим.

Поздно разошлись мы в эту ночь после бурных и довольно горьких прений. Не только приходилось перенести безропотно публичное оскорбление, но еще пришлось быть битыми своими же товарками...

Однако, ходил довольно правдоподобный и невольно вызывавший улыбку рассказ, характеризующий дух миролюбия даже у протестанток. В Цюрихе жил некий Владыкин,

бывший актёр и богатый помещик Пензенской губернии. Попал он в Цюрих потому, что жена, женщина уже за 40 лет, покинув поместье, приехала, как и мы, в Цюрих изучать медицину, чтобы быть полезной в деревне. Благодаря тому, что он приехал исключительно ради жены, Владыкин не без юмора называл себя «attaché à sa femme». Он страшно скучал, проживая без всякого дела, и в противоположность жене, которая вся отдалась медицине, был постоянным посетителем всевозможных русских собраний, относясь в высшей степени добродушно ко всей молодежи.

Вот этот Владыкин потом и рассказывал, что, когда после собрания по поводу протеста мы группами расходились по домам,—вместо проклятий и брани по адресу правительства шеренга «фричей» с Варей Александровой в центре пела:

«Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!..

А потом:

«Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!»

И, наконец, с особым одушевлением:

«Провозглашать *любви* ученье
Мы будем нищим, богачам,
Из-за него *снесем гоненье,*
Простив озлобленным врагам!»

«*Простив озлобленным врагам!*»... повторял с умилением Владыкин, видевший в этих строках ответ на гонение со стороны правительства.

Варя Александрова (впоследствии Натансон) была миловидная блондинка с льняными, почти белыми волосами. Коротко остриженные и всегда в лирическом беспорядке, эти волосы составляли вокруг ее лица нечто в роде светозарного венчика. Этот венчик еще более бросался в глаза

от восторженного выражения, которое было свойственно лицу: было какое-то сияние и в этом лице, и в этом венчике. Владыкин находил, что Варя похожа на ангела, и этот образ беленького ангела прекрасно гармонировал с плещеевским

. . . . . снесем гоненье,
Простив озлобленным врагам! . . . .

Отповедь правительству за преследование студенток была сделана Лавровым; он выпустил воззвание к цюрихским студенткам, в котором отразил цинические нападки на женскую молодежь.

Разорили студенческую общину, разрушили все начинания, все группировки и развеяли нас в разные стороны. Студентки старших курсов остались в Цюрихе, правильно рассчитывая, что, если учащаяся масса рассыплется, они, не уезжая, втихомолку благополучно кончат курс, и правительство не будет мстить этим одиночкам, раз Цюрих, как революционное гнездо, будет разорен. Многие, по разным мотивам, вернулись на родину. Растаяла, как-то рассосалась мужская молодежь. Группа студенток отправилась в Париж, но большинство перешло в Бернский университет и частью в Женеву. В Париже в то время две русские уже были на медицинском факультете; тем не менее, получив десяток новых прошений о приеме в университет, министр народного просвещения обратился с запросом в русское посольство и, получив соответствующий ответ, отказал в приеме. Лишь спустя некоторое время граф Орлов, познакомившись с бывшей цюрихской студенткой Окуньковой, переменил гнев на милость. По его протекции Окунькова была принята; тогда министр не нашел нужным отказывать и другим. Так были приняты Бардина, моя сестра Лидия, В. Александрова, две Тумановы и другие. Я тоже отправилась, было, в Париж, но тотчас после отказа, боясь потерять время, перешла в Бернский университет. Так мы рассыпались на отдельные атомы

и группы. Общая жизнь прекратилась; студенчества, как целого, более не существовало. Колония в Берне была наиболее многочисленна, но ничего связующего всех слушательниц там не было, даже практической попытки создать какое-нибудь общественное учреждение среди студенчества в этом городе не возникло. «Революция осталась в шкапах», по выражению г-жи Владыкиной, т.-е. в Цюрихе.

Это можно было понимать и метафорически, и буквально. Как маленький революционный очаг, привлекавший взоры русских, Цюрих, с его библиотекой, потерял значение, чтоб никогда уж не подняться на прежнюю высоту. Обе типографии, бакунинская и лавровская, перебрались со своим персоналом в Лондон. Что касается до революции в виде книжного богатства, то старая библиотека бремершлюссельцев была по нотариальному акту передана Россом эмигранту Элпидину, жившему в Женеве; некоторое время она функционировала там в качестве обыкновенного частного предприятия. Без общественной поддержки, по малочисленности подписчиков она просуществовала недолго и была закрыта, а впоследствии, по смерти Элпидина, книги перешли ко второй жене его, итальянке, как говорят, совершенно невежественной. Эта особа по мелочам сбывала редкие издания, ценные книги, которые в беспорядке валялись у нее на чердаке. А. Росс был осужден по процессу «193-х», попал в Белгородскую централку вместе с Мышкиным и Рогачевым, а потом в Сибирь, в Якутскую область.

Прошли целые десятилетия, нотариальный акт, который передавал библиотеку лишь во временное распоряжение Элпидина, давно потерял силу, и выручить ее из рук его вдовы уже не было возможности.

Что касается до другой библиотеки, основанной нами, студенчеством 1872 года, то она осталась в Цюрихе: на страже ее долго оставалась превосходная библиотекарша Переяславцева—старшая, естественница, заведывавшая впо-

ствии биологической станцией в Севастополе. Много пришлось ей претерпеть на посту при библиотеке. После раз'езда женской молодежи около библиотеки начались дрязги. Оказались недовольные, желавшие сместить Переяславцеву. Междоусобие кончилось скандалом; противники Переяславцевой, взломав замки, проникли в библиотеку. Переяславцева подала на них жалобу в суд... Развал был полный—библиотека явно клонилась к упадку. Общественное учреждение опять оказалось недолговечным, и библиотека в Цюрихе исчезла.

Я слышала, что многие книги со штемпелем этой библиотеки еще существуют в настоящее время [1]) в русской библиотеке в Мюнхене, но когда и кем они переданы туда—мне неизвестно.

Я помню хорошо, что, приехав в Берн, мы, несколько «фричей», не последовавших за товарищами, поселившимися в Париже, предлагали нашим бернским коллегам по университету перевести богатую Цюрихскую библиотеку в наше новое местожительство. Без дружной поддержки всех учащихся (нас в Берне было человек 40) она, конечно, в Берне не могла бы существовать. Но наши спокойно-либерально-буржуазные консерваторы наотрез отказались от подобного предприятия. Тут-то и были произнесены характерные слова: «Пусть она, эта революция, остается в шкапах, в Цюрихе, из которого мы из-за нее изгнаны». И она осталась. Осталась не только в Цюрихе, но именно в шкапах, не переходя в головы читателей: ее роль, как будителя социалистической мысли, была сыграна и отошла в прошлое, и я не слыхала, чтоб в дальнейшем библиотека имела такое воспитательное значение, какое она имела в 72—73-х годах.

С разгоном цюрихских студенток уже нигде за границей не возникало центра, подобного цюрихскому. В Берне, куда

---

[1]) Написано в 1913/14 г.

переехала я, царил уже совсем иной дух. Здесь были молодые женщины и девушки из более обеспеченного класса, и их одушевляло исключительно стремление к специальному образованию. Они учились добросовестно, с большим рвением, но только одной учебой и занимались. Из них вышли искусные врачи: Зибер (Шумова), Штофф, Симонович-Шор, Берлинерблау, Яковлева, Путята, Шлыкова, Зибольд и др. Громадное большинство, выйдя на арену жизни, занималось городской практикой. Если не ошибаюсь, только Яковлева много лет служила в земстве, да Дмитриева, которую за фигуру и рост мы называли Элефантиной, выказала себя настоящей героиней. В сербскую войну, когда под огнем неприятеля мужчины отказывались итти подбирать раненых, она неустрашимо шла вперед и своим примером увлекала более робких. Эта часть студенчества, не примкнувшая к социализму и активной борьбе за свободу, может быть отнесена к числу тех пионерок русского женского движения, которые на деле боролись за равноправие в области высшего специального образования и с блестящим успехом достигали его. Вообще же говоря, заграничные студентки в массе не были поборницами «женского вопроса» и относились с улыбкой ко всякого рода напоминаниям о нем. Мы приехали, не думая о каком бы то ни было пионерстве, не для того, чтоб способствовать фактическому разрешению женского вопроса, он не казался нам даже и требующим такого утверждения. Это было дело прошлое; равенство мужчины и женщины, как принцип, был приобретением еще 60-х годов, передавших последующим поколениям богатое наследство демократических идей. Мы, собственно, стремились даже не к высшему образованию, как таковому, считая, что развить ум и обогатить его знанием можно путем самодеятельности, без особых указок. В этом отношении у нас была развита самодеятельность. «Фричи» да и другие кружки не искали авторитетных лиц для выработки программ чтения и занятий по

самообразованию, а сами ставили себе цель и осуществляли усилиями своего маленького коллектива. Ни о каких рефератах со стороны тогда и в мыслях не было; был заметен даже молодой гонор, не позволявший искать у других разрешения вопросов. Этого разрешения искали в книгах и в беседах между собой, среди равных. Искали в текущей журналистике, в окружающей жизни; искали и должны были находить; в этом отношении и Лавров не имел личного влияния. Отправившись в Цюрих не за высшим образованием вообще, мы искали специального, и большинство шло в медики, чтоб иметь в руках *орудие для общественной деятельности*. Стремление быть полезными обществу—вот наиболее подходящая формула для настроения цюрихской молодежи 1872 года. О социализме, как я уже упоминала, одни до Цюриха ровно ничего не знали; другие, немногие, имели, быть может, отдаленное представление о нем; но общественный инстинкт пронизывал всех и был той подготовленной почвой, на которой выросло участие известной части этой молодежи в русском социально-революционном движении 70-х годов.

Новые идеи делают меня социалисткой [1]).

Как только я приехала в Цюрих и немного осмотрелась, в моем уме началась работа. Возник ряд вопросов, существование которых я не подозревала, ничего о них не слыхала, а сами собой в моей голове они не возникали. Теперь они колебали взгляды, которые бессознательно я усвоила в детстве, а после выхода из института восприняла от окружавших меня более развитых людей,—колебали и требовали ответа.

Эти вопросы в основании своем носили характер этический, потому что к социализму и революционным убеждениям меня привели нравственные начала, которые заложены в них.

---

[1]) Написано в 1913/14 г. в Кларане.

До сих пор, подобно тому, как я смотрела на всю природу, как на нечто данное, не спрашивая ни о прошлом, ни о будущем вселенной, так и человеческое общество, его социальный строй и государственную форму я принимала, как факт, такими, какими они являлись в данный момент, не задумываясь ни над происхождением, ни над возможностью изменения их.

Разделение на богатых и бедных, конечно, я видела, не могла не видеть; но у меня не было ни малейшей идеи о социальной несправедливости этого разделения; я знала, что в обществе существуют сословия: дворяне, мещане, крестьяне, но не имела понятия о классе. В моем словаре не было слов: «капитал», «пролетариат», «общественный паразитизм».

Есть на свете бедные, существуют нищие. Есть болезни, существует невежество. Тот, кто, подобно мне, родился в семье состоятельной и получил образование, должен, подобно мне, иметь естественное стремление притти на помощь беднякам. Помочь крестьянину купить лошадь, а погорельцу выстроить избу; в качестве врача лечить чахоточных и тифозных, делать операции, давать советы по медицине и тигиене; в качестве земца устраивать школы, распространять грамотность, заводить элеваторы, чтоб сберечь крестьянскую копейку, — такова была общественная программа, которую под влиянием журналистики и воздействия со стороны матери и дяди П. Х. Куприянова я создала себе перед от'ездом в Цюрих. Что же касается до устройства политического, о нем я или совсем не думала, или, поскольку думала, идеалом (под влиянием того же дяди и в особенности мужа моей тетки М. Ф. Головня) считала государственное устройство Швейцарии и С.-А. Штатов, о которых читала очень известные тогда книги Диксона. Но о том, как практически стремиться к водворению подобного строя в России, я не размышляла и вопроса об этом себе не задавала. Дядя

Куприянов, слова которого имели в моих глазах громадный вес, однажды уверенно сказал: «Каждый народ достоин своего правительства», и сослался на Джон-Стюарт Милля. Я приняла это за аксиому и успокоилась: никакой оговорки к этому, в известном смысле правильному, тезису мне не пришло в голову, и никто из присутствовавших никакого возражения по этому поводу не сделал.

Незадолго перед тем, как мог осуществиться мой от'езд в Цюрих для поступления в университет, в Петербурге происходил процесс нечаевцев. Судили: Успенского, Кузнецова, Прыжова, Николаева, Дементьеву и др. Отчеты печатались в газетах, и я читала их, но они не возбуждали во мне никакого интереса: я оставалась холодна и совершенно равнодушна. Относительно целей нечаевцев я ничего не поняла. Узнала лишь, что был убит Иванов, и убит безвинно. Вот тут-то после чтения газеты дядя и сказал: «Каждый народ достоин своего правительства».

А если так, то в данное время в России то самое правительство, какого она заслуживает, а когда Россия станет иною, то получит устройство, похожее на швейцарское или северо-американское, и *выйдет это как-то само собой.*

И вот, я приехала в Цюрих, и со всех сторон началось ниспровержение того, что в 19 лет составляло мои «устои». Как снег на голову, на меня упало, что я, почти только-что выскочившая из института и одушевленная самыми благими стремлениями к науке и добру, я, в мои 19 лет,—уже эксплоататор и моя мать, и мой дядя, и все родные в нашем уезде—жадные, корыстные эксплоататоры: они принадлежат к привилегированному меньшинству, под гнетом которого стонет, вырождается и вымирает масса, пролетариат. Сначала я даже не понимаю, отказываюсь понимать, что все мы действительно таковы, но испытываю смущение и прихожу в нравственное беспокойство. Я отрицаю, спорю и не могу примириться с гнусной ролью, которая приписывается мне

и всем моим близким. Не понимая ничего в политической экономии, я, в детстве плакавшая над Давидом Копперфильдом и Антоном Горемыкой, теперь волнуюсь и скорблю над книгой Флеровского «Положение рабочего класса в России» и сочинением Энгельса «Die Lage der arbeitenden Klassen in England», и мне кажется ужасным, что в то время, как трудящееся большинство погружено в глубокую нищету, я и все мои имеем, что есть, что пить, во что одеваться. Сомнения и противоречия обуревают меня, но мне стыдно обратиться к кому-нибудь за раз'яснением. Я боюсь показаться глупой и невежественной. Все другие, приехавшие в Цюрих раньше меня, кажутся мне такими знающими и развитыми. Они не сомневаются, а *утверждают*. Моя однокурсница по лекциям минералогии Бардина кажется мне единственным человеком, который не осмеет и выведет меня из затруднений. В беседах с ней у меня развязывается язык.

— Ведь мой отец был лесничим, а потом мировым посредником,—говорю я.—Какой же он эксплоататор? Кого он эксплоатировал?

А Бардина со спокойною основательностью указывает, что крестьяне и рабочие платят разные подати, и из денег, внесенных ими в государственное казначейство, выдается жалованье всем чиновникам, в том числе моему отцу и дяде. Подати же добываются тяжелым физическим трудом, потом народа; из скудного заработка, лишая себя всего необходимого, народ несет трудовую копейку в государственную казну и уплачивает косвенные налоги на соль и др. предметы первой необходимости, вынося на своих плечах почти всю тяжесть бюджета. Он живет в нищете, на хлебе и квасе, и, работая с утра до ночи, ходит в лаптях и освещает избу лучиной. И так везде и во всем; будь то министр или профессор, лесничий или судья, мировой посредник или земский врач,—все живут на счет народа, живут в роскоши или довольстве, занимаясь легким, приятным и почетным умствен-

ным трудом, а народ, который всех кормит, всем платит, гнет спину, голодает и пребывает в вечной нужде и невежестве...

— Но нельзя же обойтись без учителя, доктора и судьи!?—защищаю я свою позицию.

— Нельзя,—подтверждает Бардина.—Но вознаграждение труда должно быть справедливым: судья работает меньше, чем рудокоп или крестьянин, а плату получает в сотни раз большую, чем они. Чем больше труд требует затрат от человека, чем он непривлекательнее и тяжелее, тем большее вознаграждение должно бы выпадать на его долю. Но при современном строе дело обстоит как-раз наоборот: чем больше труд, тем меньше вознаграждение. На этой социальной неправде построены все общественные отношения, и все зло, все бедствия современности происходят от этого. Те, кто пользуется выгодами такого устройства, — эксплоататоры, паразиты, потому что берут то, что должно бы принадлежать другим; они живут на чужой счет, отнимая у бедняка последний кусок.

Итак, передо мной встают, с одной стороны, миллионы человеческих существ и их доля—непрерывный труд и нищета с ее спутниками: болезнями, невежеством и преступностью; а с другой—небольшая кучка людей, пользующихся благами жизни, благодаря тому, что за них трудятся другие. Эти понятия бросают совершенно новый и неожиданный свет на все, что я знаю о людях и жизни. Моя мысль и чувства раздваиваются. Ужас лондонских трущоб, позорное угнетение фабричного рабочего, страдания трудящегося люда на промыслах, в мастерских, всюду, как их описывают Энгельс и Флеровский, — неужели же виной всего этого является небольшая кучка, стоящая наверху? Не будь ее—все было бы иначе. И я, Вера Николаевна,—одна из тех, которые, находясь наверху, составляют вместе с другими источник всех бедствий громадного большинства. Трудно

освоиться с такой идеей, трудно признать ее, тем более трудно, что выход может быть только один. Если все это так, то надо отказаться от своего положения, потому что сознавать, что ты причина страдания других, и тем не менее сохранять привилегии, пользоваться преимуществами—немыслимо. Но ведь это значит нырнуть в ту же бедность, грязь и унижение, которые составляют удел угнетенного большинства. Страшно сделать вывод, страшно решиться!

Я не сдаюсь.

— А кто положил деньги в банк и получает проценты—тот уж никаким образом не живет на чужой счет, не эксплоататор?—спрашиваю я.

Но Бардина спокойно и методично доказывает, что и тихое пристанище—банк—есть средство выжимания пота рабочего, и проценты не являются безгрешным доходом.

Из библиотеки я беру рекомендованную мне статистику Кольба. Не было молодого человека, ни одной девушки, которые на ряду с Флеровским не читали бы в то время этой книги. И в ней холодные, сухие цифры показывают, что из года в год, в каждой стране, с небольшими уклонениями в ту или другую сторону, происходит совершенно определенное число краж, убийств и самоубийств. Живут люди и думают, что каждый из них волен в своих действиях; что от его доброй воли зависит украсть или не украсть, убить или не убить. А статистика показывает, что, хочет или не хочет каждый в отдельности, но из каждых 10 тысяч населения столько-то человек совершат кражу, столько-то убьют кого-нибудь или сами наложат на себя руки. Но почему же неизбежно такое роковое повторение одних и тех же цифр? Значит, есть причины более коренные, глубокие, чем индивидуальная воля? Ответ один: общественные условия таковы, что помимо индивидуальных склонностей, темпераментов и желаний они не-

отвратимо приводят к преступлению. Личные воздействия и судебные кары бессильны бороться против факта. Пока данные общественные условия с их экономическим неравенством существуют, до тех пор будет существовать и преступление. Голод, всякого рода обездоленность—вот истинные причины всех краж и насилий над человеческой личностью. От той же нищеты происходят пьянство и проституция—эти два бича современного общества. Не имея работы или получая меньше, чем нужно для существования, мужчина взламывает замок, охраняющий чужое имущество, а женщина, гонимая нуждой, идет продавать свое тело. Напрасно врач лечит больных, он бессилен победить болезнь. Столько-то людей непременно умрет, если не прямо от голода, то от недостаточного питания, плохого жилища и плохой одежды... Тиф, скарлатина и другие эпидемии неизменно получат свое число жертв среди массы населения.

Индивидуальные старанья ничего не могут сделать против могущественного влияния общих условий социального строя, говорит Бардина, прохаживаясь со мной по коридору верхнего этажа Русского дома в Цюрихе. Поэтому, все стремления и силы должны быть направлены не на облегченье судьбы отдельных лиц, не на врачеванье отдельных случаев, а на борьбу и ниспровержение тех социальных учреждений, от которых происходит зло: надо бороться против эксплоатации человека человеком, против частной собственности, против права наследства. Надо уничтожить их, говорит Бардина.

То же говорят книги: говорит Прудон, Луи Блан, говорит Бакунин.

Легко сказать—уничтожить право наследства! Признаюсь, мне жалко уничтожить это право, и я отчетливо сознаю своекорыстный мотив этого чувства... Мне не хочется внезапно оказаться ни с чем. После освобождения

крестьян, когда земля была очень дешева, мой отец приобрел землю по 10—11 рублей за десятину у двух помещиков того села, где было имение, доставшееся матери по наследству. Теперь вся эта земля *сама собой* стала во много раз дороже, и часть ее в свое время должна перейти в мои руки. Как же восстать против права наследства? Признать, что мать не имела права наследовать дедушке, а я сама не имею права наследовать ей! Инстинкт собственности, желание иметь ее, хотя бы в будущем, громко вопиет во мне: мне решительно не хочется остаться нищей. Но цепь логических рассуждений неумолимо приводит и тут к тому, что деньги, когда-то затраченные отцом, были трудовыми деньгами народа. Уклониться от вывода нет возможности, и много, много времени нужно, чтобы устранить и примирить противоречие между желанием сохранить то, что привык считать своим, и новым сознанием, которое говорит, что в *основе всего лежит труд, физический труд, создающий все материальное богатство.*

О необходимости участия в деле созидания народного богатства *труда умственного* обыкновенно не говорилось; и вопрос о нем обсуждался исключительно с точки зрения несправедливости высокой оплаты его по отношению к тяжелому труду физическому. Печать осуждения накладывалась на умственный труд еще и в силу происхождения самой возможности его, лишь благодаря тому, что некоторые группы в обществе, в силу тех или иных условий, освобождают себя от тягостей физического труда и, возлагая его на других, отдают свой досуг культивированию науки и искусства.

И вознося труд физический на высоты социальной этики, мы делали вывод, что единственно чистым, единственно нравственным трудом является труд физический: представители его одного не эксплоатируют *никого;* напротив, все эксплоатируют *их,* и этим совершают величайшую социальную несправедливость.

Уничтожить частную собственность, отменить право наследства—как сделать это? Ведь всякому свое дорого, всякий за свое стоит, и те, кто занял место на пиру жизни, никак не согласятся *добровольно* отречься от своих привилегий!

Программа Международного общества рабочих и сочинения по социализму провозглашали, что *социальная революция* — единственное средство для ниспровержения существующего строя. Эти два слова включали в себе *все* и без всяких деталей казались полны содержания и убедительности. Социальная революция совершит переворот. Народ восстанет [1]) и *провозгласит* отмену частной собственности и права наследства. Земля, фабрики и заводы будут об'явлены общественным достоянием. В противоположность теперешнему порядку, когда одни заняты трудом физическим, а другие—умственным, социальная революция сделает механический труд обязательным для всех. Работать тогда придется всего 6—8 часов в день, а в остальное время каждый будет иметь возможность заниматься работой умственной и пользоваться развлеченьями. Продукты труда, поступив в распоряжение всего общества, будут удовлетворять потребности трудящихся. Право наследства уж потому будет совершенно лишним, что дети будут получать воспитание и образование не от родителей, а от всего общества. То же общество будет заботиться о больных, стариках и калеках.

Все казалось понятно, просто; просто и легко осуществимо. Увлекательная картина фаланстеров Фурье пленяла воображение. Формула «от каждого по способностям и каждому по потребностям» казалась чудным разрешением всех сложных вопросов по организации производства и по-

---

[1]) Войско обязательно перейдет при этом на сторону народа,—уверенно говорили мы.

требления. На фабриках и заводах рабочие естественным образом, без малейшего замешательства во внутренних распорядках, будут продолжать свое дело, дело производства. Продукты своего труда они будут сдавать в общественные магазины. Крестьяне, взяв землю помещиков в общественное владение, будут, как и теперь, обрабатывать поля, но хлеб будет свозиться в общественные амбары. Трудовые общины, фабричные и земледельческие, станут затем обмениваться своими продуктами, расценивая их по количеству затраченного труда. Совокупность всех трудовых общин составит свободную федерацию свободных общин — этот идеал бакунинского анархизма.

Трудно будет лишь тем, кто до переворота, ничего не делая, жил в холе и неге. Трудно тем, кто работал исключительно головой и совсем не приспособлен к труду физическому. Но и тут на помощь приходил Фурье, который указывал, что даже дети могут быть полезны обществу, оказывая множество услуг, не требующих большого напряжения. И так как от каждого будет требоваться *по способностям*, то все слабосильные будут приставлены к самым легким видам труда.

Читали ли мы «L'organisation du travail» Луи Блана, «Путешествие в Икарию» Кабэ или о народном банке Прудона,—все казалось нам легко осуществимым и очень практичным. Слово «утопия» для нас не существовало, а были лишь разные *планы* осуществления социального переворота, и мы с одинаковым увлечением зачитывались пламенными речами гениального Лассаля, призывавшего рабочих к завоеванию государственной власти, и анархическими памфлетами Бакунина, отрицавшего всякую идею государственности и звавшего к беспощадному и бестрепетному разрушению всякого государственного строя. Однако, по господствующему мнению, последнее более подходило к условиям русской жизни: парламента в России не было, о всеобщем

избирательном праве и выборе рабочих в депутаты не могло быть и речи. Зато в древней Руси существовали народоправства, описанные Костомаровым; были артели, о которых мы читали у Флеровского; была община, о которой мы знали из книги Гакстгаузена, из сочинений Герцена, Бакунина, Щапова, Ядринцева и Постникова. Эта община есть прообраз и вместе с тем зародыш будущего справедливого строя. Освободившись от помещика и чиновника, русский народ, в котором не умерли традиции новгородской республики и понизовой вольницы, воскресит древние формы народного веча и сумеет устроиться на началах добра и справедливости, никогда не умиравших в его душе... Возражений не раздавалось ниоткуда, и в увлечениях мы были, можно сказать, единодушны. Менее увлекшиеся или совсем неувлекшиеся стояли где-то поодаль и не вносили диссонанса в господствующую гармонию. Все новые идеи демократизма и экономического равенства с точки зрения логики казались нам совершенно неуязвимыми, а если кто-нибудь высказывался против, то мотивами, с нашей точки зрения, могли быть только эгоизм и трусость.

Если-б эти идеи не подвергались преследованию в России, то несогласие с ними или сомнения относительно их, быть может, рассматривались бы по существу, но так как защитники и проповедники их подвергаются гонению, то всякий, кому дорого личное благополучие по чувству самосохранения, не может принять их, потому что *принять—значит проводить их в жизнь.* Жаль человеку поступиться своим привилегированным положением, не в силах он отказаться от него ради блага народа—вот он и восклицает: «Не осуществимо! Все это — мечтания!». «Поговорите-ка с народом; да он при революции первых же вас вздернет на виселицу!»—говорила мне жена мирового судьи, г-жа Щербачева, которая нам, двадцатилетним, казалась и старой, и

отсталой. «Ну,—думала я, слушая ее,—не боишься ли ты, как бы мужики тебя самое не повесили!».

В кругах, с которыми я наиболее находилась в общении, среди идей, которые мало-по-малу делались привычными, мысль о социальной революции играла громадную роль. Казалось, ни у кого нет сомнения в близости ее. Жизнь не давала никаких данных для подобной уверенности, но тем не менее все были убеждены, что эти данные находятся налицо.

Международная ассоциация рабочих, начало которой восходит к всемирной выставке 1864 года в Лондоне, внутренне клонилась в 1872 году уже к упадку.

Для великой идеи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» время еще не исполнилось. Интернационал возник прежде, чем образовались, развились и окрепли национальные организации отдельных стран, вошедших в состав его. После Гаагского конгресса, когда Бакунин был исключен, и Международная ассоциация распалась на Романскую и Англо-Германскую, а местопребывание главного совета ассоциации было из Европы перенесено в далекую Америку, единство социалистического мира рушилось—ему был нанесен смертельный удар, после которого вскоре наступили последние дни. Но ведь это сделалось ясно только в отдаленности, а в то время видимость еще сохранялась. Происходили конгрессы той и другой партий, разделивших Интернационал. Я сама, в числе других посетителей, присутствовала на конгрессе марксистов и конгрессе бакунистов, из соперничества устроивших в 1874 г. свои конгрессы почти в одно и то же время, в одном и том же городе, в сентябре, в Женеве. И эти конгрессы извне казались блестящими: десятки делегатов произносили речи на английском, французском, итальянском и испанском языках. Правда, ораторами были интеллигенты; сколько за ними стояло рабочих, непосвященному в точности не было изве-

стно, и распада великого начинания никто не замечал. Да и мерка, которую в то вермя мы прикладывали к явлениям, была совершенно особенная. Лассаля в то время в живых уже не было, но его имя мы считали столь же обаятельным для всей рабочей Германии, как оно было для нас самих. А между тем Всеобщий Германский рабочий союз, основанный им, страдал тогда жестоким междоусобием... И сам великий агитатор собрал под свое знамя всего лишь одну тысячу приверженцев. Но эта тысяча казалась нам великой силой, способной одолеть всякого врага. Те же преувеличенные понятия о широком распространении бакунинского Альянса в Италии и Испании заставляли ждать победоносного взрыва в каждой из этих стран, а о французах, этих носителях революционной идеи, нечего и говорить: ведь не заканчивался же Коммуной ряд великих народных движений Франции!

Читая о Роберте Оуэне, об ассоциации рочдельских пионеров и широком ассоциационном движении во Франции 30-х и 40-х годов, мы укреплялись в веровании, что эти ассоциации знаменуют близость наступления лучших, более справедливых форм экономической и общественной жизни. Пускай все эти ассоциации разрушались—мы знали это,—но они гибли в силу чисто внешних причин, от невозможности существования их среди окружающего буржуазного строя. Поставленные на широкую ногу, при обобществлении всего производства, они, конечно, процветали бы.

Мы прочитывали одно за другим главнейшие сочинения по истории народных движений в западной Европе; тут были: крестьянские войны Германии, Великая французская революция XVIII столетия; революционное движение, охватившее романские страны в 20-х годах; французская революция 30-го года, а потом, в 1848 г.—революции во Франции, Пруссии и Австрии; Парижская Коммуна 1871 года; революционное движение в Испании в 1872 году... Игнорируя

большие промежутки между этими проявлениями революционной энергии и в воображении сближая их между собой, мы создавали иллюзию, что, если народные массы и не находятся в перманентном состоянии революции, то всегда готовы к ней, и недостает лишь искры, сравнительно ничтожного толчка, чтоб общественная буря поднялась и затопила ненавистные, обветшалые формы жизни. Излюбленным аргументом невозможности предугадать момент взрыва служил факт, что английский писатель Юнг, посетивший Францию почти накануне Великой революции, не мог, несмотря на свою наблюдательность, заметить в ней никаких признаков грядущих событий.

С упованием наши взоры обращались и к русскому народу. В его прошлом были великие народные взрывы: был Разин, был Пугачев; была Гайдамачина. Вся история крепостного права, с самого возникновения его, есть история народного протеста; в новейшее время—первая половина XIX столетия пестрит крестьянскими волнениями. И перед освобождением крестьян разве император не сказал: «Лучше освободить крестьян сверху, чем ждать их освобождения снизу». Но ведь это освобождение не удовлетворило крестьян: оно было лишь новой формой закрепощения, и народ недоволен, ждет новой воли, которая отдаст в его руки всю землю.

Бакунин провозглашал—и это было ходячим мнением,—что рабочий и крестьянин по самому положению своему—революционер и социалист.

С этой счастливой уверенностью легко было смотреть на будущее.

«Но если народ готов, то почему же, однако, он не восстает?» бывало, спрашиваешь кого-нибудь.

Народ разрознен; он не организован и над ним тяготеет полицейский гнет, подавляющий всякую инициативу.

Роль интеллигенции—принести народу свое знание, внести организацию в ряды его и помочь об'единиться для восстания.

Несмотря на полную уверенность в революционном настроении народных масс и веру в готовность народа перейти к действию, несмотря на веру в близость социальной революции и победоносное осуществление переворота во всем существующем строе, мы странным образом свою личную судьбу отделяли от лучезарной перспективы революции и рисовали ее себе не иначе, как в темных красках.

Все мы погибнем: нас будут преследовать, заключат в тюрьму, пошлют на каторгу и в ссылку... (о смертной казни тогда не помышляли!).

Не знаю, как было у других, но в моих решениях относительно практического приложения наших социалистических убеждений контраст между светлым будущим для народа и печальным уделом для себя сыграл громадную роль. Этот контраст был эмоциональным мотивом, подводным течением в том потоке идей, которые давал Цюрих. Не будь преследований, не знаю, стала ли бы я тогда социалисткой.

Влияние христианства.

Как это ни странно, я, которая без особенной борьбы рассталась с официальной религией, привитой в детстве и отчасти сохраненной в школе, я, совершенно равнодушная ко всем церковным установлениям и, как естественница по образованию, примкнувшая к материалистическому миропониманию, была, однако, насквозь пропитана христианскими идеями аскетизма и подвижничества. 13-летней девочкой я испытала влияние двух книг. То были роман Шпильгагена: «Один в поле не воин» и евангелие. На Шпильгагена мне указал дядя Куприянов, когда я была на вакате, и я увезла в институт несколько переплетенных томов журнала, в котором этот роман был помещен впервые под названием:

«Семейство лесничего». А к евангелию обратилась тогда же, потому что в курс закона божия в этом году входил новый завет. Кажется, только тогда и попала в первый раз эта книга мне в руки. На ряду с поэмой Некрасова «Саша», которая произвела на меня величайшее впечатление *строгим осуждением слова, не переходящего в дело,* две названные книги были в течение всего пребывания в институте важнейшим событием моей внутренней жизни: они заложили фундамент всего моего духовного уклада.

Два образа запечатлелись в тогда формировавшемся уме: с одной стороны, гениальный общественный деятель новых времен, вождь рабочих, блестящий Лео, а с другой— трогательный образ кроткого учителя из Назарета, две тысячи лет тому назад призывавшего к себе всех трудящихся и обремененных. Оба образа сливались в идеал: Лео, в рамках современности, давал очертания жизни, одухотворенной высокой общественной целью. Иисус удовлетворял нравственное чувство, давал в евангелии наибольшее количество когда-либо полученных этических идей, учил, что самопожертвование есть высшее, к чему способен человек. Жить, как Лео, умереть, как Иисус,—вот вывод, к которому приводило чтение этих двух книг.

Мое увлечение евангелием разделяли мои одноклассницы: мы делились впечатлениями, отыскивали и указывали друг другу особенно удачные притчи, изречения и красивые метафоры; восхищались нагорной проповедью и с увлечением, цитируя евангелие, громили книжников и фарисеев.

И многое из этих поучений и обличений укрепилось, как правило поведения, как принцип жизни.

Источник был в высшей степени авторитетный, самый авторитетный, какой мы знали; авторитетный не только потому, что с детства мы привыкли смотреть на евангелие, как на книгу святую, священную. Нет! Пленяла внутренняя, духовная красота учения, невольно влекущая; авторитет-

ность давалась тем, что учение было запечатлено мученичеством, отдачей самого дорогого—жизни. Облеченное в сильное, образное слово, оно действовало тем неотразимее, что никаких отвлекающих впечатлений в институте не было; от внешней обыденной жизни мы были отрезаны, а о жизни внутренней — разве о ней заботился кто-нибудь в институте? Кроме сухих уроков, форменной учебы, разве была у наших «воспитателей» мысль об удовлетворении высших запросов нашей души?

И евангелия никто не рекомендовал нам: мы, так сказать, сами нашли его и оценили.

Надо ли анализировать и приводить цитаты, чтобы показать, как многое, будучи несколько видоизменено, могло по общему духу своему быть приложено к учению социализма и требованиям от последователей его.

«Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня» (Ев. от Матфея, ст. 38, гл. 10).

«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царства божия» (Ев. от Луки, ст. 62, гл. 9).

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ев. от Иоанна, ст. 13, гл. 15).

«Придите ко мне все трудящиеся и обремененные»,—говорил Христос и обращался к беднякам, к народу и из его среды брал апостолов.

«Истинно говорю вам, трудно богатому войти в царствие небесное» (Ев. от Матфея, ст. 23, гл. 19).

«Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим» (Ев. от Матфея, ст. 21, гл. 19).

«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие божие» (Ев. от Матфея, ст. 24, гл. 19).

«Блаженни вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бес-

честное, за сына человеческого» (Ев. от Луки, ст. 22, гл. 6).

Все это складывалось в душе, чтобы впоследствии найти приложение в жизни и деятельности социалиста.

Аскетизм.

Под влиянием евангелия незаметно и бессознательно усваивался взгляд на аскетизм, как нечто высшее в жизни, прекрасное и святое. В институте однажды на экзамен приехал архиерей: среднего роста, с бледным, худым лицом и руками, словно из воска. Эти маленькие, изящные руки давали нам благословение, и, помню, какое почти потрясающее впечатление произвели на меня и кротость лица, и прозрачные руки, и вся фигура аскета, скорее похожего на призрак: земной оболочки, казалось, не было—был только дух.

Помимо евангелия склонность к аскетизму, быть может, была заложена во мне общими условиями воспитания и жизни, последовавшей за институтом. Дома—суровый режим отца; в институте, как во всех закрытых учебных заведениях, ригористическая однотонность в удовлетворении всех материальных потребностей и полное отстранение всех забот о них; а в духовном отношении, благодаря начальнице—Сусанне Александровне Мертваго—вместо светского лоска простое, почти монастырское направление. Потом два года жизни в глухой деревне, мысль о поступлении в заграничный университет и связанная с этим необходимость материального самоограничения.

Теперь в Цюрихе, при знакомстве с социалистическими идеями, аскетизм оказывался необходимым требованием от каждого, принявшего эти идеи; мы, новообращенные, единодушно держались этого.

При существующем строе, в период пропаганды, при враждебном отношении к социализму всех имущих и гонении на него со стороны правительств, каждый последователь его должен был приготовиться ко всякого рода лише-

ниям, материальным и духовным. Чтоб быть на высоте задачи, он должен быть готов ко всем превратностям судьбы; в какие бы неблагоприятные условия жизнь ни поставила его, он должен итти своим путем, не оглядываясь назад.

Строгость отдельных лиц, требовавших отречения от всех благ, доходила до невозможного.

С одной стороны: «Люблю малину со сливками», неосторожно призналась однажды дочь тамбовского помещика Бардина, и была посрамлена членом того же кружка «фричей», к которому принадлежала. Вера Любатович совершенно искренно стала считать с тех пор Бардину «буржуйкой».

С другой стороны, когда в кружке «фричей» (состоявшем исключительно из студенток), при слиянии с кружком кавказцев, обсуждался устав революционной организации, «фричи» предлагали внести безбрачие, как требование от членов. Но мужчины протестовали, и этот пункт не был введен.

Воинствующий социализм, обещающий труждающимся и обремененным истинную свободу, равенство и братство, социализм, не признанный власть и богатство имущими, преследуемый за свои обличения, казался мне новым евангелием, перелицованным согласно изменившимся социальным условиям и современному развитию человечества. Христианские понятия, чувства, воспитанные евангелием, представления о святости аскетизма и самоотречения,—все влекло меня к новому учению. Провозглашать любви ученье, обличать несправедливость существующего строя, бороться во имя освобождения всего человечества против тех, кто захватил богатство и власть, и за это понести преследование—вот, казалось, истинно апостольская миссия новейшего времени.

Так идеал, навеянный в детские годы христианством, сплетался в 20 лет с новыми идеями, полученными теперь, и превращался в идеал общественного деятеля.

Сравнивая деятельность земского врача, которая рисова-

лась мне раньше, с теми новыми перспективами, которые раскрывались теперь, я не могла не отдать предпочтения последним. Разве там, еще в деревне, я не признавала, как аксиому, что основа нравственности состоит в стремлении к наибольшему счастью наибольшего числа людей. Но возможно ли сравнить то, что я дам, как медик, и что вообще может дать медицина, с тем, что обещает социализм и что даст социальная революция? В одном случае уезд, помощь нескольким тысячам... В другом—дело идет о миллионах, о всем человечестве. Величины несравнимые! С одной стороны, жалкий паллиатив, который не устраняет зла; с другой—радикальный переворот, водворение справедливости и на основе экономического равенства и социального братства гармоническое развитие всех физических и духовных сторон человеческой личности.

А потом: как врач, я буду окружена признательностью, любовью и уважением. Моя жизнь будет вполне благополучна. Помогая крестьянам, делая посильное добро, я не буду испытывать ни лишений, ни страданий. Где же тут идеал? Где подвиг?

И вся деятельность медика начинала казаться лишь эгоистическим расширением собственного «я». В ней не было ничего высокого, требующего духовного напряжения, никакой борьбы с самим собой. На такую жизнь, думала я, найдется великое множество охотников! А на другую пойдут немногие. Неужели же выбрать то, что выберут эти многие и итти с ними?! А выбрать надо:

«Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути:
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую
Каким итти?...
Одна просторная
Дорога торная,

По ней громадная
К соблазну жадная
Идет толпа...
О жизни искренной,
О цели выспренной
Там мысль смешна!»...[1])

Ужели итти по ней?! И выбор был сделан.

В период духовного роста непримиримость свойственна громадному большинству людей, и я, конечно, не была исключением. Ну кто ж, в самом деле, признает в 20 лет необходимость компромисса?

Уже в деревне я оказалась способной ученицей моего «учителя» дяди и зоркими глазами присматривалась к окружающим: ставят ли они целью и проводят ли в жизнь принцип наибольшего счастья наибольшего числа людей, который признают в теории?

Вот, я в гостях у князя Волконского, мирового судьи в нашем уезде. И этот молодой, очень неглупый, симпатичный человек говорит, что он исполняет свои судейские обязанности единственно ради жалованья, и если бы ему дали 3.000 рублей за то, чтобы пасти свиней, он взялся бы и за это с не меньшим удовольствием. Я возмущаюсь от всей души. Его слова кажутся мне циничными, и я высказываю свое негодование: как он, общественный деятель, может смотреть так оскорбительно на выполнение почетной должности мирового судьи?!

Вот дядя за чайным столом рассказывает, что земская кушерка совершенно даром получает жалованье и не оказывает никаких услуг населению.

— Так что же ты, земский деятель, молчишь?—говорю я дяде.—Если она бесполезна для крестьян и пренебрегает своими обязанностями, раз'езжая только по помещикам для

[1]) Из поэмы Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо», появившейся позже описываемого времени, но совершенно соответствующей настроению нашей цюрихской молодежи.

частной практики,—выгони ее из земства. Ведь имеешь же ты голос и достаточное влияние для этого!

Дядя поднимает брови, как-будто с любопытством рассматривая меня, и говорит с усмешкой:

— Ну, знаешь, ты у нас настоящий прокурор!

Скоро я добираюсь и до него самого. Происходят земские выборы, и возможными кандидатами в председатели земской управы являются только дядя Куприянов и князь Волконский, который не побрезгует и должностью свинопаса, если дадут тысячи три. Дядя сейчас живет в своем имении и служит мировым судьей. На мой взгляд он *должен* баллотироваться в председатели, в руках которого все земское дело; в противном случае будет выбран Волконский, и дело пострадает от его беспечности и лени. Но личные дела заставляют дядю предпочесть пребывание в имении, тогда как председательство требует нахождения в городе. И дядя не баллотируется. Я считаю это компромиссом: дядя не выполнил того, что должен был сделать; личные удобства и выгоды пересилили в нём интерес общественный. А еще говорил, что основой этики должно служить наибольшее счастье наибольшего числа людей!

Но кто строг к другим, должен быть строг к себе (горе вам, книжники и фарисеи, еже бремена возлагаете неудобоносимые—сами же...), даже строже к себе, чем к другим: к себе надо быть прямо беспощадным.

И вот, с этой точки зрения я снова пересматриваю свои планы на будущее: взвешиваю свои стремления, и мое сознание говорит, что, если я знаю обо всем том, что обещает социализм, о том, что волнует и к чему стремится западно-европейский пролетариат, знаю то, за что боролись лионские ткачи 30-го и июньские борцы 48-го года, то с моей стороны было бы позором удовлетвориться филантропией и либерализмом: они уже не могут нравственно удовлетворить меня. Для меня уж мало такого рода деятельно-

сти. Я не могу помириться на чем-нибудь меньшем, чем идеал всех пророков и мучеников социалистического евангелия. Я хочу быть с ними, хочу быть с народом, со всем человечеством, которое только через социализм достигает существования, достойного звания «человек».

Влияния литературные.

Социалистические взгляды того кружка, к которому принадлежала я, а также и других заграничных кружков того времени, складывались почти исключительно под влиянием писателей, позднее получивших название социалистов-утопистов. Под этим влиянием, совершенно игнорируя об'ективные условия экономической жизни, мы приписывали мысли, *сознанию* всеопределяющую роль. Нам казалось, что для водворения социалистического строя достаточно составить хороший план и убедить в его достоинствах достаточно большое количество людей: тогда без затруднений план будет осуществлен. О необходимости известных экономических предпосылок для обобществления орудий производства и организации коллективного труда мы не думали; а что касается наличия психологических предпосылок, то необходимость их прямо отрицалась. Когда один приезжий из России доказывал мне, что без изменения психологии человека осуществление социализма невозможно, помню, я горячо оспаривала это. С одной стороны, рабочего мы считали социалистом в силу положения его; с другой—казалось достаточно обратиться к разуму любого человека, показать ему справедливость и все преимущества коллективного труда и коллективного пользования продуктами его, чтоб все и каждый *оказались на высоте положения в новом строе* [1]).

---

[1]) Социальная революция представлялась нам возможной и без насильственных действий; если социалистическая пропаганда будет широка, то лет через пять *большинство* будет на стороне социального переустройства; *меньшинство тогда поневоле* подчинится.

Как-то в Шлиссельбурге один товарищ, говоря о семидесятниках, выразился в том смысле, что они были под влиянием французских энциклопедистов, отводивших такую первенствующую, творческую роль уму и сознанию. Но не влияние энциклопедистов, которых мы вовсе не изучали, а знакомство с французскими социалистами приводило нас к убеждению в творческой силе *мысли,* как таковой. Мы думали, что прекрасное учение социализма применимо ко всем временам и народам, на какой бы ступени развития эти народы ни находились. Пускай это будут хоть дикари, пусть самое первобытное, натуральное хозяйство господствует в стране—социализм может быть водворен и там, надо лишь убедить в необходимости его достаточное число людей, а это нетрудно. Мечтательное настроение охватывало нас при сравнении счастливого «естественного состояния» не культурных племен и народов с теми лишениями и страданиями, которые испытывает рабочий класс в капиталистическом обществе. Опоэтизированное блаженное состояние дикарей казалось нам более близким к идеалу, нежели жизнь масс при развитом капиталистическом строе.

На ряду с верой в могущество мысли, в ее способность к *творчеству новых форм жизни,* стояла уверенность в важности роли, которую личность играет в истории. Эту сторону нашего духовного развития культивировала уж не западноевропейская, а наша отечественная литература. «Мыслящий пролетариат» Писарева, «Критически мыслящая личность» Лаврова, «Борьба за индивидуальность» Михайловского,—все клонилось к тому, чтобы внушить веру в себя, в великое значение человека, как творца и строителя социальных форм жизни и двигателя ее.

Незнакомство на первых ступенях нашего развития с великим произведением Маркса накладывало отпечаток на все наше миросозерцание. Чуждые знания об'ективных условий и законов производственных форм и общественных отноше-

ний, мы воспитывались, главным образом, на критике отрицательных сторон капиталистического строя; останавливались на хаотичности производства в нем и разрушительном влиянии капитализма на самый многочисленный и полезный производительный класс. Эти отрицательные стороны были замечены еще в раннюю эпоху развития капитализма и составляли самую сильную сторону произведений социалистов-утопистов. Эта критика легко усваивалась нами и побуждала к протесту, к борьбе против существующего порядка, и сейчас же вступал в силу элемент суб'ективный: если ум человеческий, правильно оценивая все недостатки данного строя, признает его негодным и подлежащим упразднению, то все дело—в *желании* и *решимости* людей уничтожить его.

Воля, добрая воля человека *должна* и *может* быть направлена на это упразднение и на то, чтоб, сообразно указаниям разума, на практике реформировать и преобразовать все сложные отношения современности.

Принадлежа сами к имущественному, привилегированному классу, гонимые к социальному преобразованию не своими классовыми интересами, а идеологическими мотивами, мы увлекались моральной стороной социалистического учения, и, быть может, правы те, кто утверждает, что обращение, если не всех, то очень многих из нас, в социализм имело ту суб'ективную основу, что в нем мы искали нравственного удовлетворения *для себя,* искали подвига, как высшей ступени *самоусовершенствования* и, ставя перед собой задачу социального переустройства на началах справедливости *для всех,* бессознательно хотели святой жизни для себя.

Одной из хороших сторон упомянутых влияний русской литературы на поколение семидесятников было то, что, утверждая личность, они противодействовали лейт-мотиву многих повестей и романов конца 60-х годов, в которых изображалось подавление личности окружающей средой. «Среда заела», говорил роман или повесть, рассказывая судьбу дей-

ствующих лиц; среда оказывалась сильнее личности; в неравной борьбе человек пасует, нравственно падает, бессильно опускает руки. И в жизни было известно, что многие талантливые писатели—Помяловский, Ник. Успенский, Слепцов, Решетников и другие—топили свое дарование в вине и гибли. «Среда заела»,—слышали мы при разговорах о них.

Тут приходили на помощь: «Исторические письма» Лаврова с учением о роли личности в истории; приходили статьи Михайловского: «Борьба за индивидуальность».

Нет, среда не «заест» наше поколение! Личность—великая сила: она имеет громадное влияние на исторический ход событий; она преобразует общество; она сама творит среду. И если эта среда клонит личность к земле, то личность может вознести ее к небу. Личность может бороться и может побеждать, поднимая среду до себя вместо того, чтобы свою индивидуальность принижать до уровня среды.

И молодое поколение бодро выходило на арену жизни с девизом: борьба за социализм! Одушевленное этическим принципом социальной справедливости, оно выявило свой лик в политических процессах 77 и 78-го г.г.—в процессе «193-х», в котором участвовало немало цюрихчан, и особенно ярко—в процессе «50-ти», к которому привлекалось 17 человек (и между ними 12 женщин) из молодежи, учившейся в Цюрихе. Среди них были образы, которые привлекали сердца всех, оставляя неизгладимое впечатление. Поэт, присяжный поверенный А. Л. Боровиковский, будущий сенатор, в трогательном стихотворении, которое имело большое распространение, воспел мою сестру Лидию[1]), а Бардина речью на суде

---

[1]) «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский
Суди, судья, но проще, без затей.
Суди без маски фарисейской,
Без защитительных речей».—

Таково было начало стихотворения Боровиковского. Для конспирации, мы распускали слух, что оно написано С. И. Бардиной, которая, находясь в тюрьме, писала стихи.

внесла свое имя в летопись революционного движения. Люди из совершенно чуждых сфер выражали осужденным женщинам свое сочувствие. Флигель-ад'ютант императора Александра II Кладищев предлагал для попытки освобождения их 10 тысяч рублей,—сумма, крупная для того времени. И кажется, ни один политический процесс своим духовным обликом не вызвал такой общей симпатии, как этот процесс «50-ти». Но все главные участники его были одушевлены именно теми идеями, которые дала нам жизнь в Цюрихе.

Здесь я забегу на 5 лет вперед, чтобы сказать о книге, которая с эмоциональной стороны оставила неизгладимые следы на моей психике и вместе с тем подкрепила оптимистическими перспективами мои социалистические стремления. Я говорю о книге Карла Маркса «Капитал».

Наши кружки не встречали противовеса ни социалистам-утопистам, ни крайностям суб'ективизма. Великое творение Маркса «Капитал» еще не развило всего своего влияния даже в западно-европейском мире. На русском языке первый том «Капитала» появился весной 1872 г., как-раз, когда мы двинулись за границу, и, если не ошибаюсь, в России он распространялся довольно туго, хотя в 1874 г., при обыске у молодежи, полиция эту книгу уже встречала и конфисковывала. Среди нашей заграничной молодежи знакомство с Марксом было еще менее значительно: некоторые читали его в 1875 г. на французском языке, так как на русском экземпляры «Капитала» были редки. В том же году и я прочла первые две главы, но они показались мне крайне трудными, и дальше их я не пошла. Только в 1881 году, когда, по приглашению одних знакомых, я провела некоторое время в Крыму, в окрестностях Судака, у меня было достаточно спокойствия и досуга, чтобы овладеть богатым содержанием этого монументального произведения. Оно произвело на меня исключительное по своей силе впечатление: это было, можно сказать, мое второе крещение в социализм. Пламенное красно-

речие Маркса огненными словами запечатлевало в памяти моей целые страницы. С глубоким вниманием я читала описание экспроприации мелких землевладельцев в Англии, удручающие картины страданий английских прядильщиков и ткачей при введении паровой машины. Чувство ужаса и сострадания охватывало, когда, склонившись над книгой, я перечитывала страницы, в которых изображались поля Индии, усеянные костями людей, погибших от голода по случаю неурожая хлопка, или вскакивала в порыве негодования и бегала по комнате, потрясенная данными, которые были добыты парламентскими анкетами 30-х и 40-х годов о положении труда на фабриках Англии. Рабочие, доведенные до совершенно скотского отупения, христиане, не знающие, кто такой Христос, и как называется страна, в которой они живут... Крошечные дети, малютки 7-ми и даже 5-ти лет, которых железные когти капитализма втягивают в фабричный труд... Было от чего всей крови бросаться в голову...

Но не только одни глубокие эмоции вызвало во мне чтение «Капитала». Я поняла научные основы социализма, которые закладывал Маркс, все то мировоззрение, которое впоследствии получило название материалистического понимания истории.

После того, как Маркс поднес мне отраву, воскресив все горькие переживания, которые я когда-либо испытала в реальной жизни и в ее литературных отражениях, он развернул передо мной иную картину.

Мастерски изобразив отрицательные стороны капитализма, он раскрыл во всю ширь положительные стороны его. Он представил, как в недрах самого капитализма растет и зреет исцеление всех зол его. Отрывая производителей от орудий производства и собирая промышленный пролетариат в громадные фабрики и заводы, капитализм создает ту силу, которая сокрушит его. Маркс нарисовал картину, как, соби-

рая рабочих, капитал об'единяет и организует их; как он воспитывает их в духе борьбы и дисциплины; вливает классовое самосознание и приучает к солидарности и коллективной деятельности во имя интересов своего класса. Постепенно развиваясь, концентрация капитала, с одной стороны, организация рабочих—с другой, достигнут, наконец, высшей степени; противоречие капиталистического строя—противоречие коллективного производства и индивидуального потребления—дойдет до наибольшего напряжения; тогда капиталистическая оболочка лопнет, и экспроприаторы будут экспроприированы. Этот стихийный безостановочный процесс развертывался перед глазами с неизбежностью закона природы. Целые потоки света осветили мой ум. Радостная оптимистическая перспектива развернулась. Поступательное естественное движение капитализма в силу своих имманентных свойств само приведет к своему уничтожению, и на развалинах его, на основе всех приобретений капиталистической эры, воздвигнется здание социализма. Не одни мы, отдельные личности, боремся за освобождение человечества от экономического рабства; вместе с нами и помимо нас к тем же самым целям идет история; независимо от нашей воли, от наших индивидуальных усилий, неизмеримая фатальная сила толкает капиталистический строй в пропасть. Сознание, что за нами, слабыми единицами, стоит могущественный исторический процесс, наполняло восторгом и создавало такую прочную опору для деятельности личности, что, казалось, все трудности борьбы могут быть побеждены.

Я не пересматривала все свои прежние взгляды, все прежние влияния на мой ум, не перерабатывала наново мои воззрения на основах теории Маркса. Прежние взгляды лежали основным пластом, а вверху расположилось все, почерпнутое из книги «Капитал». И эти два слоя не перемешивались сверху донизу, но как-то таинственно об'единялись, удваивая силу убеждения и решимость бороться и биться; биться

теперь же, сейчас, теми средствами, которые имеешь в руках и к которым призывает окружающая действительность.

Это было летом 1881 года, уже после 1-го марта. Действовала «Народная Воля». Некогда было предаваться долгим размышлениям, изучать, продумывать все до конца. Ведь это было уже после того, как движение в народ потерпело крушение; после того, как такое же крушение испытало «народничество» и партия «Земля и Воля» перестала существовать. Крестьянство—цель всех стремлений предыдущего периода—было оставлено в стороне, но рабочий класс еле-еле нарождался в России; только-что взятый от сохи и тесно связанный с деревней, рабочий был еще вполне крестьянином по культурному уровню и психологии... Капитализм делал еще первые шаги свои...

Берн.

Мои университетские занятия с переездом в Берн шли своим чередом. Университет не блестел особенными знаменитостями и считался ниже Цюрихского. Однако, профессор хирургии Кохер был уже тогда звездой первой величины. Слушать его теоретические лекции, начинавшиеся в 7 часов утра, было чистым наслаждением, а искусство, с каким он делал операции, приводило в изумление. Вся его худощавая, хрупкая фигура, его лицо Иисуса, полное тонкой одухотворенности и доброты, невольно привлекали сердца. Маленькие, почти женские, худые руки работали с хладнокровием, отчетливостью и изяществом. Об этом учителе я сохранила самое лучшее воспоминание. Слышать его голос в аудитории, видеть его спокойствие у операционного стола и наблюдать мягкое обращение с больными доставляло прямо эстетическое удовольствие. О нем из всех заграничных профессоров я сохранила трогательную память, как об образце и идеале, к которому должен стремиться врач...

Я занималась усердно и всеми предметами с одинаковым рвением, но из специальностей хирургия и глазные болезни

привлекали меня наиболее. В Берне я уже посещала клиники, делала вскрытия и проходила курс операций. Здоровье у меня было слабое, и хотя я не страдала никакими особенными болезнями, но страшно уставала, изо всех сил стараясь не затягивать курса ученья. Но занятия в университете не занимали всего моего времени, и хотя немного, но я продолжала читать, так как попрежнему интересовалась социальными вопросами. В этот период меня почти мучили вопросы о генезисе и эволюции человеческих учреждений. Я не могла представить себе, как жило человечество в стародавние века, в период доисторический. Чем были тогда: религия, брак, собственность и государство? Но книг по первобытной культуре в первой половине 70-х годов на русском языке, кажется, совсем не было. И первой книгой, которая явилась для меня настоящим откровением в этой темной области, была книга Леббока «Начало цивилизации». Она открыла для меня совершенно новый уголок человеческого знания. Я прочла ее с увлечением, и всякий знает, с какою признательностью к автору закрываешь книгу, которая обогатила тебя и расширила твой умственный горизонт [1]).

В Берн одновременно со мной из Цюриха переехали сестры Любатович, Каминская, Топоркова и Аптекман. Мы продолжали еженедельно собираться для общего чтения и реферирования.

Лекции, клиники и практические занятия по факультету, чтение в одиночку и чтения сообща не мешали, по временам, совершать большие экскурсии. Я ездила в Швейцарский Оберланд, была у истоков Ары и Роны, прошла

---

[1]) Надо заметить, что мое стремление составить себе понятие о первобытной культуре подверглось тогда осмеянию: Иванчин-Писарев (в то время эмигрант), в письме на мой запрос о литературе по вопросам происхождения семьи, собственности и государства, вышучивал меня, сравнивая с дьяконом (в одном рассказе Г. Успенского), хотевшим дойти «до корня» всех вещей.

с проводником по Mer de glace с его голубыми трещинами и ручейками, журчащими под палящими отраженными лучами солнца. Видела Лаутербруннен, любовалась водяной пылью Штауббаха, слушала многократное горное эхо и оригинальные «иодли» альпийских пастухов...

Злая шутка.

Несмотря на серьезные учебные занятия и серьезные планы будущего, по натуре я оставалась той же шалуньей, какой прославилась в институте. Иногда совершенно необузданная веселость овладевала мной, и я шутила без конца, заставляя смеяться всех. Одна проказа завела меня даже слишком далеко и заставила горько каяться.

В Женеве, во время ваката, я познакомилась с Ткачевым, который незадолго перед тем эмигрировал из ссылки в Псковской губернии. На политические темы мы скоро об'яснились. Его заведомое якобинство решительно претило нам, и когда позднее он пытался войти в деловые переговоры с «фричами» относительно деятельности в России, его постигла неудача. Первые номера «Набата» не только не вызвали сочувствия, над ними просто смеялись. Но помимо его политической теории, мы как-то не чувствовали в нем серьезного общественного деятеля—его личность нисколько не импонировала. Но он был очень веселым человеком и приятным собеседником, с которым можно было стоять на товарищеской ноге. Мне лично было всегда весело и легко в его компании, и мы нередко проводили время, катаясь по Женевскому озеру, бродя вечером по набережной и при случае соперничая и подзадоривая друг друга остротами, выдумывали какие-нибудь шалости.

Был в то время некий полковник Фалецкий, приехавший за границу для того, чтобы, как говорил он, основать эмигрантскую кассу. Идея была нелепая, потому что эмигрантов в то время было два—три и обчелся. Эмигранты старые,

не по возрасту, а по времени прибытия за границу, ни в каких кассах не нуждались: кое-кто имел собственные средства, другие существовали каким-нибудь заработком. Так или иначе все имели занятия, были у какого-нибудь дела. Из молодых было только трое, и они жили в Женеве физическим трудом. Но взявшись за свою миссию, ради нее отправившись из России в Швейцарию, полковник даже и не мог знать о их существовании. Казалось, присмотревшись, можно было убедиться, что никакой кассы для эмигрантов не нужно. Но полковник был переполнен сознанием важности предстоящего ему дела и трезвонил о нем всюду. Он шушукался кое с кем из старых эмигрантов, и даже был составлен устав, который полковник предполагал отвезти в Россию. Время возвращения уже приближалось, а вместе с тем различные опасения стали волновать полковника. Направо и налево, всем по секрету, он сообщал, что боится быть арестованным на границе, потому что уж наверное правительство осведомлено о его сношениях с людьми скомпрометированными.

— А ведь всего несколько месяцев остается до пенсии,— сокрушался старик.—Ах, как бы пронесло!.. Только бы границу переехать,—и он нервно совещался, куда повернее запрятать устав.

Я и Ткачев в числе других были посвящены в муки этого «и хочется и колется». И вот, гениальная мысль осенила нас. После некоторого совещания я и Ткачев отправились ко мне и сочинили письмо, которое гласило приблизительно следующее:

«Милостивый государь!

Я не знаю вас, а вы не знаете меня, но я должна предупредить вас: вам грозит опасность. На русской границе вы будете задержаны, обысканы и арестованы. Приходите сегодня в 8 часов вечера на остров Жан-Жак-Руссо. На ска-

мейке под деревом вы увидите даму под зеленой вуалью: от нее узнаете все подробности.

Благожелательная незнакомка».

Вполне удовлетворенные текстом, мы положили его в конверт и вышли на улицу, направляясь в сторону, где жил полковник. Пройдя несколько раз мимо окон его квартиры, мы убедились, что хозяин отсутствует,—одна минута—швырк—и подметное письмо через окно было брошено в комнату...

Потом мы поспешили к студентке Като Николадзе (сестре литератора) и, посвятив в нашу затею, попросили нацепить на себя зеленый вуаль и быть в 8 ч. в условном месте на острове Руссо. Като с восторгом согласилась принять титул княжны Чавчевадзе и рассказать полковнику целую историю о том, что в Hôtel de Ville у нее есть приятель—швейцарец, который от сослуживца, заведующего отделом наблюдения за русскими, узнал, что в Женеве проживает некий Фалецкий, находящийся под слежкой агентов русского правительства. Как только Ф. доедет до Эйдкунена, он будет схвачен и арестован. Знакомый княжны Чавчевадзе тотчас поспешил известить ее о судьбе, которая грозит ее соотечественнику... Свою роль Като выполнила блестяще: захлебываясь от смеха, она рассказала нам, что все шло, как по маслу, и она оставила полковника в каталептическом состоянии ужаса и огорчения.

Уж и смеялись же мы с Ткачевым в этот тихий, летний вечер! А расстроенный полковник пошел всем жаловаться на свою беду: теперь вся его жизнь разбита, все рухнуло. Приехав для того, чтобы организовать помощь эмигрантам, он сам попал в число их; ему нет возврата на родину, он должен навсегда остаться за границей, остаться без всяких средств, потому что пенсии ему уже не видать... А всего-то несколько месяцев оставалось дослужить до

срока! Так он ходил по всем знакомым и всюду ламентировал, что уже не может ехать в Россию и все его планы перевернулись вверх дном. Однако, нашелся кто-то и говорит:

— «Да что это за Чавчевадзе? Что это за княжна такая?» и посоветовали сходить за справками к Элпидину, не даст ли он каких-нибудь указаний? не может ли проверить сообщение?

Пошел полковник, а Элпидин был в то время настоящим шпиономаном. Ходил даже анекдот, что после многих лет счастливого супружества он спохватился, не шпионка ли, подосланная русскими властями, его жена?.. И стал за ней следить.

Элпидин, шестидесятник, уже много лет проживал эмигрантом в Женеве и имел кое-какие связи в городском управлении и местной полиции. По временам ему удавалось выуживать кое-что у своих знакомцев по части наблюдения за русской колонией.

Как только Ф. рассказал Элпидину историю подметного письма и таинственного свидания на острове Руссо, так мистификация была сейчас же вскрыта: старого воробья на мякине не проведешь... Княжна Чавчевадзе растаяла, яко воск, от огня критики Элпидина, и все ее росказни были названы выдумкой.

Догадался ли Элпидин или иным путем, но он добрался, несмотря на зеленую вуаль, до веселой Като, а потом—до Ткачева и меня.

Произошел целый скандал: все хохотали, а у полковника нехватало даже негодования, так он чувствовал себя униженным.

Когда на другой день я узнала о финале нашей затеи, я сама отправилась к Ф. Он встретил меня тихой укоризной. Осмеянный, обманутый шалунами-мистификаторами, сознавая, что попал в глупое положение и разыграл трусливого шута, он был жалок, до того жалок и принижен, что одного

его вида было достаточно, чтобы я опомнилась. Я поняла, что для шутки должен быть предел и что я посягнула на человеческое достоинство. Охваченная сожалением о своем необдуманном поведении, я просила полковника простить меня и так хорошо просила, что добряк растаял и через пять минут стал снова неистово и безмерно хвастать своими достоинствами. Видя его совершенно успокоенным и в экстазе самовосхваления, я поскорее убежала от искушения, чтобы не получить новой пищи для шуток...

Вскоре Ф. уехал в Россию, и мы расстались друзьями. Никакая полиция и не думала преследовать его. В 1877 году я еще несколько раз встречалась с ним в России для взимания революционной подати и всегда была желанной гостьей: о старом не было и помина; только я всегда жалела, что поступила жестоко.

«Фричи».

После разгона цюрихских студенток, многие из них вернулись в Россию, чтобы приступить к социалистической пропаганде в народе. Хотя цюрихские социалистки отнеслись очень серьезно к своей будущей деятельности, они все же совершенно отвергали ту многосложную научную подготовку к ней, которую рекомендовало «Вперед». К тем, кто принимал ее всерьез, многие отнеслись даже с иронией и были заранее уверены, что готовящиеся так долго никогда не перейдут к делу и из них выйдут или болтуны, или кабинетные люди, но никак не практические деятели. Те, которые уезжали, пробыв год-полгода в Цюрихе, считали себя уже достаточно подготовленными для того, чтобы приобретенные знания передавать народу.

По этому поводу перед раз'ездом в Цюрихе была выпущена даже карикатура, автор которой остался неизвестен. На этом летучем листке был изображен ряд карет, из которых выглядывали молодые женские личики. Улыбаясь и ки-

вая головками, они кричали: «Мы готовы!». «Мы готовы!». А надпись вверху гласила: «В народ!»...

На деле же это были хорошие, вдумчивые люди: Глушкова, Блинова, А. Розенштейн (жена Макаревича, а впоследствии итальянского социалиста Туратти); вместе с двумя братьями Жебуневыми и Макаревичем они составляли один кружок; к ним примыкали Завадская, много лет спустя кончившая в Женеве самоубийством. Уехали также Смецкая, Ваховская, Потоцкая, Лаврова, Мачтет, принадлежавшие к компании бремершлюссельских бакунистов, и многие другие. Все названные лица, по приезде в Россию, соединились со своими тамошними друзьями и единомышленниками и тотчас же стали на практическую дорогу. Вскоре же они были или арестованы и привлечены по делу «193-х», или принуждены скрыться.

Из трех сестер Субботиных, две тоже вернулись на родину, а старшая, пробыв некоторое время в Париже, переехала в Женеву, чтобы потом отправиться в Россию для той же социалистической работы.

И остальные «фричи» не переставали думать о практической деятельности в народе. Еще до раз'езда из Цюриха они составили небольшую программу и устав, формально закрепившие их ранее безмолвно заключенный маленький союз. Этот документ формулировал в общих выражениях социалистическую цель организации и пути осуществления ее. Эти несколько параграфов, как они остались у меня в памяти, были точным списком с организационного устава швейцарских секций Интернационала. Бледная и неопределенная копия, совершенно игнорировала русскую жизнь с ее условиями политического строя и экономического быта. Да разве кто-нибудь из нас, молодых студенток, мог действительно знать свою родину? Только-что кончив гимназию или институт, мы попали за границу в совершенно чуждую для России обстановку свободного государства и зажили

в ней, как в родной стихии. Я уже говорила, что все, что мы видели, о чем слышали и узнавали из западно-европейских условий и отношений,—все воспринималось нами, как совершенно применимое к русской жизни, к русской деревне, к русской фабрике, к крестьянину Поволжья и рабочему Иваново-Вознесенска. И этот взгляд совершенно отрешенный от всего родного, русского, не мог не отразиться, наивно и простодушно на том первоначальном наброске, который был выработан и принят кружком «фричей», и этот случай показателен, потому что на ряду с чайковцами «фричи» являются одним из самых лучших кружков, действовавших в России.

После принятия устава, дальнейшим шагом должна была явиться практическая деятельность—осуществление программы. И решимость от слова перейти к делу все более созревала: в Париже—у Бардиной, Л. Фигнер, Александровой, Тумановой, а в Берне—у Каминской и двух Любатович. Самым жгучим вопросом был вопрос о том, в какой форме, по возвращении в Россию, надо действовать в народе. От того или иного ответа зависело, остаться ли в университете продолжать ученье, или оставить его. Демократическое учение, воспринятое в Цюрихе, указывало, как было уже сказано, что для приобретения доверия народа и успеха пропаганды среди него надо стать в положение, одинаковое с ним. Надо «опроститься»—заниматься физическим трудом, пить, есть и одеваться, как народ, отказавшись от всех культурных привычек и потребностей. Только при этом условии можно сблизиться с народом и найти в нем отклик на слово пропаганды. Но и помимо этого, ведь только физический труд чист и свят, только отдаваясь ему, не являешься эксплоататором. Чтобы быть последовательным, чтобы быть верным идее, остается лишь один выход—самому стать физическим работником... Так, и с практической, и с принципиальной точки зрения надо было

оставить университет, который приводил к докторскому диплому, и, отказавшись от привилегированного положения, итти на фабрику или завод в России.

«Фричи» так и решили: они оставят университет—студенческие занятия им более уж не нужны; они вернутся в Россию и станут на работу, как простые ткачихи или прядильщицы.

Действительно, через год после от'езда из Цюриха, «фричи» отправились в Россию. Это было в 1874 году, и с тех пор я уже не видала их свободными, так как осталась за границей. Но раньше, чем уехать, организация «фричей» численно увеличилась. В Париже и Женеве первоначальные члены кружка, состоявшего исключительно из женщин, познакомились и сблизились с кружком кавказцев. То были: Джабадари, Чекоидзе, кн. Цицианов, а впоследствии Карташев, Зданович и Гамкрелидзе. Единство цели и общность идеалистического настроения привели оба кружка к мысли действовать сообща, и они слились в одну общую организацию, при чем приток мужского элемента имел наилучшие последствия, так как внес больше практичности в план деятельности и способствовал тому, что переработанный уже в России устав так называемой «Московской организации» явился, можно сказать, первым образцом стройного об'единения на началах солидарности и дисциплины [1]).

По приезде в Россию «фричи» застали общий революционный разгром: «ходившие» в народ теперь «сидели» в казематах, рассыпанных по всей России. Пропаганда в 36 губерниях, о которых говорила знаменитая записка министра юстиции графа Палена, смолкла. До 2000 участников и лиц, так или иначе причастных, если не к делу пропагандистов, то

---

[1]) Известно, что до этого социалистические группы пропагандистов имели довольно рыхлую организацию, что, конечно, не мешало тому, что некоторые из них, в особенности чайковцы, действовали и без устава чрезвычайно дружно и успешно.

к их личности, были привлечены к следствию. Неслыханное дотоле количество арестов волновало культурное общество и всех тех, кто уцелел от «избиения младенцев», как потом называли богатый улов среди молодежи, сделанный жандармами в 1873—74 годах.

Петербург в эти годы оставался центром деятельности чайковцев, уцелевших после общих арестов. Но в Москве их организация была слаба даже в период расцвета, как это можно видеть из приводимого рассказом Н. Морозова, который еще гимназистом был привлечен именно в эту группу чайковцев. (См. «Повести моей жизни» Морозова, т. I, изд. «Задруги». М.). Теперь же в Москве было совсем пусто. Поэтому «фричи» и выбрали ее своим местопребыванием [1]). Их план заключался в том, что двое-трое по очереди будут оставаться в этом городе в качестве администрации, для ведения общих дел организации. Остальные же члены разъедутся по разным промышленным центрам и поступят на фабрики и местные заводы вместе с теми рабочими, которых им удалось разыскать в Москве уже распропагандированными прежними деятелями.

Кроме самой Москвы, для пропаганды были намечены: Киев, Одесса, Тула, Орехово-Зуево, Иваново-Вознесенск. В деревню не предполагали забираться: женщинам там трудно было бы устроиться в качестве работниц; кроме того, члены кружка имели совершенно определенный план распространения социалистических идей в крестьянстве не лично ими самими, а посредством фабричных и заводских рабочих, уже захваченных пропагандой. Если еще и теперь множество рабочих уезжает раза 2—3 в год на побывку в деревню на праздники, в родные семьи, или покидает промышленные центры ради полевых работ, то в начале

---

[1]) Отсюда названия: «Московский процесс», хотя он происходил в Петербурге, «Московская организация».

70-х годов это явление было заурядным, и рабочее население то приливало в промышленные заведения, то отливало, рассыпаясь по деревням и селам. «Московская организация» думала воспользоваться этим постоянным обменом между городом и деревней. Рабочие, завербованные пропагандистами, уезжая в деревню, должны были вносить в нее новые идеи и распространять революционную литературу, бывшую тогда в обиходе.

Первая типография для издания революционных книг для народа была устроена чайковцами за границей. Первоначально ею заведывал Александров; но в 1872 году, когда мы приехали в Цюрих, он уже был отстранен чайковцами, и типографией, перенесенной в Женеву, управлял Лазарь Гольденберг. Транспорт, благодаря члену кружка чайковцев Зунделевичу, был поставлен отлично, и пропагандисты в России никогда не испытывали недостатка в нужном материале. Я не знаю, на каких условиях чайковцы снабжали другие организации изданиями своей типографии и помогали ли им эти организации нести расходы по печатанию и перевозке. Верно одно, что все организации широко пользовались книгами, выходившими из рук Гольденберга, всецело посвящавшего себя их изданию. Кроме общеизвестных брошюр и книг, выпущенных этой типографией и имевшихся в распоряжении «Московской организации» («История одного крестьянина» — переделка книги Эркмана - Шатриана; «Сказка о четырех братьях»; «Сказка о копейке»; сказка «Мудрица Наумовна»; «Хитрая механика» и другие, «Московская организация» поддерживала деньгами и считала своим органом газету «Работник», издававшуюся в Женеве двумя бакунистами: Ралли и Эльснице́м.

Мысль распространять социалистические идеи в крестьянстве через рабочих была бы удачной, если бы книга могла итти ходко среди сельского населения. Если среди промыш-

ленных рабочих человек грамотный был редкостью, и пропагандистки, как Бардина и Каминская, в Москве на фабриках читали революционные книжки рабочим вслух, а весьма способный Николай Васильев, рабочий, судившийся вместе с «фричами», научился грамоте только в тюрьме, то тем менее читателей можно было найти среди поголовно неграмотных крестьян. Школьный бюджет земских губерний был тогда ничтожен, школы—очень немногочисленны, иногда целые волости были лишены их. Но истинное положение деревни было нам совершенно неизвестно—для этого надо было жить в ней, а не в Цюрихе или Париже. Даже и по книгам не было возможности изучить положение вещей. получить те или иные необходимые сведения. Русская статистика—эта гордость русского земства—еще не существовала или только-что пробивалась на свет божий, да, признаться, ни одной из нас и в мысль не приходило задать себе вопрос, каков процент грамотных в нашем отечестве? Конечно, если судить по теперешнему масштабу, то и самое количество революционных изданий для народа было незначительно, но тогда, повторяю, и мера, и вера были особенные и дозволяли и с малыми средствами надеяться на громадные результаты [1]).

Итак, прежде всего «Московская организация» хотела заняться пропагандой среди промышленных рабочих и уже через них воздействовать на народ, крестьянство, путем пропаганды устной и литературной.

После подготовки почвы путем пропаганды устав предлагал поднятие местных бунтов, которые потом разлились бы в общенародное восстание.

Но не только до бунта и восстания—дело не дошло даже до опыта проведения социально-революционных идей в крестьянство через посредство городских рабочих, кото-

---

[1]) Каждое издание не превышало 1—2 тысяч экземпляров.

рых крестьяне слушали бы охотнее и с большим доверием, как плоть от плоти и кровь от крови своей. На первой же стадии деятельности в городах на фабриках—все рушилось.

В качестве администрации в Москве были оставлены: кн. Цицианов и Вера Любатович, а на фабриках работали: Бардина, Каминская и одно время моя сестра Лидия. Пропагандой и раздачей книжек занимались также Джабадари, Чекоидзе, А. Лукашевич и несколько рабочих, завербованных раньше: Петр Алексеев, Иван Союзов, Николай Васильев и некоторые другие. В провинцию отправились: Ольга Любатович—в Тулу; Хоржевская (цюрихская студентка, впоследствии жена Ф. Волховского) — в Одессу; Топоркова, В. Александрова, моя сестра Лидия и рабочие Семен Агапов и Филат Егоров—в Иваново-Вознесенск.

Но эти начинания быстро обрывались. Бардина и Каминская, как раньше Л. Фигнер, с фабрик должны были скрыться: появление молодых изящных барышень, переодетых в деревенских девушек, не могло не обращать внимания в неприглядной обстановке фабричного заведения. Все их поведение было необычно; маленькие, нежные руки не умели работать; 10—12-часовой труд в антигигиенической мастерской, когда Каминской, напр., приходилось возиться на писчебумажной фабрике с грязным тряпьем, с непривычки утомлял сверх сил; уровень их товарок по работе был слишком низок, чтобы заниматься пропагандой среди них. Переодетые работницы, вопреки обычаю и прямому запрету фабричной администрации, ходили в мужскую рабочую казарму. Там они старались заинтересовать рабочих книжками, предлагали их направо и налево, но так как грамотных было очень мало, то прибегали к чтению вслух. В полутемной, грязной и вонючей казарме одинокая молодая чтица, окруженная слушателями из тех, кто не поспешил завалиться спать, разумеется, была чем-то выходящим из ряду вон. Так как тут не допускались ни шуточки, ни фривольность, то для

массы появление пропагандисток казалось загадочным и непонятным. Полное незнание фабричных распорядков не раз вовлекало их в беду. Так, уходя в праздник с фабрики, барышни уносили в своих мешках имевшиеся у них революционные издания. Нельзя же было оставить их в сундучке в казарме, где их могли найти при обыске или другой случайности. А между тем при выходе мешки-то работниц и подвергались осмотру. Такой случай произошел с моей сестрой на фабрике Гюбнера, где она работала до от'езда в Иваново-Вознесенск; еле-еле она унесла ноги после того, как фабричный сторож хотел задержать ее.

Уже в самом начале 1875 г. московская группа была арестована. После того, как 29 марта был взят рабочий Николай Васильев, хотя неграмотный, но очень искусный и энергичный атитатор, его сожительница Дарья указала жандармам квартиру, на которой сразу были арестованы: Бардина, Каминская, Петр Алексеев, Джабадари, Чекоидзе, А. Лукашевич и Георгиевский.

Затем с мая по сентябрь 1875 г. были арестованы члены организации, находившиеся в Иваново-Вознесенске, Туле Киеве, и члены «администрации», оставленные в Москве.

В Иваново-Вознесенске арест всей группы произошел вскоре после того, как на фабрике нашлась работа. Все приехавшие жили вместе, артелью, наняв маленькую квартирку, в каких обыкновенно селятся рабочие. Нашла ли полиция что-нибудь подозрительное в них, или какое-нибудь попавшееся письмо навело на след, только жандармы нагрянули и захватили всех. Нашли у них революционную литературу. Моя сестра Лидия, чтобы выгородить товарищей, тут же об'явила, что вся эта нелегальщина принадлежит ей. За это, по первоначальному приговору, она получила пять лет каторги. Но так как все остальные проживали в Иваново-Вознесенске по подложным паспортам, то и они получили соответствующее возмездие.

Если в Москве жена арестованного рабочего, думая спасти его, привела полицию на квартиру членов организации, то нечто подобное произошло и в Туле: подруга одного местного рабочего-Ковалева, предполагая измену своего возлюбленного, донесла в полицию и привела в квартиру О. Любатович, имевшей дело с Ковалевым.

Потом с грохотом погибла в Москве и «администрация» московской организации, при чем кн. Цицианов оказал вооруженное сопротивление—первое в истории революционного движения 70-х годов. Цицианов и В. Любатович жили в номерах и по-тогдашнему совершенно не конспиративно. У них был склад литературы, паспортное бюро со всеми атрибутами: тут мыли паспорта хлорной известью, наполняя комнаты удушливым запахом хлора; на столе мастерили фалшивые виды на жительство, а в столе хранили печати, краску и обширную переписку. Множество народа ходило то за тем, то за другим на эту квартиру. Деньги организации хранились тут же, чтоб по мере надобности выдаваться и рассылаться, кому и куда следует. Эти суммы были очень значительны, и их великодушным источником были Субботины, которые все свое большое состояние отдали в распоряжение организации, к которой принадлежали. Насколько крупны были наличные суммы, которыми располагала организация, показывает факт, что у Карташева, арестованного в квартире Цицианова, было взято 10.000 руб., ассигнованные для одного порученного ему дела.

Почти в то же время были арестованы на юге Хоржевская и Зданович, взятый на вокзале, куда он пришел, чтоб получить транспорт литературы. У него был найден полный текст программы и устав организации, которые потом фигурировали на суде.

Конечно, приехав из-за границы в Москву и раз'ехавшись в разные города, члены революционной группы не оставались изолированными и входили в сношения с разными

лицами. Рвение жандармов тщательно подобрало все нити, иногда действительно нападая на след тех, кто был прикосновенен к делам московской организации, в других же случаях искусственно связывая с ней людей совсем непричастных. Так возник уже упомянутый мною процесс «50-ти» [1]), в котором участвовало одиннадцать цюрихских студенток. Двенадцатая, Каминская, не была предана суду, так как во время предварительного заключения заболела психическим расстройством. Ходил слух, что тихая меланхолия, которою она страдала, не избавила бы ее от суда, если бы не 5.000 руб., которые ее отец дал жандармам [2]). После осуждения товарищей, Каминская, желавшая разделить с ними одну участь, отравилась спичками.

Новые знакомства.

Когда среди «фричей» решался вопрос о форме, в которой надо действовать среди народа, и решался в смысле необходимости стать в положение физического работника, я оказалась отщепенцем. Но прежде, чем решиться и сказать, что *на это* я не пойду и университета не оставлю, мне пришлось пережить тягостный период колебаний и душевной дисгармонии.

Нужно ли было во что бы то ни стало стать фабричной работницей? надо ли отказаться от положения, от всех привычек и вкусов интеллигента? *Честно ли* не опроститься до конца? надеть сарафан и лапти, или, покрывшись платочком, итти теребить вонючее, отвратительное тряпье на писчебумажной фабрике? *Честно ли* занимать место врача, хотя бы и занимаясь социалистической пропагандой? *Честно ли,* наконец, заниматься медициной, оставаясь студенткой, когда другие, тут же рядом, такие же женщины

---

[1]) Леруа Болье, осведомленный о процессе, посвятил участникам его несколько лестных отзывов в своей книге о России.

[2]) Возможно, что это был залог, под который Бетю отдали отцу.

культурного класса, как и я, бросают университетскую науку и решаются ради великой цели опуститься на дно социальной жизни?

Я чувствовала всю красоту последовательности и искренности моих друзей и сознавала, что они делают самое лучшее, самое высокое, на что может решиться человек. И меня мучило, что я не решалась, не хотела стать работницей. Я столько лет стремилась в университет и работала в нем! Так сжилась с мыслью, что буду доктором! И если мои планы земской культурной деятельности сменились целями социалиста-пропагандиста, то прежняя форма деятельности, внешняя оболочка ее оставалась для меня желанной. Жизнь работницы казалась мне ужасной, невозможной! Перед перспективой ее я останавливалась. Но у меня нехватало тогда мужества сказать прямо: «Я не хочу!..». Было стыдно признаться в этом, и я сказала: «Не могу». Оказались, конечно, и доводы: «сил физических нехватит».

«Зачем же, говорила я, непременно всем итти на фабрику? В качестве социалиста можно действовать и в другом, не столь демократическом положении... Если земский врач может казаться барином, то неужели фельдшер—тоже барин, далекий для населения? Я учусь и буду учиться не для диплома, а для приобретения знаний. Приобретя их, можно и не занимать места врача, а служить в земстве фельдшерицей, знание же принести в деревню надо полное».

Надо заметить, что хотя многие из «фричей» держались взглядов самых крайних, и все мы, будто щеголяя друг перед другом, выбирали себе героями самых непримиримых деятелей Великой французской революции, при чем одни увлекались Робеспьером, а другие не хотели помириться на меньшем, чем «друг народа»—Марат, требовавший миллионы голов, однако, кружок не отличался нетерпимостью по отношению к индивидуальным мнениям своих сочленов. Относительно формы деятельности и срока, когда надо приступить

к ней, в первоначальном уставе не было ничего общеобязательного, и когда большинство «фричей» решило уехать из-за границы, чтобы приступить к практическому делу, а я и Аптекман остались продолжать курс, мы не услышали ни одного слова порицания, не увидали никаких признаков неодобрения. Однако, с момента их решения и от'езда мы, две оставшиеся, оказались совершенно отрезанным ломтем; окончательные переговоры с кружком «кавказцев», об'единение с ними, окончательная выработка общей программы и устава, сношения с издательствами «Работника» происходили без нашего ведома, так что я узнала обо всем этом уже после того, как сама уехала в Россию.

После того, как из Берна уехали две Любатович, Каминская, а потом Хоржевская, я поселилась недалеко от старого университета в небольшом отеле «Zum Bären», где, кроме меня, жили еще некоторые студентки. В это время, зимой 1874 года, завязалось мое знакомство с двумя лицами, жизнь которых впоследствии не раз переплеталась с моею: это были Николай Александрович Саблин и Николай Александрович Морозов. «Фричи» поехали в Россию, когда большая часть из тех, кто «ходил в народ», была арестована и из России уже шел поток свежей эмиграции из лиц, потерпевших крушение. Наиболее заметными из покинувших Россию были чайковцы; Кравчинский, Клеменц, близкие им Иванчин-Писарев, М. Лешерн поселились в Париже; сам Чайковский, обратившись в «богочеловека», отправился в земледельческую колонию в Америку вместе с Клячко и двумя дамами, учившимися до этого в Берне; Аксельрод оставался в Женеве, а в Берн приехали Грибоедов и Саблин. Морозов, которого с трудом друзья уговорили отправиться хотя бы на время в безопасное место, перешел границу вместе с Грибоедовым и Саблиным, но местопребыванием своим выбрал Женеву. Случилось так, что Грибоедов и Саблин поселились в том же

отеле, где жила я, и через кого-то из студенток я познакомилась с ними. Вскоре мы стали друзьями.

Николай Алексеевич Грибоедов был шестидесятник, лет на 10 старше меня, друг Гл. Ив. Успенского и доктора Веймара, осужденного позднее по делу Соловьева. Каждый десяток лет кладет свой отпечаток на поколение, вступающее в жизнь в этот десяток, и между людьми 60-х и 70-х годов была целая пропасть по отношению к истории развития, психическому укладу и общественным навыкам. И хотя Грибоедов был революционером, как им был и его друг Орест Веймар, они как-то не сливались вполне с нашим поколением.

В общественных отношениях или, лучше сказать, в организационных они были индивидуалистами в сравнении с нами. Тогда как мы, революционеры 70-х годов, стремились к коллективности и *подчиняли* свою личность коллективу, желая действовать сомкнутыми рядами, Грибоедов, Веймар и другие, принадлежавшие к их поколению, стояли среди нас одиночками; они не были членами организаций и не участвовали в нашей ежедневной революционной работе. Невозможность полного слияния, быть может, зависела и от возраста, как такового, от неосознанного отношения старших к младшим и обратно: чуть-чуть иронического со стороны первых и, быть может, чуть-чуть победоносного со стороны вторых, по самому времени ушедших дальше вперед... Во всяком случае, эти более старшие стояли как-то в стороне, хотя и близко, и не входили в гущу злободневных забот и тревог более молодых революционеров. И Грибоедов, и Веймар, с которым я познакомилась уже в России, были людьми необыкновенной смелости. Ни перед каким отдельным рискованным предприятием они не остановились бы. Но это было революционное ушкуйничество, набег. Отбить арестованного принять участие в рискованном побеге, как это было у Веймара в побеге П. А. Кропоткина,—вот поприще для выявления их революционной энергии. На мелочную ра-

боту конспиратора или пропагандиста они были решительно не способны и, не отказываясь ни от каких услуг друзьям революционерам, членами тайных обществ и кружков они не состояли. Грибоедов и Веймар не прочь были хватить рюмочку, что уже совершенно не входило в нравы нашего поколения, и в Петербурге я с великим удивлением слышала рассказы Веймара и Грибоедова о ночных похождениях с ниспровержением в подгулявшем виде фонарных столбов и полицейских будок.

Саблин был года на два старше меня. Среднего роста, шатен с правильными чертами лица, он был красив и отличался крайне веселым нравом. Он, можно сказать, никогда не был серьезным и постоянно шутил. Это даже неприятно поражало каждое молодое ухо: постоянные каламбуры, стишки собственного и чужого производства, анекдоты и остроты,—все это было хорошо изредка, при случае, в веселой компании. Но каждый день и каждый час бывало неприятно, как мне, так в особенности Морозову, который признавался мне в этом. Благодаря этой черте характера, Саблин проигрывал, казался легкомысленным и поверхностным: шутки мешали разглядеть его внутренний, духовный мир. А в нем, несомненно, была глубина и был элемент трагизма, как показал конец его жизни. Человек он был талантливый; его поэма «Малюта Скуратов», которую он читал мне в рукописи за границей, была потом напечатана без его подписи в «Работнике» и вновь появилась, уже в новейшее время, в «Былом» заграничного издания. Она производит сильное впечатление и носит печать недюжинного дарования. К сожалению, он вовсе не работал дальше в этой области. Когда происходили приготовления к покушению 1-го марта, Саблин настоятельно требовал у Исполнительного Комитета самой ответственной роли, и не его вина, что Комитет ошибочно остановился на Рысакове, считая его вполне пригодным и вместе с тем желая сохранить Саблина. Но, когда

после ареста Рысаков раскаялся, выдал все, что знал, и указал на квартиру Саблина и Геси Гельфман, ту квартиру, на которой он получил бомбу, то Саблин, не желая сдаться, покончил с собой выстрелом из револьвера. И это не было мгновенным решением: Саблин обдумал и решил это наперед, как я знаю от лиц, близко стоящих к нему в то время: он знал, что делал...

Однажды, когда мы жили в отеле «Zum Bären», Саблин вошел ко мне в комнату со словами:

— Поедемте в Женеву! Надо же, наконец, показать вам нашего Морозика.

Сказано-сделано. Я столько слыхала о Морозове от двух друзей его, что не могла отказаться от предстоящего удовольствия.

Мы приехали в Женеву и явились в Hotel du Nord, где в то время жил мой будущий друг, Николай. Саблин провел меня в какую-то большую пустынного вида комнату, которая показалась мне совсем необитаемой: мебель была сдвинута к одному месту; за ширмами стояла кровать без подушки и одеяла, а воздух нетопленного, неуютного номера леденил кровь. Гостиница была, должно быть, не из важных. Сбросив теплое платье, мы двинулись наверх. Там, в маленькой комнатушке, в которой стоял такой же смертный холод, как и внизу, на диване сидел посиневший от стужи юноша, уткнувшись в какую-то, должно быть, очень интересную книгу... Морозов встал, высокий, тонкий, с характерно вытянутой несколько вперед головой. Красивый румянец ясно говорил, что ему всего 20 лет; милые детские губы чуть-чуть прикрывались темными усиками, а из-за очков смотрели ласковые и кроткие карие глаза. Кажется, достаточно было нам взглянуть друг на друга, чтоб об'единиться во взаимной симпатии. Ну, право,—мы с первой минуты стали друзьями—и навсегда.

Нельзя было не полюбить Морозова, этого искреннего, детски доверчивого мальчика, беспредельно преданного революции. В нем не было ничего личного, и весь он был— идеалистическое стремление к самоусовершенствованию на пользу революционного дела. Мне было 22 года, но в сравнении с ним я чувствовала себя много, много страшей и с нежностью сестры или даже матери всматривалась в его духовную личность. Морозов, по натуре любящий и мягкий, как-то естественно тяготел к обществу женщин. В Женеве он подружился со студентками с Кавказа и охотно пребывал в цветнике с Гурамовой, Като Николадзе и Церетелли. На этот счет Саблин не замедлил сочинить стихотворение, очень смешившее нас, так как в легких рифмах оно подшучивало над одиноким сердцем юноши, тоскующего по кавказским барышням поочередно.

Там фигурировали строки:

«Все фибры сердца ныли—
Здесь нет Гурамишвили!...»

А далее:

...«Шумели ели
Здесь нету Церетелли!»

И, наконец, в отчаянии—

«Ах, нет! Не то—
Здесь нет моей Като!»

На ряду с нежным общением с милыми барышнями Морозов тотчас же окунулся в окружающую жизнь: бегал на собрания секции Интернационала, конспирировал с редакторами газеты «Работник», писал, как и Саблин, статейки для этого издания.

Кроме того, ходил в университет и очень много читал.

В его характере и взглядах было еще много детского, но его наивные признания не вызывали во мне смеха, как у Саблина; напротив, они трогали; оттого он был со мной откровеннее, чем с вечно подшучивавшим товарищем. Пом-

ню, в один из приездов Морозова ко мне в Берн, во время какого-то разговора он, в порыве самообличения, с серьезной грустью жаловался на слабость воли: «Никак не могу победить себя,—говорил он,—люблю фрукты!..»

А истинный революционер, конечно, ведь должен быть выше всяких слабостей и пристрастий к земным благам...

С тем же желанием победы над плотью и стремлением закалить себя он в Женеве не тратил денег на отопление комнаты и терпел стужу, а костюмом пренебрегал настолько, что, как только он являлся ко мне в Берн в гости, я спешила купить ситцу, чтобы сшить ему рубашку, а старую сжигала в печке.

Романтизм, мечты о подвигах были в этот период столь же свойственны ему, как и в раннем детстве, о котором он писал в своей книжке «В начале жизни».

«Революционеры должны завести свой корабль, который будет плавучей революцией», поверял он мне свои мечтанья. «Надо организовать военный отряд, какой был у Гарибальди, посадить его на корабль, и пусть он носится на водах океана, всегда готовый спустить десант в той стране, где надо защищать свободу и справедливость».

О критическом отношении к результатам хождения в народ и к собственным похождениям этого рода, как это выражено впоследствии « В начале жизни», он в то отдаленное время мне не говорил, как не было речи и об иной, новой постановке революционного дела в России. Об этом вообще тогда еще не думали, а сам Морозов, при возвращении в Россию, был арестован и оставался в тюрьме до начала 1878 года, когда уже в течение двух лет действовало общество «Земля и Воля». Весной 1875 года, проведя в Швейцарии всего несколько месяцев, Морозов стал тосковать и рваться в Россию. Видя его серьезное желание снова стать на революционную работу, я снабдила его деньгами на дорогу. Так как и Саблин решил уехать, то они отправились вдвоем. Но

на границе им не посчастливилось. Предал ли их контрабандист, переводивший их, или при ожидании поезда на пограничной железнодорожной станции фигуры двух красивых молодых интеллигентов в не совсем обычном костюме и широкополых студенческих шляпах обратили внимание жандармов,—только они были арестованы и, по выяснению личности, препровождены в Петербург, где спустя почти три года их обоих судили по процессу «193-х».

Когда по возвращении в Россию я посещала Дом предварительного заключения для свидания с сестрой Лидией, мне пришла мысль, не могу ли я повидаться с Морозовым.

Свиданья с заключенными давал товарищ прокурора Гогоберидзе, про которого говорили, что если его хорошенько попросить, то ни одному женскому личику он отказать не может. Вот я и обратилась к нему, и он тотчас же распорядился, чтоб меня провели прямо в камеру Морозова. Для меня и еще более для него это было совершенно фантастическое приключение. Морозова никто никогда не посещал в тюрьме: после того, как он скрылся и порвал с родными, разгневанный отец не хотел его знать, а многочисленные сестры не поддерживали с ним сношений. Заботились о нем в Петербурге только его друзья—сестры Корниловы, благо тюремные порядки передач допускали это.

Меня ведут запутанными коридорами, отпирая кое-где железные решетчатые ворота. Вот щелкнул замок одной из многочисленных темных дверей—я вхожу, и тотчас за моей спиной дверь запирается на ключ. И я, которую Морозов оставил за границей два года назад, я, о возвращении которой в Россию он и не подозревал, видеть которую не ожидал, и если видел за это время, то только в сновиденьи,—я стою перед ним наяву, в его камере, без свидетелей, наедине. Он поднимается с койки, на которой сидел с книгой: милое круглое лицо опало, румянца нет, но он все тот же прелестный Морозов с детски сияющими, кроткими глазами...

Обнявшись, мы проводим, сидя на койке, наш час, полушопотом передаем друг другу все, что с нами было за время разлуки, и делимся планами на будущее.

Мы слышим, как в замочную скважину вкладывается ключ... «Прощай Морозик!»... «Прощай Верочка...» и мы расстаемся.

После этого я встретилась с Морозовым уж по окончании процесса «193-х», когда он был выпущен на свободу. Он тотчас же вошел в тот революционный землевольческий кружок, в котором, кроме меня, членами были: Иванчин-Писарев, Юрий Богданович, Александр Соловьев, Марья Павловна Лешерн и моя сестра Евгения. Сделавшись «нелегальным», чтоб избежать административной ссылки, которой подверглись другие освобожденные после процесса, Морозов после этого уже не раз'единялся со мной в своей политической карьере: вместе мы были землевольцами, оба были членами Исполнительного комитета «Народной Воли». Весной 1880 г. он уехал за границу, предполагая пробыть там некоторое время, но когда осенью того же года, при возвращении, переехал русскую границу, то был, как и в первый раз, арестован. 15 февраля 1882 г. его судили вместе с Сухановым, Ал. Михайловым и другими народовольцами, когда я еще оставалась на свободе. Но в 1884 году в Шлиссельбургской крепости, куда меня привезли после суда, произошла наша невидимая встреча: Морозов оказался хотя не рядом, но внизу по соседству с моей камерой, и был моим первым, вначале единственным соседом. Он же был и последним, когда через 20 лет, при выходе из Шлиссельбурга, я покидала камеру, бывшую бок-о-бок с ним. А моим другом он был всегда, от первой встречи и до последнего дня.

Решение.

Осенью 1875 года я была уже на седьмом семестре медицинского факультета, и так как по учебному плану их по-

лагается девять, то через год надо было приступить уже к работе над диссертацией. Но тут произошел решительный перелом моей жизни.

Кажется, в ноябре за границу приехал член, а компетентные товарищи говорят, даже основатель кружка чайковцев—Марк Андреевич Натансон. В период расцвета деятельности этого кружка Натансон не мог принимать в ней участия, потому что в самом начале был выслан административно сначала в Воронежскую губ., а затем переведен в Финляндию, где находилась семья его жены, Ольги Шлейснер (ум. в 1881 г.). Только в 1875 году Натансон вернулся в Петербург вместе с женой, и застали они там запустение: одни из чайковцев, самые многочисленные, находились в тюрьме, другие эмигрировали. Настоятельной задачей являлась реорганизация революционных сил, и Натансон задался целью подобрать и об'единить все, что уцелело от разгрома. Однако, он думал не только разыскать и связать между собою всех, кто был причастен кружку чайковцев в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Одессе. Его планы были шире. Пострадали от арестов и рассеялись все другие революционные кружки, действовавшие на пространстве России в период «хождения в народ». Об'ехать все значительные города, повидать не только чайковцев, но и уцелевших членов всех других кружков, переговорить с ними и из сохранившихся, разрозненных элементов создать единую всероссийскую организацию с общим центром в Петербурге—такова была задача, поставленная Натансоном. Задача колоссальная и достойная усилий. Не даром шутя Натансона даже звали Иоанном Калитой, собирателем земли русской. Но этот план, несмотря на старания Натансона, об'ехавшего провинцию, не удалось привести в исполнение. Идея об'единения революционных сил еще не имела власти над умами. Все, кого Натансон находил в больших городах, по тем или другим причинам думали оставаться на своих местах, и мысль о едином центре,

в состав которого вошли бы наиболее энергичные элементы из всех главным пунктов, не нашла себе отклика. Эта мысль была удачно осуществлена только 4 года спустя, когда из элементов, накопленных в предыдущий период, составился Исполнительный Комитет «Народной Воли» и, сосредоточив все силы, предпринял централизованную борьбу с самодержавием, как того требовали условия времени и настроения.

Но, если провинция не оправдала надежд на об'единение, то в Петербурге, казалось, возможна удача. Дело в том, что в Петербурге, несмотря на общий крах, сохранилось ядро лавристов, богатое интеллигентными силами и энергично работавшее среди рабочих. Натансон хотел, чтобы эти лавристы соединились в одну организацию с чайковцами. В этом смысле велись продолжительные переговоры между главарями обоих кружков (Гинзбург и Таксис, с одной стороны, Натансон и Драго—с другой). Договор, об'единявший их, был, наконец, заключен; но различие темпераментов и расхождение в методах работы сделали это слияние кратковременным: после опыта 2—3 месяцев лавристы и чайковцы разошлись, и каждая группа пошла своей дорогой. Первые были слишком осторожными пропагандистами, тогда как товарищи Натансона были более склонны к агитации: итти нога в ногу те и другие не могли.

В организационные планы Натансона входила не только русская провинция, он надеялся вернуть в Россию и тех выдающихся революционных деятелей, которые перекочевали на Запад. Для этого он отправился за границу, побывал в Лондоне, в Париже, везде вел переговоры, делал предложения и приглашал вернуться на родину, чтоб встать на работу.

Приехал он и в Швейцарию.

Отыскав меня и Аптекман, он описал печальное состояние, в котором в тот момент находилось социалистическое дело в России. Революционных сил нет, но почва есть и ждет деятелей... Все, кто раньше вступил на практический путь,

арестованы, сидят в тюрьмах и ждут суда. Необходимы новые силы, свежий приток людей... И он сообщил нам о своих начинаниях и поисках этих людей. Обращаясь к нам двум, он изложил историю разрушения Московской организации: все ее члены арестованы, и продолжать их дело некому. А между тем, всюду, где они были, заведены связи, поддержать которые было бы необходимо. В виду этого, во имя общего революционного дела, но и во имя товарищеской солидарности, он приглашал нас оставить университет и отправиться на помощь погибшим товарищам. Он передавал, что эти товарищи из-за стен тюрьмы призывают нас в качестве своих заместителей встать в опустевшие ряды пропагандистов-агитаторов.

Это предложение упало, как снег на голову: за все время до этого никаких писем от уехавших друзей я не получала; о том, что я могу быть нужна в России, вообще, или нужна им в частности, мне и в голову не приходило. Я жила, спокойно и уверенно идя к своей определенной цели, и думала только по окончании факультета приступить к практической деятельности. Теперь пришло приглашение с характером настоящей катастрофы.

Как быть? чем быть в жизни?

Уже в третий раз с тех пор, как я уехала из провинции и оставила мирные деревенские поля, на меня нападало тягостное раздумье, возникала та внутренняя переборка, которая решает направление жизни. Сомнения и колебания мучили меня, когда из лагеря благополучного либерализма и благодушной филантропии я переходила в беспокойную область революции и социализма.

Задача—что *лучше?* что *выше?* которое из двух следует выбрать, на какой путь вступить?—занимала меня тогда, волнуя всеми противоречиями старого и нового, борьбой между стремлениями эгоизма и альтруизма, между личным и общественным.

И во второй раз мучительно было видеть, как сестра и ее друзья уезжают в Россию с тем, чтоб, стряхнув все, что напоминает принадлежность к культурно-буржуазному обществу, спуститься в самые низы, неся народу благую весть грядущего освобождения. Видеть, знать это и самой не итти! И прежде, чем поставить решение остаться тем, чем я была по рождению и воспитанию, и открыто заявить об этом, сколько внутреннего разлада, сожаления и даже стыда пришлось затаить в себе!

И когда все это отошло уже в прошлое и наступила определенность, позволявшая отдаваться занятиям, встречам и интересам минуты, вновь, в третий раз беспокойные вопросы нравственного характера ворвались и требовали ответа не в отдаленном будущем, а теперь, сейчас же. И душа раздваивалась, чувства спорили.

На примере «фричей» сама жизнь доказала всю трудность положения работницы для интеллигентной женщины. Их опыт показал скоротечность деятельности в этой несвойственной и непривычной форме, когда приходилось начинать прямо с фальшивого паспорта и нелегального положения. Среднее положение, положение фельдшерицы, обещало большую прочность и продолжительность деятельности. Благородная попытка стать в ряды наемных работников была сделана, но не привела к тому, чтоб увековечить это средство подойти к народу; в дальнейшем члены революционных партий не пошли по этому пути. Более целесообразными были признаны демократические положения того рода, который я намечала для себя.

Но, если я не стремлюсь к диплому и не предполагаю сделаться врачом, то почему непременно кончать факультет? Если я буду служить в земстве, как фельдшерица, то к чему докторский диплом? Были бы только достаточные знания, чтоб выполнять обязанности с пользой для населения. И эти

знания у меня уже были. Ведь я училась уже три с половиною года—время достаточное для приобретения их... Если я не гонюсь за бумажкой, удостоверяющей мое знание, то почему не бросить сейчас же все и не лететь на помощь революционному делу и друзьям революционерам?

И... вдруг я почувствовала, что диплом, эта бумажка, как я третировала его,—на деле мне дорога: манит и связывает меня...

Он был бы официальным признанием моих знаний, символом, что я довела предпринятое до конца и достигла того, к чему стремилась, о чем мечтала в 17 лет. Это значило бы, что приз взят, и, право, ценою не дешевой! Не кончить!.. Отступить!.. Ведь столько лет, с такой энергией, постоянством и самодисциплиной я преследовала одну, совершенно определенную цель! И теперь, не кончив курса, не достигнув цели, отступить... бросить! Мне было *стыдно* — бросить... Стыдно перед собой и перед другими. Какими глазами посмотрят на меня все те, кто знал о моем предприятии, тогда еще неслыханном в провинциальной глуши; те родные и знакомые, которые сочувствовали, одобряли и провожали в Цюрих пожеланиями успеха на новом для женщины общественном поприще.

А с другой стороны, революционное дело, которое, говорят, требует усилий и с моей стороны! Друзья, заключенные в казематы, связанные по рукам и ногам и зовущие к себе на помощь!.. Возможно ли пренебречь их интересами, раз они заявлены, и отдать предпочтение своей гордости, самолюбию и, увы! тщеславию. Никогда эти свойства человека я не считала доблестью и всегда отрицала самолюбие, как основу поведения. И вот, теперь я увидела, что и самолюбие, и честолюбие сидят во мне, и как они, в сущности, сильны! Но неужели я подчинюсь им? Чувство самоуважения и веры в себя говорило—нет! и все-таки мне было больно; мне было жалко бросить университет и было жаль, что я, Вера Нико-

лаевна, не буду иметь права подписываться: «доктор медицины и хирургии».

Но действительно ли я нужна там в России для революционного дела вообще, и для поддержания дел Московской организации в частности? Натансона я видела в первый раз; до этого я не слыхала о нем; о его характере не имела представления: он был для меня чужой, незнакомый человек, с которым ничто не связывает. Никакого письма с собой он не привез и передал мне на словах, что родственница Субботиных, Шатилова, осталась после ареста друзей одна в Москве и не в силах, несмотря ни на какие усилия, справиться с задачей, павшей на нее. Люди, которых она успела привлечь к выполнению кое-каких функций, после короткого времени были тоже арестованы, и заменить их решительно некем.

Разум говорил, что следовало бы проверить обстоятельства и на месте посмотреть, как обстоит дело, чтоб воочию убедиться в необходимости и целесообразности присутствия в Москве Аптекман и меня. Для этого достаточно было поехать которой-нибудь из двух. И если взвешивать характеры, то ехать следовало Аптекман. Очень рассудительная и спокойного темперамента, она прекрасно разобралась бы в положении, и если бы нашла, что присутствие нас двоих не может иметь значения при данных условиях, то и сама вернулась бы, и меня удержала. Другое дело—я. Уж если бы я оставила университет и уехала, то можно было наверное предсказать, что возврата—не будет.

Но Аптекман молчала и я видела, что она ехать не хочет.

Не могла же я сказать ей: «Не нужно сейчас ехать обеим: вы—человек хладнокровный и осмотрительный, поезжайте вперед и вызовите меня, если найдете нужным. Если же поеду сейчас я, то уже ни в каком случае не вернусь...»

Разве тринадцатилетней девочкой, голосом оратора, я не громила книжников и фарисеев: «Горе вам! Горе вам,

книжники и фарисеи, ибо бремена на других возлагаете неудобоносимые, сами же и пальцем не шевельнете!»

Нет! невозможно сказать ей: поезжай ты! Невозможно на другого возложить то, что хочешь отклонить от себя.

И с этими чувствами я подошла к Аптекман и сказала:

— Оставайтесь! я поеду одна и напишу вам, стоит вам ехать или нет.

Так состоялось мое решение, и оно определило все направление моей жизни.

Душевный кризис, который я пережила, чтоб вынести это решение, был последним. За эти годы в борьбе с самой собой выработалась и окрепла моя личность. С последним решением мой психический мир пришел в равновесие: колебаний уже не было, и, «положив руку на плуг», я не оглядывалась ни назад, ни в стороны. Интересы общественные *навсегда* взяли перевес над интересами личными. Это была победа того, что запечатлелось в душе 13-летнего ребенка, когда я читала: «оставь отца твоего и матерь твою и следуй за мной...»

Итак, я оставляю университет, не получив докторского диплома; покидаю Швейцарию, в которой я нашла мир идей, великодушных и всеоб'емлющих, и, взволнованная недавними, скрытыми переживаниями, еду в Россию.

Мне 23 года.

Последняя встреча.

Отправившись перед от'ездом в Женеву, чтоб познакомиться с Иванчиным-Писаревым и Кравчинским, которые в то время были там, я наткнулась на интересную встречу с несколькими другими лицами. Кравчинского и Писарева я видела только раз, и свидание вышло бессодержательное и тусклое.

В Женеве среди русской колонии славилось маленькое кафэ, «Café Gressot». Его хозяевами были тучный французский швейцарец и его симпатичная, миловидная жена, а при-

служивала маленькая девочка лет 12-ти, их дочь, тоже премиленькая. Обычными посетителями этого ресторанчика были местные рабочие, которые и занимали первую комнату. Но за нею была другая, совсем маленькая, и она предназначалась исключительно для русских. Бессемейные эмигранты и студенчество, наезжавшее во время вакатов из других городов, неизменно шли в это кафэ, где брали на обед небольшую порцию мяса и маленькое овальное блюдце с овощами. Кое-кто спрашивал децилитр красного вина, потребляя, таким образом, гораздо меньше, чем рабочие, обедавшие рядом. Однако, даже такого скудного питания некоторые эмигранты не могли оплачивать и по безденежью пользовались широким кредитом добродушного Грессо. Бывая в Женеве, я тоже состояла посетительницей этого прибежища эмигрантов. Придя туда в этот последний приезд в Женеву, я застала вечером среди обычных посетителей трех незнакомых мне людей. Это были: Иван Дебогорий-Мокриевич, двоюродный брат автора известных воспоминаний, Габель и юноша, которого звали «помещик». Мы познакомились, и, должно быть, я понравилась, потому что они пригласили меня к себе. Мы забрались куда-то высоко, в маленькую, убогую комнатушку; печать беспорядка и большой скудости лежала на всем; две кровати служили ложем для Габеля и Мокриевича, а более юный «помещик», оказывается, спал на 3—4 составленных стульях, несколько газет служили тюфяком и вместе с тем простыней, а вместо подушки голова покоилась на связке какой-то, должно быть, нелегальной литературы. Разместившись кое-как в этой мансарде, новые знакомые, знавшие обо мне только одно, что я студентка, принялись меня пропагандировать, а я, чтоб помистифицировать их, притворилась ничегонезнайкой. Они говорили о России и деятельности в ней; о том, что не теоретическая пропаганда нужна в народе, а внесение в него революционной страсти; что настроение масс близко к общему взрыву, и интеллигенция должна

быть искрой, которая вызовет этот взрыв. Говорил, главным образом, Иван Мокриевич, и говорил красиво, с энергией и увлечением. Он рисовал мне на необ'ятном поле России одну из тех полных пафоса картин, о которых с волнением я читала в книгах, описывающих революции. Народное восстание, гул набата, оглашающего деревни и разносящегося среди полей... Полчища крестьян, вооружающихся косами, бросающих дом, семью и нивы, чтоб под руководством могучего предводителя, вождя, итти в бой, чтоб победить или умереть... Развеваются знамена... слышится топот шагов народной армии... А вождь, это—второй, современный Емельян Пугачев или Стенька Разин...

Народ еще верит в царя и еще ждет от него всяких благ, и эта вера будет могучим орудием в руках народного вождя-революционера, интеллигента, который об'явит себя принадлежащим к царскому роду... А на ряду со славным предводителем будет стоять прекрасная женщина с распущенными волосами и со знаменем в руке... Народ завладеет арсеналами, вооружится, и загрохочут пушки революции. Войско, состоящее из сыновей того же народа, перейдет на сторону восставших; регулярная армия будет разбита, правительство свергнуто. Запылают усадьбы помещиков, крестьяне завладеют землей. Дымящиеся развалины покроют землю, которая столько веков орошалась кровью и потом народа, а на развалинах, как феникс из пепла, народится новый справедливый социальный строй...

Вся ночь прошла в том, что трое хозяев говорили на эту тему, а я слушала, и меня увлекала красота слова, революционный пыл и энтузиазм ораторов. Все трое уговаривали меня бросить университет и вместе с ними заняться революционным делом в России. Они сказали все, что возможно привести против моего университетского образования и дальнейшего пребывания за границей, и звали горячо с собой, на родину. Я слушала.

Потом Габель стал развивать те принципы, на основе которых должна быть построена революционная организация. Ее члены должны быть связаны самыми теснымн узами преданности и дружбы, должны делить все радости и скорби друг друга, в особенности—беды и скорби! И тут, в качестве примера, я узнала недавнюю историю, которою они думали на деле доказать неразрывную товарищескую связь между собой.

В Женеве в декабре есть трехдневный праздник, называемый Escalade. Он установлен по следующему поводу. В давнишние времена герцог Савойский, владения которого граничили с территорией женевцев, постоянно покушался на независимость последних. В начале XVII века, однажды ночью, такая попытка чуть-чуть не увенчалась успехом; уже лестницы были поставлены к стенам города и воины герцога карабкались по ним, собираясь овладеть городом, когда одна женщина, что-то варившая в котле в доме у городской стены, заметила врагов и опрокинула кипящий котел на голову передового воина. Его крик поднял тревогу, проснувшиеся граждане узнали об опасности и отбили предприимчивого врага. В память об этой удаче и был установлен праздник, название которого Escalade намекает на лестницы герцога (Escalader—взбираться по лестнице). Должно быть, в радости, что защитили свою независимость, граждане обнимали и целовали друг друга, празднуя торжество, и с тех пор установился обычай (теперь, говорят, уж отмененный), по которому в дни Escalade каждый мужчина может подойти и поцеловать любую женщину, встретившуюся ему на улице.

Молодые русские эмигранты обрадовались случаю и принялись целовать всех хорошеньких дам, какие им попадались навстречу. На этой почве произошел инцидент: Иван Мокриевич бросился целовать красивую англичанку, рядом с которой шел здоровый, молодой британец. Видя спутницу в об'ятиях незнакомого мужчины, он принялся колотить его палкой, а те, кто был с Мокриевичем, видя товарища в беде,

не замедлили проявить солидарность, набросившись на британца. Вмешалась полиция и повела раба божия Мокриевича в участок. Но ведь Габель и «помещик» клялись делить с товарищем не только радости, но и горе вплоть до гроба... Теперь представился случай блестяще доказать верность слову. Габель и «помещик» потребовали, чтоб и их вели в полицию и посадили в кутузку, что и было исполнено. Бедствия и муки тюремного заключения были, однако, не продолжительны; наутро всех трех выпустили.

Габель рассказал мне этот эпизод самым серьезным образом. С должным вниманием отнеслась к нему я.

Ночная беседа все продолжалась; мои хозяева говорили и убеждали, а я выдерживала роль политически невинной слушательницы.—Нечего было думать о сне: уже светало. Тут я вынула свои золотые часики, чтоб узнать время. «Помещик» протянул руку и, играя золотой цепочкой часов, должно быть, чтоб измерить мою привязанность к материальным вещам, сказал:

— Подарите мне ваши часы!

Часы и цепочка были семейной драгоценностью, единственной, с которой я не рассталась, уезжая в Цюрих. «Продам только тогда, думала я, когда наступит крайность».

Теперь, когда «помещик» сказал: «отдайте!», я видела кругом скудость—у этих эмигрантов не было ни сантима... Я тотчас же сняла с себя часы и положила их в руку «помещика»... На другой день они были проданы задешево, за какие-то жалкие сорок франков.

Стало совсем светло; кафэ на улицах открылись, и мы вчетвером решили пойти к Gressot выпить утреннее кофе. Но прежде, чем спуститься с лестницы, с маленьким внутренним смехом по поводу того, что мои новые знакомые приняли меня за новичка и всю ночь старались обратить меня в свою веру, я раскрыла свою невинную мистификацию и не без задора об'явила, что я член арестованной в Москве

организации, уже вышла из университета, уложила свои вещи и через несколько дней еду в Россию.

Потом я спросила, когда же думают они сами вернуться в Россию.

— Мы не можем уехать,—сказал Мокриевич.—Очень хотели бы, но денег у нас нет.

И он рассказал, что выехал из России с товарищами, чтоб вместе с бывшим нечаевцем Энкуватовым, которого я тоже видела в «Café Gressot», отправиться в Герцоговину и принять участие в происходившем там восстании против турок. Никакого участия в нем они, в сущности, не приняли, а были только в тягость герцоговинцам, этим жителям гор, в их трудных военных переходах. Дело доходило до того, что, кажется, «помещика» горцы должны были тащить на своих спинах, так русские добровольцы были неприспособлены к местным условиям, в которых действовали повстанцы [1]).

---

[1]) Кстати замечу, что в книге «Активное народничество 70-х годов» Богучарский придает серьезное значение участию русских революционеров в войне Сербии против Турции и в восстании Боснии и Герцоговины. Не странно ли, что он представляет «хождение в народ» невинным предприятием, к которому правительство должно было отнестись с отеческой снисходительностью, и на ряду с этим трактует, как дело великой важности, попытки русских социалистов принять участие в восстании на Балканах. Он уверяет, что русские революционеры в активном сочувствии угнетенным славянам шли впереди славянофилов. И рассказывает: анархист Росс, бывший в отряде Любибратича, прошел с ним «по горам почти сутки». Здесь произошло одно сражение и несколько схваток с турками, а потом было приказано отступать врассыпную в Кастель-Ново, в 3—4 километрах от которого Росс встретил Кравчинского, едущего на муле с проводником. Росс рассказал ему о положении дел, и так как военные предприятия должны были до весны почти прекратиться, то оба решили уехать,—что и сделали. Два других социалиста—Костюрин и Волошенко—о своем участии сообщали Богучарскому нечто подобное же (См. стр. 287 «Активное народничество»).

— А теперь,—продолжал Мокриевич,—мы застряли здесь и почти безнадежно: по отсутствию денег, мы все время кредитовались у Грессо и страшно задолжали ему... не говоря уже о том, какая большая сумма необходима, чтоб нам трем перебраться в Россию.

— Сколько же вам нужно, чтоб расплатиться с долгами и уехать в Россию?—допытывалась я,

— Да не менее 600 рублей,—отвечал Мокриевич.

— Ну, так я достану их,—воскликнула я.—И как только приеду в Россию, так вышлю.

Самая мысль, чтоб такие выдающиеся революционеры, смелые и красноречивые, прозябали в бездействии за границей из-за каких-нибудь 600 рублей, казалась мне невыносимой: их присутствие в России необходимо, там они будут двигать горами и осуществлять свои планы.

Забота о их возвращении не покидала меня, и по приезде в Петербург я тотчас же стала искать требуемую сумму. Я обратилась к одной знакомой со средствами и со всем пылом энтузиазма рассказала о своей встрече с тремя социалистами, бесполезно проживающими в Женеве. Мой рассказ произвел впечатление не меньшее, чем на меня произвела самая встреча, и я тотчас получила требуемую сумму. Моя мать уезжала тогда за границу вместе с моими сестрами: Евгенией, только-что кончившей гимназию, и Ольгой, еще совсем маленькой девочкой. Я передала деньги матери для вручения Мокриевичу, но, опасаясь обыска на границе и не желая беспокоить мать, вручила письмо к Мокриевичу Ольге, внушив ей всю важность маленькой записки, свернутой в трубочку. Крепко зажав в руку, одиннадцатилетняя девочка подпрыгнула от радости, что ей доверили такое важное дело, и, смешно передернув плечами, закричала:

— Если меня будут допрашивать, я скажу—оставьте! Я несовершеннолетняя!..

А в записке и всего-то были несколько ласковых слов,

Знакомство с этими тремя эмигрантами вызвало во мне сильное одушевление. Особенно интересен был Мокриевич, который казался выдающимся непримиримым бунтарем. Ночь, проведенная в их обществе, навсегда осталась в памяти. Самая мимолетность встречи способствовала этому. Все красиво-патетическое о революции в действии, о чем я когда-либо читала, я услыхала в эту ночь в живой и пламенной речи.

Неприглядную русскую действительность, эту замарашку-Сандрильону, Иван Мокриевич разубрал в златотканный пурпур Сандрильоны-принцессы... Я была в восторге: *слово* владело моим умом. Ведь я не отделяла его от дела: кто говорит с такой энергией и силой, тот, я думала, имеет и силу воплотить слово в дело. Я верила как в могущество слова, так и в мощь человеческой воли.

У меня не было глаз провидца; я не могла предвидеть, что, если Габель попадет в Сибирь, в административную ссылку, то Мокриевич станет давать в Киеве уроки музыки и сделается мирным конституционалистом в то время, в то *самое* время, когда в России, на основании приобретений прошлого, уже начиналась битва, начиналась борьба, правда, в единоличных схватках, но все же действие, борьба, все же битва!..

А «помещик» в кавычках, этот владелец испанских дворцов и замков, после продолжительной жизни на чужбине, станет всамделишным помещиком.

Москва. Ярославль. Бетя Каминская.

Пробыв за границей три с половиной года, я совсем забыла, что такое русская зима, и отправилась в дорогу в конце ноября в суконной кофточке чуть-чуть ниже талии, и, когда переехала границу, то ночью очень страдала от холода. Должно быть, у меня был довольно жалкий вид, потому

что какие-то два пассажира вошли в мое бедственное положение и укутали меня своим пледом.

Вот я и в Петербурге, куда без всякого предуведомления матери приехала повидаться с ней, поздороваться и вместе с тем проститься. Я дернула звонок в нервном возбуждении от предстоящей встречи, но оказалось, что дома нет никого: все были в театре, и мне до поздней ночи пришлось сидеть в ожидании. Наконец, мать и сестры приехали, и я почувствовала облегчение: моя мать, всегда отличавшаяся большой чуткостью, не сказала ни слова по поводу моего решения оставить университет. Повидимому, она считала, что я сама являюсь распорядительницей своих судеб. Вскоре она отправилась в Швейцарию для поправления здоровья, а я уехала в Москву, где и водворилась, как в центре деятельности «Московской организации».

Тут я совсем затерялась в новой обстановке, в кругу людей, которые все до одного были чужды и незнакомы мне. На время я потеряла свою личность: не имея ни малейшей опытности в революционном деле и не зная, где для меня в нем—поскольку речь идет о городе—надлежащее место, я пассивно подчинялась тому, чего от меня требовали, и исполняла то, что на меня возлагали. Среду, в которую я попала нельзя было назвать организованной; это были люди, наспех с разных сторон собранные, частью вызванные издалека и связанные задачей продолжать то, что не они начали и в чем раньше они участия не принимали. И теперь, без предварительного общего сговора между собой, без обсуждения плана действия, эти заместители арестованных членов кружка вели каждый свою отрасль в'особицу, без единения между собой, соприкасаясь друг с другом скорее физически, чем духовно. Правда, строгая сплоченность организаций не была, вообще, свойственна революционной среде того времени, но здесь ее уж совсем не было в силу того, что люди не сжились друг с другом, не сами сплотились для общего дела, как это было

с чайковцами, «фричами», кавказцами, а по чужой воле встретились в одном месте, *призванные* для цели *указанной,* а не свободно избранной.

Центральным лицом, к которому стягивались все нити революционной работы и которое своим обаянием сдерживало наше рыхлое сообщество, была родственница Субботиных, Вера Андреевна Шатилова. По своей личной близости не только к Субботиным, но и другим членам кружка, по наибольшему знанию всего, что касалось дел погибшей организации, по связям с революционной периферией в Москве и, наконец, как распорядительница большими материальными средствами Субботиных, она являлась естественной наследницей исчезнувшей Московской организации и, как человек, по душевным качествам своим не оставляла желать ничего лучшего. Умная и энергичная, она была трогательно предана своим друзьям и выказала большую распорядительность в попытках не дать заглохнуть и затеряться тем связям среди рабочих и учащейся молодежи, которые оставались в Москве. Некрасивая, она обладала удивительной привлекательностью, той смесью женственной мягкости и твердой властности, которая подчиняет, не задевая. Ее задушевность и мужество внушали любовь и уважение всем, кто был в ее близи, и, можно сказать, все ходили по ее воле, и только эта воля связывала нас всех.

Но она не прошла никакой революционной школы, не была, если не ошибаюсь, даже членом организации, продолжать деятельность которой взялась. Между тем не продолжать, а наново надо было строить организацию, и для этого у нее не было опытности.

Тотчас после ареста она взяла в свои руки все руководство делами и принялась собирать людей, чтоб с их помощью связывать порвавшиеся нити. Она вошла в тесные деловые отношения с Василием Ивановским и с Ионовым, людьми высоких моральных качеств и солидными по возрасту и опыт-

ности. Они вели пропаганду на фабриках и заводах, и Шатилова указывала мне на них, как на прямых преемников «фричей» и кавказцев.

Другим настоятельным делом Шатилова считала организацию сношений с тюрьмами, в которых находились арестованные. Теперь можно удивляться, какую важность приписывали в то время этим сношениям, и как много энергии и средств затрачивалось на это. Хотя арестованные, наверное, протестовали бы, но считалось необходимым тайной перепиской «поддерживать их дух», а другой задачей было «устройство показаний», т.-е. соглашений арестованных между собой относительно разных обстоятельств, чтоб в показаниях не противоречить друг другу, снять, с кого можно, улики и т. п. Результаты такого «устройства» бывали иногда обратные: переписка попадала в руки начальства и вместо облегчения приносила иногда вред.

Для этой конспиративной корреспонденции Шатилова привлекла сначала двух барышень: Георгиевскую и Введенскую. Но первая же попытка Шатиловой в обоих направлениях была прервана несчастьем: Ивановский и Ионов были скоро арестованы; барышни тоже не замедлили попасть в тюрьму и в свою очередь стали нуждаться в переписке «с волей» [1]).

Неутомимая Шатилова сделала тогда второй набор: вызвала (по указанию из тюрьмы) двух кавказцев и поручила им рабочее дело и сношения с учащейся молодежью; с другой стороны, через Марка Натансона обратилась за границу к Аптекман и ко мне. И как только, побывав у матери, я приехала в Москву, Шатилова дала мне определенную роль.

Прежде всего, как лицо ничем не скомпрометированное, я должна была нанять на свое имя квартиру, которая слу-

[1]) Ионов по особому процессу был осужден на каторгу; Ивановский бежал из одной из московских полицейских частей. Георгиевская и Введенская судились по процессу «50-ти».

жила бы центральным пунктом для всякого рода собраний, совещаний, свиданий и т. п. и вместе с тем была бы местом пребывания всего конспиративного делопроизводства. Так как моя сестра Лидия в то время была уже арестована и содержалась при Яузской части, то я должна была отказаться от хождения к ней на свиданья, чтоб не навлечь подозрения на нанятую на мое имя квартиру. В ней, кроме меня, по желанию Шатиловой, должны были жить два упомянутых кавказца без прописки. Они были люди совершенно легальные, но предполагалось, что проживание без прописки лучше сохранит их фамилии «чистыми» [1]).

Квартиру мы нашли на Сивцевом Вражке, во дворе, во флигеле, как-раз против окон домовладелицы. Это были три комнаты и кухня, которые мы меблировали кое-как. Одна комната—темная с двумя кроватями—была отведена кавказцам; в другой—поселилась я: в ней была кровать, маленькая софа и большой стол для канцелярии. Меблировка третьей—нейтральной—состояла из обеденного стола и 3—4 стульев. С Хитрова рынка Шатилова привела стряпуху, цокающую тверитянку, простое и доброе лицо которой ей понравилось. Она в самом деле оказалась симпатичной крестьянкой, но варить могла только щи и кашу.

Шатилова очень легко подходила к простым людям; среди деловых забот и революционных злоб дня она всегда находила время поговорить по душе с этой женщиной, все мысли которой были в деревне, и этими беседами она совершенно завоевала ее.

В полной уверенности, что хорошо и солидно устроились, жильцы квартиры занялись делом: кавказцы с утра уходили из дому и возвращались только к обеду. Они посещали трактиры, где встречались с рабочими или видались со студентами университета, Петровско-Разумовской академии и

[1]) Из них один пошел потом в административную ссылку, а другой, если не ошибаюсь, никуда не пошел.

поддерживали знакомство с учениками Технического училища, но все это в самых незначительных размерах и без организации каких-либо групп или кружков в этих учебных заведениях. К практической же работе, насколько знаю, они ни привлекли никого.

Моей обязанностью было заменить Георгиевскую и Введенскую, и я по целым дням разбирала шифрованные записки, полученные из тюрьмы, и шифровала ответы, содержание которых диктовала Шатилова. Некоторые заключенные придумывали сложные комбинации для об'яснения, как, зачем и почему у них при аресте оказался тот или иной документ, адрес или письмо; как завязалось то или другое знакомство. Большая хитросплетенная переписка велась по поводу Карташева и найденных у него 10.000 руб. Надеялись выгородить его и спасти деньги. Ни то, ни другое не удалось: Карташев был отправлен на каторгу, деньги пошли на покрытие судебных издержек.

Переписка с арестованными, найденная у Введенской и Георгиевской, вызвала множество столбцов шифра, чтобы придумать способ, как придать этому факту невинный характер. Много чернил и бумаги ушло на сговоры по поводу двух фиктивных браков, устроенных «фричами» с финансовыми целями [1]): Хоржевская должна была выйти замуж за князя Цицианова, но в нужный момент жениха в Москве не оказалось, и она обвенчалась с его приятелем, Кикодзе, взявшим для бракосочетания документ Цицианова. Другим фиктивным браком был брак Ек. Тумановой и Гамкрелидзе. Непредусмотрительным образом при этих бракосочетаниях свидетелями подписались члены организации под своими фамилиями. После арестов полиция все дело раскрыла и использовала, как улики на суде. Но теперь, путем тайных соглашений между действующими лицами, казалось возможным это дело затушевать.

[1]) Браки были заключены, но цели—не достигнуты.

По поводу источников, откуда черпались денежные средства организации, по поводу найденной при обысках литературы, по поводу того, кому что взять на себя, кого и как выгородить,—обо всем надо было списываться, и притом шифром, правда, несложным, гамбеттовским, но все же шифром, и с каждым по особому условленному ключу. Вот и сидишь утром и вечером, и после обеда, разбираешь длинную, узкую полоску, испещренную цифрами, или шифруешь ответ на какое-нибудь хитросплетение. Потом, быстро облачившись в ту парижскую кофточку, в которой я мерзла в вагоне, надеваешь шапочку и бежишь в сильный мороз на улицу: ведь это я должна была вести сношения с жандармами, унтерофицерами и подчасками, которые были посредниками между «волей» и «неволей». Иной раз вечером стоишь где-нибудь в глухом переулке, в условном месте, ожидаешь этого посредника... и холодно, и неуютно... Вот идет незнакомый человек, продающий свои услуги. Почему бы не схватить меня за руку и не отвести в участок! Быть может, там дадут больше, чем можно получить от меня?.. Никогда при такой мимолетной встрече не приходится вглядеться в личность передатчика, связать его с собой хоть тенью какого-нибудь духовного интереса. Происходит голая сделка—купля-продажа: он протягивает комочек бумаги, а я кладу ему в руку рубль. Всеволод Лопатин, содержавшийся в то время в тюремном замке (Бутырках), обделывал там дела за гривенник и пятиалтынный; но мы, непрактичные, тратили ежемесячно изрядную сумму на эти подкупы и получали от него большое порицание. В другой раз, где-нибудь на перекрестке вечером я жду какого-то плюгавого телеграфиста. Худосочный, с испитой, некрасивой физиономией, он ведет меня в трактир, где пол усыпан опилками и шмыгают юркие половые с полотенцем через плечо. «Пару чая!»,—заказывает телеграфист, и я сижу с ним за столиком, а кругом гуторят, обливаясь потом, раскрасневшиеся московские «чуйки».

Телеграфист бормочет, что трудно, требуется много времени, чтоб завести знакомство для сношений с Тверской, Пречистенской или другой «частью». Есть у него знакомый музыкант, который дружит с жандармами, и через него он надеется в конце-концов получить нужные связи для передачи писем. Мне кажется, что все это—одни проволочки, с целью выманить побольше денег: не берешь в толк, что ведь он рискует, и нельзя же с первых слов знакомства с конспиративной целью раскрывать ее. Но если каждый раз телеграфист спрашивает три или пять рублей, как не заподозрить, что его слова — пустая отговорка, чтоб выманить побольше денег у легкомысленных господ? И все время сидишь в трактире, как на иголках. Ведь это же впервые! Никогда в жизни я не заглядывала в эти противные заведения... Мне неприятна вся обстановка: комнаты, уставленные столами, и чужие люди, распивающие чай; неприятны половые, неприятен запах трактира, неприятен телеграфист, его лицо, его фигура.

Мне не с кем поделиться этими впечатлениями: меня посылают, и я иду. Шатилова мне нравится, я ее люблю. Я вижу, что она вся отдается тому, что считает нужным. И не могу говорить с ней о моих смутных ощущениях, да и сама еще не вполне сознаю, что стою не на своем месте, не подхожу к роли, которую мне дали. Не подхожу, но молчу.

Те, которые поселены на моей квартире, для меня остаются совсем посторонними людьми, между нами нет товарищеского сближения. Да это было бы чудом: ведь нас соединила чужая воля, не считаясь ни с индивидуальностью, ни с характером и вкусами каждого из нас. Были врозь—остались врозь.

Множество разного люда ходило к нам; случалось, в день бывало до 30 посещений. Тут был непомерно длинный и, как скелет, худой Армфельд; был молчаливый чудак, над которым добродушно и однообразно все подсмеивались и кото-

рого за весьма длинную бороду звали Бородой. Ежедневным посетителем был мой заграничный приятель Н. Саблин, бывший чайковец, выпущенный тогда на поруки; заходили молодые люди из числа учащихся и т. д... А на софе в моей комнате по целым дням лежал с книгой в руке рабочий Василий Грязнов, из тех фабричных, которых распропагандировали «москвичи». Вся эта молодежь приходила частью по делу, но больше для обмена впечатлениями: посидеть, поболтать. Квартира, несмотря на конспиративную канцелярию, была в полном смысле «Толкучкой», как у нас звали квартиры с дверями, открытыми для всех.

В то время в Москве и вблизи нее жили некоторые лавристы, с которыми я скоро познакомилась и сблизилась. Это были Александр Сергеевич Бутурлин, Таксис, нелегальный, разыскиваемый полицией и известный в публике под именем Антона, земский врач Гинзбург и бывший судебный следователь Кулябко-Корецкий, которого, как и Гинзбурга, я знала еще по Цюриху. Все они были людьми выработанными, образованными и стояли особняком, поодаль от тех, кто группировался около Шатиловой и посещал нашу квартиру.

Семейный дом Бутурлина, жившего на широкую ногу, на Пречистенке, был естественным местом встреч с этими лицами, так как Антон постоянно бывал там, а Гинзбург останавливался, приезжая из уезда. Часто бывая в семье Бутурлиных, я особенно подружилась с Таксисом, революционером-профессионалом, очень деятельным, живым и общительным. Он был опытным пропагандистом, и некоторые взгляды его на революционную деятельность имели влияние на меня. Случалось, долгие вечера мы проводили вдвоем, прохаживаясь по нейтральной комнате моей квартиры. Ему я говорила откровенно об обстоятельствах, смущавших меня в той обстановке, в которой я очутилась по приезде из-за границы. Разве к этому я готовилась, изучая медицину? Где же революционная деятельность *среди народа?* Где работа в деревне, к ко-

торой в мыслях я стремилась все эти годы? Где социализм, пропаганда и революция? Ничего подобного я не вижу, и весь народ заключается для меня в рабочем Василии, который весь день лежит на диване... Ему поручено заводить связи на фабриках и заводах, и он говорит, что ищет работы. Вставая от поры до времени со своего ложа, он закрывает книгу, уходит часа на два и, возвращаясь, чтоб поесть, заявляет, что работы не нашел, ни один завод не принимает... Впрочем, Шатилова познакомила меня еще с ткачом Яковом, распропагандированным «москвичами» и с которым теперь все мы видаемся. Это был мужичок себе на уме: уверял нас, что для сношений с рабочими нужна своя квартира и он может устроить ее, для чего необходимо выписать из деревни его семью. Деньги были сейчас же ассигнованы как на квартиру и ее оборудование, так и на переселение семьи и содержание ее вместе с Яковом, который тоже уже давно оставил фабрику. На него мы смотрели, как на главную опору в деле заведения новых знакомств в рабочей среде. Действительно, однажды он привлек к этому и меня с Шатиловой, об'явив, что познакомит с двумя отличными парнями, если мы отправимся с ним куда-то далеко в трактир. Мы обрадовались, и в назначенный час Шатилова в роскошной лисьей ротонде, а я в парижской кофточке повязали головы платочком и отправились на это свиданье.

Опять трактир, только грязнее того, где я видалась с телеграфистом, и несуразное соединение наших двух фигур с тремя крестьянами. Мы решительно не знали, о чем говорить с нашими молодыми знакомцами. Как подступиться к ним? С чего начать? Стоит ли говорить, что из свидания ровно ничего не вышло, кроме общей неловкости, и оно уже больше не повторялось.

Я говорила Таксису, как скучно сидеть за шифрованной корреспонденцией, которая, как мне кажется, только запутывает положение заключенных, и как было бы тяжело по-

Бетя Каминская.

пасть в тюрьму, даже не побывав в деревне, не посмотрев, что такое тот народ, о котором столько говорилось в Швейцарии и служить которому я искренно хотела. А между тем я чувствую, если не оставить Москву, дело придет именно к этому, так как я оказалась маленьким колесиком в механизме; кругом все колеса вертятся и захватывают меня в общее движение. Я не могу выпрыгнуть из создавшегося положения—я маленькое звено в цепи и своим уходом боюсь порвать ее, нарушив весь ход машины... Таксис понимал мое настроение, сочувствовал ему и побуждал оставить то, что я теперь делаю, чтобы прямым путем итти к давнишней цели. С братской участливостью он помогал мне раз'яснить себе все стороны моего тогдашнего положения и прекратить колебания. Вместе с тем, зная условия русской жизни и трезво относясь к революционной деятельности, он всеми силами старался рассеять романтизм, который был навеян на меня чтением и личными встречами. Он говорил, что я не должна ждать громких подвигов и блестящих дел в деревне; что жизнь в ней гораздо проще и невзрачнее, чем рисует воображение; что задача революционера—задача трудная, работа в народе—работа медленная, и к цели придется итти путем непрерывных усилий, испытывая множество неудач и разочарований, потому что в народе мало сознания и почти нет бунтовского духа... Поэтому я должна внутренно подготовить себя к упорному, тяжелому труду и в *непрерывности своих усилий* находить удовлетворение: каждое мое слово, каждое действие будут казаться малозначащими, быть может, даже ничтожными, но в сумме общей работы результат будет несомненный.

Эти идеи Таксис не уставал внушать мне, и его взгляды много способствовали выработке моего общего отношения к жизни и деятельности.

Трудно было решиться на об'яснения с Шатиловой: мне казалось, что, покидая ту работу, которую она поручила

мне, я изменяю ей и налагаю на нее новые хлопоты и заботы. Но все же я решилась и сказала, что хочу уехать в какой-нибудь губернский город, чтобы сдать экзамен по медицине, и затем устроиться в деревне.

Случайное обстоятельство облегчило мой от'езд: мы были явно накануне краха. Моя квартира, на которой двое проживали без прописки и куда ходило множество людей, сделалась, наконец, предметом внимания и болтовни жителей тихого Сивцева Вражка. Однажды приходит Саблин и рассказывает, что его брат, бывший, как оказалось, женихом умершей дочери хозяйки дома и потому иногда посещавший ее, передает, что хозяйка обеспокоена и советовалась с ним, как ей быть? Она замечает, что во флигеле делается что-то подозрительное—ей и дворник об этом говорил. Того и гляди нагрянет полиция. Что же ей делать; донести в полицию или предупредить нас?...

Так случайно Саблин принес нам предупреждение, и квартиру пришлось ликвидировать не только уж по моему желанию, но и в силу необходимости. Цокающую кухарку отпустили не без сожаления с ее стороны; кавказцы выбрались, и существование «Толкучки» прекратилось.

Я переехала в какие-то номера (они назывались Ляпинкой), чтоб сделать необходимые шаги к сдаче экзамена.

Трудно поверить, что я, заграничная медичка 4-го курса, должна была скрывать это и прибегнуть ко лжи, чтоб быть допущенной к экзамену на фельдшерицу. Куда я ни обращалась со своими университетскими свидетельствами о посещение лекций, всюду встречала холодный и сухой прием. Всюду мне отказывали, нигде не хотели допустить к экзамену на основании этих заграничных документов. Учиться за границей считалось делом неблагонамеренным: самый факт пребывания за границей набрасывал на человека подозрение. В Петербурге особенно сурово приняла меня графиня Гейден, стоявшая во главе школы фельдшериц при Георгиевской общине сестер милосердия.

Сведущие люди надоумили меня взять у какого-нибудь врача удостоверение, что я проходила *под его руководством* курс фельдшерских наук в течение 2—3 лет и, представив этот документ в губернскую врачебную управу, где-нибудь в провинции просить о допущении меня к экзамену на фельдшерицу.

Делать было нечего; приходилось скрывать, что я была за границей студенткой и добывать у врача фиктивное свидетельство—без этого все двери были бы закрыты и моя медицинская карьера кончена.

А. С. Бутурлин достал мне от московского врача Глаголева нужное свидетельство, а бывшая цюрихская студентка Ширмер направила в Ярославль с письмом к ее родственнику, доктору Пирожкову. Он заведывал в Ярославле родильным домом, был знаком со всем городом и должен был устроить все дальнейшее.

Пирожков и его жена оказались добрейшими людьми и встретили меня с величайшим радушием. Доктор тотчас указал, где я могу найти комнату со столом; нашел гимназиста, с которым я могла повторить латинскую грамматику; поехал в губернскую земскую больницу и получил для меня разрешение посещать вместе с врачами все палаты. Я тотчас приступила к посещению этой больницы, обходила с врачами отделение внутренних болезней и присутствовала при операциях, которые делал главный врач. Последний доставил мне много неприятных минут, потому что был неискусен и после знаменитого бернского профессора Кохера на *его* операции было больно смотреть. Каждый раз он горячился и своей суетливостью приводил в нервное состояние весь медицинский и служебный персонал. То нехватало одного инструмента, то недоставало другого: все бросались в разные стороны, происходил беспорядок, а больной лежал в тревожном ожидании. Глазные операции делались грубо, и когда этот хирург при иридектомии неумело тащил пинцетом радужную

оболочку, по моему лицу невольно пробегала судорога, и я вспоминала бернского окулиста, проф. Дора, который, хотя был груб в обращении с больными, но оперировал изящно. После университетских клиник Ярославская больница в медицинском отношении ровно ничего не давала мне, но для экзамена было необходимо свидетельство, что я некоторое время состояла при ней.

Месяца через полтора или два этот экзамен состоялся в комиссии врачей, назначенных врачебной управой, и я без труда сдала его: экзаминаторы громко выражали удивление, что я отвечала «как студент». «И неудивительно», думала я про себя.

Так получила я аттестат, свидетельствовавший, что я блестящим образом выдержала экзамен.

Добрейший доктор Пирожков, знавший, что в Берне, в университете, я уж прошла курс акушерства, выдал мне удостоверение, что я прослушала этот курс в Ярославле, в акушерской школе, которою он заведывал. С этим документом я могла сдать экзамен в Петербурге у проф. Горвица и получила соответствующий диплом из Военно-Медицинской академии.

Перед от'ездом доктор Пирожков печально сел за фортепиано и с большим под'емом весь вечер играл сантиментальные романсы и ноктюрны, выражая свою грусть по от'езжающей...

Во время моего пребывания в Ярославле случился эпизод, довольно характерный для того времени. Однажды, вернувшись из больницы, я неожиданно нашла в своей комнате на кушетке Бетю Каминскую, которой я не встречала со времени нашей разлуки в Берне.

— Бетя! Ты ли это? Откуда?—спрашивала я в изумлении, зная, что после того, как вследствие психоза ее выпустили из тюрьмы под залог к отцу она жила у него на юге России.

— Я приехала к тебе,—спокойно отвечала она,—чтоб от тебя пойти в народ...

— Как в народ? Что ты выдумываешь?—удивлялась я.

Казалось, Каминская нисколько не изменилась за те полтора—два года, в которые я не видала ее: все та же маленькая, хрупкая фигурка, нежный румянец на щеках и коротко остриженные каштановые кудри... И большие, серые глаза с первого взгляда казались теми же. Можно было подумать, что душевно она здорова теперь. Но это была только видимость, и как только мы разговорились, я тотчас узнала картину тихой меланхолии, которую я видела в психиатрической клинике в Берне.

Не прошло и получаса, как, сидя за самоваром, Бетя стала излагать целую теорию, которая, повидимому, была ее idée fixe. Она говорила, что *цель* жизни социалиста—гибель, и только путем этой гибели *возможна* и всего лучше совершается пропаганда социалистического учения. Что такое все разговоры с рабочими на революционные социалистические темы? Какое значение могут иметь все наши беседы, толкования и об'яснения? Это совершенно ничто. Какой смысл может иметь привлечение одной—двух единиц к партии? Ровно никакого. Другое дело—гибель... Стоит на фабрике или заводе произойти какому-нибудь аресту—сенсация идет по всему заведению; тысячи рабочих узнают о факте и сейчас же спрашивают: за что арестовали? Что за человек арестованный? За какие речи, за какие книги он взят? Начинаются разговоры, расспросы; рождается интерес в умах сотен и тысяч рабочих...

Сколько я ни спорила, доказывая нелепость этих пессимистических рассуждений, Бетя стояла на своем и ничего не хотела слушать. Тщетно я указывала, что арест, «из'ятие из обращения» есть только печальное последствие отсутствия свободы пропаганды в России и никоим образом не цель, не

может быть целью активного социалиста; Бетя оставалась непоколебима, и всякий спор был бесплоден.

— Помоги мне завтра же купить крестьянскую одежду и сапоги, потому что послезавтра я отправляюсь в путь по деревням.

— Подумай, Бетя, ведь это—безумие. Ты такая слабенькая, одинокая, куда ты пойдешь? Ведь ты не знаешь ни местности, ни расстояний между селами. Ты можешь заблудиться, попасть в какой-нибудь лес или запоздаешь в пути и останешься в поле ночью, одна, вдали от всякого жилья... Что тогда будет с тобой? Ведь ты—женщина. Если-б ты еще была мужчиной, у тебя была бы физическая сила, ты могла бы обороняться. Представь себе, что какие-нибудь прохожие пристанут к тебе: как ты избегнешь возможных оскорблений? Нет! Я ни за что не пущу тебя. Выбери что-нибудь более подходящее. Мало ли положений, в которых ты можешь осуществлять свои идеи.

Нет. Она пойдет, непременно пойдет: оденется крестьянкой и пойдет...

Куда?.. Куда глаза глядят.

С беспокойством я стала наблюдать за гостьей. Вечером, наговорившись, мы сидели за столом с лампой; перед обеими лежали книги. В то время, как я понемногу погрузилась в чтение, я внезапно заметила, что рядом совсем не слыхать шелеста перелистываемых страниц. Я подняла голову: перед Бетей лежала раскрытая книга, но над ней Бетя сидела неподвижно, в глубокой задумчивости, с глазами, устремленными куда-то вдаль. Было видно, что она забыла обо всем окружающем, и в ее задумчивости было что-то такое тихое и скорбное, что я боялась пошевелиться и нарушить ее раздумье. Невольно мои глаза вновь опустились на лежавшие передо мной страницы.

Наутро Бетя потребовала, чтоб я пошла с ней на базар. Мы купили ситцевую юбку, кофту и пестрый платок на го-

лову. С сапогами вышло затруднение: нельзя было найти мужские сапоги на ее маленькую ножку. Мы обошли лавки и стали спрашивать сапожки для мальчика. Тут нашлась подходящая пара, и со всей этой добычей мы вернулись домой.

Весь остальной день Бетя наводила на меня тоску: она не могла ни читать, ни вообще чем-нибудь заняться. Целыми часами, разостлав на полу плед, она лежала или, перекинувшись через подоконник открытого окна, смотрела вдаль на небеса.

Так прошел день, а наутро Бетя заторопилась.

— Неловко уходить от тебя переодетой в иное платье. Я выйду в том, в каком приехала, и переоденусь, когда буду за городом в поле, а свое платье свяжу в узелок,—говорила Бетя.

Бедное дитя простилось со мной и исчезло.

Все обстоятельства этой неожиданной встречи так взволновали и расстроили меня, что я не могла заниматься. Я пошла на вокзал и взяла билет в Москву к Шатиловой, которая дала Бете мой ярославский адрес. Среди московских знакомых я надеялась рассеять то удручающее впечатление, которое произвела Каминская.

Через два дня я вернулась, и каково же было мое изумление: в моей комнате на подоконнике сидела Бетя. Сразу я не могла сообразить, что такое случилось. А Бетя рассказала, что в первый же день она сбилась с дороги, зашла неведомо куда и провела весеннюю, сырую ночь на земле в поле... Потом она встретила реку, не знает — какую... и пошла вдоль ее берегов.

— Я не знала, иду ли вниз или вверх по течению,—наивно призналась она.—А как, в самом деле, Верочка, узнать, в каком направлении река течет?

— Какая ты смешная!—сказала я.—Взяла бы щепку, да и бросила в воду: куда щепка поплыла, в той стороне и было бы устье реки.

Когда Бетя подошла к реке, то вместо того, чтобы итти против течения и удаляться от Ярославля, она пошла в обратном направлении, и это привело ее обратно в город.

Ее детская затея на этом кончилась. Должно быть, жуть, охватившая ее ночью, проведенной в поле, показала ей невозможность подобных путешествий. Через 2—3 дня, которые она провела у меня в той же грустной задумчивости и неподвижности, когда все внимание человека обращено внутрь себя, а окружающее как-будто не существует, Каминская простилась со мной, и с тех пор, до ее самоубийства, я уже не встречалась с ней.

Покончив с экзаменами и заручившись аттестатами, которые давали мне возможность служить в земстве, я отправилась в Казань для развода с мужем.

В это время я ездила в Тетюшский уезд на свою родину, в именье родителей, где одиноко стоял наш старый барский дом. Вся семья наша была в то время вразброде, и усадьба стояла в полном запустении. Я была в последний раз в этих местах и не подозревала, что вернусь, лишь выйдя из Шлиссельбурга. Я посетила дядю Куприянова: он был ласков попрежнему и ничем не выразил своего мнения о моем возвращении без получения докторского звания. Видалась я с тетей Головня и ее мужем, которых я всегда любила и жизнь которых несколько лет назад производила на меня такое хорошее впечатление. Тут на первых порах случилась маленькая сцена, над которой нельзя не посмеяться.

Пришла к тете баба продавать курицу и просила за нее 20 копеек. Тетя Лиза торговалась и давала 15... Благополучно кончив торг, она вошла в соседнюю комнату и застала меня в слезах.

— Что с тобой? Почему ты плачешь?—с удивлением спрашивает она.

А я, бросившись к ней на шею и пряча лицо, обильно орошенное слезами, с трудом выговариваю:

— Милая тетя! Я не могу слышать этого: разве можно торговаться с женщиной из-за 5 копеек?!..—и начала толковать тете о социализме, об эксплоатации и бедственном положении народа... Должно быть, я была красноречива, потому что растроганная тетя сказала с чувством:

— А знаешь, Верочка, ты хорошо бы сделала, если бы об'ехала всех помещиков да всем и говорила о том, о чем теперь мне рассказываешь!..

Вместо Сербии—Пугачевка.

Покончив свои дела в Казани, я поехала в Петербург в августе 1876 года. Радикальные круги молодежи по случаю лета еще не были в сборе, и я не могла сразу войти в водоворот революционных знакомств. Из чайковцев я нашла только Н. И. Драго, с которым скоро подружилась. На его руках были все дела и связи, унаследованные от организации, к которой он принадлежал и которая, как сложное целое, была разорена арестами. Постоянно напряженные нервы, ежедневный труд по удовлетворению разных революционных требований и нужд сказывались крайним переутомлением этого симпатичного друга, но кружка интеллигентов, с которыми можно было бы разделить работу, около него в то время не было. В один счастливый для меня день я встретила у него моего будущего любимого друга Александру Ивановну Корнилову, привлекавшуюся к процессу «193-х» и тогда только-что выпущенную на поруки. Она и ее сестра Любовь Ивановна, по мужу Сердюкова, были первыми, в то время единственными людьми, взявшими на себя заботу о заключенных. Они жили на Гончарной в доме своего отца, удалившегося от дел владельца известного фарфорового завода «братьев Корниловых»... Ни до, ни после я не встречала людей такого высокого, чистого альтруизма, каким отличались обе сестры. Их отец был очень богат; обстановка и весь обиход домашней жизни соответствовали этому. И среди это-

го богатства и сытости выросли два прекрасных цветка, которые не знали эгоизма, никогда не думали о себе и только, только о других. Получая от отца большие деньги на булавки, они не знали, что такое прихоть или какое-нибудь излишество, одевались обе скромнее скромного, и я не знаю, от чего не могли бы отказаться, чтобы помочь другим. Все деньги, которые были в их распоряжении, они передавали через тюремную контору в Петропавловскую крепость и в Дом предварительного заключения в помощь арестованным, наполнявшим эти учреждения. Не делалось различия между друзьями, близкими товарищами и совсем незнакомыми заключенными, и муж Любови Ивановны, один из выдающихся чайковцев, Анатолий Иванович Сердюков, был на том же положении, как и все другие арестованные.

Любовь Ивановна дома сама вела хозяйство, и в кухне два раза в неделю шел дым коромыслом: громадное количество всевозможных продуктов варилось, пеклось и жарилось, чтобы в отдельных пакетах поступить в тюрьму для тех, кто нуждался в усиленном питании. Никакой организации, никаких сборов для подобного рода помощи в то время не было, и сестры Корниловы, можно сказать, прокладывали путь, по которому потом пошли другие. Обе сестры были так трогательны в своей простоте, так привлекательны в своем аскетизме на пользу других, что я горячо полюбила их.

Особенное впечатление произвел на меня рассказ Любови Ивановны, что в виду того, что нельзя было передавать книги, она прочитывала их со специальной целью в письмах сообщать их содержание, чтобы этими литературными новостями поддерживать бодрость и хоть сколько-нибудь удовлетворять умственные запросы друзей, находившихся в тюрьме.

Если знакомство с Корниловыми послужило для меня источником радости и нравственного удовлетворения, то и они, в свою очередь, полюбили меня, и Любовь Ивановна с лаской называла меня «Зазнобушкой».

После процесса «193-х», по которому судился Сердюков, страдая психическим расстройством, он отравился. Давно умерла и Любовь Ивановна, но с Александрой Ивановной я имела необычайное счастье встретиться и после Шлиссельбурга и вновь найти в ней незаменимого друга: в трудный период, после моего освобождения, она приехала ко мне и с нежной, терпеливой преданностью разделяла мое одиночество в Архангельской губернии, куда я была сослана тотчас после выхода, с приказом от начальства совершенно изолировать меня от всех ссыльных.

Тщетно смотрела я в Петербурге, где же деятели-социалисты, желающие работать в деревне? В тот момент их не было, ни организаций, ни отдельных личностей. Между тем я понимала, что действовать следует коллективно, в союзе с другими, а не в одиночку на свой страх и риск. В этом смысле я получила достаточное воспитание благодаря всему тому, что знала о рабочем движении на Западе; этому же учил пример «Московской организации» да и вся предыдущая история революционного движения в России. Но в данную минуту я не видела, к чему я могла бы пристать. Корниловы не занимались революционной деятельностью, а Драго смотрел на положение дел так, что даже удивлялся моему приезду в Россию до окончания курса.

Однако, чтоб не терять времени, я все же разослала в различные земства предложение своих услуг. Но напрасно ждала ответа: повидимому, спрос на фельдшериц был не велик. Тогда, чтобы не оставаться праздной, я решила сделать попытку отправиться на театр военных действий: Сербия воевала с Турцией. Генерал Черняев в Сербии, а Аксаков в Москве стояли во главе военно-медицинской помощи маленькой стране в ее борьбе за независимость. Я думала, что буду не бесполезна своими знаниями, и поехала в Москву, чтобы обратиться к Ив. Ал. Аксакову, который отправлял врачей и сестер милосердия на Дунай.

Однако, когда я пришла в Москве в то грязное, жалкое помещение, в котором работал Аксаков, он бросил на меня рассеянный взгляд и сказал:

— Нет, не надо... Мы завалены предложениями...

Итак, я ошиблась в расчете. Зато, вместо Сербии, я неожиданно попала в Пугачевскую башню Московского тюремного замка, и попала по своему легкомыслию.

По приезде в Москву, я остановилась на нелегальной квартире, где по чужому паспорту были прописаны Юрий Николаевич Богданович и под видом его жены барышня Арефьева.

С Богдановичем я познакомилась, когда из Ярославля приезжала в Москву к Шатиловой. Она была хороша с ним и расхваливала мне его до небес. Действительно, он производил обаятельное впечатление на всех, кто знакомился и сближался с ним. Нравственно чистый, правдивый и искренний, он отличался редким добродушием с оттенком легкого юмора и такой задушевностью и теплотой в обращении, что был среди всех любимым товарищем, преданным и всегда верным своему слову. Если у него был недостаток, то это была мягкость, что не помешало, однако, тому, что он прошел всю эволюцию русского революционера от социалиста-пропагандиста в Самарской губернии во время голода в 1874 году и до террориста 1879—81 г.г., сыгравшего крупную роль в деле 1-го марта этого последнего года.

В первую же встречу я узнала тогда, что брат Юрия, Николай Николаевич Богданович, помещик и почетный мировой судья Торопецкого уезда, устроил в своем имении кузницу, в которой и сам работает, и учит кузнечному мастерству «радикалов» (как мы тогда неизменно сами себя звали), желающих потом устраиваться по деревням в качестве кузнецов. Этому ремеслу учился в то время и Юрий, и его друг Александр Соловьев, бывший учитель, казненный потом за покушение 2 апреля 1879 г. на Алексан-

дра II, Адриан Михайлович, известный по делу об убийстве Мезенцова (4 августа 1878 г.) и многие другие.

Теперь в Москве Юрий Богданович вместе с Иванчиным-Писаревым, который вернулся из-за границы, и Зубком-Мокиевским, выпущенным временно из тюрьмы, был занят проектом освобождения Бардиной и Любатович, содержавшихся в двух различных полицейских частях в Москве. Для этого и была устроена конспиративная квартира. Конспирация, однако, не строго соблюдалась: так попала туда я, а когда вернулась после неудачи у Аксакова, то застала у Богдановича П. Георгиевскую, брат и сестра которой находились в тюремном заключении. Оказалось, что Георгиевская зашла, идя в полицейскую часть, куда отправлялась, чтоб отнести брату передачу. Георгиевская, между прочим, сообщила, что и Саблин, вновь арестованный, содержится в той же части, и «каждый раз, когда я прихожу в контору с передачей для брата, говорила она, заключенные видят меня из окон и приветствуют»...

— Возьмите, в таком случае, и меня с собой,—стала я просить Георгиевскую.—Мне хочется, чтоб мои знакомые тоже увидали меня.

— Конечно, пойдемте,—согласилась Георгиевская.

И мы отправились, по дороге купив фруктов для передачи.

Вероятно, заключенные часто стояли у окон, потому что, едва мы вступили во двор, нас тотчас же заметили и стали махать платками.

При выходе из конторы повторилось то же самое, и это показалось мне так забавным, что я предложила Георгиевской вернуться и еще раз пройти по двору.

Шум и приветствия из окон удвоились...

Тогда из конторы вышел дежурный жандарм и арестовал нас. Тут же, одну против другой, нас посадили в камеры этой части и заперли...

Положение оказалось затруднительным. На первый же предстоявший вопрос о местожительстве и квартире я не знала, что сказать. Квартиру Богдановича, понятно, я не могла указать, как место, где я остановилась. На квартире Георгиевской я не появлялась, и у нее никто не подтвердил бы моего показания. Назвать себя и сказать, что я живу в Петербурге, я тоже не хотела. А вдруг у матери, с которой я живу, сделают обыск. Это ее очень обеспокоит... И я решила скрыть свое имя.

Но вместе того, чтоб сидеть смирно и ждать событий в уверенности, что наше слишком долгое отсутствие само скажет нашим друзьям о постигшей нас участи, и Богданович, знакомый с моей матерью, предупредит ее о том, чтоб она поспешила ко мне на выручку,—мы пустились на выдумки, которые только повредили делу.

У меня в кармане было около ста рублей. Переговорив с Георгиевской через незапертую форточку в двери, я позвала жандарма и сказала:

— Хотите получить 25 рублей? Отнесите записку в город.

Тот без малейшего колебания побежал за карандашом и бумагой. Одной этой готовности, казалось, было бы достаточно, чтоб возбудить подозрение. Ничуть не бывало! По взаимному уговору Георгиевская пишет записку к подруге, с которой жила вдвоем в комнате. В записке говорит о своем аресте и прибавляет «Предупреди».

Жандарм поспешно хватает записку и исчезает. Увы! чтоб уже более не появиться. Вместо подруги, он представил бумажку по начальству.

Нас арестовали в воскресенье или какой-то другой праздничный день. В участке, кроме дежурного, никого не было и во весь день и вечер нас никто не тревожил.

Плохо ли, хорошо ли, мы проспали ночь, а наутро приехал прокурор, и меня позвали на допрос. Кроме портмо-

нэ, у меня в кармане был вид на жительство, но так как я не хотела сказать, кто я, то еще вечером я распорола подушку в своей камере и документ, удостоверявший мою личность, зарыла в перья.

Молодой прокурор и жандармский офицер прежде всего спрашивают мое имя и местожительство.

— Я не скажу.

— Почему же вы не скажете? Все равно узнаем: вам же будет хуже.

— Узнавайте, а сама я не желаю сказать.

— Подумайте,—говорит прокурор,—ведь вас придется записать бродягой, не помнящей родства.

— Мне все равно: можете записать бродягой.

После некоторых перекоров на том и остановились. Спросили, что у меня в кармане, и я отдала портмонэ с деньгами. Затем отвели в прежнюю камеру, где, удостоверившись, что за мной не смотрят, я быстро засунула руку в подушку и переложила мой паспорт в карман.

Минут через 10 меня перевезли в Московский тюремный замок (Бутырки).

Смотритель, прочитав бумагу, буркнул:

— В Пугачевскую башню!..

Старик-сторож из отставных солдат ведет меня, неведомо куда, какими-то ходами, дворами и переходами, в которых я не могу ориентироваться. Наконец, мы попадаем в совсем маленький дворик, с трех сторон окруженный каменными стенами, а с 4-й стоит круглая башня. Сторож запирает меня в нижнем этаже в первой камере справа.

Я нисколько не смущаюсь новизной обстановки и отношусь легко к жалкой койке, убогому столику, кривому стулу и облупившимся от времени, грязным стенам. В углу неизбежная «парашка». Я со смехом смотрю на мое изящное черное платье и снимаю шляпку с розами. Кроме этого платья и прекрасных роз, у меня нет ни порошинки: ни иного

платья, ни накидки, ни перемены белья. Как быть без всего этого? Я с беспокойством думаю, как обойдусь я без свежего воротничка и манжет? Сторож обещал купить чайник, сахару и чаю, но, когда я сказала «манжеты», он выпучил глаза, и стало ясно, что покупка невозможна. «Как же я буду ходить в нарядном платье и в грязном воротничке»,—размышляла я. И эта мысль о манжетах и белье была единственным облаком, которое смущало мой дух. Чтоб хотя сколько-нибудь предохранить манжеты от пыли кругом, я поскорее сняла эту драгоценность и спрятала под шляпу с розами.

Надо было осмотреться: что представляет из себя внутренность старой башни? Кто обитает в ней? Уж с первого момента я слышала гул голосов, шедший откуда-то сверху: значит, жители в башне были.

Я откинула незапертую форточку в двери и выглянула из нее. Как-раз напротив была такая же дверь и такая же откинутая форточка. И что же?! Из нее смотрело некрасивое, испитое лицо того самого худосочного телеграфиста, которого я так презирала...,—того телеграфиста, который зимой водил меня в скверный трактир для передачи за деньги писем из тюрьмы...

Он тотчас узнал меня, а я и не подозревала, что он, наконец, попался, наткнувшись на такого жандарма, который выдал его. Быть может, это был тот музыкант, с которым я так нетерпеливо понуждала его поскорее познакомиться...

Вот беда-то! Во времена моих сношений с телеграфистом он не знал моего имени. В этом не было надобности, потому что мы встречались только на улице и адрес моей квартиры был ему неизвестен. В силу этого, после ареста, даже при желании, он не мог бы выдать меня. Теперь другое дело: стоит только показать на меня пальцем и—готово! Продажная душа, вытягивавшая от меня деньги, не замедлит это сделать.

Пугачевская башня. (Бутырки).

И, однако, этот презираемый мною человек оказался лучше, нежели я о нем думала, если только не личная выгода заставила его молчать.

На его приветствие я ответила как ни в чем не бывало, не показывая ни удивления, ни недоверия. А когда я расспросила, как и когда он попался, он тотчас начал советоваться со мной, как ему вести себя? Чистосердечно ли во всем признаться, или открещиваться от всего?..

— Молчите, как рыба,—с энергией начала я укреплять его шатающуюся волю.—Если вы признаетесь, что были посредником между радикалами на воле и их товарищами в тюрьме, то вас непременно припутают к политическому процессу по их делу... Сибири тогда, наверное, вам не миновать; но, что еще важнее, позор покроет вас, если вы будете выдавать других. Сидите смирно: знать не знаю, ведать не ведаю, и дело кончится административной ссылкой, потому что, кроме единичного оговора, никаких улик против вас нет. Вас сошлют куда-нибудь в Архангельскую губернию, но люди везде есть: можно и там жить; вы встретите немало ссыльных—хороших студентов и барышень. С голоду вы не умрете, потому что, как политический, будете получать от казны пособие. Глядишь, через некоторое время вас примут куда-нибудь опять на место, и попрежнему вы станете телеграфистом!..

Мой телеграфист воспрянул духом, так хорошо я все изобразила. И говорит:

— Буду молчать! А вот хотел бы я для своей специальности научиться французскому языку, тогда жалованье платят больше. И начал подучиваться, да больно трудно, особенно относительно выговора.

— Вот и прекрасно!—сказала я.—Охотно помогу вам и буду каждый день давать урок через форточку. Если хотите, можно сейчас же приступить к делу.

Так мы и сделали, и ежедневно телеграфист склонял, спрягал и переводил, стоя перед своей форточкой, и смешил меня своим ужасным произношением: «мон пер», «ма мер» гулко разносились в высоком, пустом пролете Пугачевки.

В башне было три этажа и в каждом 4 или 5 камер, расположенных по радиусу. В нижнем была только я и телеграфист. Во втором сидел знакомый мне Ионов, а в верхнем—учитель Розанов. Двое последних, не имея соседей, постоянно перекликались между собой. Жизнь в башне, в странной и убогой обстановке была не лишена прелести: все обитатели ее были молодые, разговорчивые и бодрые; все как-будто и не задумывались о дальнейшей судьбе своей. Был у нас замечательно приятный обычай: наш сторож, из отставных солдат, был на вид суровый, но по душе хороший человек. Старый, немного сутулый, с длинными висячими усами на бритом лице и связкой большущих ключей в руках, он ежедневно приносил нам кипяток в 4 часа, и уж не знаю, по своему ли произволению или вообще таковы были порядки в тюремном замке, но каждый раз сторож отпирал все наши двери и выпускал нас из камер. Сверху сбегали Ионов и Розанов, и мы вчетвером минут 10—15 стояли кучкой на крошечном дворике у входной двери башни и предавались дружеским беседам, пока сторож «прибирал» камеры и разливал в чайники горячую воду. Эти 10—15 минут мы дышали «свежим» воздухом. Быть может, это считалось прогулкой, хотя никто из нас не подозревал этого... Во всяком случае, никакой иной жители Пугачевки не знали.

Однажды сторож спрашивает: не желаю ли я итти в баню? Конечно, желаю! обрадовалась я. В камере так грязно и умываться так неудобно!.

Он повел меня, и вот я осталась одна в предбаннике. Нельзя сказать, чтоб было чисто и благоустроенно! Куда—рассматриваю я стены и лавки—куда бы повесить мое изящное платье? Наконец, найдя в стене гвоздик, решаюсь и раз-

деваюсь. Вхожу в баню и тут испытываю уж то, о чем ни словом сказать, ни пером описать...

Когда в знойный, летний день идешь по нескошенному лугу, при каждом шаге из высокой травы под ногами вылетают кузнечики и стрекозы, бурые, зеленые, белесоватые... А тут, при первом же шаге, во все стороны полетели черные прыгуньи с жирными беловатыми брюшками, оставленные всеми уголовными арестантами тюремного замка, посетившими баню до меня.

Я пришла в отчаянье и, схватив в первую попавшуюся шайку кипятку, принялась плескать вокруг себя, чтоб посредством горячей воды и пара образовать зону недосягаемости для этих тварей. С лихорадочной поспешностью, облив и себя горячей водой, я обратилась в бегство, проклиная свою наивность и давая обет, что никогда, никогда, сколько бы мне ни пришлось сидеть в Пугачевке, нога моя не переступит этого банного зверинца.

Сидеть, однако, не пришлось долго. Через несколько дней меня вызвали на допрос в жандармское управление.

— Ваша мать приехала из Петербурга,—заявил мне прокурор (Трофимов или Тимофеев).—Нет смысла скрывать ваше имя. Кто же вы такая?

Я назвала себя по фамилии мужа Филипповой.

— Кто же ваш муж?

— Секретарь Казанского окружного суда.

Прокурор заглянул в книжечку—должно быть, в список членов судебного ведомства, чтоб проверить, имелся ли такой.

Затем спрашивает:

— Где же, приехав в Москву, вы оставили свои вещи?

— Да никаких вещей у меня с собой не было, — продолжала я умалчивать о квартире Богдановича, в которой я их оставила.

— Не может быть,—возражает прокурор.—Никто не ездит из Петербурга в Москву без чемодана или саквояжа.

— Я ехала с курьерским и думала вернуться с таким же поездом.

— Это невозможно: в таком наряде,—говорит прокурор, еще раз оглядывая мое платье—делают визиты или выходят пройтись по Невскому, но никак не садятся в поезд. Пока вы не скажете, где вы оставили вещи, мы вас не выпустим.

От вас всего можно ждать, подумала я, и, сообразив, что у Георгиевской, конечно, уже давно сделан обыск и во второй раз теперь делать не будут,—я с решительностью сказала:

— Ну, хорошо! Вещи я оставила у Георгиевской.

Но прокурор и тут не удовлетворился и поставил затруднительный вопрос:

— Почему же вы сразу не сказали?

Тут, в замешательстве, не зная, что еще придумать, я бухнула:

— Я боялась себя скомпрометировать.

После этого позвали мою мать, сидевшую в соседней комнате, а с меня взяли подписку о невыезде из места жительства, т.-е. Петербурга, куда мы тотчас и уехали.

К подписке я отнеслась совершенно серьезно и думала, как же теперь я попаду в деревню? Но сведущие люди раз'яснили, что это одна формальность и само начальство не смотрит на подписку, как на обязательство, и никогда никого не уведомляет, что запрет, наконец, снят. Таким образом, если я буду добросовестна, то мне до конца жизни придется безвыездно оставаться в Петербурге.

Так, благодаря приезду матери и официальному положению мужа, я вышла, пробыв в тюрьме какие-нибудь 10 дней, но Георгиевскую продержали несколько месяцев и

выслали на родину—в Тулу. И я никогда не могла простить себе, что это я своим легкомыслием вовлекла ее в беду [1]).

Что касается моих товарищей по Пугачевской башне, то Ионов пошел на каторгу, вышел на поселение, а затем долго оставался в Сибири добровольно [2]).

Телеграфист Поликарпов, последовавший моим советам, отделался административной ссылкой в одну из северных губерний Европейской России.

А что сталось с Розановым, я не знаю.

---

[1]) Я слышала потом, что она кончила самоубийством.

[2]) Ионов умер в Киеве.

Процесс «50-ти» (1877 г.) [1])

При самодержавии политические процессы имели громадное агитационное значение. Отчеты в газетах, хотя и неполные, были единственным источником, который знакомил широкие круги читателей с идеями и ходом революционного движения и личностью тех, кого правительство преследовало и карало, как врагов существующего экономического и политического строя. Подсудимые не скрывали своих убеждений, но открыто провозглашали их перед судьями. Они обличали все непорядки русской жизни: эксплоатацию народа государственной властью и привилегированными сословиями, полицейские стеснения, угнетающие все население, и излагали революционные программы, ведя таким образом пропаганду через головы судей.

---

[1]) Этот процесс с внешней стороны не носит характера автобиографического, но внутренно тесно связан с моим рассказом «Студенческие годы». 12 цюрихских студенток—подсудимые этого процесса—были моими близкими товарищами по университету и по кружку «фричей», организованному в эти годы. По их призыву я оставила университет, чтоб после их ареста поддержать революционные связи их организации, а в период содержания в Доме предварительного заключения в Петербурге—заботилась о их нуждах и переписывалась с ними, сообщая о том, что совершалось на свободе. Моя связь с ними была такова, что прокурор Жуков, который вел следствие и был обвинителем на суде, однажды сказал моей матери: «На скамье подсудимых должна бы сидеть ваша дочь Вера, а не Лидия».

Быть может, из всех десятилетий революционного движения ни одно не было так богато политическими процессами и не волновало так молодежь, как 70-е годы.

После процесса нечаевцев в 1871 г., имевшего в некоторых отношениях отрицательное значение благодаря убийству Иванова и мистификациям, которые были одним из приемов Нечаева, в Петербурге происходил разбор целого ряда крупных и мелких политических дел: в 1874 г.—долгушинцев (13 чел.); в 1875 г.—Дьякова, Сирякова (6 чел.); в 1876 г.—Семяновского (7 чел.); в 1877 г.—дело о демонстрации на Казанской площади (подсудимых 21); в том же году дело «50-ти»; процесс «Южно-Российского Союза Рабочих», основанного Заславским (подсудимых 15); 7 мелких процессов, и, наконец, с ноября того же года началось разбирательство дела «193-х», продолжавшееся целых два месяца. Таким образом, все десятилетие непрерывным потоком шли волнующие известия из залы заседаний особого присутствия сената на Литейном проспекте. Правительство, не ведая, что творило, постаралось сгустить впечатления, сосредоточив все суды о пропаганде в народе, происходившей по всей земле русской, в центре страны, Петербурге, с его массой учащихся и средоточием интеллигенции. Это, можно сказать, было благодатным дождем на поле деятельности революционных организаций. Уже в 1876 г. осенью, после разгрома социально-революционных сил предыдущих годов, сложилось тайное общество «Земля и Воля», и ко времени разбора дела «50-ти» существовала тайная типография Аверкиева, дававшая возможность печатать речи подсудимых и листки, во множестве распространявшиеся в публике и сильно поднимавшие настроение молодежи.

Из этих процессов, если на этот раз ограничиться моими личными впечатлениями, самым ярким и вызвавшим единодушное сочувствие во всех слоях общества—от рабочих и до верхов,—был процесс «50-ти».

Особенностью его, возбуждавшей общее внимание, было обилие женщин, преданных суду. Их было 16—все молодые, в возрасте от 21—25 лет. 11 [1]) из них были цюрихскими студентками, которые в 1872 г. отправились со всех концов России в Швейцарию учиться в университете за невозможностью получить высшее образование на родине. За исключением С. Бардиной, желавшей сделаться агрономом, все остальные—В. Александрова, Л. Фигнер, А. Топоркова, две Любатович, Е. Туманова, Хоржевская и три Субботиных—поступили на медицинский факультет, имея целью послужить народу. 5 других женщин были привлечены к суду за революционные сношения с этим ядром, составлявшим центральную, наиболее интересную группу процесса (это были: В. Батюшкова, Геся Гельфман, Медведева, Введенская и Георгиевская). Другой особенностью было участие в революционной организации группы рабочих, в которой находились такие выдающиеся люди, как Петр Алексеев, Филат Егоров, Семен Агапов и Николай Васильев. Всего же важнее было то, что это было первое дело по «хождению в народ».

Для понимания процесса, внутренняя сторона которого осталась невскрытой на суде, необходимо сказать о той организации, к которой принадлежала половина подсудимых, так как остальные были привлечены к делу усилиями жандармов и членами *организации* не состояли, хотя в сношениях с нею находились. Первоначально восемь человек из названной группы студенток, вскоре по приезде в Цюрих, составили кружок [2]) для изучения тех явлений европейской жизни, которые били в глаза всей многочис-

---

[1]) 12-ая—Бетя Каминская—заболела в тюрьме психически и не была судима.

[2]) В нем была Бетя Каминская, а также студентка Аптекман, а позже и я. Топоркова, Туманова и Хоржевская примкнули к кружку уже в России.

ленной колонии учащихся, прибывавших из России. Это было—широкое развитие рабочего движения во всех странах Запада, Интернационал с его конгрессами, отклики потопленной в крови Парижской Коммуны, проповедь социализма, впервые дошедшая до ушей молодых провинциалок. Кружок задался целью изучить теорию французских социалистов в хронологическом порядке, произведения Лассаля и его деятельность в Германии; историю народных движений в Германии и др. странах, включая и Россию, и, наконец, все революции, какие известны в истории. Обильная рабочая пресса того времени была распределена между членами для докладов обо всем происходящем в рабочем мире. Большая русская библиотека, основанная в Цюрихе еще в 1870 году, давала для подобной работы весь нужный материал. Окружающая жизнь, события в области рабочего движения и Интернационал, разделившийся после Гаагского конгресса, развитие анархической части его под влиянием Бакунина направили мысль членов кружка на задачи, которые должны быть поставлены ими для будущей деятельности в России, и кружок преобразовался в революционную организацию с уставом по образцу секций Интернационала. Уж не служение народу в качестве врачей, а перенесение социалистических идей в его среду стало целью жизни. Увлекаясь учением Бакунина и отчасти под влиянием журнала Лаврова «Вперед», большинство членов решило оставить университет и вернуться на родину для ведения социалистической пропаганды в народе, при чем, согласно с идеями того времени о святости физического труда, который никого не эксплоатирует, но сам эксплоатируется всеми, было постановлено, что пропагандист должен занимать положение рабочего.

Осенью 1874 г. члены кружка, носившего название «фричи» от фамилии хозяйки квартиры, в которой жили некоторые из них, возвратились в Россию, предварительно сго-

ворившись с 3-мя кавказцами, находившимися тогда за границей и вполне единодушными с ними (Джабадари, Чекоидзе и князем Цицановым), с'ехаться в Москве для окончательной выработки общей программы и устава организации.

По приезде в Россию, по разным причинам «фричи» выбрали своим местопребыванием Москву, почему их организация впоследствии именовалась «московской». Каминская, Ольга Любатович, Бардина и Л. Фигнер поступили работницами на разные фабрики Москвы; для пропаганды на других фабриках из Петербурга были привлечены рабочие, затронутые пропагандой чайковцев: Петр Алексеев и его брат, Яков Потапов [1]), Василий Грязнов, И. Союзов и двое интеллигентов, близких кружку чайковцев: Александр Лукашевич и Грачевский [2]). Рабочие вели пропаганду на фабриках, на которых работали; интеллигенты заводили знакомства по трактирам и на квартире, специально для этого устроенной. По воспоминаниям Джабадари, деятельность группы охватывала 20 московских фабрик. Обвинительный акт упоминал 8: ткацкая фабрика Шибаева, Горячева, Носова, Тюляевых, Соколова, Лазарева, Рошфор, Моисеева. Джабадари называет, кроме того, фабрику Альберта, Тютчева, Гюбнера и «другие», прибавляет он. Пропаганда велась, по его словам, также в мастерских Курско-Харьковской ж. д. и в столярных, слесарных и кузнечных мастерских г. Москвы. Для этой пропаганды был организован основной рабочий кружок из 10 человек, в который, кроме уже названных 5 рабочих и 2 интеллигентов, входили рабочие: братья Бариновы и опытный ткач Николай Васильев [3]).

---

[1]) Судившийся в 1877 г. по по делу Казанской демонстрации.

[2]) Будущий шлиссельбуржец; судился по процессу «193-х», а в 1882 г.—по делу «Народной Воли».

[3]) См. «Процесс 50-ти» (Всероссийская социально-револ. организация 74—77 г.г.). И. С. Джабадари. Журнал «Былое». Октябрь.

Члены кружка отличались действенностью, и работа началась тотчас по возвращении в Россию—до условленного с'езда, который состоялся лишь в феврале 1875 г. На с'езде присутствовали: Софья Бардина, Б. Каминская, Лидия Фигнер, О. и В. Любатович, Варвара Александрова, Евгения Субботина и Хоржевская; из мужчин: Джабадари, Чекоидзе, Александр Лукашевич, Иван Жуков; рабочие: Петр Алексеев, Филат Егоров, Николай Васильев, Иван Баринов и Вас. Грязнов. Всего 17 человек. Несколько человек по разным причинам отсутствовали.

В противоположность кружку чайковцев, которым П. Кропоткин представил записку о будущем строе, «москвичи» отказывались от каких-либо планов в этом отношении и ограничились декларативным заявлением, что они социалисты, а в политической области требуют свободы слова, собраний, союзов, равенства всех перед законом и пр. В прениях по этому поводу говорилось, что это необходимо в видах об'единения *всех* социалистических групп, что нет расчета выдвигать то, что может раз'единять их, а в текущее время практического значения не имеет.

«Нас не столько интересует вопрос о будущем, заявляли присутствующие, сколько то положение, в которое каждый из нас должен встать, отдавая себя на революционную деятельность».

«В этой деятельности, продолжали они, *мы должны стремиться осуществить на деле самые строгие нравственные начала* [1]), *которые должны руководить как деятельностью членов организации, так и воздействовать на массу, с которой приходят в прикосновение члены организации, хорошо понимая, что только нравственный идеал может освещать наш путь и привлекать сердца, ищущие правды. Словом, до момента революции мы хотим словом, делом и всем обра-*

[1]) Цитата взята у Джабадари. Журнал «Былое». Октябрь, 1907 г. Курсив везде мой.

зом жизни расположить к себе не только революционеров, но и широкую индиферентную массу, а, может быть, и врагов своих».

Это заявление чрезвычайно характерно для настроения судившихся по делу «50-ти» и вполне соответствует духу времени, о котором Желябов на суде говорил, как «о розовом» периоде революционного движения. Тогда и песней, наиболее любимой и всего чаще раздававшейся на улицах Цюриха, было стихотворение Плещеева: «Вперед! без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!»—третий куплет которого гласит:

«Провозглашать *любви* ученье...
Мы будем нищим, богачам!
И за него снесем гоненье,
Простив озлобленным врагам!»

Замыслы организации были обширные: она даже назвала себя «всероссийской» [1]).

Попрежнему, при протесте некоторых членов, находивших, что форма рабочего для пропагандиста не должна быть обязательной,—большинство приняло это за правило: исключения допускались лишь по решению общины. Для ведения общих дел была выбрана «администрация»; местопребыванием ее назначена Москва. Члены администрации, *чтоб не отрываться от масс,* сменялись каждый месяц другими членами. Было постановлено, что все остальные члены должны раз'ехаться: одни в числе пяти тотчас отправлялись в Иваново-Вознесенск, другие должны были поехать в Тулу, Серпухов, Шую, Киев и Одессу. Главным орудием пропаганды считалась нелегальная литература: переложение «Истории одного крестьянина» Эркмана Шатриана, «Сказка о 4 братьях» (Тихомирова), «Хитрая механика» (Варзара), «Что-то, братцы», «Сборник новых стихов и песен», «Емель-

[1]) Программа была взята при аресте Здановича и читалась на суде.

ка Пугачев», «О мученике Николае», «Бог-то бог, да сам не будь плох» и т. д.; полулегальные: «Дедушка Егор» (Цебриковой), рассказы Наумова: «Безоброчный», «Мирской учет» и пр. Издававшуюся в Женеве газету «Работник» организация решила поддерживать, как свой орган, хотя газета печаталась Лазарем Гольденбергом, заведывавшим типографией, несколько лет назад заведенной чайковцами [1]).

Организация считала среду городских рабочих средой, наиболее подходящей для социалистической пропаганды, но не по тем мотивам, которыми впоследствии руководилась наша социал-демократия. Классовая точка зрения совершенно отсутствовала у членов московской организации. Она обращала свои взоры на деревню и думала опираться на крестьянство (как это было со всеми социалистами-пропагандистами и даже землевольцами), и рабочие являлись для них лишь посредствующим звеном для проведения социалистических и революционных идей в деревню. Рабочие того времени не составляли сплоченного *класса,* каким они были в Европе; тесно связанные с деревней, они представляли собой тех же крестьян, недавно оторванных от земли и мечтающих о земле; во множестве они уезжали на праздники в родные деревни, заполняя вагоны поездов, шедших из Петербурга и Москвы; другие отлучались на сезонные полевые работы в свои семьи. Они кочевали, то приливая, то отливая из столиц, и еще в 90-х г.г. в «Вестнике Финансов» отмечалось это явление и слышались жалобы фабрикантов на невозможность иметь постоянный состав рабочих, последствием чего было отсутствие квалифицированных мастеров своего дела. Но это кочевание как-раз было для

---

[1]) В мою бытность в Швейцарии (я была членом кружка, но оставалась в Швейцарии до декабря 1875 г.) редакторами были Эльсниц и Ралли, а когда приехали в качестве временных эмигрантов Морозов и Саблин, то и они сотрудничали и редактировали это издание.

московской организации благоприятным условием для пропаганды среди крестьян через раз'езжавшихся рабочих, которые в изобилии снабжались литературой. Самим же устраиваться в деревне в демократической форме трудящихся представлялось членам организации невозможным.

Вся программа носила бакунинский характер. Ниспровержение существующего строя имело целью водворение «свободной федерации свободных общин». Средством, кроме пропаганды словом, ставилось возбуждение бунтов. Существовал и пункт о конфискации материальных средств государства, введенный по настоянию рабочих, по мотиву, что богатство казначейств создано трудом их же рук [1]).

Особенностью устава, кроме требования демократической формы для пропагандиста, было требование *непременного участия рабочих в организации,* отрицание какой бы то ни было иерархии, требование полной равноправности членов, исключение всякого командования. Он был пропитан духом товарищеской солидарности, полного доверия во взаимных отношениях и полного самоотречения в пользу революционного дела. Отрицалось право частной собственности членов, а аскетизм того времени шел так далеко, особенно среди женщин, что при обсуждении устава они внесли пункт об обязательности безбрачия [2]). Против этого горячо восстали мужчины, и пункт не был принят.

---

[1]) Пропаганда словом была организацией осуществлена, но бунтов и конфискаций она не осуществила. Интересно, что, по свидетельству Джабадари и устному рассказу Евг. Субботиной, рабочие не находили удовлетворения в пропаганде *словом* и настаивали на переходе к *делу*, которое они понимали, как поднятие бунта. То же пишет и М. Попов в своих воспоминаниях о встречах в Ростове-на-Дону.

[2]) Это не помешало агентам правительства, в виду того, что на некоторых квартирах жили члены организации обоего пола, задумать в Доме предвар. заключ. медицинский осмотр женщин. Отпор, вызванный этим намерением, был таков, что сделать этого не реши-

Но прежде чем, покончив с организационными и программными вопросами, раз'ехаться по провинциальным городам, молодая организация испытала громадное несчастье: после ареста рабочего Николая Васильева его жена Дарья Скворцова указала полиции квартиру, которая служила сборным пунктом членов, и 4 апреля 1875 г. на этой квартире были застигнуты врасплох и арестованы: Каминская, Бардина, Джабадари, Лукашевич, Чекоидзе, Георгиевский и рабочие: Петр Алексеев, Пафнутий Николаев и С. Агапов—9 человек! Это был настоящий крах, после которого в августе организация была добита. 12 августа были арестованы Вера Любатович и Цицианов, заведывавшие администрацией, при чем Цицианов оказал вооруженное сопротивление—первое в период 70-х г.г. В Туле по доносу рабочего Ковалева арестованы: О. Любатович и крупный пропагандист Злобин, находившийся с ней в сношениях, а в Иваново-Вознесенске взято сразу 5 человек: А. Топоркова, Л. Фигнер, В. Александрова, Ек. Туманова (по фиктивному браку Гамкрелидзе) и Вл. Александров; в Одессе—Хоржевская. В разное время были переловлены и лица, близко стоявшие к организации: в Киеве—Гельфман и Медведева, в Москве—Введенская и Георгиевская. Арест одних давал новый повод для привлечения к следствию других. Так в конце-концов были взяты все члены организации (три Субботины [1]), Зданович).

В ожидании суда прошло два года, большею частью в тяжелых условиях заключения при московских полицейских частях. Каковы были эти условия, показывает то, что М. Субботина получила туберкулез и после суда вскоре умерла; Георгиевский делал попытку разбить себе голову об стену; А. Топоркова делала попытку отравиться спичками, а Каминская безнадежно заболела психически.

лись. См. мою заметку в «Недрах» № 4 по поводу переписки И. С. Тургенева с его переводчиком, англичанином Рольстоном.

[1]) Из которых Евгения была энергичной пропагандисткой.

Суд, происходивший в Петербурге, продолжался от 21 февраля 1877 года до 14 марта. Необычайность процесса заключалась в том, что, как уже сказано, это было первое дело о «хождении в народ»; мало того, в народ ходили, поступая на фабрики, молодые девушки обеспеченных семей, учившиеся притом в заграничном университете [1]). Явление было необычайное не только для посторонней публики, но и для самих барышень-работниц. В литературе сохранился интересный рассказ одного из судившихся, Джабадари, о том, как он и Грачевский, по их собственному выражению, «сдавали Каминскую на московскую фабрику Моисеева [2]).

В гостинице на Трубном бульваре были заняты два номера: один для Евг. Субботиной и Каминской, другой для Джабадари и Грачевского. Там Каминская должна была переодеться в рабочее платье, а мужчины—проводить ее до фабрики. В три часа ночи Субботина постучала им в стену, и те отправились к ней в комнату. Там они увидели Каминскую в деревенском платье с широкими рукавами, с бусами на шее и платочком для головы. «Ведите скорее Бетю», сказала Субботина, обняла ее и заплакала... Казалось, барышню ведут на казнь или же расстаются, провожая под

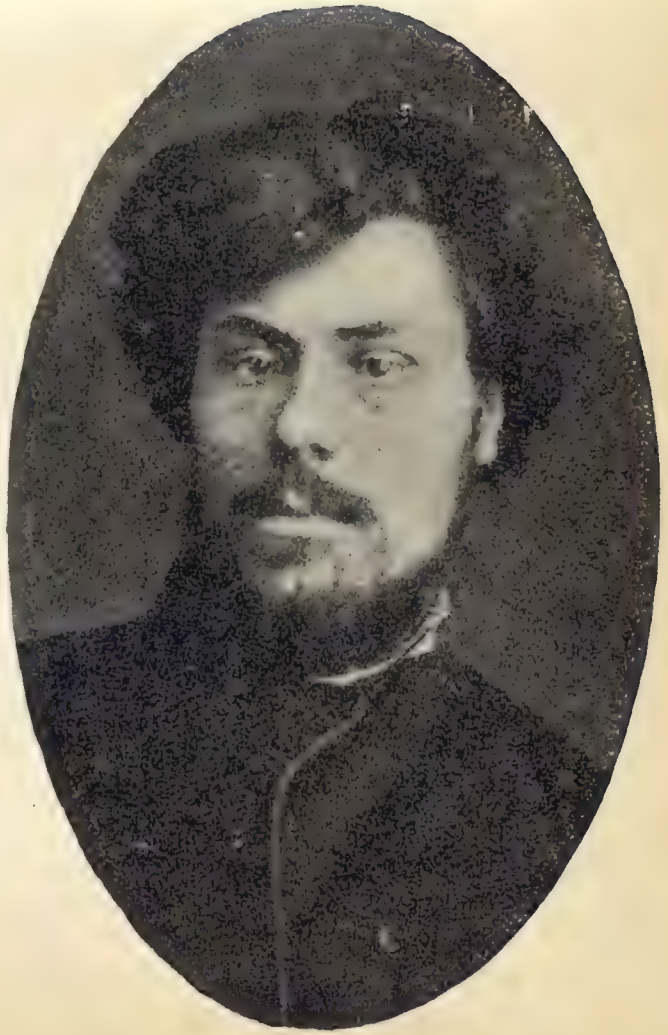
---

[1]) По сословиям из 50 подсудимых 24 принадлежали к дворянам; 7 чел.—к духовному званию; 3—к потомств. почетным гражданам; 4—к мещанам и 10 были крестьянами-рабочими; 1—технич. мастером 1 разряда и 1—австрийским подданным.

По имущественному состоянию—из женщин 3 Субботины были очень богатыми помещицами Курской и Орловской губ., Батюшкова—дочь д. ст. сов., владелица капитала в 40 т. руб.; 2 Любатович были дочерьми московского фабриканта; Александрова—дочь московского купца; Хоржевская—дочь одесского домовладельца; Бардина, Л. Фигнер и Туманова—дочери землевладельцев. Из мужчин—князь Цицианов обладал на Кавказе обширными землями.

[2]) Надо сказать, что мужчины были против поступления женщин на фабрики, считая, что подобный труд превышает их силы, а внешность не соответствует положению.

Софья Бардина.



Петр Алексеев.

венец. Долго шли трое путников в морозную ночь до тряпичной фабрики, у ворот которой уже толпились работницы. Сторож обыскивал каждую. В первую минуту Каминская отпрянула, но, собравшись с духом, дала себя обыскать. Уже через час Грачевский пошел проведать Бетю, неся в платочке связку баранок, и рассказывал, как Бетя обрадовалась, что ее так скоро навестили. Ее появление на фабрике, как характеризовал потом один рабочий, походило на появление среди них ангела, а сама Бетя, похудевшая и побледневшая, но сияющая, рассказывала в ближайшее воскресенье в восторженном возбуждении о впечатлениях, вынесенных ею.

Можно себе представить, как было интересно для сановников за креслами судей и для учащейся молодежи, жаждавшей попасть на хоры, хотя бы поглядеть на предприимчивых девушек, увлеченных идеей единения с людьми физического труда. Молодежи на короткое время удалось-таки проникнуть в зал заседаний: типография Аверкиева позаботилась об этом. В ней напечатали фальшивые билеты подстать настоящим, и желающие расхватали их. Так, вместо небольшого числа родственников, имевших доступ на заседания, скамьи хоров понемногу заполнились молодыми фигурами обоего пола. Зоркий глаз пристава вскоре заметил этот наплыв необычайной публики; тотчас произвели проверку билетов; фальшь была немедленно открыта, все счастливцы обысканы в соседней комнате и в сопровождении жандармов препровождены на квартиры для удостоверения личности. Между попавшимися были тогдашние землевольцы Александр Михайлов и Валериан Осинский. Последнему пришлось по этому поводу даже просидеть несколько дней в Доме предварительного заключения. Но он был в восторге, рассказывал о виденном на суде и говорил, что он влюбился в подсудимых. Таково же было впечатление всех других лиц, побывавших на заседаниях.

Известно, что начиная с 70-х годов возраст судившихся по государственным преступлениям все время повышался. В данном случае лишь человека 3—4 (исключительно мужчины) были в возрасте 30 лет. Остальные имели от 20 до 25 лет, а на вид были еще моложе, особенно женщины. Они были рассажены рядком на передних скамейках на правой (от судей) стороне зала и представляли настоящий цветник. Молодые, миловидные личики невольно привлекали взгляды: трогательной, одухотворенной красотой сияла самая любимая подруга — Лидия Фигнер; виднелись шапка темных кудрей Бардиной с ее оригинальным лицом и улыбкой и красивая головка Медведевой; одна подле другой сидели три Субботины, которых студенты-швейцарцы, в отличие от всех нас, называли ласкающим «Schmetterlinge» (бабочки), и в огромных синих очках, с вызывающим видом, бросалась в глаза О. Любатович. Казалось, они сидят в университетской аудитории и слушают лекцию какого-нибудь маститого профессора, а не в особом присутствии сената, которое своим приговором изломает их жизнь.

Суд, как суд: допросы, бесцветные, путанные показания свидетелей... Из них одно особенно запомнилось мне.

На скамье подсудимых, затерявшийся среди других лиц, сидел бледножелтый, очень худой блондин, медик, студент последнего курса, Рождественский, служивший в больнице на Кавказе. Свидетелями были его сослуживцы и больничные пациенты, и показания их были самые хвалебные: его превозносили, как самого гуманного и заботливого врача. Показания были таковы, что Рождественский оказался одним из трех, вышедших из суда оправданным [1]).

Действительно, по моральным качествам он был исключительной личностью — альтруист до мозга костей, он был предан революции преданностью чисто религиозной. Однако,

---

[1]) Двумя другими были: крестьянин Остров и почетный гражданин Сбромирский.

и оправданный, он не был избавлен от дальнейших преследований: его отправили в административную ссылку в Архангельск [1]).

Политическая защита процесса стояла на высоте не меньшей, чем в период реакции после революции 1905 г. Бардовский, Боровиковский и всеми уважаемый старший товарищ их Герард стояли во главе ее и задавали тон. К ним примыкали А. А. Ольхин, преданный сторонник революции. Шаг за шагом они разбивали обвинение: главной и иногда единственной уликой против многих была передача революционной литературы. И кому же? не посторонним лицам, а друг другу! Это трактовалось, как *распространение* нелегальных изданий с целью ниспровержения существующего строя. При чем прокурор считал всех подсудимых членами *одного и того же* революционного сообщества! Натянутость такого обвинения была выявлена полностью. Все речи защитников были проникнуты глубоким сочувствием к подзащитным. Среди адвокатов был и Спасович. Он не пользовался среди нас популярностью: все помнили его участие в процессе нечаевцев, когда в видах защиты он умалял достоинство своих клиентов. Так и тут, в своей речи он сравнивал Веру Любатович со щепкой, которая пассивно уносится разливом большой реки...

Чистота побуждений подсудимых, их молодость, неопытность и вместе с тем убежденная решимость итти по новому пути производили на всех присутствующих чарующее впечатление. Ничто не омрачало поведения подсудимых;

---

[1]) После суда Рождественский энергично принялся за сбор книг для заключенных и собрал такое количество, что мы решили открыть библиотеку для Дома предварительного заключения. Библиотека была открыта на Петербургской стороне; в качестве библиотекарей я привлекла Ник. Вас. Караулова (брата будущего шлиссельбуржца) и его жену. Они самоотверженно, безвозмездно много лет обслуживали ее.

оно было безукоризненно: себя не щадили — товарищей всячески выгораживали. Один только молодой парень Ковалев, выдавший Ольгу Любатович по своей глупости, нарушил общий тон; но и он с первых же слов отказался от всех показаний и каялся в преступлении, сделанном по легкомыслию.

Моментом наивысшего интереса было, как всегда, «последнее слово» подсудимых. Тут во всем блеске развернулась тонкая интеллигентность С. Бардиной и мощная энергия рабочего Петра Алексеева. Сначала говорила Бардина. Она была как бы представительницей той интеллигентной молодежи, которая сидела на скамье подсудимых, и произнесла строго обдуманную, логически построенную речь, во многих частях очень остроумную. Центральным местом ее было опровержение общего обвинения против подсудимых, что они разрушают священные основы собственности, семьи, религии и государства, возбуждают к бунту и стремятся водворить анархию.

«Все это было бы ужасно,—говорила Бардина,—если бы было справедливо. Но дело в том, что все эти обвинения основаны на одном только недоразумении». Далее она доказывала, что собственность она не только признает, но и защищает, так как, по ее убеждению, каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. «Я ли подрываю основы собственности,—спрашивала она,—или фабрикант, который платит рабочему за одну треть его рабочего дня, а две трети берет себе? Или спекулянт, который, играя на бирже, обогащается, не производя ничего?».

«Относительно семьи — подрывает ли ее тот строй, который гонит женщину на фабрику и на проституцию, или мы, — спрашивала она, — которые стремимся искоренить нищету — эту главную причину всех общественных бедствий, в том числе и разрушения семьи?».

«Относительно религии, я всегда оставалась,—говорила она,—верна духу ее и принципам в том чистом виде, в каком они проповедывались основателем христианства».

«В подрывании основ государства я так же мало виновата,—продолжала она.—Думаю, что усилия единоличных личностей подорвать государства не могут, а если они разрушаются, то оттого, что сами в себе носят зародыши разрушения, держа народ в политическом, экономическом и умственном рабстве».

«Меня обвиняют в возбуждении к бунту, но я полагаю, что революция может быть только результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательства отдельных личностей...».

Невозможно передать все содержание речи, — ее надо прочесть. Речь была произнесена с необыкновенным спокойствием, без громких фраз и жестов, скромно, сдержанно, с таким тактом, что свирепый председатель Петерс лишь раз пытался остановить ее. Она говорила с такой рассудительностью и убежденностью, с какой говорила в Цюрихе, когда ходила со мной по коридору дома, купленного русскими студентами, и об'ясняла трудовую теорию Маркса, рассеивая мои недоумения насчет социализма. Эта речь произвела громадное впечатление как своим содержанием, так и тоном, полным твердости и иронии.

Но вот встал Петр Алексеев. Высокая, несколько сухощавая фигура в белой с тонким пояском крестьянской рубахе навыпуск — настоящий мужик из деревни. Голова с темными волосами, серые глаза, смуглое лицо с неправильными чертами, с чисто славянским носом. Начало речи с описанием детства, тяжелого труда с раннего возраста, а потом в условиях работы на фабрике, было произнесено ровным, спокойным голосом с оттенком грусти, но мало-по-малу голос крепчал, все более и более возвышался и перешел, наконец, в громовые ноты, когда дело доходит до освобо-

ждения 1861 года и последующего закрепощения у капиталистов. «Русскому рабочему остается только надеяться на самого себя и ни от кого не ждать помощи, кроме одной интеллигенции»,—с энергией говорит он. Председатель вскакивает и кричит: «Молчите! Замолчите!» Но Петр Алексеев, возвышая голос, продолжает: «Она одна братски протянула нам руку. Она одна откликнулась, подала голос на все слышанные *крестьянские* стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значили и отчего это отовсюду слышны *крестьянские* стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного *крестьянина*... И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (поднимает почти до локтя обнаженную руку), поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда»... Председатель волнуется, вскакивает с места и кричит: «Молчать! Молчать!». Но Петр Алексеев с силой заканчивает:... «и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!».

Присутствующие взволнованы, потрясены... Крики председателя усиливают впечатление...

Речь П. Алексеева была хорошо подготовлена и произнесена с одушевлением. Джабадари рассказывает, что в один из перерывов товарищи упросили Алексеева сделать репетицию и произнести речь пред ними.

Содержание было одобрено товарищами по заключению. У Ольхина, защитника Петра, я видела подлинник речи; с орфографическими ошибками, она была написана крупными, корявыми буквами, какими пишут крестьяне, научившиеся писать взрослыми. Говорили и другие рабочие: Семен Агапов сказал небольшую, искреннюю, вполне литературную речь. Хороша была речь и третьего оратора из рабочих—Филата Егорова, наружностью похожего на старообрядца. Его красивая, широкоплечая фигура в длиннополом синем кафтане хорошо гармонировала с речью от священного писания.

Все эти выступления, порывистые и спокойные, простые и теоретические, выявили как нельзя лучше духовный облик участников процесса. Ни один процесс не был таким стройным, ни в одном не было такой идеалистической цельности, как в этом. Восхищалась учащаяся молодежь, читавшая нарасхват отчеты и речи подсудимых, напечатанные в типографии Аверкиева. И на сановников в креслах за судьями сцены суда произвели впечатление: канцлер, князь Горчаков, по слухам, говорил, что правительство сделало ошибку, допустив этот суд, так как, вместо посрамления социалистов, он имел противоположное действие. В самом деле, это было так. Флигель-ад'ютант его величества Кладищев просил передать, что если будет предпринята попытка освобождения женщин, то он дает 10 тысяч рублей на это. Какой-то генерал, тронутый личностью Л. Фигнер, передал родным предложение своих услуг в деле снабжения ее всем нужным. Защитник Бардовский передал мне 900 р. на нужды осужденных, а жена доктора Белоголового вручила 800 рублей на ту же цель. Боровиковский, совершенно плененный образом женщин, написал стихотворение, посвященное Л. Фигнер: «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский»..., ходившее во множестве экземпляров по рукам. В видах конспирации мы выдавали его за стихотворение Бардиной, которая в заключении писала стихи. Жена писателя Елисеева, редактора «Отеч. Записок», передала мне от Некрасова, лежавшего тогда на смертном одре, стихотворение, обращенное к судившимся по процессу «50-ти»:

«*Смолкли честные*, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие.
Но разнузданы страсти жестокие.

Вихри злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...

Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются».

Стихотворение Полонского: «Что она мне?—Не сестра, не любовница» [1]), которое многие относят к Перовской, датировано 1877 годом и, по всей вероятности, относится к моей сестре Лидии [2]).

Приговор отправлял на каторгу от 5 до 10 лет 9 мужчин и 6 женщин: Бардину и О. Любатович на 9 лет; Веру Любатович на 6 лет; Александрову, Хоржевскую и Л. Фигнер на 5 лет. Боровиковский, который за время суда постоянно видался со всеми «фричами» и успел хорошо узнать их, не мог и не хотел примириться с мыслью, что эти девушки пойдут на каторгу, и настаивал на кассации. «Фричи» энергично отказывались, они не хотели никаких смягчений. Но Боровиковский был неутомим и так настойчиво добивался согласия, что они, не веря в успех, наконец, уступили. Тогда Боровиковский, хорошо знавший, что сенат по политическим делам никогда не удовлетворяет жалоб, поднял агитацию среди сенаторов и действовал с такой энергией, что, к всеобщему удивлению, кассационная жалоба была уважена. Ни одна из женщин не пошла на каторгу; для одних она была заменена ссылкой на поселение, для других—на житье. Приговор для мужчин был тоже смягчен, но

[1]) Все эти стихотворения неоднократно перепечатывались. Их можно найти хотя бы в сборнике Н. Бродского и В. Львова-Рогачевского «Красный Декабрь», изд. «Колос», 1926 г.

[2]) Процесс нашел отклики и за границей. Кроме переписки И. С. Тургенева с Рольстоном, в которой говорится об этом деле, Леруа-Болье, совершивший с 1872 по 1881 год три путешествия в Россию, пишет о нем в книге «L'empire des Tsars et les Russes», сочувственно отзываясь о подсудимых.

в гораздо меньшей степени: П. Алексеев, Джабадари, Цицианов, Чекоидзе, Кардашев и Гамкрелидзе были отправлены в Харьковский централ, в котором пробыли до осени 1880 года. Там Цицианов сошел с ума.

Так кончился этот во многих отношениях замечательный процесс.

Какова была дальнейшая участь женщин этого процесса? В настоящее время в живых остаются четыре: А. Топоркова (по мужу Горева), Евг. Субботина (по мужу Козловская), Надежда Дм. Субботина (по мужу Зубок-Мокиевская) и Ек. Туманова (по мужу Зелинская).

Трагическая судьба постигла двух виднейших участников этого дела: Бардина бежала из г. Ишима в 1879 г., во времена «Народной Воли», и мы надеялись, что она будет с нами. К сожалению, я была в то время на юге и не виделась с ней. Пробыв некоторое время в Казани, она уехала за границу, проживала в Женеве и там застрелилась. Ее сломила и политическая, и личная неудача. Программу «Народной Воли» она не смогла принять целиком; между психологией революционера 74—75-х г.г., воспитанного на учении социалистов-утопистов, и боевым настроением народовольцев 79—80-х г.г. лежала пропасть, и она не могла перешагнуть ее, а жить без духовного удовлетворения она не могла.

Без внутренней трагедии жестокая смерть унесла Петра Алексеева. По выходе на поселение, в Якутской области, по дороге к товарищу он был убит двумя якутами, подозревавшими, что у него есть деньги. Эти якуты сложили потом песню о нем—о богатыре, убитом двумя другими богатырями, которые никогда не скажут, где он пал.

Эта песня выдала их, и они были преданы суду [1]).

---

[1]) Эта песня приведена в статье Э. К. Пекарского: «Рабочий Петр Алексеев». «Былое», 1921 г., № 19.

Из других женщин этого процесса всем известна трагически погибшая участница процесса 1 марта 1881 года Геся Гельфман, которую не казнили с первомартовцами по случаю ее беременности, но отняли родившегося в тюрьме ребенка... Горе после родов убило ее.

И, наконец, покончила самоубийством в Сибири А. Хоржевская, вышедшая замуж за одного из самых выдающихся старейших революционных деятелей, Феликса Волховского, который был нечаевцем, чайковцем и, наконец, народовольцем.

Когда в 1872 г. мы, цюрихские студенты, еще не испытавшие ни политических бурь, ни личных неудач, образовали «женский ферейн» с наивной целью в отсутствии мужчин научиться «логически говорить», по странной случайности, темой первого доклада на общем собрании был вопрос о самоубийстве, и горячие прения возбудило обсуждение, можно ли считать нормальным состояние человека, решающегося на самоубийство.

Никто тогда не подозревал, что между горячо спорящими присутствуют 5 будущих самоубийц: С. Бардина, Хоржевская, Б. Каминская, Евг. Завадская и сестра писателя Д. Писарева, Гребницкая, — все такие разные и тогда все такие жизнерадостные...

Всех измолола и всех сравняла жизнь.

ОЧЕРКИ БИОГРАФИЧЕСКИЕ

А) Землевольцы.

Александр Соловьев.

Александр Константинович *Соловьев* родился в 1846 г. в Луге. Отец его, бывший помощником лекаря, служил в дворцовом ведомстве, и Александр Константинович учился в III Петербургской гимназии на счет этого ведомства. Затем поступил в университет на юридический факультет, но со второго курса оставил его по неимению средств и, выдержав экзамен на учителя, занял место преподавателя истории и географии в Торопце Псковской губ.; кроме того, занимался в организованной им школе при тюрьме. В отрочестве, в гимназии и даже будучи уже учителем, Соловьев отличался религиозностью, но затем у него явились сомнения, и, отбросив церковную обрядность, он перешел к деизму, а потом отказался и от него. В Торопце у Александра Константиновича, уже со студенческой скамьи имевшего народолюбческие стремления и думавшего о деятельности в пользу народа, завязалось знакомство с Ник. Ник. Богдановичем и его женой, Татьяной Петр., урожденной Михаэлис, родной сестрой жены писателя Н. В. Шелгунова. Богданович, помещик Торопецкого уезда, бывший почетным мировым судьей, держал в своем имении Воронине кузницу, изделиями которой снабжал весь уезд. Работниками в кузнице была революционная молодежь, желавшая научиться реме-

слу, чтобы затем «итти в народ» в качестве рабочих-пропагандистов. Так, в этой кузнице работал брат Ник. Ник., Юрий, известный уже тогда революционный деятель, и впоследствии, в 1881 году, как член Исполнительного Комитета партии «Народная Воля», игравший роль хозяина магазина сыров, из которого был произведен подкоп на Малой Садовой для покушения на Александра II. Работал в Воронине и другой известный участник революционного движения, Адриан Михайлов, и некоторое время жил выдающийся член кружка чайковцев Д. Клеменц.

Неподалеку от Воронина, в имении Казиной — Кресты, под видом арендаторов жила небольшая компания радикалов-мужчин и женщин, в наивных чертах того времени представлявших из себя земледельческую колонию: это были сестры Каминер, Оболешев, один из самых энергичных, стойких и симпатичных членов общества «Земля и Воля», и другие.

Нечего и говорить, что между этими двумя революционными гнездами сношения были непрерывные, и, благодаря знакомству с Н. Н. Богдановичем, в эту избранную компанию попал в качестве молотобойца и Александр Константинович Соловьев, который бросил свое учительство, чтобы подобно другим, в качестве кузнеца, отправиться потом на пропаганду в народе. По натуре аскет, твердый, последовательный и не отступающий от раз намеченной цели, А. К. в Воронине получил окончательный закал революционера и социалиста. Когда в 1876 г. в Петербурге образовалось общество «Земля и Воля», Богданович, бывший одним из инициаторов при выработке программы *народников,* примкнул к тем лицам, которые, не слившись с главным ядром о-ва, составили группу т. наз. *сепаратистов* (Иванчин-Писарев, Вера и Евгения Фигнер, Мария Лешерн и др.) и привлек к ней и своего друга Соловьева. Весной 1877 года А. К. вместе с московским рабочим Василием Грязновым, уце-

левшим от разгрома «Московской организации» («фричей» и кавказцев), отправился в Самару и в селе Преображенском открыл кузницу. Местность, в которой поселился Соловьев, была болотистая, и с самого же начала оба кузнеца начали страдать малярией: через три месяца измученные, они должны были покинуть село, и Грязнов, страдавший туберкулезом, вскоре умер. К этому моменту и остальные «сепаратисты», жившие в Самарском и Бузулукском у., скомпрометированные одним петербургским арестом, были вынуждены покинуть свои места. Вся группа направилась сначала в Воронеж, а потом думала устроиться в Тамбовской губ., но, не получив быстро мест, переехала в Саратов—центр пропагандистской деятельности членов «Земли и Воли». Вскоре Юрий Богданович, Иванчин-Писарев и Соловьев устроились в Вольском уезде в качестве волостных писарей и развили ту деятельность, которая талантливо изображена в «Воспоминаниях» Иванчина-Писарева. Но деятельность в количестве 3—4 человек на целый уезд, под недремлющим оком полиции, обещала столь малые результаты, что Соловьев, неудовлетворенный, счел себя вынужденным оборвать работу в деревне и бесповоротно решил отправиться в Петербург, с целью совершить покушение на жизнь Александра II. К этому его привела вера, что устранение императора, давно вступившего на путь реакции, будет поворотным пунктом во внутренней политике правительства; атмосфера подозрения, тяготеющая над каждым образованным человеком, входящим в общение с народом, рассеется, и возобновится приток свежих сил, так оскудевший к 1879 году. Вопреки указаниям товарищей, что в случае неудачи самодержавный гнет еще сильнее придавит народ, печать и общество, Соловьев оставался непоколебим: он верил в удачу и, не допуская возможности промаха, говорил, что, с одобрения товарищей или без него, едет в Петербург и свое дело сделает. Мысль о покушении на царя в то время

висела в воздухе. Уже более года Россия волновалась известиями об актах политического террора, которые происходили то в Петербурге, то в Москве, в Киеве, Харькове и Одессе. Это была расправа над крупными и мелкими агентами власти после арестов и свирепых судов над пропагандистами начала 70-х годов. Жертв со стороны революционной было много; результаты же, благодаря репрессиям, не соответствовали усилиям, и жизнь все более и более влекла активные элементы народничества на путь борьбы с правительством, которое лишало возможности какой бы то ни было деятельности, полезной для народа. Устранялись ставленники царя, но логика указывала, что не в них—зло; что есть единый источник власти — самодержец всероссийский, несущий на себе ответственность за все совершающееся в государстве. Эта логика приводила к мысли, что борьба должна быть направлена на царя, как. воплощение самодержавной власти.

При той экономической и социальной структуре, которую имела Россия в тот исторический период, борьба против самодержавия за свободный политический строй не могла иметь опоры в массах: передовой отряд трудящихся—промышленный пролетариат—еще не существовал, как *класс* в западно-европейском смысле; в крестьянстве опору искали и не нашли, а фабричные и заводские рабочие представляли в то время распыленную, недисциплинированную массу: это были те же крестьяне, только-что оторванные от сохи, с той же психологией и столь же далекие от великих идей социализма и политической свободы, как остальная деревня. Борьба с царизмом по необходимости принимала форму не массового движения, а единоличных схваток. Мысль о них бродила в головах, и когда Соловьев явился в Петербург, там уж находились приехавшие с юга два претендента на то же дело: Кобылянский—по происхождению поляк, и Гольденберг—еврей. Они, как и Соловьев, обратились за помо-

щью к членам «Земли и Воли»: были необходимы слежка, оружие, квартира и т. п.

Идея цареубийства, выдвинутая одновременно тремя лицами, вызвала среди петербургских землевольцев острую борьбу мнений: Плеханов и М. Попов, недовольные уклоном в сторону политики, давно боролись с этим уклоном, а Квятковский, Морозов и Александр Михайлов уже ясно сознавали необходимость изменения *народнической* программы 1876 года в сторону введения в нее ясно формулированного требования политической свободы. Спор за и против был жаркий: «Среди нас может явиться и Комиссаров!» воскликнул Попов. «Если им будешь ты,—крикнул его друг Квятковский,—то и тебя я убью».

Дело кончилось компромиссом: как организация, «Земля и Воля» отказалась брать цареубийство на свою ответственность, но отдельным членам о-ва было предоставлено право оказывать ту или иную помощь этому делу. Предложения Кобылянского и Гольденберга были единодушно отвергнуты: не поляк и не еврей, а русский должен был итти на государя. И Соловьев пошел. Морозов достал ему большой револьвер через посредство доктора Веймара, стоявшего близко к кружку чайковцев и поплатившегося каторгой за эту покупку. Ежедневно Соловьев ходил в тир упражняться в стрельбе. С какой уверенностью говорил он, что промаха не даст! Однако, 2 апреля 1879 года, все пять выстрелов, которые он дал в Александра II на площади Гвардейского штаба, во время прогулки царя, миновали императора. Проглоченный Соловьевым цианистый калий не привел к смерти, которая должна была покрыть тайной его имя. Признаки отравления были тотчас замечены, и противоядие спасло жизнь для суда и смерти через повешение. На суде Соловьев вел себя с присущим ему невозмутимым спокойствием и подробно выяснил причины, побудившие его к покушению. Он, как и все, знавшие о предстоящем акте, надеялся, что кара коснется

одного его. Однако, судебное следствие подобрало все нити к его знакомствам. Петербургские землевольцы, как нелегальные, остались в стороне, но все, кто соприкасался с Соловьевым в Псковской и Саратовской губ., были или арестованы, или должны были скрыться.

Соловьева судил верховный уголовный суд, а затем был создан большой процесс, на котором фигурировал Н. Н. Богданович (сошел потом с ума), его жена Татьяна Петровна, Адриан Михайлов, Орест Веймар и многие другие. 28 мая 1879 года А. К. Соловьев был казнен на Смоленском поле в 10 ч. утра, в присутствии 4-тысячной толпы. В то время ему было 33 года, но он всегда казался старше своих лет. Его наружность если чем и обращала на себя внимание, то каким-то необычайно угрюмым выражением лица. Высокого роста, худощавый, он был неловок в техническом отношении, и в обыденной жизни с ним часто случались разные приключения, вызывавшие шутки со стороны близких товарищей: пойдет гулять или на охоту, непременно попадет в какое-нибудь болото, заблудится и не найдет дороги; в городе, будучи нелегальным, забудет адрес своей квартиры; при ночной встрече с полицейским на вопрос: кто идет? по какому-то чудачеству отвечает: «чорт» и попадает в участок. Его фиктивный брак с легкомысленной Челищевой, которую будто бы надо было освободить от семейного гнета, чтобы дать возможность учиться, тоже давал повод к подтруниваниям.

Узкое, угрюмое лицо с небольшими серыми глазами, довольно крупным острым носом и небольшой русой бородкой клином редко озарялось улыбкой, которая была мила именно потому, что появлялась редко. Общий вид Соловьева был суровый, что находилось в полном противоречии с его кроткой душой. Демократ по наружности, одежде, привычкам и всем требованиям к жизни, он был совершенно неуязвим со стороны материальных нужд, а со стороны ду-

ховной никогда не был теоретиком, не вступал в споры, всегда был крайне сдержан и замкнут в общении с людьми, перед которыми не раскрывался и от которых обыкновенно держался в стороне. При общих разговорах Соловьев молчал и был вообще крайне скуп на слова; говорил он отрывисто и глухо, хотя, как преподавателя, его хвалили. Народ он любил и глубоко верил в него: его от'езд из деревни и покушение на царя были следствием не разочарования в народе, а любви к нему и понимания истинных нужд народных масс. Чуждый, повидимому, порывам революционной страсти, Соловьев прислал однажды, будучи волостным писарем, письмо, к сожалению, не сохранившееся, в котором с пламенным энтузиазмом описывал крестьянский сход, очень многолюдный и очень бурный. Ему не пришлось быть свидетелем шумных митингов наших революций, и он сравнивал то, что видел, с тем, что происходило на улицах Парижа в дни Великой французской революции. Он был хорошим человеком, и если бы сравнение не было избитым, я сказала бы, что он был добр и незлобив, как ребенок.

А. И. Иванчин-Писарев.

Мое первое знакомство с Александром Ивановичем Иванчиным-Писаревым относится к тому времени, когда я была студенткой Бернского университета. В конце 1875 года прибывший из России Натансон сообщил мне, что сейчас в Женеве находятся три революционных деятеля: Иванчин-Писарев, Клеменц и Кравчинский и что мне необходимо воспользоваться случаем и с'ездить познакомиться с ними. Еще раньше я много слышала о всех трех от моих друзей Н. Морозова и Н. Саблина, действовавших в России вместе с ними. Закрепить заочное знакомство личной встречей было тем желательнее, что временные эмигранты вскоре собирались вернуться на родину, чтоб возобновить свою деятельность, а я тоже думала ехать в Россию, оставив университет.

Приехав в Женеву и отыскав Александра Ивановича, я увидела перед собой довольно высокого, стройного блондина, с белокурой шевелюрой, блестящими, серыми, выразительными глазами и небольшой русой бородкой. Обстановка, не похожая на обыкновенную эмигрантскую или студенческую, и наружность скорее всего барина-земца, каким в действительности и был Александр Иванович по своему предшествующему положению помещика Даниловского уезда, подействовали на меня замораживающим образом, а присутствие М. П. Лешерн, Клеменца и Кравчинского — всех сразу—окончательно смутило.

Встреча вышла натянутая, бессодержательная, и, кажется, обе стороны остались разочарованными.

Если первый блин был комом, то второй вышел и того хуже: думая, что такой солидный господин знает гораздо больше моего, я написала Ал. Ив. письмо, прося его дать мне библиографические указания по вопросу о происхождении религии, собственности, семьи и государства.

В Берне русской библиотеки не было, а меня как-раз в это время эти вопросы прямо тревожили. Александр Иванович не ответил мне по существу, а, увлекшись своей склонностью к шуткам, написал в юмористическом тоне, что я, подобно дьякону одного из рассказов Гл. Ив. Успенского, хочу «*дойти до корня* вещей». Я, конечно, подумала: в другой раз не стоит обращаться.

Если-б он знал, какое громадное впечатление и умственное удовлетворение дала мне книга Лебокка «Начало цивилизации», когда потом я наткнулась на это сочинение!

Все эти шероховатости исчезли, когда осенью 1876 года мы стали часто встречаться в Петербурге на Бассейной, в квартире Софьи Ивановны Гольдсмит. Тут образовалась небольшая дружеская компания, к которой, кроме Александра Ивановича и меня, принадлежали: Юрий Богданович, Марья Павл. Лешерн и Н. Драго.

В то время движение в народ в той форме, какую оно имело раньше, было ликвидировано. Если, несмотря на крушение и разгром 1874 года, оно в 1875 году по инерции еще шло по прежнему руслу,—теперь после новых неудач было ясно, что надо искать новых путей и методов, и прежде всего изменить революционную программу в смысле большего согласования ее с реальными условиями и требованиями жизни.

Сознание этой необходимости сделалось к осени 1876 года господствующим в революционной среде: оно намечалось среди радикальной молодежи и сосредоточивало на себе мысль всех участников движения, поскольку они уцелели от предшествовавшего периода: программные вопросы стали дебатироваться во всех кружках.

Александр Иванович был одним из инициаторов в этом деле. Вместе с Юрием Богдановичем и Н. Драго он составил один из проектов программы, которая получила название «*народнической*» и однородна с той, которая легла в основание тайного общества «Земля и Воля» в той части, которая касается революционной деятельности в деревне.

В результате обсуждений, с одной стороны, образовалось общество «Земля и Воля» (О. и М. Натансон, Плеханов, А. Михайлов, Боголюбов-Емельянов и др.), а с другой — автономный кружок с той же программой, в который входили: А. И. Писарев, Богданович, Драго, Веймар, Лешерн, я, а позднее А. Соловьев и некоторые другие.

Вскоре после демонстрации 6-го декабря на Казанской площади, устроенной обществом «Земля и Воля», в которой участвовали и все мы, Александр Иванович, Богданович, Лешерн, Соловьев и рабочий Грязнов отправились в Самарскую губернию, где и основались в Бузулукском уезде в целях пропаганды. Осенью к ним присоединилась и я, устроившись в Самарском уезде, а потом, во избежание ареста, мы все переехали в Саратовскую губернию, которая

была центром провинциальной деятельности членов «Земли и Воли».

Александр Иванович так выпукло обрисовал свою «народническую» деятельность в качестве волостного писаря в талантливых очерках, напечатанных в «Заветах» (и отдельным изданием), что я ничего не могла бы прибавить к ним.

Но те же полицейские условия нашей русской жизни, которые заставили большинство членов «Земли и Воли» покинуть деревню, принудили и Александра Ивановича оставить любимую работу среди крестьян и присоединиться к «Народной Воле», основанной осенью 1879 г.

Как человек, обладающий литературным дарованием, он был приглашен в число редакторов партийного органа «Народная Воля», которым и состоял вместе с Н. К. Михайловским и членами Исполнительного Комитета «Н. В.» Л. Тихомировым и Н. Морозовым вначале, А. Корба позднее.

Редактирование и писательство в подпольном органе не могло поглотить всех сил Александра Ивановича; он принимал участие в легальной прессе и в сущности был действительным, но только неофициальным редактором журнала «Слово», поддерживая в то же время дружеские отношения и связи с литераторами и некоторыми земскими деятелями Тверской губернии, для чего имел все данные.

Александр Иванович имел очень представительную наружность, за которую я в шутку называла его «предводителем дворянства», был прекрасным рассказчиком и остроумным собеседником; человек образованный, энергичный и бывалый, он как нельзя более был способен играть видную роль в «обществе», в земстве, но нелегальное положение сужало до минимума сферу его деятельности,—в лучшую пору жизни ему негде было развернуться; только период перед временной эмиграцией, когда он жил помещиком и земским деятелем в имении Потапово (Данил. у.), может служить иллюстрацией его способностей в этой области.

Тем удивительнее, что на ряду с этим он обладал несравненным уменьем подойти к простому человеку, говорить с ним его языком—качества, доставлявшие ему среди крестьян популярность и влияние, какими редко пользовался кто-либо из революционеров.

Что касается революционной среды того времени, то за исключением дружеского кружка, к которому он принадлежал, между ним и другими видными революционерами не было тесных отношений: он стоял как-то особняком, не мог слиться с ними, и у них к нему, в свою очередь, было чувство отчужденности, не допускавшей полной революционной интимности. Многие черты характера были тому причиной; насмешливая и подчас высокомерная манера держать себя, быть может, была преградой в среде, где прежде всего требуется товарищеское обращение. Но главной причиной, мне кажется, было то, что Александр Иванович не дооценивал моральные качества тех, с кем соприкасался, и это инстинктивно чувствовалось другой стороной: он любил *некоторых, но не всех,* ценил *некоторых, но не всех.* Между тем, если я не ошибаюсь, все мы, члены «Земли и Воли» и Исполнительного Комитета, в своих товарищеских отношениях не индивидуализировали: для нас сознание, что человек всецело предан революционному делу и готов отдать за него свободу и жизнь, рождало к нему любовь, создавало известный эмоциональный нимб около него, который заграждал всякое поползновение нанести царапину.

После 1881 года, когда Александр Иванович был арестован и потом отправлен в административную ссылку, пути наши разошлись, и только чрез громадный промежуток времени мне пришлось мимолетно встретиться с ним. Об этом периоде жизни А. И. я почти ничего не знаю.

Когда жизнь надолго разлучила людей и большая полоса ее прошла врозь, при совершенно различных условиях, трудно двум личностям подойти вплотную друг к другу; вре-

мя создает преграду, которую не перешагнешь 2—3 днями встреч.

Это чувствовала я; это сознавал и Александр Иванович. Я боялась встречи двух, которые знали друг друга молодыми. Александр Иванович отказывался написать мне первым: он хотел, чтоб «задала тон» переписки—я. Таково было его выражение.

Я—написала. Он—приехал [1]).

Я жила тогда в Казанской губернии, в деревушке, в имении тётки; жила в полном одиночестве, с расстроенными нервами и в таком настроении, что никакая встреча не могла принести мне истинной радости. Говорить и спрашивать не хотелось, и при таких условиях нельзя было сблизиться.

Заброшенная в большую глушь, в которой почти не раздавалось эхо политических событий 1905 года, я получила позднее несколько писем, в которых Александр Иванович с большим увлечением писал о деятельности «Совета рабочих депутатов», и эти письма находили во мне живой отклик. Но потом я уехала за границу; общественная жизнь России стала принимать такой характер, что о самом животрепещущем стало неудобно писать. Кроме того, мне надо было лечиться — большая переписка требовала слишком много сил — и я перестала писать; не было потребности поддерживать за тридевять земель отношения, которые ослабила многолетняя предыдущая разлука. Общественная жизнь в России все более и более шла другим темпом; наступили времена распада, дезорганизация и распыление сил, когда тягостными переживаниями совсем не хочется ни с кем делиться.

---

[1]) Письмо это напечатано в VI т. собр. соч.

Б) Народовольцы.

Александр Дмитриевич Михайлов.

(Род. в 1855 г., ум. в 1884 г.).

Достоверным источником сведений о начальном периоде жизни Александра Дмитриевича Михайлова служат его автобиографические заметки, написанные в период «Народной Воли», когда он находился еще на свободе. Любопытны обстоятельства, давшие повод к их составлению: однажды в редакции «Народной Воли» в присутствии Ал. Михайлова было высказано сожаление, что после политических процессов, когда приходится помещать статьи о судившихся, постоянно оказывается полное отсутствие биографических сведений о них. При этом говорилось, что надо бы всех членов организации обязать *заблаговременно* представить в редакцию хотя бы краткие автобиографии свои. Никто не исполнил этого. Одни не знали, не слыхали, что это нужно, другие отнеслись легко к желанию редакторов. Один только Ал. Михайлов, относившийся серьезно решительно ко всему, что касалось революционного дела и литературы партии, принес через короткое время свои заметки. Они уцелели и в 1883 году, когда автор находился уже в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, были напечатаны в Женеве в небольшом издании «На родине»,

№ 3. Автобиографические заметки кончаются *народническим* периодом деятельности Михайлова; поэтому вышло очень удачно, что Плеханов, действовавший вместе с ним в обществе «Земля и Воля», поместил вслед за заметками прекрасную статью, характеризующую Михайлова, как землевольца, а Лев Тихомиров снабдил их ценными примечаниями о Михайлове в эпоху «Народной Воли». Таким образом, личность Михайлова была хорошо восстановлена двумя выдающимися товарищами его по работе, и притом по свежим, еще не остывшим, воспоминаниям тех, кто с 1876 года и до 1880—в двух стадиях революционного движения—видел его на деле.

Дальнейшим чрезвычайно ценным материалом для ознакомления с политическими взглядами Михайлова и его личностью служат его показания на следствии, хранящиеся в историко-революционном архиве в Ленинграде, и находящиеся там же письма его из Петропавловской крепости после суда к отцу, матери, тетке А. Вартановой и другим родственникам. В свое время эти письма были задержаны департаментом государственной полиции: родные не получили их.

Дедом Александра Дмитриевича Михайлова был отставной солдат времен Николая I, а бабкой—небогатая помещица. Отец Александра Дмитриевича был землемером и в молодости, в годы ученья, испытал большую нужду, да и потом, когда обзавелся семьей, средства имел незначительные. Но о своем детстве, которое он провел в месте своего рождения г. Путивле, Курской губернии, Александр Дмитриевич говорит, как о «счастливом», таком счастливом, что «казалось порой, чаша переполнится через край». После ареста в письмах из Петропавловской крепости он много раз говорил о своей признательности за добрые начала, которые получил от родителей и тетки с материнской стороны, А. О. Вартановой, жившей с ними и бывшей для Михайлова второй матерью. Сильные родственные чувства и необыкно-

венную нежность к родным он сохранил до конца жизни. И не удивительно. И отец, и мать Михайлова были, по его словам, чистыми, честными и справедливыми людьми: «житейская грязь, мелочные чувства, злоба, интриги были чужды нашей семье»,—говорит он и продолжает: «когда я столкнулся с жизнью во всей ее наготе, я понял, что счастлив в своей семье, что она—одна из редких русских семей среднего состояния, так как в них обыкновенно царит кромешная тьма».

Десятилетним мальчиком Михайлов поступил в Новгород-Северскую гимназию и впервые очутился среди чужих людей. После чистой семейной атмосферы он был поражен низким уровнем окружающих: учителя, квартирные хозяева и товарищи-гимназисты,—все морально отталкивали его, так как на всех лежал отпечаток чего-то неприятного, холодного, злого. Эгоизм и грубость, бесчеловечность и беспринципность—вот что встретил он здесь. Учителя были из рук вон плохи, начальство—недобросовестно и корыстно; ученики терпели незаслуженные оскорбления, их унижали, не щадя чувства достоинства, так что Михайлов отправлялся в гимназию каждый день со стесненным сердцем, хотя учился удовлетворительно. Знаний и умственного развития гимназисты от педагогов не получали—все усилия направлялись лишь на бестолковую зубристику по изучению мертвых языков. Но в 14 лет Михайлов пристрастился к чтению. К этому времени гимназическая атмосфера несколько очистилась. Михайлов нашел несколько товарищей, которые вместе с ним путем самообразования хотели получить то, чего не давало учебное заведение: они образовали кружок и завели тайную библиотеку. «В личных отношениях я был большой и непреклонный идеалист,—говорит он в своей автобиографии[1]),—в общественной деятельности всегда оставался практиком с постоянными организационными стремлениями.

[1]) Перепечатана в журнале «Былое», 1906 г., февраль.

Эта организаторская страсть проявилась во мне еще в 5 классе гимназии: с тремя или четырьмя товарищами мы задумали издавать журнал; я принял деятельное участие в сношениях кружка». В гимназии он уже занимается агитацией среди учеников высших классов, и общее недовольство гимназическим начальством выливается в протесты против учителей, которых он называет идиотами и самодурами. На ряду с этим, кружок самообразования задается целью не только самим знакомиться с лучшими произведениями русской и иностранной литературы, но и распространять в народе книги, отвечающие уровню его развития. Ценой строжайшей экономии в расходах, грошевыми уроками этой молодежи, состоявшей поголовно из бедняков, удалось создать порядочную библиотеку для себя, а затем покупать и те книги, которые они находили полезными для распространения в народе. В 8-м классе кружок уже имел возможность знакомиться с революционными изданиями, и время пребывания Михайлова и его товарищей в Новгород-Северской гимназии было окрещено начальством, как время нашествия пропагандистов.

Классическая система образования, тяготившая всех учащихся, была особенно тягостна для Михайлова; он считал занятия древними языками бесполезными, а заниматься бесполезным ему казалось *безнравственным.* В конце-концов он перешел в другую гимназию, уехав в Нежин, и сдал экзамен без языков. И как ни кратковременно было его пребывание в Нежине, он и тут явился инициатором и организатором кружка, задавшегося теми же целями, как и кружок в Новгород-Северске.

По окончании гимназии осенью 1875 года, окрыленный великими надеждами, связанными с поступлением в высшее учебное заведение, Михайлов приехал в Петербург, еще в дороге познакомившись с такими же провинциальными новичками, каким был сам, и поступил в Технологический инсти-

тут. В высшем учебном заведении он думал найти иной дух, чем удушливая атмосфера гимназии, думал найти живой источник знания, а в профессорах—истинных учителей жизни. В этих надеждах пришлось разочароваться: аккуратное посещение лекций контролировалось в институте шпионским счетом студенческих шинелей, а прохождение курса сопровождалось репетициями через два дня в третий.

Надо заметить, что Александр Михайлов был как бы от природы одарен способностями организатора. Раньше было указано, что уже в гимназии, как в первой, так и во второй, он обнаруживал стремление соединять людей в группы для определенной цели. В безобразных условиях своего учебного заведения он подыскал, как мы видели, товарищей и образовал кружок; говоря о нем в своих показаниях, Михайлов прибавляет, что с тех пор он не знает времени, когда он что-нибудь во имя чего-нибудь не организовывал.

Ту же работу он продолжал в Технологическом институте до своего исключения и высылки в Путивль и образовал группы самообразования и помощи пропагандистам, а месяца через два был создан уже студенческий союз с кассой и федеративными кружками в Павловском училище, в Медицинской академии, в университете и других учебных заведениях.

В Петербурге Михайлов пробыл всего 3½ месяца, и высылка градоначальником в 24 часа была первым ударом, нанесенным ему со стороны правительства.

Жить в провинциальной глуши, в Путивле, Михайлов был не в состоянии и, презрев запрет полиции, уехал в Киев, и хотя его не оставляли в покое, все же продержался там до осени 1876 года. В Киеве он впервые встретился лицом к лицу с революционными деятелями. Тут были представители всех направлений: пропагандисты, бунтари и якобинцы, с программами которых Михайлов здесь и познакомился.

Однако, ни к одной из этих групп он не примкнул—они не удовлетворяли его. Он заметил отсутствие дисциплины, беспорядочность в сношениях между собой, обилие словопрений. Поэтому, прибыв осенью 1876 года из Киева в Петербург и поступив на этот раз в Горный институт, он стал искать людей, более соответствующих его взглядам на организацию. В своих показаниях [1]) он сам удивляется, как, будучи совсем юным, неопытным и не имеющим связей, он уже тогда мечтал о создании *единой всероссийской* сплоченной организации, какой до того времени в революционном движении не существовало.

Находясь в тюрьме, приговоренный к смертной казни, А. Михайлов писал, что *деловое счастье сопутствовало ему всю жизнь.*

И в самом деле, разве не было «счастьем», что на первых же шагах своего революционного пути он нашел то, чего искал, к чему стремился: шел 1876 год, и как-раз в ту осень, когда он приехал в Петербург, сложилось тайное общество «Земля и Воля», во главе которого стояли такие несравненные революционные деятели, как Марк Натансон, его жена Ольга (урожденная Шлейснер), а потом Оболешев, Плеханов и другие, имена которых славны и дороги для всех участников нашего революционного движения.

Михайлов встретился, познакомился и сошелся с этими членами «Земли и Воли» и вскоре был принят в их среду. «Я был счастлив,—говорит Михайлов об этом времени,—что стоял на желанной дороге; я уважал и высоко ценил своих новых товарищей, но и в новой среде я, Оболешев и Ольга Натансон выделялись горячим отношением к организационным задачам». В кружке народников, который лег в основание организации революционных сил, все его мысли были заняты вопросами выработки условий «совершенной»,

[1]) Опубликованы в книге «Александр Михайлов», составленной мной и А. И. Прибылевой-Корба.

как он выражался, организации, сплоченность и дисциплинированность которой дали бы возможность с полным успехом бороться с правительственной системой. Он находил в характерах, привычках и нравах членов общества черты, которые мешали расширению общества и вредили его деятельности. Он хотел перевоспитать товарищей и призывал их к работе над собой, чтобы неосторожность, рассеянность, отсутствие самодисциплины не губили революционного дела, вызывая аресты, возбуждая внимание полиции и шпионов. Каждый шаг повседневной жизни революционера должен быть взвешен и обдуман,—требовал он,—и поведение выдержано по всей линии. И втроем,—Михайлов, Оболешев и О. Натансон,—каждый по-своему боролись всеми силами, всечасно и неустанно против того, что называют широкой русской натурой, держать которую в рамках было трудно революционерам того времени. Таким требованиям к членам революционной организации Михайлов оставался верен до конца. Тихомиров приводит по этому поводу отзыв Желябова, относящийся уже к позднейшему времени, но приложимый и к рассматриваемому периоду. Желябов говорил: «Михайлова многие считают человеком холодным, с умом математическим, с душой чуждою всего, что не касается принципов. Это совершенно неверно. Это поэт, положительно поэт в душе. Он любит людей и природу [1]) одинаково конкретно, и для него весь мир проникнут какой-то чисто человеческою личною прелестью. *Он даже формалистом в организации сделался именно как поэт: организация для него, это—такая же личность, такой же дорогой для него «человек», делающий притом великое дело. Он заботился о ней с такой же*

---

[1]) В своих автобиографических заметках А. Михайлов отмечает, что детские годы он провел в усадьбе на окраине своего уездного города, в обстановке почти деревенской, и это развило в нем чуткость к красотам природы. Во многих местах своего описания он говорил, как много удовлетворения ему давало поле, небо и ширь.

страстностью, внимательной до мелочей преданностью, с какой другие заботятся о счастии любимой женщины». (Курсив мой.—*В. Ф.*).

Общество «Земля и Воля» в основу своей деятельности положило выработанную на основании предшествовавшего опыта хождения в народ программу, известную под названием «программы народников». Главные черты ее общеизвестны, а существенное отличие от программы пропагандистов первого периода 70-х годов заключалось в том, что, вместо пропаганды социалистических идей, революционные деятели, предполагали исходить из потребностей и нужд, уже сознанных народом, и думали вести агитацию по поводу тех недовольств, которые постоянно возникают в крестьянской среде при столкновениях с помещиками, администрацией, полицией и т. д. Народники надеялись, что местные бунты и восстания приведут, в конце-концов, к общенародной революции «за землю и волю». Вместо бродячей деятельности, новая программа требовала оседлости, и притом не в форме непременно рабочего, но и в других демократических формах (учителя, волостного писаря, фельдшера и т. п.). Необходимым условием считалось также не разбрасываться по всему пространству России, а устраиваться в определенном районе.

После демонстрации, устроенной обществом 6 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге, когда впервые было поднято красное знамя с девизом «Земля и Воля», члены общества в значительном числе отправились весной в Саратовскую губернию, как в район с революционной традицией. Одни из них остались в самом Саратове для деятельности среди рабочих, другие расселились в разных положениях по деревням; среди последних был и Ал. Михайлов, увлекавшийся распространенным в то время взглядом на раскольников, как возможных союзников в борьбе против существующего порядка вещей. Исколесив в разных напра-

влениях Саратовский уезд, где он имел много встреч с крестьянским населением (они описаны отчасти в его показаниях), Михайлов основался в селе «Синенькие» среди раскольников беспоповского толка в качестве вольнонаемного учителя и пробыл среди них около года. Сблизиться так, чтобы сделаться для раскольников своим человеком, было невозможно, не выполняя всей обрядности, строго соблюдаемой ими в ежедневной жизни. И Александр Михайлов, ломая все привычки, регулярно совершал все моления, коленопреклонения, земные поклоны и т. п., требуемые ритуалом тех, среди кого жил. Вместе с тем, он изучал раскольничьи книги и вел бесконечные беседы с расколоучителями, чтобы самому стать начетчиком и со временем реформировать раскол в революционную религию, которую, однако, представлял себе лишь в смутных очертаниях. К раскольникам Михайлова влекли их сплоченность и организованность. Это было своего рода государство в государстве, со своими с'ездами, наставниками, которые об'езжали определенные районы, уезды и губернии. Их духовные запросы и интересы, солидарность, строгие требования к личности ставили их выше рядового крестьянства. Вовлечь эту многомиллионную организованную массу в революционное движение, найти в ней товарища в борьбе против правительства, как общего притеснителя, казалось Михайлову высокой целью, ради которой он готов был переделать всю внешнюю жизнь свою и подчиниться требованиям, которые со стороны казались изуверством, бессмысленным и смешным. Самому Александру Дмитриевичу жизнь среди беспоповцев, несмотря на всю трудность ее, давала, однако, удовлетворение. По его признанию, это была суровая школа, в которой он воспитал свою волю, научился самообладанию и получил тот духовный закал, который, по его убеждению, должен был иметь каждый революционер. Как истинного народника, «меня сильно манили тайники народного общинного духа,—пишет он в своей авто-

биографии,—область истинно-народной жизни и народного творчества [1]). У меня образовались уже прочные связи. Я мог проникнуть уже в сибирские тайные скиты, и к астраханским общинам (коммунистам), и к бегунам, и в Преображенское кладбище. Но, увы, все пришлось бросить».

Произошло это следующим образом:

Весной 1878 года он отправился из Саратовской губернии в Петербург с целью организовать целый кружок лиц, которые поехали бы в провинцию для деятельности среди раскольников; он не хотел уже оставаться одиночкой на этом поприще. Вместе с тем, как он говорит в своих показаниях, он имел целью углубиться в учение раскола, и по приезде в Петербург усердно посещал для этого Публичную библиотеку; от товарищей же требовал устройства особой типографии с славянским шрифтом, чтобы печатать специальную литературу для раскольников. По словам Плеханова, в это время происходил пересмотр устава общества «Земля и Воля», и для Михайлова открылось широкое поле для проведения и защиты его организационных взглядов. Он требовал большей централизации, подчинения местных групп центру, а от отдельной личности—безоговорочного отказа от проявления индивидуализма и подчинения решениям большинства. В этом отношении он решительно не понимал, как можно возражать и спорить против этого. «Если бы меня заставили писать стихи, я не отказался бы,—говорил он,—

---

[1]) В своих показаниях, с увлечением говоря о своей жизни среди беспоповцев, как пример отношения народа к действительности, он приводит по памяти несколько цитат из рукописного документа, висевшего у его хозяйки-раскольницы на стене у образов. Он был вделан в рамку и носил заглавие «Известия новейших времен»: «Благодать на небо взята. Любовь убита. Правда из света выехала. Кротость шатается по лугу. Правосудие в бегах. Кредит обанкротился. Невинность под судом. Ум-разум в каторжной работе. Закон лишен прав состояния. А, в конце-концов, терпение осталось одно, да и то скоро лопнет».

хотя и знал бы наперед, что стихи выйдут невозможные». По настояниям Михайлова, устав общества был действительно изменен в том направлении, которого требовал он.

В то время, как жизнь землевольцев в деревнях протекала в рамках мирной обыденности и сводилась часто к культурно-просветительной работе, в столице и крупных городских центрах среди членов общества и учащейся молодежи, поставлявшей кадры для революционного движения, нарастало боевое настроение, стремление дать отпор репрессивным мерам правительства.

Разгром хождения в народ, многочисленные аресты 1873—75 г.г., переполнение тюрем политическими заключенными, трехлетнее ожидание ими суда, и с 1877 года процессы [1]) вызывали возбуждение умов, а в программе общества «Земля и Воля» уже в 1876 году были зародыши перелома, который позднее повернул революционное движение в сторону от деревни. Довольно жертв без всякого сопротивления и отпора попало в руки правительства. «Этому следует положить конец»,—так думали в «Земле и Воле» уже в момент образования ее, и выработанная тогда программа под неуклюжим названием дезорганизации власти вводила устранение особенно вредных агентов правительства: шефов жандармов, прокуроров, чинов полиции, шпионов и членов высшей администрации. Кроме того, в программе был и еще один пункт, получивший впоследствии громадное значение. Считая деятельность в деревне самой существенной частью программы и ставя целью народное восстание во имя сознанных требований масс, общество «Земля и Воля» находило, что для обеспечения успеха народного движения необходимо в нужный момент нанести правительству такой удар в центре, который внес бы панику в ряды его и дезорганизовал его силы. Под таким *центральным ударом* подра-

[1]) Процесс «50-ти» (П. Алексеева, Бардиной и др.), процесс «193-х и целый ряд мелких политических дел (См. «За 100 лет» Бурцева).

зумевалось уничтожение царя и всей семьи его посредством динамита.

Параграфы эти, несомненно, носили политический характер и, благодаря внутренней политике правительства, с течением времени должны были развернуться в широкую активную борьбу против существующего политического строя. Первоначально они оставались без применения, но 13 июля 1877 года в Доме предварительного заключения, по распоряжению градоначальника Трепова, был подвергнут телесному наказанию Боголюбов-Емельянов [1]) за то, что, встретив Трепова, при возвращении с прогулки, не снял перед ним шапки. Телесное наказание политического каторжанина, в те времена неслыханное, возмутило все образованные круги, которые видели в этом наглый вызов. 24 января 1878 года этому насилию был дан отпор. Вера Засулич явилась в градоначальство под видом просительницы и выстрелом из револьвера ранила Трепова. Этот акт вызвал восторг всей интеллигентной России. А когда в мае Петербургская судебная палата под председательством Кони оправдала Засулич, все вздохнули свободно: до такой степени ее дело отвечало общему настроению и было общим делом. Со всех концов России сыпались поздравительные телеграммы защитнику Засулич, присяжному поверенному Александрову, и общей радости не было конца.

Во время суда у здания окружного суда стояла громадная толпа, ожидавшая приговора, и когда оправданную Засулич, вышедшую на улицу, полиция хотела арестовать, произошла схватка. Друзья Засулич, заранее приготовившие для нее карету, успели посадить и увезти ее, но при столкновении с полицией был убит юноша Сидорацкий [2]), сидевший

---

[1]) Боголюбов был лишен всех прав состояния и осужден на каторгу по делу о демонстрации на Казанской площади (6 декабря 1876 года).

[2]) Судился в 1877 г. по процессу «50-ти».

на козлах рядом с кучером. Его похороны были новой манифестацией.

После выстрела Засулич долго сдерживаемая энергия вырвалась наружу, и в течение 1878 года и первой половины 1879 года последовали один за другим акты в провинции и в столицах: покушение на жизнь прокурора Котляревского в Киеве и убийство жандармского капитана барона Гейкинга там же, вооруженная попытка освобождения Войнаральского (осужденного по процессу «193-х») по дороге из Харькова в централ; убийство шефа жандармов Мезенцова в Петербурге; освобождение Преснякова там же, освобождение из Киевской тюрьмы Стефановича, Дейча и Богановского; вооруженные сопротивления при арестах в разных городах (офицера Дубровина, Коленкиной, Бобохова, братьев Ивичевичей, Лешерн, Ковальского с товарищами); убийство провокатора Рейнштейна в Москве; убийство нескольких шпионов; уличные демонстрации в Петербурге, Москве, Одессе; убийство харьковского губернатора Кропоткина; покушение на жизнь преемника Мезенцова, шефа жандармов Дрентельна, а 2 апреля 1879 года покушение Соловьева на жизнь Александра [1]).

Эти акты, каждый месяц совершавшиеся в до тех пор безмолвной и покорной России, пролетали электрической искрой и возбуждали удивление и восторг. Впечатление, производимое ими, было так велико, что землевольцы, жившие в городах, ясно видели, что нарастающее оживление указывает новые пути революционной деятельности. В Петербурге, в центральной группе «Земли и Воли», одни из членов скоро стали энтузиастами нового течения, звавшего к активному сопротивлению и борьбе с правительством. Александр Квятковский, Морозов и Зунделевич явились первыми нова-

---

[1]) О тех из этих актов, в которых участвовал Александр Михайлов, будет подробно изложено дальше.

торами в этой области. Другие, как Плеханов и Мих. Род. Попов, стояли за сохранение прежней программы, полагавшей центр тяжести революционной деятельности в подготовке народного восстания; они настаивали на том, чтобы главные силы организации направлялись в деревню, а политические акты против агентов власти считали опасным увлечением, отдаляющим момент народной революции. Надо прибавить, что к возбуждению умов после выстрела Засулич присоединялось впечатление от дела «193-х», продолжавшегося более 3 месяцев. Когда кончился процесс, особое присутствие Сената ходатайствовало о смягчении приговора, и в ожидании решения государя несколько десятков подсудимых, проведших до 3 лет в тюрьме, были выпущены на свободу. Это вызвало большое оживление среди учащихся высших учебных заведений. В самом деле, незабываемое впечатление производили эти освобожденные: почувствовав себя на воле после долгого заключения, они были в повышенном, радостном настроении. Казалось, тюрьма морально нисколько не надломила их; здоровье же многих было расстроено. Бледные и исхудалые, они носили следы физического истощения, но все горели жаждой деятельности и хотели тотчас же встать на работу. Это было так трогательно, что одушевляло всех, кто видел и слышал их, а общение с ними было очень широкое. В доме Фредерикса, на Невском, где-то недалеко от Бассейной, и на Петербургской стороне были квартиры, в которых всегда можно было найти шумное сборище, обсуждающее какие-нибудь революционные вопросы. Не было рассказов о том, что пережито в тюрьме—это было как-будто забыто: все говорили о настоящем и будущем. Освобожденные хотели знать и расспрашивали о том, что делалось на воле в революционном мире в течение последних трех лет; какие теоретические и практические изменения произошли в революционной деятельности; какие за это время создались группировки. Землевольцы знако-

мили прежних товарищей и новых друзей со своей программой и организационными принципами, с работой, которая велась в деревне среди крестьян и в городе среди рабочих, и спешили вербовать новых членов в свое общество; старые чайковцы не возражали против программы народников, господствовавших на севере [1]); другие, работавшие до ареста на юге, стремились на прежние места, надеясь возобновить порванные связи (Желябов, Франжоли, Ланганс). В тюрьме они пережили нравственный удар по поводу истории Емельянова-Боголюбова [2]). Выстрел Засулич дал им такое же моральное удовлетворение, какое получила вся культурная Россия. Едва ли когда-либо до этого было такое единодушие и одушевление в революционной среде, как тогда в Петербурге. Почти тогда же заволновались рабочие. В марте на Новой бумагопрядильне в Петербурге возникла стачка. Землевольцы и лица, близкие к ним из учащихся, принимали в ней живейшее участие: они агитировали, собирали деньги в пользу стачечников и их семей и много содействовали ее организованности. Эта стачка, со своей стороны, усиливала революционное брожение среди молодежи.

Александр II под влиянием шефа жандармов Мезенцова отказал в смягчении приговора, и это вызвало общее недовольство; освобожденных стали в разных местах хватать и отправлять в административную ссылку, а осужденных на каторгу (Мышкина, Ковалика, Войнаральского, Сажина и Муравского) должны были заключить в централы Харьковской губернии. Среди каторжан особенное внимание возбуждал Мышкин. Широкую известность он приобрел единственной

---

[1]) Перовская, Тихомиров, Лебедева, Морозов и до тех пор стоявшие вдали от «Земли и Воли» Клеменц и Кравчинский вошли в том году в организацию.

[2]) По поводу ее заключенные яростно протестовали, за что были избиты и рассажены в карцеры.

серьезной попыткой освобождения Н. Г. Чернышевского из Вилюйска,—попыткой, которая чуть-чуть не удалась ему. Затем, на процессе «193-х» товарищи-подсудимые поручили ему быть общим выразителем их революционных убеждений. Мышкин произнес громовую речь [1]) с энергией и под'емом, которых никакие окрики председателя суда Петерса не могли сломить: дело дошло до схватки с жандармами и выхода судей из залы заседаний.

Освободить Мышкина вооруженной силой—такова была задача, которую землевольцы поставили себе. Устранить шефа жандармов Мезенцова, который настоял на неутверждении ходатайства суда о смягчении приговора по делу «193-х»,—таково было другое решение их.

Возможно ли было Михайлову, приехавшему в такое горячее время в Петербург, остаться в стороне и ограничиться изучением раскольнической литературы? Текущая жизнь выставляла свои требования, и нельзя было уклониться от участия в работе дня. Организация требовала, чтобы в данное время Михайлов не возвращался к своим раскольникам, и Михайлов должен был принять участие в попытке освобождения Мышкина по чувству товарищества.

Он всегда чрезвычайно высоко ценил это чувство. Анне Павловне Корба он рассказывал однажды старинную славянскую легенду, которую любил. «Герой, сражавшийся за народную свободу, томится в турецкой тюрьме. Он ждет, что его освободят отец с матерью; но они дряхлы и хилы и не могут спасти его. Он ждет, что жена освободит его, но она, хоть плачет и убивается, не может, однако, спасти его. Узнают о его заключении товарищи. Они выбирают бурную ночь, убивают стражу и выводят героя из тюрьмы» [2]).

---

[1]) Эта речь была напечатана в тайной типографии и распространена.

[2]) «Былое», 1906 г., февраль. «По прочтении автобиографии А. Д. Михайлова». А. П. Корба.

Лучшие силы «Земли и Воли» были направлены в Харьков для этого дела. Кроме Михайлова, туда отправились из Петербурга А. Квятковский, Баранников, Морозов, Адриан Михайлов, Ошанина, Перовская. В Харькове к ним присоединились Фроленко и Фомин-Медведев.

История попытки этого освобождения увлекательно написана Н. Морозовым в 4-м томе его книги: «Повесть моей жизни». Отсылаю читателя к ней, а здесь лишь вкратце расскажу, как было дело.

Отправка осужденных из Петербурга затянулась до конца июня, и решающим днем, когда была сделана попытка нападения на конвой под Харьковом, был день 1 июля. В Петербурге было установлено наблюдение на вокзале, чтобы дать условную телеграмму о дне, когда повезут узников. Подобное наблюдение было учреждено и в Харькове на вокзале, у тюрьмы и у почтовой станции, где жандармы должны были взять лошадей для препровождения пленников в Андреевский централ, Змиевского уезда, или в Печенегский—Чугуевского. Для Квятковского и Фомина были куплены верховые лошади; они, как курьеры, должны были на основании слежки давать знать о всех передвижениях конвоиров и высмотреть во-время, по какой из двух дорог они направляются. Одни из товарищей устроили квартиру, где освобожденный, а в случае нужды и действующие лица могли найти безопасное убежище; на другой квартире хранилось оружие, седла, костюмы, так как при нападении предполагалось употребить форму военного, а на постоялом дворе, под видом помещика, конторщика и кучера, приехавших на ярмарку в экипаже на паре лошадей, остановились: Баранников, Фроленко и Адриан Михайлов.

Первая неудача предприятия заключалась в том, что жандармы перехитрили наблюдателей, и Мышкина провезли при таких условиях, что его прибытия не заметили. Вторую неудачу действовавшие лица испытали, заняв позицию на

Чугуевской дороге, между тем как конвой с каторжанами отправился по Змиевской—в Андреевку.

Тогда было решено стать на проселочной дороге, лежавшей между двумя шоссейными,—в Змиев и Чугуев, и по сигналу, который даст верховой (Квятковский), переехать на ту или другую, смотря по направлению, которое возьмут жандармы. Так и сделали 1 июля, когда должны были везти в централ Войнаральского. Линейка на паре, которой правил Адриан Михайлов в роли кучера, выехала в нужный час из города и остановилась, как сказано, между двумя дорогами; на ней сидели Фроленко и Баранников, одетый в военное платье. Квятковский дал сигнал: «В Змиев!», и они заняли свою позицию, а затем показалась и бричка жандармов, оказавшаяся позади линейки. Она остановилась. Баранников сошел с экипажа, крикнул: «Стой!» и, спросив конвой, куда они едут, попросил закурить. В это время Фроленко выстрелил и ранил одного из жандармов; испуганные лошади помчались вперед. Подскакавший Квятковский, справившись со своей испугавшейся лошадью, выпустил 6 зарядов в лошадей конвоя. Он ранил их, но это только ускорило их бег... Стало ясно, что ни верховому, ни линейке нечего больше делать. Что касается второго верхового—Фомина, то он ошибся, не занял назначенного ему поста и не явился на помощь нападающим. Войнаральский был благополучно доставлен в Андреевский централ [1]). Удрученные землевольцы поспешили вернуться в город и оповестить товарищей о неудаче. Теперь дело шло лишь о том, чтобы как можно скорее выбраться из Харькова: слишком много было посторонних, знавших в лицо тех, кто участвовал в нападении. Несколько часов, и вся полиция была бы на ногах; на вокзале можно было переловить всех. Александр Михайлов так и распорядился,—с первым же поездом все уехали. Один Фомин не сделал этого,

[1]) М. П. Сажин был привезен туда же, но уже после этой попытки.

и промедление было причиной того, что на вокзале, когда он явился, он был тотчас арестован.

В том же месяце в Одессе военно-окружной суд судил Ковальского и его товарищей: Свитыча, Виташевского и др.; Ковальский был приговорен к смертной казни. Многочисленная толпа стояла около здания суда в ожидании приговора, и при крике: «Ковальскому смертная казнь», проклятия и вопли огласили улицу. Заранее приготовленный отряд солдат бросился на толпу, из которой в ответ послышались выстрелы. Залпом солдат двое были убиты, остальные разогнаны, человек 20 арестовано...

2 августа Ковальский был казнен, и это ускорило развязку с Мезенцовым. Раньше было сказано, что после неутверждения ходатайства суда по делу «193-х» в центральной группе землевольцев был поставлен вопрос об устранении этого царского слуги. За ним было установлено наблюдение, которое показало, что этот рьяный служака был большим ханжей и ежедневно, отправляясь в III отделение (тогдашнюю охранку) для исполнения своих гнусных обязанностей, заходил в часовню помолиться богу милосердия и любви. На этом пути богомольца и должна была застигнуть заслуженная кара. Это произошло 4 августа.

В Петербурге землевольцы получили в наследство от чайковцев того прекрасного рысака «Варвара», на котором в 1876 г. они увезли П. А. Кропоткина при его бегстве из Николаевского военного госпиталя. Теперь он должен был оказать вторую услугу. 4 августа, когда наблюдением было определено время посещений часовни Мезенцовым, на рысаке под'ехали Кравчинский и Баранников в качестве седоков и Адриан Михайлов в роли кучера. Остановив лошадь неподалеку, седоки сошли с экипажа и поджидали выхода Мезенцова с его богомолья. Когда на углу Михайловской площади и Итальянской ул. они встретились с ним и его спутником Макаровым, Кравчинский поразил Мезенцова, смер-

тельно ранив кинжалом, который держал за развернутой газетой. Макаров схватил Баранникова, но тот выстрелил в воздух; это дало ему возможность освободиться и вскочить в пролетку, которая уже быстро двинулась с Кравчинским. Предусмотрительным и осторожным организатором этого дела был Александр Михайлов (и Морозов). Он был и свидетелем всего того, что произошло. Петербургская вольная типография землевольцев выпустила по этому делу прокламацию под заглавием «Смерть за смерть». Эта «вольная» типография была организована тем же Михайловым, на ряду с несравненным добытчиком всех технических средств организации — А. Зунделевичем. Роль хозяйки в ней играла пожилая Крылова, и типография работала во все время существования «Земли и Воли». С декабря организация при участии Клеменца стала издавать даже орган «Земля и Воля». В его издании Михайлов принимал энергичное участие. Сам он не был писателем и с этой стороны не мог быть полезен; но он не пропускал ни одного собрания редакции и постоянно участвовал в обсуждении статей. Его отзывы, по словам Тихомирова, всегда были очень ценны. Кроме критики по существу, он обращал внимание на то, чтобы изложение не было утомительно длинно, и, вынув часы, следил, сколько времени требуется на прочтение той или другой статьи.

8 октября в Петербурге произошли многочисленные аресты большой важности. Были арестованы: Малиновская и Коленкина, при этом оказано вооруженное сопротивление,—Ольга Натансон, Оболешев-Сабуров, самые дорогие и близкие товарищи и друзья А. Михайлова,—Адриан Михайлов, Трощанский и др. На квартире Трощанского полиция оставила засаду, и в ее руки попал А. Михайлов, только-что вернувшийся из Ростова-на-Дону, куда он ездил по поручению группы для информации о волнениях, происходивших тогда в Луганской станице. Смотря по результатам, Михайлов должен был организовать там группу из местных сил. Задержанный у Тро-

щанского, Михайлов выскользнул, однако, благополучно из рук жандармов, вырвавшись и обратившись в бегство при выходе с ними на улицу. Быстрота ног и превосходное знание местности и проходных дворов в ней спасли его.

Знать расположение улиц, закоулков и проходных дворов А. Михайлов считал обязательным для каждого революционера. В записной книжечке, которую он носил с собой, были занесены все проходные дворы, которые он узнавал. Тихомиров и Плеханов приводят несколько примеров, как, благодаря подобным знаниям, он сам избавился от преследования шпионов и других спасал при условиях, которые, казалось, делали безнадежным благополучный исход из опасного положения.

После арестов 8 октября, лишивших петербургскую группу таких ценных членов, как Ольга Натансон и Оболешев, положение организации оказалось критическим: не было ни денег, ни паспортного бюро; все связи были порваны, и об арестах и скомпрометированных квартирах не было возможности предупредить всех, кого следовало; между другими и Плеханов лишь случайно оказался не арестованным. Организации грозила гибель. Но тут Михайлов проявил всю свою изобретательность, энергию и организаторскую способность. «С утра до ночи, — пишет Плеханов в своих воспоминаниях о нем,—бегал он по Петербургу, доставая деньги, приготовляя паспорта, заводя новые связи, поправляя все, что было поправимо в нашем тогдашнем положении».

Дела скоро наладились, и деятельность центра снова закипела. Но нужно было напряжение всех сил, и Михайлову приходилось признать, что оставить Петербург и ехать в деревню для пропаганды без подкрепления свежими людьми, которых в наличности не имеется, невозможно. Двухгодичная практика показывала, что прежняя тяга революционной молодежи в деревню прекратилась: к тем, кто в начале 1877 года двинулся в Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую

и Воронежскую губернии, никто не присоединялся, хотя возможности устроиться на местах, благодаря заведенным связям, были. Но те, кто устроился тогда на местах, испытывали всевозможные препятствия своей деятельности: полицейский надзор усилился учреждением урядников; генерал-губернаторства были введены на юге, и местные власти всюду следили за теми, кто, живя в селах, приобретал популярность. Скромная просветительная работа — и та становилась невозможной, потому что все, что делалось бескорыстно, навлекало подозрение мелких пиявок, присосавшихся к деревенскому люду, и влекло доносы, за которыми следовали преследования. Работа в деревне в смысле революционных ожиданий была незаметна, и отсутствие видимых результатов не могло вызывать желания итти на будничную, серую работу в глуши, в которой народ еще не пробуждался и не оказывал сопротивления насилию и эксплоатации.

В январе 1879 года землевольцы организовали покушение на преемника Мезенцова, шефа жандармов Дрентельна, грубого и жестокого по отношению к арестованным и их родственникам. Оно было исполнено Мирским, который верхом на лошади догнал выслеженную карету нового главы III отделения и сделал выстрел в него из револьвера, но безрезультатно. В том же январе на фабрике Шау и Новой бумагопрядильне вспыхнула стачка, на помощь которой немедленно отозвались землевольцы.

Со времени самого возникновения «Земли и Воли» организация имела так называемую «рабочую» группу, состоявшую из интеллигентов, которые вели работу среди рабочих. Пропаганда и агитация среди них все время не прекращалась; ее вел, главным образом, Плеханов, стоявший во главе; остальными членами группы были лица, которых привлекали из молодежи высших учебных заведений. В данное время горячо относился к делу рабочих и А. Михайлов. Он не посещал рабочих кварталов, но действовал, как организатор: со-

бирал сведения обо всем, что происходило на фабриках и заводах, снабжал революционные группы материальными средствами, литературой, паспортами. «Когда стачка вспыхнула, Михайлов оказывал неоцененные услуги, — рассказывает Плеханов. — Каждый день, явившись на заседание рабочей группы, Михайлов пред'являл ей довольно значительную сумму денег и немедленно начинал самые обстоятельные расспросы. С довольным видом, пощипывая свою эспаньолку, выслушивал он рассказы людей, сошедшихся с разных концов Петербурга, занося в свою записную книжечку всевозможные поручения относительно паспортов, прокламаций, даже оружия и костюмов. Выработав план действий на следующий день, собрание расходилось, и Михайлов спешил к какому-нибудь новому делу, на свидание с тем или другим «человеком», на собрание какой-нибудь другой группы нашего общества или самого основного кружка».

Взгляды Александра Михайлова с весны 1878 года, когда он приехал в Петербург совершенно пропитанный чисто народнической тягой в деревню, подвергались изменению по мере того, как развертывались волнующие события и явно обнаруживалось боевое настроение, захватывающее даже тех, кто раньше стоял в стороне от революционного движения. А потом Михайлову, как члену центральной группы, последовательно приходилось активно участвовать в актах, которые задумывала и ставила группа, и эти боевые акты, несомненно, увлекали его, а перспектива деятельности среди раскольников, вначале так привлекавшая его, бледнела и уходила вдаль.

Разница в темпераментах, которая сказывалась в различном отношении членов к актам борьбы с правительством, не могла не коснуться и его; шаг за шагом он шел в сторону нового направления деятельности общества и солидаризировался с Квятковским, Морозовым и Зунделевичем, с одной стороны, и с Осинским, энергично работавшим в Киеве, — с другой. Между тем, вначале едва намечавшиеся разногла-

сия в группе постепенно нарастали. Каждый проект наступления, каждый замысел новых актов вызывал споры и сопротивление со стороны тех, кто оставался верен характеру первоначальной деятельности общества. Из месяца в месяц росло увлечение одних и становился резче отпор Плеханова, Попова и В. Игнатова.

Противоречие двух стремлений достигало высшей степени к весне 1879 года, когда нападение на высших и низших агентов власти логически привело умы к мысли, что бить надо не по исполнителям, а по повелителю, — ничем не ограниченному монарху, который берет на себя одного ответственность за все внутреннее положение страны, а потому должен нести и все последствия своего самовластия. Молодая Россия явно не хотела и не могла дальше безмолвно подчиняться гонению и стеснению деятельности: идея цареубийства стала носиться в воздухе.

В марте 1879 года в Петербург приехал член землевольческого кружка Александр Константинович Соловьев, занимавший до того времени место волостного писаря в Вольском уезде, Саратовской губернии. На основании опыта он пришел к убеждению, что при существующем полицейском строе работа одиночек, осевших в деревне, не может иметь плодотворных результатов. «Надо расчистить путь», — говорил он, — и это можно сделать только устранением реакционного главы государства. Он явился в Петербург с готовым решением во что бы то ни стало совершить покушение на жизнь Александра II, но, как только-что прибывший из провинции, нуждался в помощи и обратился за ней к землевольцам и, прежде всего, к А. Михайлову, которого знал раньше [1]). Но с помощью «Земли и Воли» или без нее, —

---

[1]) Одновременно с А. К. Соловьевым, замыслившим цареубийство, в Петербург приехали Гольденберг и Кобылянский с теми же намерениями. Но один был еврей, другой—поляк. Они были устранены. Покушение должен был сделать русский.

заявил он при переговорах, — задуманное дело он сделает. Михайлов так и передал центральной группе общества и со своей стороны высказался за поддержку Соловьева. Постановка на очередь вопроса о цареубийстве, да еще в такой категорической формулировке, — не считаться с мнением организации, — вызвала целую бурю. Плеханов, Попов и Василий Николаевич Игнатов резко высказались против какого бы то ни было содействия делу, которое казалось им гибельным для революционного движения. Квятковский, Зунделевич и Морозов горячо поддерживали Михайлова, и противоположное отношение к политической борьбе сказалось на этот раз самым решительным образом, грозя разрывом. Дело, однако, до этого не дошло, и споры кончились компромиссом: как организация, «Земля и Воля» отказывалась от помощи Соловьеву, но отдельным членам индивидуально разрешалось удовлетворить его просьбу.

Помощь ему была оказана (наблюдение за выходами Александра II, доставка оружия и яда, которым Соловьев решил отравиться в случае неудачи) и сношения с Соловьевым взял на себя Михайлов. Он же был и свидетелем акта (2 апреля 1879 года), который, однако, не увенчался удачей.

Внутригрупповые споры по делу А. К. Соловьева показали, как далеко члены расходились во взглядах; становилось ясным, что дальнейшая совместная деятельность будет сопряжена с постоянными трениями, которые в конце-концов приведут к расколу. Тогда в виду разногласий сторонники старой программы подняли вопрос о созыве с'езда членов общества, чтобы на нем было решено, итти ли дальше под знаменем ее или внести изменения.

Какие последствия мог иметь подобный с'езд? Если бы старая программа была подтверждена, меньшинство, стремившееся к борьбе с политическим строем, должно было бы подчиниться большинству или выйти из общества. В виду

возможности такого исхода, меньшинство решило быть готовым и втайне от остальных товарищей организоваться в отдельный коллектив, в который вошли бы и лица, стоявшие вне общества, но сочувствовавшие новому направлению. В случае выхода или исключения, этот коллектив должен был тотчас же открыть свою деятельность в духе, который одушевлял новаторов.

С'езд был назначен на 24 июня в Воронеже, но группа Квятковского устроила за несколько дней до этого свой собственный с'езд в недалеком городе Липецке (Воронежской губернии) и пригласила туда из Петербурга С. Ширяева, из Киева Гольденберга и Колоткевича, а с юга Фроленко и Желябова, которые не состояли членами «Земли и Воли», а из последних, кроме Квятковского, Морозова и Михайлова, в Липецк прибыли: Л. Тихомиров, Баранников и Ошанина. На этом сепаратном совещании петербуржцы прочитали приготовленную ими программу, в которой на первый план ставилась необходимость покончить с самодержавием и провозглашалось, что единственным средством борьбы с ним является вооруженная сила, применение которой будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлена свобода слова, собраний, союзов и введено народное представительство. В сущности, это была краткая декларация, определявшая общее направление деятельности группы, принявшей тогда же название «Исполнительного Комитета». Липецкий с'езд единогласно принял ее.

Сговорившись, члены «Земли и Воли», присутствовавшие в Липецке, отправились в Воронеж, оставив остальных в Липецке ждать телеграммы, так как предполагалось провести их в члены «Земли и Воли» (кроме Гольденберга) и вызвать в Воронеж на общий с'езд. Так это и было исполнено: репутация Фроленки, Желябова, Колоткевича и Ширяева была общеизвестна, и эти четыре лица были единогласно приняты, и по своем приезде в Воронеж они усилили группу новато-

ров. Все ждали, что с'езд будет протекать бурно. На деле, однако, оказалось далеко не так. Землевольцы, приехавшие из деревни, совсем не отличались той нетерпимостью, какой ожидали обе несогласные между собой стороны. Общий тон прений отличался миролюбием, и решение насчет программы вышло двойственное: признавалась необходимость деятельности в крестьянстве, но, на ряду с этим, утверждалась необходимость и политической борьбы. Революционный орган «Земля и Воля» должен был носить прежний характер, но было разрешено издание «Листка Земли и Воли», агитационный уклон которого в сторону борьбы с правительством особенно возмущал Г. В. Плеханова. Когда большинство высказалось за такое решение, Плеханов встал и со словами: «Больше здесь мне делать нечего» покинул с'езд, и этот уход был принят, как выход из организации. Неожиданный исход с'езда не привел, однако, к единодушной, согласованной работе общими силами. Как только землевольцы вернулись в Петербург и приступили к практическим делам, тотчас стало ясно, что разномыслие парализует каждый шаг. На Липецком с'езде цареубийство было определенно поставлено, как средство борьбы с самодержавным правительством. Выше было указано, что не один Соловьев, но и другие лица предлагали взять на себя почин в этом деле, а на юге летом 1879 года Виттенберг и Логовенко были казнены за проект покушения на Александра II посредством взрыва динамита. При обсуждении неудавшегося дела Соловьева в Липецке было решено продолжать его, и, по рассказу Морозова, Александр Михайлов произнес при этом обвинительную речь против царя такой силы, какой он, Морозов, никогда в жизни не слыхал. Теперь, в июле — августе 1879 года, надо было осуществлять это решение. Средства, необходимые для покушения, были готовы: динамитная мастерская под руководством Кибальчича и при участии Якимовой, Ширяева и других единомышленников Квятковского работала

в Петербурге уже несколько месяцев и имела в запасе достаточное количество этого взрывчатого вещества.

О персонале, необходимом для выполнения, нечего и говорить, — настроение было таково, что все соратники активной борьбы требовали участия, все хотели от слов перейти к делу. Но тут-то сказалось отсутствие единства в центре. Прежние противники получили подкрепление в лице приехавших из-за границы Засулич, Дейча и Стефановича. На Воронежском с'езде заочно они единогласно были приняты в члены «Земли и Воли». Те, кого впоследствии кратко называли террористами, надеялись, что они встанут в их ряды: ведь Вера Засулич героическим выстрелом в Трепова, можно сказать, первая открыла путь к активному наступлению на душителей русской жизни. Но они оказались противниками политического течения и придали силу прежней оппозиции. Пререкания, возникшие по поводу приготовлений к покушениям, показывали, что осуществление актов борьбы будет постоянно встречать сопротивление; возобновятся те же прения, которые были пережиты перед Воронежским с'ездом, и деятельность будет парализована. Таким образом, раскол, которого не хотели, все же должен был произойти, и вскоре, действительно, произошел. Общество «Земля и Воля» разделилось: с одной стороны, образовался «Черный Передел», существование которого, как организации в России, было кратковременно [1]); с другой,—была основана партия «Народная Воля» с «Исполнительным Комитетом» во главе; она укрепилась и завоевала все поле революционного движения. Оставаясь социалистической, она об'являла для данного момента очередной задачей низвержение самодержавия и к жестокой активной борьбе против

---

[1]) Плеханов, Стефанович, Засулич и Дейч вскоре эмигрировали. Через два года они положили основание группе «Освобождение Труда», которая явилась родоначальницей социал-демократич. движения в России.

него призывала все живые силы России. В «Исполнительный Комитет», положивший основание партии «Народная Воля», вошли все бывшие на с'езде в Липецке (кроме Гольденберга); затем члены «Земли и Воли», поддерживавшие новое направление на с'езде в Воронеже (Перовская, В. Фигнер) и члены группы «Свобода или Смерть», организованной А. Михайловым, Морозовым и Квятковским в зиму 1878—1879 г.г. (Якимова, Исаев, С. Иванова). Первым делом «Комитета» была выработка программы, которая вскоре была опубликована; затем реорганизована типография [1]), выбрана редакция для нового партийного органа «Народная Воля», и решено в трех пунктах на пути возвращения Александра II из Крыма организовать покушение посредством мин под полотном железной дороги. Для каждого из выбранных мест были определены организаторы и участники из числа членов Комитета. Александру Михайлову и С. Перовской было поручено организовать это дело под Москвой.

Это сложное поручение они выполнили блестящим образом. При тщательном осмотре под'ездных путей под Москвой, Михайлов остановился на местности близ Курского вокзала и в подходящем месте подыскал небольшой дом, который можно было купить. За 800 рублей это было сделано, при чем дом был тотчас заложен, и часть, таким образом, возмещена. Домовладельцем должен был явиться Л. Гартман, работавший вместе с землевольцами в Тамбовской губернии в качестве волостного писаря. Паспорт, сделанный на его имя, насмешливо дал ему фамилию Сухорукова. Этот Сухоруков с Софьей Львовной Перовской водворился в домике, он—в качестве мелкого служащего, она—как его жена. Работать в подкопе под железнодорожное полотно должны были: Александр Михайлов, Исаев, Баранников и Морозов; но слабость рук Морозова послужила причиной, по которой

---

[1]) Запас нового шрифта передан «Черному Переделу».

он тотчас же был устранен. Из лиц, близких к организации, участвовал, но весьма лениво, Арончик. Работа по проведению галлереи к полотну железной дороги была крайне трудная и тяжелая. Драматические подробности ее А. Михайлов описал в своих показаниях. Длина галлереи равнялась 20½ саженям; высота же всего 18 вершкам; работать приходилось сидя, а двигаться по галлерее — становясь на четвереньки или ползком. Стены и потолок крепились досками, а земля вывозилась на железных листах, к которым прикреплялась веревка. Подкоп делался на глубине одного с четвертью аршина от поверхности, потому что двумя вершками глубже начиналась подпочвенная вода; от близости ее пол галлереи, освещавшейся свечкой, всегда был сырой, и это очень отягощало работу, а сырость песка, вывозимого из галлереи, увеличивала его вес. Работая посменно от 7 часов утра до 9 часов вечера, можно было вырывать от 2 до 3 арш. галлереи. Время было осеннее — шел октябрь; сырость и холод давали себя знать,—работающий в галлерее сидел без сюртука, имея на себе лишь две рубахи. В начале ноября, когда галлерея была почти кончена, оттепель, наступившая после обильно выпавшего снега, и последовавший затем дождь затопили подполье в доме, из которого начиналась галлерея, и в самой галлерее вода стояла на высоте поларшина. Пришлось ведрами выкачивать воду, но и после этого пол галлереи представлял собой жидкую грязь вершка в два. Осмотр после наводнения показал, что галлерея в нескольких местах сверху размыта и вода просачивается внутрь. Кроме того, галлерея пересекала дорогу, по которой возили воду, шли возы с дровами и т. п., так что нога лошади или колесо телеги могли провалиться... Это несчастье потребовало много усилий по укреплению размытых мест снаружи землей и навозом. Вести подкоп дальше оказывалось невозможным, и пришлось обратиться к бураву. Грунт, когда подошли уже под насыпь, оказался таким рыхлым, что грозил

постоянным обвалом. «Своды галлереи дрожали, как при землетрясении, — говорил Михайлов, — и гул от проходивших поездов был подобен грому, когда над головой сидящего в галлерее проносилось чудовище». Движению вперед препятствовала также вода; чтобы уберечь от нее конец галлереи, внутри последней была устроена плотина с отверстием вверху, чтобы можно было пролезть; свеча горела уже с трудом и скоро погасла; в спертом, удушливом воздухе едва можно было дышать. Работающий, весь в холодной грязи, чувствовал себя, как в могиле. Для вентиляции потребовалась целая система трубок, установленных в связи с подпольем и дымовой трубой дома.

Бурав в 7½ аршин длины должен был удлинить галлерею, и через 3-вершковое отверстие надо было продвинуть мину под рельсы. Для бурения влезали в образовавшийся за плотиной склеп и, лежа по грудь в воде, сверлили. «Положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего последние усилия в борьбе со смертью». «Здесь я в первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи, — говорил Михайлов, — и, к удивлению и удовольствию моему, остался спокоен».

Было просверлено семь аршин, но до второй пары рельсов оставалось еще 3 — 4 аршина, а по ней-то и должен был пройти царский поезд. Между тем, никакие силы не могли продвинуть цилиндр с динамитом дальше. Напрасно работающий старался руками разгрести землю в отверстии, расширенном обвалами, чтобы продвинуть цилиндр,—он задыхался, но все усилия были тщетны. Пришлось остановиться и действовать при наличных условиях.

Наступило 19 ноября, — день, в который царь должен был проехать из Крыма в Петербург. Но он не поехал на Одессу, где были сделаны все приготовления (Фроленко, Лебедева, В. Фигнер, Кибальчич), и миновал благополучно мину под Александровском, заложенную Желябовым (Якимова,

Тихонов и Окладский), — она не взорвалась. Очередь наступила для Москвы, — то был последний шанс для выполнения замысла. По сведениям, тщательно собранным по 2-м источникам, царь должен был прибыть в 10 часов вечера. Поезд промчался в начале 10-го и был принят за пробный, иногда следующий впереди царского. Второй поезд, шедший в 10 часов с небольшим, совпал со временем, назначенным для царского. Он и был взорван: в нем были лишь царские служащие, а царь проехал в первом... По словам Михайлова, ошибке способствовало то, что быстро промчавшийся поезд царя был наполовину окутан паром локомотива и казался состоящим из 2 — 3 вагонов [1]). Так окончилось это многотрудное дело. Цель не была достигнута, но впечатление, произведенное взрывом, было подобно громовому удару, который прокатился по России и прозвучал по всей Западной Европе [2]). А за этим первым раскатом, через какие-нибудь два месяца, пронесся другой, еще более угрожающий,—взрыв в Зимнем дворце русских самодержцев, совершенный народовольцем, рабочим Халтуриным (5 февраля 1880 г.).

После взрыва царского поезда Михайлов некоторое время пробыл в Москве, а потом отправился на юг для устройства денежных дел народовольца Лизогуба, который завещал свое состояние организации. Находясь в Москве еще до того, как было приступлено к работе по подкопу, Михайлов положил основание местной народовольческой группе, пригласив в нее двух известных по Петербургу членов «Народной Воли» — Галину Чернявскую и Зеге фон-Лауенберг.

---

[1]) Я следую в этом отношении показаниям Михайлова, но сам он не был свидетелем проезда этих двух поездов. Есть и другие версии. См. В. Фигнер. «Запечатленный Труд», часть 1-ая.

[2]) Организация отправила Гартмана для безопасности за границу. Во Франции он был арестован по проискам русского правительства, потребовавшего выдачи его. Общественное мнение Европы не допустило этого. Гартман не был выдан.

Группа скоро стала развиваться и по приезде в Москву умной и энергичной М. Ошаниной из Петербурга и прекрасного оратора и человека Теллалова (из Харькова) стала самой многочисленной и по составу самой серьезной местной группой «Народной Воли». Главной работой этой группы, как и тех, которые были организованы в Киеве, Харькове и Одессе, была пропаганда и организация фабричных и заводских рабочих.

По возвращении в Петербург Михайлов вплоть до своего ареста в ноябре 1880 года участвовал, как член «Исполнительного Комитета», в обсуждении всех предположений его. Это были: организация покушения в Одессе (летом), приготовление которого было поручено Перовской и Саблину (было прервано); заложение мин под Каменным мостом на Гороховой улице в Петербурге и, наконец, подыскание помещения для торговли, из которого можно было бы устроить подкоп для взрыва при проездах Александра II в Михайловский манеж в Петербурге.

Во весь этот год блюстителем внутреннего порядка, дисциплинированного подчинения индивидуальной воли — воле коллектива, был Михайлов. Он следил за конспиративной выдержкой всех вообще и каждого в отдельности. Только величайшая осмотрительность могла уберечь организацию,— ее личный состав и разросшееся хозяйство: две типографии, — одна для партийного органа, другая — для рабочей газеты, мастерскую для приготовления динамита, материал для приготовления которого (азотная кислота и пр.) был громоздок и опасен вследствие мер надзора, учрежденного полицией; конспиративные квартиры со строго определенным составом посетителей; квартиры для общих собраний «Комитета», собраний рабочей группы и собраний с рабочими... За всем этим наблюдал Михайлов и обо всем заботился. В этом отношении он был единственным в своем роде. По всей справедливости его можно характеризовать, как

«хозяина» организации, блюстителя ее, не упускающего из вида ни одной отрасли работы, практического устроителя всего, что касалось внутреннего распорядка и внешнего быта того революционного подпольного мирка, который представляла собой организация с ее центром и группами, столичными и провинциальными. Все вместе составляло уже многочисленное и разностороннее единство, и хорошо было иметь «око», которое за всем наблюдает, начиная с финансов и кончая сигнализацией, и, обращая взор к высшим целям революции, не теряет из вида мелких сторон жизни, вплоть до наблюдения за тем, следят ли товарищи за собой, чтобы не привести сыщика на свою квартиру [1]). За А. Михайловым, кроме важной роли блюстителя строгой конспирации, оберегавшего «Исполнительный Комитет», как «любимую женщину», — по выражению Желябова, — имеется огромная заслуга. На страже наружной безопасности революции, в самое пекло правительственного сыска он поставил человека величайшей преданности. В конце 1878 или в начале 1879 года из Крыма в Петербург приехал революционер Клеточников с предложением своих услуг «Народной Воле». Он имел рекомендации, и его свели с Михайловым, у которого явилась счастливая мысль о наилучшем использовании сил этого человека. В Петербурге в то время жила акушерка Кутузова, отдававшая комнаты учащейся молодежи. Со временем заметили, что как-то часто, без видимых поводов, у курсисток и студентов, живущих у ней, происходят обыски, и Кутузову стали подозревать в шпионстве. Михайлов убедил Клеточникова поселиться у Кутузовой, познакомиться с ней и внушить доверие. Кутузова в своих целях либеральничала, — Клеточников должен был оппонировать и заявлять себя верноподданным. Кутузова пошла на удочку; через некоторое время она сообщила Клеточникову, что могла бы доставить

[1]) За свой надзор за товарищами Михайлов получил от них шутливое прозвище «дворник».

ему через своего знакомого хорошее место. Знакомым оказался влиятельный чиновник III отделения собственной его величества канцелярии, этого центра жандармского сыска, а место—должностью делопроизводителя, через руки которого проходили все ордера об обысках, розысках и арестах. Так был найден хранитель «Народной Воли», передававший в «Комитет» известия о всех кознях агентов тайной политической полиции. Он сообщил и списки шпионов, сотрудников и лиц, предлагающих свои услуги этому учреждению. Первый *провокатор* того времени, Рейнштейн, втершийся в доверие революционеров в Москве, был указан Клеточниковым и убит в феврале 1879 года.

Своими предупреждениями Клеточников спасал народовольцев и близких им революционеров от многих опасностей, подобно тому, как Михайлов, находясь внутри организации, спасал своей предусмотрительностью, ловкостью и практичностью. С этой стороны они оба были незаменимы. Арест Михайлова в ноябре 1880 года нанес первый удар организации «Исполнительного Комитета», а когда, благодаря предательству, на квартире Баранникова в январе 1881 года был арестован Клеточников, — с ним кончилась внешняя безопасность его, а с ним и всей партии «Народная Воля».

Но Александр Михайлов не дожил на свободе до этой потери.

«Я не знаю человека, жизнь которого сопровождалась бы таким деловым счастьем», — писал о себе Михайлов. И это было верно; он видел осуществление главной мечты своих юношеских планов *всероссийской,* сплоченной, «совершенной» организации, потому что к 1880 году такой характер «Народная Воля» имела. Перед его глазами развертывались крупнейшие события революционного движения того времени: в 1876 году на его глазах сложилось общество «Земля и Воля», а в 1879 году он участвовал в орга-

низации «Народной Воли», и под ударами «Исполнительного Комитета» шатались ступени престола. По оценке Михайлова, в грандиозных актах борьбы участвовали люди, которых он считал наилучшими в своем поколении и среде. Деятельность «Исполнительного Комитета», на которой останавливался «зрачок мира», все время расширялась: было положено начало организации среди военных, обещавшей так много в будущем; в четырех крупнейших городах России действовали молодые местные группы, имевшие свою периферию, и внутри организации было единодушие и самоотверженная готовность всех к борьбе против ненавистного самодержавия. Александр Михайлов был вырван из «Комитета», когда последний был в полной силе, состав его еще не уменьшался; в провинции готовились силы для его подкрепления, и на очереди стояла организация седьмого покушения из магазина сыров на Малой Садовой. В момент, когда он был арестован, ни одно из его упований на дальнейшее развитие и успехи «Народной Воли», на результаты борьбы, в которой он участвовал, не было поколеблено, и с великой верой в русский народ и в его передовой отряд, спокойный и уверенный в будущей победе, он вошел в крепость.

На этих страницах не раз указывалось, что А. Михайлов был самым осмотрительным и рассудительным членом организации: в этом отношении он служил примером для остальных товарищей. Однако, его арест в ноябре 1880 года совершился при обстоятельствах, совершенно невероятных даже для неопытного и легкомысленного юноши.

После каждого политического процесса народовольцы добывали и собирали фотографии осужденных. Часто приходилось при этом заказывать копии, обращаясь в разные фотографии. После процесса А. Квятковского (процесс «16-ти») случилось так, что Михайлов заказал в фотографии Таубе и

Александровского на Невском карточки Преснякова и Квятковского, которые были казнены. Никто не знал, что это были заведения, избранные департаментом полиции для фотографирования всех арестованных. Когда Михайлов пришел получать свой заказ, ему бросилось в глаза странное поведение хозяина, проволочки в выдаче карточек и т. п., а когда тот вышел в другую комнату, женщина, оставшаяся в комнате, сделала жест, проведя рукой по шее. Поняв предостережение, Михайлов быстро вышел, спустился с лестницы, но там его уже ждали переодетые агенты, и он был арестован. Такова одна версия, но есть и другая. Тихомиров, быть может, лучше осведомленный, в примечаниях к автобиографии Михайлова сообщает иные подробности. Он говорит, что первый приход не кончился арестом, и Михайлов, придя к товарищам, сообщил о странностях, которые он заметил в фотографии. Все ополчились на него, категорически запрещая вторичное хождение за заказом.

— Я не дурак,—ответил Михайлов,—не беспокойтесь...

И что же? Он все же пошел, чтобы на этот раз уже не возвратиться...

Михайлов пробыл в предварительном заключении более года и все время содержался в Петропавловской крепости. Суд был назначен в феврале 1882 года, и процесс известен, как процесс «20-ти». Кроме Михайлова, суду предавались 10 членов «Исполнительного Комитета»: Фроленко, Баранников, Исаев, Суханов, Морозов, Ланганс, Лебедева, Якимова, Колоткевич и Тригони. Среди остальных товарищей был и Клеточников, оказывавший такие услуги народовольцам. На рассмотрении суда были самые громкие революционные акты последних лет, и процесс возбуждал величайший интерес как в России, так и на Западе и в Америке. Но ни заграничные корреспонденты, приехавшие в Петербург, ни русские репортеры не были допущены к слушанию дела; лишь несколько высокопоставленных лиц присутствовало в зале за-

седаний. А. Михайлов был центральной фигурой процесса и давал обширные об'яснения по существу дела, а свое исповедание веры он дал еще на дознании. От последнего слова он отказался, указывая на отсутствие гласности и на то, что присутствующие являются заинтересованной стороной. Председательствующим особого присутствия сената был Петерс, стяжавший себе славу на предшествующих процессах. Он был груб и дерзок, как и раньше, и позволял себе вопиющие правонарушения, возмущавшие как подсудимых, так и защитников. Последние не раз в защиту своих клиентов давали энергичный отпор ему и, случалось, ставили председательствующего в необходимость отменить свои собственные распоряжения (запрещение адвокатами видеться со своими подзащитными наедине и т. п.). Суд приговорил 10 человек к смертной казни; в числе их был и Александр Михайлов.

Если оставить после своей смерти свой революционный образ — считать «счастьем», то Михайлову в этом отношении оно не изменило, потому что ни об одном из погибших народовольцев нет такого обильного материала, как о Михайлове, притом же он сам дает его нам. Действительно, он оставил после себя и автобиографию, и письма, и обширные показания, своеобразно составленные: в них нет имен, нет описаний отдельных фактов, очевидцем и участником которых он был. Зато он дает в них историю развития идей революционного движения; стремится указать логику его развития в области теоретической и практической и, рисуя общее и внутреннее положение России, условия жизни и общественной деятельности своего поколения, подводит читателя к неизбежности тех методов борьбы, к которым в данной исторической обстановке пришла «Народная Воля». В показаниях мы видим Михайлова в гимназии и университете, юношей, задыхающимся в мертвых средней и высшей школах с тупыми педагогами и полицейскими ищейками; в «Земле и Воле» перед нами он — влюбленный в народ

искатель правды; а в «Народной Воле» — страстный борец за свободу, за снятие оков с мысли, чувства и действия на пользу масс. Много раз он говорит, что революционная партия не должна разбрасываться, разменяваться на усилия, приводящие к бесплодной гибели: надо сосредоточивать все силы в едином стремлении — сбросить великий деспотизм русского самодержавия. Он не боится, что его заподозрят в измене интересам масс ради завоевания политической свободы, нет, он убежден, что именно интересы масс при существующих условиях требуют этой свободы. И тому, кто знакомится со всем, что он писал, становится совершенно ясно, что земский собор, политическая свобода, народное представительство для него *не цель,* а *средство.*

Но официальные документы, оставленные Михайловым, не дают полного представления о личности его. Они выявляют его, как политического деятеля, как революционера; только письма, написанные к родным после осуждения, подводят к нему, как к человеку. Они рассказывают интимную психологическую сторону его бытия, его горячее, любящее сердце, — там узнаешь его, как сына, брата и товарища, узнаешь его душевные страдания, скорби за всех близких, которые знают, какая участь его ждет. И, на ряду с этим, встает образ человека непоколебимой твердости духа, который верит в правоту своего дела, целесообразность средств и не колеблется перед неизбежностью своего конца.

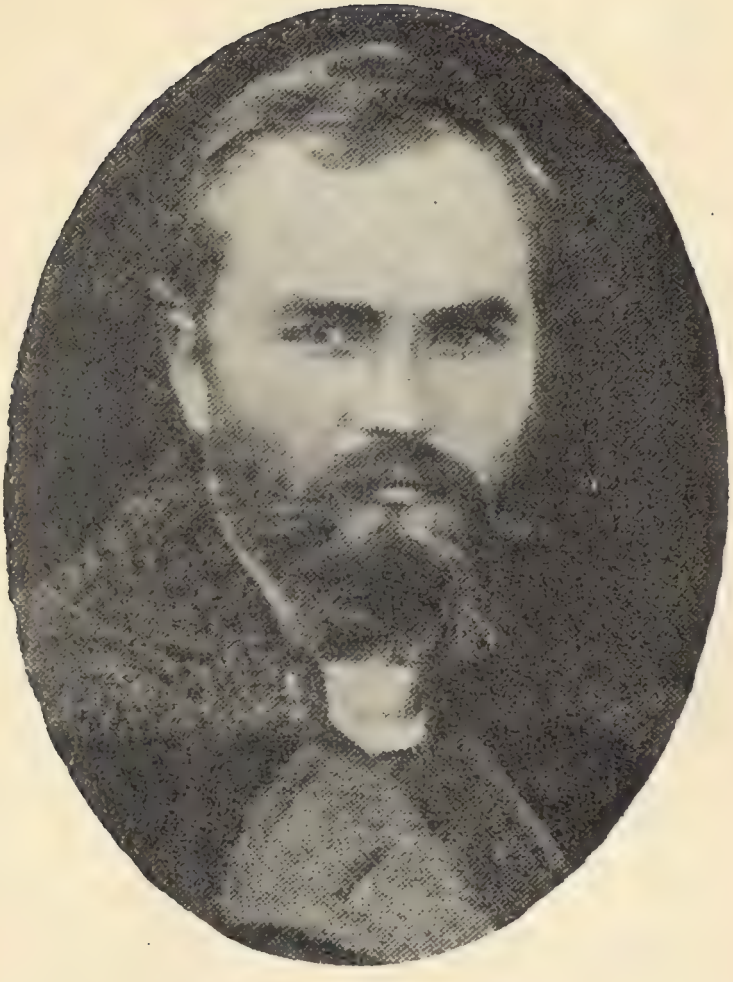
«Для меня, как и для большинства подсудимых он заранее и давножданный, — пишет он 3 марта о приговоре суда. — С ним я жил все время заключения, да к нему привык и на воле еще. Мы не дети, каждый из нас идет с открытыми глазами. Вот истинная причина того поражающего зрителей спокойствия при самых потрясающих обстоятельствах, которое имело место по отношению к подсудимым, в том числе и ко мне, в нашем процессе...». «Приговор мог поразить вас (отца и мать,—*В. Фигнер*), но одного взгляда

на меня достаточно было бы для вашего утешения», — говорит он. И далее: «Не личные страдания людей определяют верность или ошибочность избранного человеком пути, а свободное общественное мнение и еще совершеннее суд истории. Мои поступки осуждены, я понесу наказание, но дело перейдет в высшую инстанцию [1]), и мое убеждение делает меня спокойным».

А вот отрывок из письма от 20 марта к родным (в данном случае к товарищам), рисующее настроение в ожидании казни: «Мне неизвестно было движение дела о представлении приговора на высочайшее усмотрение. Знал только, что доклад будет в среду, 17 марта. Поэтому я мог предполагать, что исполнение приговора уже возможно с утра четверга. Прошла среда, наступил четверг, но ничто не возбуждало ожидания, да и не было наклонности к нему. Но прошел и четверг. Неужели и завтра не будет исполнения? Но тогда, когда же будет? Неужели в вербную субботу? Вообще я не знал, что думать. Постепенно мысли перешли к вероятному завтрашнему печальному кортежу и повели к сильному возбуждению. Я воображал себя среди товарищей, так же спокойно смотрящих в очи смерти; мне представлялось мое душевное состояние в самом радужном свете. В ушах звучали те вдохновенные песни, которые певались в кругу друзей. Отрадные картины и милые образы, мелодии и чудные аккорды, оставшиеся в памяти, и, наконец, предстоящее завтра, — все это наполняло душу ярко, живо, предметно. Я чувствовал себя так, как должен чувствовать себя воин в ночь перед давно желанной битвой. Я находился в состоянии величайшего вдохновения. Порыв души всецело вливался в музыку чувств и звуков. Мне страстно хотелось петь. Мотивы любимых песен невольно переходили в неведомые мелодии, в них отражалось вдохновение. Будь я музыкант,

---

[1]) Т. е. суд истории.



Александр Михайлов.

я был бы в те минуты композитором... В памятный вечер к часу ночи настал для меня полный покой. Я находил себя готовым к последним минутам, но течение мыслей было обыкновенное, приятное и разнообразное. Скоро я лег спать и безмятежно крепко заснул. Ни снов, ни тревожных пробуждений, ничего не было всю ночь».

Наутро Михайлов проснулся в том же спокойном настроении, а в 11½ пришел комендант крепости и об'явил ему, что приговор относительно него смягчен. И в эту минуту не мысль о себе, но страх за судьбу товарищей овладевает им.

«Первыми мыслями было: рад или не рад этому важному известию, и если не рад, то почему? Говоря чистую правду, я принял эту благую для всякого человека мысль совершенно равнодушно. Это произошло потому, что мне не сообщили об участи близких товарищей, а я все время находился в таком настроении, что мог искренно порадоваться только сохранению их жизни. Меня лично смерть не пугала, а иногда просто манила, но представление о смерти их действовало тяжело, подавляюще. Очень может быть, что всякий из нас находился в таком положении, и это естественно. Своя смерть может приносить удовлетворение, но смерть друга, товарища, просто человека и даже врага вселяет только тяжелые чувства. И меня с первых минут начала мучить неизвестность: что стало с товарищами? Равнодушие к известию перешло в томительную тревогу».— Потом он слышит случайные звуки военного марша, и это наводит его на предположение, что в крепости происходят казни...—«И бездыханные трупы мелькнули в воображении... Беспомощность, величайшие муки неизвестности, беспощадная горечь душили меня. Я глубоко сокрушался, что не с ними!».

Таково было настроение Михайлова в ожидании казни,— состояние вдохновенного экстаза, а при помиловании—вели-

кая скорбь за участь товарищей. Но и они были помилованы: один Суханов,—лейтенант Балтийского флота, член центрального комитета военной организации «Народной Воли» и член «Исполнительного Комитета» партии,—был расстрелян в Кронштадте.

После того, как приговор вошел в законную силу и был утвержден царем, Михайлов и его товарищи были переведены из Трубецкой куртины Петропавловской крепости в Алексеевский, теперь несуществующий, равелин, в котором Петр I в пытках замучил сына своего Алексея. Там, на острове, никому постороннему не доступном и теперь тоже не существующем, так как водное пространство, через которое прежде был перекинут мост, засыпано землей, в небольшом тюремном здании, окруженном стеной, узники должны были искупить свой «грех» перед самодержавием. Им не давали ни возможности переписки с родными, ни свиданий; у них не было никакой работы,—ни занятий физическим трудом, ни книг, кроме библии; каждый день их выводили на 5-минутную прогулку, часто происходившую в сумерках рассвета. Пища, которой их кормили, была такова, что уже через месяц они могли ходить, только держась за стену. Цынга и туберкулез скоро сломили самые молодые и крепкие организмы. Умерли: Клеточников, Баранников и другие. Умер и Александр Михайлов через два года после заключения, пораженный двухсторонним воспалением легких. Умер в условиях еще более тяжелых, чем условия, в которых содержались его товарищи: они сидели в камерах, имея соседей, и могли под страхом наказаний и грубых выговоров тайком сообщаться друг с другом, перестукиваясь по условной азбуке ударами в стену. Два-три слова привета были уже утешительны. Михайлов в своей одиночке не имел и этого: у него во все время соседей не было, и в этой полной изоляции он умер, унеся в могилу тайну своих переживаний.

Михайлов был арестован, когда ему было 25 лет. Это был человек крепкого, хорошего телосложения, роста немного выше среднего. Небольшая рыжеватая борода, здоровый цвет лица блондина и выразительные серые глаза с влажным блеском давали ему привлекательную наружность, чисто русскую и такую простую, что одень он рубашку-косоворотку, его легко было принять за молодого крестьянина. Портреты, которые сохранились, не дают полного понятия о том, как он выглядел. Говорил он немного запинаясь, но это не мешало тому, чтобы его речь обладала выразительностью и силой. Отличительной особенностью его в сношениях с людьми была его способность внушать доверие. Когда он что-нибудь обещал или брал на себя, можно было положиться, что дело будет исполнено, что оно в верных, хороших руках. В связи с другими качествами Михайлова, как деятеля и человека, не удивительно, что его авторитет как в революционных кругах, так и среди лиц посторонних был чрезвычайно велик.

Многие писали о нем и все воздали ему должное: Тихомиров и Плеханов, защитник по суду Кедрин и присяжный поверенный Спасович, видевший его на процессе; а позднее о нем писал член «Земли и Воли» О. Аптекман, автор истории этого тайного общества; Морозов в книге «Повести моей жизни»; член «Исполнительного Комитета» Анна Павловна Корба-Прибылева в «Былом» и в «Запечатленном Труде»— я, пишущая теперь эти строки. Но только тот, кто прочтет все, что писал он сам, раскроет душу этого оригинального и типичного для своего времени человека и революционера, одушевленного действительной любовью к народным массам и к свободе. Его мировоззрение и жизнь, это—страница революционного движения 1876—84 годов. Кто хочет знать ту эпоху, должен изучить Александра Дмитриевича Михайлова.

Когда Михайлов умер, власти распорядились в глубокой тайне ночи увезти его тело из равелина и, с соблюдением всех мер предосторожности против огласки, похоронить на Преображенском кладбище.

Но после него остались его пример и его заветы. Один из тезисов завещания, которое он послал товарищам во время суда, гласит: «Завещаю вам, братья: не посылайте слишком молодых людей на смерть; давайте окрепнуть их характерам, давайте им развить все духовные силы».

И другой: «Завещаю вам, братья, заботиться о нравственном удовлетворении каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь. Это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе».

Александр Михайлов—народоволец.

Каждое поколение имеет своих типичных представителей. Таким для второй половины 70-х и начала 80-х годов является землеволец, а потом член «Исполнительного Комитета» партии «Народная Воля», Александр Дмитриевич Михайлов.

В нем как нельзя лучше отражаются идеи, принципы и, еще более, настроения и чувства, одушевлявшие социалистов того времени. Теперь, в революционный период, когда молодежь проявляет такой интерес к прошлому нашей борьбы за свободу, книга об Александре Михайлове будет тем более своевременна, что с открытием архивов судебного ведомства и департамента государственной полиции нашлись новые документы по процессу «20-ти», в котором не только участвовал, но и был центральной фигурой именно он.

Еще в 1883 году, в Женеве, в небольшом сборнике «На родине», почти неизвестном в России, были напечатаны «Автобиографические заметки» Михайлова с примечаниями

Л. Тихомирова [1]). С тех пор в журнале «Былое» за 1906—07 г.г., а потом, со времени Февральской революции, в том же журнале помещались различные статьи о нем и ряд его писем после ареста к родным. Но все это печаталось вразброд, читалось врозницу и потому рассеивало впечатление. Только теперь, когда можно опубликовать обширные показания Михайлова и собрать воедино все, что писал он сам и что другими писалось о нем, его образ встает во весь рост и дает читателю яркие и глубокие переживания.

Когда я перечитывала весь имеющийся материал, я, которая лично знала его и в революционном движении шла рука об руку, открывала как-будто новую личность—такие, прежде не бросавшиеся в глаза, черты революционера и человека выступают в его автобиографии, показаниях и в особенности в его замечательных письмах.

Для нас, действовавших вместе с ним, он казался уравновешенным, почти всегда ровным и не раскрывающим свой внутренний мир; революционер, суровый цензор и страж организации затмевал для нас его человеческую, глубоко чувствующую личность. Тюрьма сняла узы, и если в показаниях он, по необходимости, сдержан, то в письмах к горячо любимым отцу, матери и тетке он лирик и говорит языком страсти. В этом отношении особенно важно его письмо к крестной матери А. О. Вартановой. Мало имеем мы сведений, фактических данных о детстве Михайлова — он не дает их, хотя называет это детство «счастливым», таким счастливым, что по временам, казалось, говорит он, переполненная чаша пойдет через край. Но это общее определение не иллюстрируется конкретными подробностями, не расцвечено красками. В письме к Вартановой от 17 марта 1882 г.

---

[1]) Авторство Тихомирова несомненно не только по стилю примечаний, но еще более по фактам, которые приводятся в них. Описать их в то время могли только Тихомиров и М. Ошанина. Но она никогда ничего не писала.

в этом отношении кое-что есть. В трогательных строках вспоминает он вечерние сумерки, когда ребенком оставался с ней наедине, и нежным задушевным голосом, держа его на коленях, она рассказывала ему сказки, которые возбуждали в нем первые порывы сочувствия страдающим и потерпевшим, и, хотя сказки всегда были одни и те же, они неизменно слушались с волнующим интересом. В письме Михайлов рисует нравственную атмосферу, в которой развивался «под крылом» Вартановой. Под этим крылом он сберег, по его словам, то, что было в нем хорошего, «и научился бороться с нечистыми жизненными влияниями». Эту, повидимому, превосходную женщину Михайлов любил, по его признанию, почти как родную мать, а ласки ценил больше, чем ласки матери.

Влияние этой крестной простиралось не только на первые годы жизни, но и на первый период пребывания Михайлова в гимназии. Оно было так велико и глубоко, что, когда он оказался вне семейного круга, в Новгород-Северской гимназии, среди чужих, то мог должным образом оценить низкий уровень, на котором стояли все окружающие: учителя, квартирные хозяева и товарищи-гимназисты. Противоположность всему тому, что он видел раньше, поражала и отталкивала его: «На всех лежал отпечаток чего-то неприятного, холодного, злого,—пишет он в письме.—Меня тяготила беспринципность, холодный эгоизм, грубость, бесчеловечность окружавших людей». В этой среде он чувствовал себя одиноким. Но одиночество, испытанное на самом себе, заставляло мальчика принимать к сердцу такое же положение других, и, по его словам, он стал стремиться к облегчению их.

Часто встречаются люди, не верящие в себя, и говорят: «я человек маленький», как бы выражая этим свою никчемность. Но жизнь творится не героями, которых мало, а лишь при участии их: она творится всеми, и Вартанова, крестная мать Михайлова, человек безвестный, никогда не выходив-

ший на общественную арену, попадает на страницы истории, потому что воспитала одного из лучших людей нашей революции. Она первая забросила основы альтруизма в его душу, а этот альтруизм развернулся потом в беззаветную деятельность революционера на пользу своего народа и человечества.

Письма Михайлова преисполнены чувством. Революционная деятельность разлучила его со всеми, кого он любил в детстве и с кем был в тесном общении в ранней юности. При конспиративных условиях революционной деятельности, при жизни под личиной чужого имени все личные связи были порваны, сношения прекращены, а родственные чувства спрятаны в глубоких тайниках души. Но когда деятельность была отнята и в тюремной камере, в одиночестве крепостных стен, приходилось ждать одного — только смерти, все затаенное всплыло и пошло по тому руслу, которое только одно и было доступно. И Михайлов, который не имел таланта писателя, в переписке становится красноречивым: его язык чувств захватывает читателя.

Каждый, кто будет иметь в руках книгу «Александр Михайлов народоволец», составленную А. П. Корба и мною, пусть особенно остановится на письме от 3 марта 1882 г. к отцу и матери. Оно написано после приговора к смертной казни. В истории революционного движения не только России, но, я думаю, и всего мира не найти ничего равного.

Старики, эти хорошие, любящие старики, к которым Михайлов относился с трогательной признательностью за «счастливое детство» и добрые зачатки, полученные от них, не могли подняться на высоты, на которых стоял сын. Мягкие, честные, чистые в своих взглядах и отношениях обыденной жизни, они не знали общественных задач и широких социально-политических горизонтов.

В письме, которое не дошло до нас, отец умолял сына выразить сожаление и раскаяние в том, что он делал. Отец,

вопреки воле сына, приговоренного к смертной казни, подавал на высочайшее имя прошение о помиловании.

В письме от 3 марта есть следы тяжелых переживаний Михайлова по этому поводу [1]). И все письмо его—увещание старикам, не понимающим сына, а для нас—великолепное исповедание веры революционера, его готовности умереть за свое дело, за свои убеждения. Страницы, в которых запечатлено это исповедание человека, стоящего пред лицом смерти, поразительно по своему душевному под'ему и апелляции к будущему.

Тогдашний директор департамента полиции Плеве не пропустил этого письма—родные не получили его; но этот драгоценный для нас документ сохранился в архиве и найден после революции.

Одновременно с письмом Михайлова к Плеве было направлено письмо Баранникова, сопроцессника, товарища и друга Михайлова. Комендант Петропавловской крепости, тупой Ганецкий, рекомендовал: письмо Баранникова, как заключающее сведения о суде, задержать, а письмо Михайлова—передать по назначению. Но Плеве был умен и понимал дело: письмо Баранникова он пропустил, а письмо Михайлова—задержал. «Манифестация непоколебимой веры в правоту дела была в глазах Плеве опаснее каких-либо подробностей судебного процесса», говорит автор неподписанной статьи (в сентябрьской книжке «Былого» за 1917 г.), где впервые было помещено рассматриваемое письмо. «А письмо Михайлова, являя необычайную силу и красоту души русского революционера, проникнуто глубочайшей уверенностью в правоте и победе революционного дела и чувством великого морального удовлетворения», заканчивает автор свою заметку; и к этому суждению я могу только присоединиться.

---

[1]) Это определенно выражено в письме от 18 марта,

В мужественных, прочувствованных словах письма Михайлова, в отличие от других товарищей народовольцев, смотревших так же твердо на предстоящую смерть, чувствуется что-то особенное, ему одному присущее, чуется что-то от протопопа Аввакума, который сожжен при преемнике «тишайшего» Алексея Михайловича на костре, и от боярыни Морозовой, которую «тишайший» уморил в тюрьме голодом,—два образа, раз навсегда в тюрьме, при чтении, поразившие мое сознание и никогда не покидавшие его в Шлиссельбурге.

В связи с письмом 3 марта стоит письмо к родным от 20-го. Оно рисует настроение после того, как приговор вошел в законную силу и пошел на утверждение государя. Пять дней неизвестности, когда со дня на день Михайлов ждал, что его поведут на эшафот.

Виктор Гюго написал «Последний день приговоренного», и было время, когда мы зачитывались этим произведением. Не было революционера, который не знал бы его. Это было в те годы, которые Желябов на суде определил, как «розовый» период нашего революционного движения. Смертных казней тогда не было. Переживаний русского революционера в виду эшафта мы не знали, и нежизненное измышление поэта могло удовлетворять нас. Но время настало — мы узнали. Многие умерли на виселице уже во времена Михайлова: Соловьев, Квятковский и Пресняков, Осинский, Желябов, Перовская и другие. Все умирали мужественно, спокойно, просто. Как просто!.. Но они не оставили документа, какой оставил Михайлов в письме 20—21 марта: оно трогает и заставляет думать. Оно учит.

По прочтении двух последних писем, в памяти, по закону контраста, встает жалкая фигура Рысакова, который 1 марта вызывающе бросил Александру II фразу: «Еще слава ли богу?!», когда увидал, что император остался невредим после первой бомбы; а на другой день, как знал уже

весь Петербург, стал выдавать всех и все... Жалкая фигура, извивающаяся в душевных корчах от чисто животного страха смерти... Моральное падение до глубочайших низин... спасение себя, хотя бы ценой услуг в качестве провокатора.

Мотивы нравственного порядка занимали огромное место в жизни и деятельности Михайлова. Указания на это можно найти во всем, что выходило из-под его пера. Этическую точку зрения он применял ко всем явлениям жизни. Говоря о классической системе образования в той бессмысленной форме, которая господствовала в его время в гимназиях, он пишет, что заниматься предметом, при ясном понимании бесполезности его, он по *нравственным* мотивам не мог.

В Технологическом институте, в который он поступил в 1875 г., он думал найти источник чистого знания и помощь для решения *важнейших задач жизни,* а вместо того нашел сторожей, считающих шинели для контроля посещаемости лекций, и профессоров, производящих через каждые два дня нелепые репетиций пройденного. «При этих условиях за занятиями в институте я не мог признавать *нравственного* значения», замечает он и, обманутый в ожиданиях, приходит к выводу, что «решения *задачи о цели человеческой жизни* нужно искать в жизни же. До решения этого *главного* вопроса карьеру и специальность избирать нельзя».

Когда в Технологическом институте подобралась группа единомышленников и составился кружок, в котором обсуждались общественные и политические вопросы, границами кружка, по выражению Михайлова, была та часть студенчества, которая относилась индиферентно к вопросам *нравственным* [1]).

---

[1]) Курсив во всех последних случаях мой.

В период «Земли и Воли» его особенно привлекал раскол и сектантство, и главным образом потому, что по *духовным запросам* и интересам, *по требованиям к личности* своеобразная среда староверов и сектантов стояла несравненно выше уровня рядового крестьянства. И, взвешивая все, в целом можно с уверенностью считать, что и в ряды социалистов его поставило чисто *этическое* требование социальной справедливости, как это, вообще, было свойственно революционному поколению того времени.

Стремление к организованности и способность организатора, которую отмечают все знавшие Михайлова в революционной деятельности его, были как бы присущи ему с ранних лет. Он проявляет это стремление и способность еще гимназистом, а потом студентом; обнаруживает в «Земле и Воле» и широко развертывает в «Народной Воле». Везде, где бы ни был, он подбирает людей, пригодных для осуществления раз поставленной *определенной* цели, соединяет их в группу, дисциплинирует лиц, входящих в нее, неустанно требуя слияния и подчинения разрозненных индивидуальных воль—воле коллективной.

Он учился в гимназии Новгород-Северской, а для экзаменов (без языков) перешел в Немировскую. Как в той, так и в другой он был инициатором и организатором кружков самообразования, а в первой уже имел опыт практической деятельности —устроил кассу, с громадными усилиями и самоограничением созданную с товарищами, такими же бедняками, как и он сам, и целью кассы было приобретение книг и распространение их среди народа. В той же гимназии, в 5 классе, для об'единения гимназистов пробовал издавать журнал; с той поры, говорит он, «не было периода, когда я что-нибудь, во имя чего-нибудь не организовывал». Был ли

он в Технологическом институте или в Горном—и тут, и там он искал сближения с товарищами, в целях группировки их. В Технологическом он настолько отдался организации студенческих кружков, что месяца через два, по его словам, уже образовался студенческий союз с федеративными кружками в Медицинской академии, в Горном институте и других учебных заведениях. После исключения из Технологического института (вскоре после поступления в него) и ссылки в Путивль, на родину, попав в Киев еще совсем неопытным юношей, он в свои 18 лет быстро подмечает слабую сторону «радикалов»-южан: неорганизованность, беспорядочное общение друг с другом, когда нет определенной границы между людьми, серьезно занятыми революционной работой, и периферией, которая только «сочувствует». Его отталкивает обилие словесных состязаний — многоговоренье вместо дела. Неудовлетворенный, он отходит от киевлян и стремится в Петербург, надеясь там найти, что ему нужно, что удовлетворит его. А его требование было не больше—не меньше, как возможность создать единую общерусскую революционную организацию, в которой слились бы все социально-революционные силы, о чем в то время, строго говоря, кроме М. Натансона, еще не думали. Михайлов приехал в Петербург, когда осенью 1876 года сложилось и начало действовать тайное общество «Земля и Воля», члены которой обыкновенно называли себя просто «народниками». Тут он нашел то, что могло захватить его. Среди народников—членов общества— были такие первоклассные деятели, как Марк Натансон, его жена Ольга, урожденная Шлейснер, и Оболешев. Двое последних сделались его близкими, любимыми друзьями. Вместе с ними с самого же начала, как он рассказывает в автобиографии, часто под градом насмешек остальных членов организации, он стремится к водворению в «Земле и Воле» дисциплины и делового порядка, борется с неосторожностью и с тем, что считает своеволием.

Среда раскольников спасовского толка, в которую он попал в Саратовской губернии, будучи землевольцем, ценится им особенно высоко не только за духовные запросы, но и за высокую степень организованности. Это—особое государство в государстве, говорит он, со своими наставниками, об'езжающими уезды и поддерживающими связь между единоверцами, разбросанными по деревням и селам губернии, со своими с'ездами для решения вопросов религиозного характера, и сплоченностью, выработанной преследованиями власти.

Страницы, описывающие жизнь среди спасовцев в качестве вольнонаемного неофициального учителя в селе «Синенькие»,—одни из лучших в показаниях Михайлова. Великие надежды возлагал он на эту среду, думая приобрести в ней организованного союзника революционной партии в борьбе с правительством. Сблизиться, сделаться для раскольников своим—было его задачей. Для этого надо было сделаться начетчиком в староверческой литературе, а в обыденной жизни—отказаться от всего привычного и свойственного культурному, свободомыслящему человеку, и со всей строгостью, во всех мелочах, придерживаться тягостной внешней обрядности, обязательной для людей старой веры. Двуперстное знамение, многократные, продолжительные моленья, бесчисленные земные поклоны, особая посуда для пищи и питья и прочие подробности староверческого обихода, застывшего в целый ритуал, по которому они узнают друг друга,—все надо было день за днем выполнять неукоснительно, не отступая ни на иоту под ревнивым, суровым и подозрительным взглядом односельчан-единоверцев.

Когда, приезжая в Саратов, он рассказывал и демонстрировал нам все, что проделывает у себя в деревне, мы смеялись и называли ломкой, нам казалось это самоистязанием и нелепостью. А для Михайлова все освещалось внутренним смыслом. У него была высшая цель, и в этом было все: за-

воевать сильного товарища в бою с государственным угнетением—разве это не великая задача, ради которой можно и должно победить себя и, ломая все личные привычки, отказаться от своей воли во внешних, обыденных проявлениях ее.

Напрасно было бы думать, что, вернувшись через полтора года в столицу, Михайлов приехал разочарованным. Нет. Он думал вернуться в деревню и продолжать начатое; но аресты привели в беспорядок дела революционного центра; потеря в октябре 1878 г. таких работников, как Ольга Натансон, Оболешев и другие, удержала его, а потом правительственные репрессии потребовали активного сопротивления; начались политические выступления, — завязывалась борьба с правительством; по мере успеха все более и более намечался новый путь деятельности, и Михайлов, отдаваясь увлечению, вскоре стал одним из главных инициаторов нового течения, отлившегося в «Народную Волю».

Из показаний Михайлова, однако, совершенно ясно, что политическое увлечение нисколько не изменило его суждения о расколе и не затемнило в его глазах значения, которое имела его жизнь в деревне. Эта жизнь не пропала для него даром. Для него она была школой самовоспитания, самодисциплины, и невозможно отрицать справедливость его собственного свидетельствования, что эта, пройденная в саратовской глуши, суровая школа среди спасовцев сделала большой вклад в его душу: она закалила его и сделала в области организационной выдержки непреклонным судией себя и товарищей, каким мы знали его в «Исполнительном Комитете» «Народной Воли».

В «Народной Воле» и в частности в «Исполнительном Комитете» партии роль Михайлова была исключительная. В составлении плана различных политических выступлений и актов и в практическом осуществлении их едва ли кто

будет оспаривать, что ему принадлежит первенство. Стоит пробежать 4 том книги Морозова «Повести моей жизни», чтоб убедиться в этом. В деле Мезенцова он—организатор дела и, находясь на Михайловской площади, наблюдает за выполнением. В попытке освободить силою Войнаральского каждый из нас знает ту руководящию роль, которую в ней играли: Михайлов, Перовская и Фроленко. Мысль об издании органа «Земля и Воля» и в особенности осуществление ее—дело того же Михайлова и Зунделевича. Для покушения под Москвой 19 ноября Михайлов, можно сказать, сделал все: он предложил купить дом, он подыскал подходящий для этой цели и, думается, он же приспособил Гартмана для роли хоязина с насмешливой фамилией Сухорукова. Работа в подкопе под полотном железной дороги описана во всех деталях в его «Показаниях». Нечего и говорить, что главная тяжесть труда в нем лежала не на Арончике, которому не хотелось переносить его, и не на Морозове, который по слабости рук должен был отказаться от участия в нем. Магазин сыров на Малой Садовой если нашел Баранников, то доклад «Исполнительному Комитету» об этом помещении на собрании делал, как я хорошо помню, Михайлов. И так во всех предприятиях наших, как и в денежных делах, практическая сметка и верный глаз А. Д. служили указанием и основой.

Как товарищ, в «Исполнительном Комитете» Михайлов был для нас незаменим: при аресте в его лице мы потерпели тяжелую и невознаградимую потерю; многих несчастий избежали бы мы впоследствии, если бы он оставался среди нас. Он был, можно сказать, всевидящим оком организации и блюстителем дисциплины, столь необходимой в революционном деле. «Вместе с фанатической преданностью революции [1]), он соединял энергию, настойчивость, замечательную

[1]) Цитирую эту характеристику из моей книги: «Запечатленный Труд», т. I (М., изд. «Задруга», 1921 г.).

деловитость, практичность и такую осторожность, что самые трусливые люди при ведении дел с ним считали себя в безопасности... Талантливый организатор [1]), проницательный в распознавании людей, он был педантичен и неутомим в проведении организационных принципов. Требовательный к выполнению каждым своих обязанностей, ставивший деловые интересы выше всего, он хотел, чтоб деятель-революционер забыл все человеческие слабости, расстался со всеми личными наклонностями. «Если бы организация,—сказал он мне при одном разговоре на эту тему,—приказала мне мыть чашки, я принялся бы за эту работу с таким же рвением, как за самый интересный умственный труд». Сообразно этому, он строго преследовал взгляд на некоторые обязанности, как на малоценные, низшие: по его мнению, все, что для «организации» было нужно, было достаточно высоко, чтоб с радостью взяться за дело. Такой законченный и цельный тип не мог не пользоваться громадным влиянием как на самую «организацию», так и на лиц, стоявших вне ее, и его авторитет был так же велик среди товарищей, как и среди посторонних».

---

[1]) Пользуюсь случаем исправить ошибку, сделанную мной в I т. «Запечатленного Труда», в главе 13-й. Говоря о московской группе, я указываю на Теллалова и М. Н. Ошанину, как на организаторов ее. Между тем из позднейших расспросов Г. Ф. Чернявской-Бохановской, которая состояла в этой группе с самого начала существования ее, выяснилось, что основоположником группы был Александр Михайлов в период жизни его в Москве, осенью 1879 года. Об этом упоминает и Тихомиров в примечании к автобиографии Михайлова. Кроме Бохановской, которая вступила в группу по приглашению Михайлова, выдающимся членом ее был рано умерший Зеге фон-Лауенберг, о котором в литературе данных нет, но которого я встречала раза два в Петербурге, перед от'ездом в Одессу в 1879 г. По отзывам лиц, знавших его, это был очень ценный и преданный работник. Кличкой его было «Морячок». Основанная Михайловым, эта группа развивалась и руководилась в дальнейшем Теллаловым и М. Ошаниной, как это описано в моей книге.

На ряду с яркой революционностью, Александр Михайлов был натурой глубоко религиозной: для него революция была делом святым. Древние летописцы и иконописцы приступали к своему делу в повышенном настроении. Проникаясь важностью предпринимаемого, они сознавали себя выполняющими высокую миссию и всю глубину чувства и разумения своего вкладывали в творимое: перед ними стояла ответственность за выполнение. Так было и с Михайловым.

После ареста, при первой же встрече с представителями власти, против которой он боролся, он делает многознаменательное заявление.

«Моя деятельность,—говорит он,—есть деятельность общественная; она воплощалась среди общества, для общества и посредством его. Как общественный деятель, я пользуюсь представившимся случаем дать отчет русскому обществу и народу в моих поступках и мотивах, руководивших ими», поступках, имевших серьезное влияние на русскую жизнь.

Сознание ответственности за свои действия, за ту революционную инициативу в борьбе с самодержавием, которую взяла на себя «Народная Воля», насильственными актами потрясая вековые традиции еще непробудившихся масс, была всегда присуща членам ее. Но большинство воплощало это сознание в исповедание своей революционной веры на суде и в готовность за свою деятельность нести все последствия, которыми грозило «правосудие». Но никто не высказался в такой простой и четкой формулировке, и есть что-то особенное в том, что на первом же шагу своей тюремной жизни Михайлов сделал именно такое, а не иное заявление.

А, заканчивая свою революционную миссию, из-за стен тюрьмы он посылает нам, своим товарищам по «Исполнительному Комитету», свое торжественное, трогательное слово—«Завещание».

«*Завещаю вам, братья,*—говорит он в начале,—не расходовать сил для нас, но употреблять их только в прямом стремлении к цели».

«*Завещаю вам, братья,* не посылайте слишком молодых людей в борьбу на смерть, давайте окрепнуть их характерам, давайте время развить все их духовные силы».

«*Завещаю вам, братья,* контролировать один другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни». Надо, чтоб контроль перестал быть обидным, чтобы личное самолюбие замолкло перед требованиями рассудка». «Изучайте друг друга. В этом сила, совершенство организации».

«*Завещаю вам, братья*», заботиться о нравственном удовлетворении каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь. Это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе».

Таков был завет, написанный в тонах посланий расколо-наставников, образы которых пленяли революционное воображение Михайлова и влекли в народные глубины религиозных отщепенцев.

Умер Михайлов. Умер не на эшафоте, которого ожидал в каком-то экстазе. Помилованный царем, он погиб в Алексеевском равелине, в который были заключены и его товарищи.

Пронизывающим холодом веет от рапорта крепостного начальства о его смерти 18 марта 1884 года. Моральная дрожь пробегает, когда читаешь приказ департамента полиции взять в тиши ночи, не раньше 1 часа пополуночи, с сохранением полной тайны, тело усопшего и похоронить на Преображенском кладбище так, чтобы не получилось огласки.

Умер Михайлов в страшном одиночестве, он, который всегда держался коллектива, всегда чувствовал себя частью целого. Поливанов, Колоткевич, Баранников и другие равелинцы могли общаться друг с другом, обмениваться словом— не живой речью, а мертвым стуком в стену по условной азбуке. Михайлов не имел этого утешения. Он содержался в коридоре, совершенно изолированный, в котором соседей не имел. Его изоляция была полная, и в этом безотрадном, трагическом одиночестве отлетела душа, которая вмещала мужественную страсть революционера, нежную любовь сына и горячую привязанность к товарищам.

1924—13. VIII.

О процессе А. Михайлова.

А. Д. Михайлов после ареста содержался 14 месяцев в Петропавловской крепости в ожидании суда. Наконец, этот суд был назначен на 9 февраля 1882 г. и продолжался в течение шести дней (до 15-го).

То был третий процесс народовольцев [1]) и известен под названием процесса «20-ти». Кроме Михайлова, судились 10 членов «Исполнительного Комитета» «Народной Воли», можно сказать, весь цвет его: Фроленко, Тригони, Баранников, Суханов, Колоткевич, Исаев, Лебедева, Якимова, Ланганс, Морозов и агент «Комитета» Клеточников, оберегавший партию от зловредной работы III отделения и департамента полиции. Остальными подсудимыми были: Терентьева, Емельянов, Тетерка, Арончик, Л. Златопольский, член мо-

---

[1]) Первым был процесс «16-ти» в 1880 г. (Квятковский, Ширяев и др.). Вторым—процесс первомартовцев 1881 года (Желябов, Перовская и др.).

сковской группы Фриденсон, Люстиг и продавшийся правительству Меркулов, — все жертвы предателя Окладского, который был осужден по делу «16-ти», но после суда, а, может быть, еще и до него изменил партии.

Дело рассматривалось особым присутствием сената в том же зале окружного суда, в котором с 1877 г. обыкновенно происходили политические процессы того времени. Первоприсутствующим был сенатор Дейер, а обвинителем—будущий министр юстиции Н. В. Муравьев, обвинявший Желябова и Перовскую на процессе 1 марта.

Заседания, по постановлению особого присутствия, должны были происходить при закрытых дверях. Присутствовали лишь немногие высокопоставленные лица, как министр внутренних дел Игнатьев, министр юстиции Набоков, полицеймейстер Баранов, ад'ютант Александра III Чингис-Хан и некоторые другие; из частных лиц была допущена жена Муравьева, а из родственников подсудимых, имевших право быть на суде, воспользовались этим правом человека 2—3. Родные Михайлова отсутствовали.

Разбору подлежали самые громкие революционные выступления целого пятилетия (1878—1882 г.г.): дело об убийстве шефа жандармов Мезенцова; покушение Соловьева 2 апреля на жизнь Александра II; подкоп под Херсонское казначейство; три покушения на жизнь Александра II в 1879 г.: в Одессе, под Александровском и под Москвой; покушение 5 февраля 1880 г. (взрыв в Зимнем дворце); покушение весной 1880 г. в Одессе и летом того же года под Каменным мостом в Петербурге; подкоп под Кишиневское казначейство; дело 1 марта 1881 г. Последним обвинительным пунктом была «помощь» партии «Народная Воля» (обвинялся Люстиг).

Одного этого перечня достаточно, чтобы показать громадное значение и интерес этого политического дела. Рассматривались факты, волновавшие не только Россию, но возбуждавшие живейшее внимание Европы и Америки. Но двери

суда были закрыты: ни русские, ни иностранные корреспонденты не были допущены. Дело доходило до того, что, по свидетельству «Былого» (№ 4), издававшегося В. Бурцевым за границей, иностранные корреспонденты «Times'a» и «Herald'a», во избежание задержания телеграмм, посылали их с курьерами в Тильзит или Берлин, и уже оттуда депеши передавались по назначению. Русская пресса молчала—она была лишена всякой возможности сообщать что-либо о деле. В легальных органах было перепечатано лишь официальное сообщение о процессе из «Правительственного Вестника» № 40 от 21 февраля (5 марта) 1882 г. Единственным источником сведений являлось нелегальное издание партийной типографии: «Прибавление к № 8—9 «Народной Воли», которым пользовались как заграничное «Былое» Бурцева в статье «Процесс 20-ти», так и русское «Былое» в статье «Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году» (январь 1906 г.), в которой есть прямая ссылка на это «Прибавление» [1]). В сохранившемся в Ленинградском историко-революционном архиве официальном протоколе о судебном заседании по делу «20-ти», кроме обвинительного акта и № 40 «Правит. Вестника» с официальным сообщением о процессе, содержится лишь сжатое описание хода заседаний суда без изложения речей, об'яснений и реплик как подсудимых, так и защитников [2]).

В виду изложенного, все об'яснения Михайлова на суде взяты для этой книги из «Прибавления к № 8—9 «Народной Воли», которое и до сих пор остается первоисточником [3]).

---

[1]) В той же книжке «Былого» впервые был напечатан обвинительный акт по процессу—«Былое» 1906, № 1, с. 228—284.

[2]) Дело особого присутствия сената 1881 г., № 45.

[3]) Текст «Прибавления» напечатан в книге «Литература социально-революционной партии «Народной Воли». Изд. партии социалистов-революционеров, 1905 г.; см. тоже: «Литература партии «Народной Воли», под ред. В. Я. Богучарского. Париж, 1905, 1, с. 570—591.

Прежде чем перейти к этим «об'яснениям», не лишне остановить внимание читателя на некоторых чертах процесса, глубоко возмущавших как подсудимых, так и защитников [1]).

Уже в самом начале первого заседания, когда обвиняемые вошли в сопровождении жандармов с саблями наголо, некоторые из них пробовали сделать заявление суду, но Дейер прервал их возгласом:

— После, после! теперь не время!

— Мы хотим заявить относительно самого суда,—послышались голоса подсудимых, которые хотели заявить протест против суда особого присутствия и требовать суда присяжных.

— Никаких заявлений относительно суда!—отрезал первоприсутствующий.

Тогда встал Михайлов, чтобы говорить от лица всех.

— Вы не уполномочены! не имеете права заявлять от имени всех,—остановил его Дейер.

— Я буду говорить от себя,—заявил Михайлов, но получает в ответ:

— И от себя нельзя! Еще раз повторяю: никаких заявлений!!

Во время продолжительного чтения обвинительного акта подсудимые шопотом начинают говорить между собой. «Молчать!»—слышится окрик председательствующего, и следует целый ряд грубых замечаний то одному, то другому: «Не умеете себя держать!..» «Вы не дома!» и т. п. И, обращаясь к Баранникову, который знаком просил передать ему обвинительный акт:

---

[1]) Подробности о процессе взяты частью из «Прибавления», частью из № 4 «Былого», издававшегося за границей В. Л. Бурцевым; см. русское переиздание. Рост.-на-Дону, 1906, вып. 1-й (1900—1902 г.г.), с. 66—118.

— Подсудимый! Никаких знаков делать я не позволяю! Если это повторится, вы будете удалены из зала... и т. д.

В один из перерывов защитнику Арончика, в виду распоряжения Дейера, отказывают в свидании наедине с клиентом.

— Я руководился желанием поддержать честь адвокатуры,—говорит Дейер в об'яснение по этому поводу,—так как до меня дошло, что некоторые гг. защитники позволили себе во время свиданий с подсудимыми сообщать им то, что происходит в их отсутствие [1]).

Отповедь на это нарушение элементарных прав защиты дал защитник Люстига Герард.

— Что касается чести адвокатуры,—сказал он,—то мы просили бы позволения нам самим заботиться об этом. Что же до того, что мы сообщаем подсудимым то, что происходит в их отсутствие, то, прежде всего, я позволю себе выразить удивление, каким образом г. первоприсутствующему стало известно содержание наших разговоров, происходивших с глазу на глаз.

— Это все равно, откуда я узнал,—говорит Дейер.— Этого могло и не быть. Я только говорю, что это нежелательно.

— Затем,—продолжает Герард,—я позволю себе обратить внимание первоприсутствующего на то, что закон обязывает самого председателя суда сообщать подсудимому все, что происходило во время его отсутствия. Тем более эта обязанность лежит на защитнике, и если это мы делали, то только исполняли закон.

После невразумительного бормотания Дейер заявляет:

---

[1]) Надо заметить, что отсутствие было вынужденное, так как подсудимые были разделены на группы и вызывались на допрос по этим группам или поодиночке, смотря по предмету обвинения.

— Во всяком случае, распоряжение, основанное на 569 ст. уг. суд., остается в силе.

Тогда Спасович, защищавший Тригони, просит позволения видеться со своим клиентом по поводу вещественных доказательств, без чего будет лишен возможности поставить как следует свою защиту.

— Я вам разрешаю, — говорит Дейер, принужденный сдаться.

Потом и другие защитники выставляют мотивированные требования свидания с подсудимыми, и на другой день председателю приходится формально снять запрещение.

Но все превзойдено грубой дерзостью Дейера по отношению к рабочему Тетерке, который признал себя «террористом». На вопрос:

— Какой же работой ты занимался?

Тетерка сказал:

— Всякой, какая придется.

После чего Дейер спрашивает:

— А убивать можешь?

— Я еще никого не убивал,—скромно отпарировал Тетерка [1]).

В процессе «20-ти» первенствующее значение, несомненно, имел А. Михайлов. Он был центром внимания как со стороны судей, так и со стороны всех присутствовавших. Его об'яснения, спокойствие, с которым он говорил и держал себя от начала до конца, необыкновенная выдержка в каждом слове, жесте, в каждом обращении к суду,—все действовало импонирующим образом. В своих выступлениях он являлся выразителем идей «Народной Воли» и воплощением мужественной последовательности, прямоты и решимости нести все послед-

---

[1]) Эти подробности взяты из № 4 заграничного «Былого».

ствия своей деятельности, и его поведение давало тон поведению всех остальных товарищей. Защитники были под полным обаянием его личности, и, по рассказам, Спасович, перед которым на протяжении 13 лет проходили все крупные деятели больших процессов, говорил, что никто не производил на него такого сильного впечатления, как Михайлов. Письмо защитника Михайлова—Е. И. Кедрина—к отцу Александра Дмитриевича, помещенное в книге о нем, свидетельствует о столь же высокой оценке его..

Суд приговорил десять человек, в том числе и Михайлова, к смертной казни. Виктор Гюго во французской газете с ужасом говорил о 10 новых виселицах...

25 февраля приговор был об'явлен в окончательной форме, и подсудимым предоставлен 2-недельный срок для подачи кассационных жалоб. Но ни один не воспользовался этим правом, потому что защитникам было отказано видеться по поводу этих жалоб наедине с осужденными. Только защитник Клеточникова, присяжный поверенный Михайлов, подал ее, но никто из осужденных не присоединился к ней. Да защитникам в самом начале было дано понять, что никакого пересмотра дела не будет.

Из десяти приговоренных к смерти царь помиловал девять человек. Он не построил, как боялся Гюго, 10 виселиц вдобавок к пяти, воздвигнутым в апреле 1881 г. в память отца. Девяти осужденным, между ними и Михайлову, смертная казнь была заменена каторгой без срока, а Суханов, которому виселицу царь заменил расстрелом, был, как флотский офицер, казнен в Кронштадте на поучение Балтийскому флоту, в котором он служил. Остальных царь отправил умирать медленной смертью в тайниках Петропавловской крепости.

Лев Тихомиров.

По поводу записок Тихомирова [1])

Не помню точно, но, должно быть, в начале 90-х годов начальство Шлиссельбургской крепости, не допускавшее в тюремную библиотеку сочинений Горького и до смерти Чехова собрания произведений этого писателя, подсунуло нам брошюру Л. Тихомирова: «Почему я перестал быть революционером».

Хотело ли оно уязвить нас: «Посмотрите на вашего идейного выразителя!» или преследовало практическую цель: «Не пойдет ли кто из вас по тому же пути?»,—не знаю. Быть может, имелось в виду и то, и другое.

Брошюра, конечно, обошла нас и, как в живой России, взволновала и возбудила толки. Обмениваясь мнениями с моим соседом Морозовым, на вопрос, что я думаю о перевороте в Тихомирове, я простучала в стену: «Он заболел психически».—«Этого всегда можно было ожидать», сухо ответил Морозов. Эти слова удивили меня, и я нашла их несправедливыми.

Действительно, какие данные имелись для такого суждения? Явных—решительно не было. Тихомиров бесспорно занимал видное место в революционных организациях: до 1882 г., когда он уехал за границу, он имел 10-летний революционный стаж, из которого 4 года провел в тюрьме в ожидании суда над 193-мя; и вышел из этого искуса с честью. После процесса, как бывший чайковец и автор «Сказки о четырех братьях», он в 1878 г. был охотно принят в члены о-ва «Земля и Воля», сотрудничал в органе того же имени, а после ареста Клеменца главенствовал в нем. Когда в центральной группе о-ва, в Петербурге, наметилось расхождение

---

[1]) В моих руках были воспоминания Л Тихомирова (детство, гимназия, университет, кружок Чайковского, «Земля и Воля», «Народная Воля» и дневник с 1882 по 1895 г.г.).

по вопросу об активной борьбе с правительством, он солидаризировался с Зунделевичем, Морозовым и Александром Михайловым, входил в тайную группировку внутри «Земли и Воли» и, как ее член, участвовал в Липецком с'езде—этом зачатке будущей «Народной Воли». Когда же о-во разделилось на «Черный Передел» и «Народную Волю», Тихомиров стал членом «Исполнительного Комитета», дал окончательную редакцию программе новой партии и сделался главным редактором партийного органа. В осуществлении актов борьбы с самодержавием Тихомиров участия не принимал: у него не было темперамента для этого, и он не принадлежал к тем, которые по нравственным мотивам личным участием хотели «слово» воплотить в «дело». Но как член «Исполнительного Комитета», при обсуждении этого рода дел Тихомиров никогда не подымал своего голоса против, а, как член «распорядительной комиссии» [1]), наравне с другими, добросовестно исполнял все обязанности, и если позднее был освобожден от них, то это было с общего согласия—в интересах литературной работы.

По каким же признакам можно было *провидеть,* что Тихомиров обратится в свою противоположность и станет от'явленным реакционером, монархистом и религиозным ханжой?

Правда, жена Тихомирова была человеком неподвижным и любила покой. С тех пор, как у нее родился ребенок, она все реже и реже появлялась на общих собраниях и не несла никакой общественной работы; этим она, как бы молчаливо, вышла из «Комитета», но с внешней стороны не было видно влияния этого на Тихомирова.

Правда, после 1-го марта Тихомиров удивлял нас признаками шпиономании, побуждавшей его носить траурную

---

[1]) Эта комиссия из 3-х, с одной стороны, ведала дела особенно секретные, а с другой—в ее ведении были текущие дела в промежутках между общими собраниями «Исп. Комитета».

повязку по императоре, отправиться в церковь и принести присягу его преемнику, а в Москве кинуться в Троицко-Сергиевскую лавру, чтоб «очиститься» от предполагаемого шпионства на квартире.

Этому удивлялись, над этим смеялись, но считали не больше, как комедией или болезненной подозрительностью, которая пройдет. Да, эти факты скорее говорят в пользу моего мнения о психической болезни, о начинавшихся симптомах ее, чем за то, что «всегда можно было ожидать»...

Правда и то, что и по возрасту, и по образу жизни и роду деятельности нам было несвойственно заглядывать друг другу в душу, и психологи мы были плохие, однако, имело же значение свидетельство старых товарищей Тихомирова: Чарушина и А. И. Корниловой-Мороз по кружку чайковцев, С. Ивановой-Борейшо по «Народной Воле», что ожидать «превращения» Тихомирова никаких оснований у нас не было.

И теперь, когда столько лет прошло с тех пор, как в Шлиссельбурге я прочла брошюру «Почему я перестал быть революционером», и предо мной были записки и дневники (оставшиеся после смерти) Тихомирова, все те же два суждения: «Заболел психически» и «Всегда можно было ожидать» стоят передо мной, требуя решения, и, перелистывая его литературные произведения, мне то кажется, что прав был Морозов, то—что права была я.

За Морозова говорит, как мне кажется, все то, что Тихомиров рассказывает о своем детстве, гимназии и университете, включая сюда и его сношения с чайковцами.

Его родословная—насколько хватала память—представляла ряд лиц духовного звания: священников и дьяконов; на храмовой праздник в село, откуда родом был его отец, с'езжалось до 40 и более лиц этого сословия [1]). Правда, отец

[1]) На эту родословную читатель должен обратить особенное внимание.

не пошел по этой дороге, но воспитывался в духовной семинарии, а затем стал военным врачом. Что касается матери, она была экзальтированной в религиозном отношении, провинциальной институткой, отличалась набожностью и была склонна к суеверию, а про себя Тихомиров говорит кратко, что в детстве был религиозен. О семейных отношениях, условиях воспитания в записках не сообщается ничего: не отмечено ни одного случая, который ознаменовал бы какой-нибудь этап в духовной жизни его, как ребенка, ни одного «урока жизни», который имел бы нравственное влияние на него. В 9 лет он зачитывается романами, а чуть не с 3-го класса гимназии—«Русским Словом». Писарев становится его любимым писателем: сначала он восхищается его хлесткой, задорной полемикой, а потом начинает «запоминать слова и идеи».

«С таким руководителем» все его детские верования стирались, по его выражению, «в какую-то кашу, растворялись, улетучивались», и у него оставались лишь «суеверия, инстинкты, поэтические грезы». В 5-м, 6-м и 7-м классах он имеет «вполне республиканские убеждения». И об'ясняет почему: Он «не слыхал ни единого слова в защиту монархии». В истории учили только, что времена монархии представляют время «реакций», а времена республики—эпоха «прогресса». «Во всем, что читал, видел лишь то же самое», пишет он.

Далее, в гимназии же он—революционер. Что делает его таковым? «Революцию все, все, кого я только (он) читал, у кого учился,—выставляли некоторым неизбежным фактом»... «Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и т. д.,—все, что (гимназисты) читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. «Мы в это верили, говорит он, как в движение земли вокруг солнца. Такая же, безусловно, вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого

смутно, очень смутно. Таким же образом мы делались материалистами».

Если Тихомиров не клевещет на себя и если верить ему, то он сделался материалистом, революционером и социалистом совершенно механически, без всякой внутренней работы, без борьбы, без того, чтоб у него возникли какие-нибудь сомнения или недоуменья; сделался лишь потому, что кругом *все* были либерально и революционно настроены; *все* ругали *все* порядки, и он заразился чужими идеями, как заражаются тифом или холерой и заболевают не по своей вине, а потому, что вблизи находится очаг заразы. Он социалист—как-то непроизвольно, революционер—как-то бессознательно, а когда поступил в университет, после двух лет, проведенных в совершенно бессодержательной студенческой среде, и встретился с чайковцами, то вступил в их группу как-то случайно, пожалуй, даже не без внешнего понуждения, но и без внутреннего сопротивления.

Какая-то печать безволия лежит на всем этом, и если это не искажение того, что было в действительности, и если верить личным воспоминаниям автора, становится боязно за будущее этого человека, и Морозов прав, что «можно ожидать».

В одном месте, говоря о студенчестве, Тихомиров высказывается так: «молодому человеку «нужно *нравственное содержание* (курс. Л. Т.), и, чем он неразвитее, тем более легкими путями он должен добыть это нравственное содержание, т. к. более трудиться ему не по силам». — «И он берет ходячее мнение, берет принципы, ему известные, делает из них выводы—работа не трудная. Он не создает своего собственного нервного трепетания, а только открывает душу нервному току толпы. Тут нет работы, а есть только прекращение работы самостоятельной, предоставление себя гипнозу течения».

И далее он говорит: «Ничто из существующего порядка не имело безусловно никаких защитников, сторонников. Было много дураков, ни о чем не думавших, но каждый даже из них, поскольку думал, был *против* существующего. Идеи были существенно материалистические, республиканские и социалистические, хотя, конечно, никто ничего не понимал толком ни в материализме, ни в республике, ни в социализме. Каждый вполне верил в передовые идеалы, и только считалось, что все это будет не скоро».

Эти две выписки, относящиеся уже не к гимназии, а к университетским годам, рисуют эти годы продолжением того же механического, безвольного заражения чужими идеями, какими отличался весь предыдущий период жизни автора. Но кому же не известно, какую важность имеет время пребывания в университете, когда идет подготовка к реальной работе в жизни, решается вопрос, чем быть в ней, мужает ум и складывается индивидуальность? Но в том-то и дело, что Тихомиров, как он себя рисует, не имел выработанной индивидуальности. В сущности, у него как-будто не было ни детства с яркими воспоминаниями и резкими событиями, накладывающими печать на всю жизнь, ни отрочества и юности с ошибками и увлечениями, с борьбой с самим собой и окружающей средой,—той внутренней жизни, которою вырабатывается личность. Он был как бы от рождения «стариком», как за старообразный вид, а, может быть, и по какой-то интуиции его звали у нас в товарищеской среде.

Я не нахожу нужным останавливаться на участии Тихомирова в «Земле и Воле» и в «Народной Воле». Его рассказ об этом—документ очень любопытный, но это не исторический материал. Тихомиров писал об этом, как и о всем предшествующем, уже по возвращении своем в Россию в 1898 г., когда весь облик его изменился, и рассказ не мог не

отразить этого: в нем есть ноты искренние, звучащие прежним Тихомировым, но всюду проглядывает маска Грингмута[1]). Разбор такого документа невозможен, потому что каждая страница требовала бы критики, поправки или опровержения. Люди, знающие революционную литературу или интересующиеся ею, могут сами разобраться в этом и правильное отделить от ложного.

Летом 1882 года усталый, с измученной душой, Тихомиров жил в Ростове-на-Дону, куда с женой и ребенком уехал еще в начале года после того, как народовольческая организация в Москве была совершенно разгромлена.

В психологическом отношении страницы, описывающие его настроение за это время, очень интересны: в каждой строчке чувствуется человек, подавленный тяжелыми переживаниями и совершенно разбитый. Ему нужен покой, только покой, отдохновение. Но сочувствие к нему, как к человеку, тотчас нарушается его раздумьями о судьбах революционного движения и извращением его отношения к революционному делу.

«Я—не они», говорит он о погибших товарищах—Желябове и Александре Михайлове; и по поводу моего письма к нему летом 1882 г. продолжает: «Мое бегство за границу, очевидно, казалось ей недостойным старого народовольца, которые умирают, но не сдаются. Это, положим, совершенно правильная точка зрения, пока остаешься человеком известного дела», говорит он, и далее продолжает: «дело, которое делала «Народная Воля», давно было на мое». «Они меня давно не понимали. Только Михайлов да Желябов несколько вникли в мою душу и мирились с тем, что я—не они, т.-е. считали, что я, хоть и особь-статья—но *полезный,* и по-своему прав.

---

[1]) Единомышленник Каткова по «Московским Ведомостям».

Каким жалким, ничтожным рисует себя автор этих строк. Если дело «Народной Воли» давно не было его делом, если ее путь он считал путем ложным, то почему же было в свое время не высказать этого честно и прямо, как следовало бы истинному революционеру? Его поняли бы, он получил бы свободу от обязательств и мог бы жить частным человеком, как жил Каблиц, проповедник борьбы посредством динамита, сделавшийся, под псевдонимом Юзова, сотрудником «Недели» и легализировавшийся при Лорис-Меликове, или уехать за границу, как уехал Морозов, спустя полгода после образования «Народной Воли».

Но в течение двух лет итти вместе с другими по пути, который считаешь ложным, стоять у дела, которое считаешь не своим, это—такая бесхарактерность, безволие, что стоишь в недоумении, что это? Клевета ли задним числом на себя, или опять-таки прав Морозов, что «можно было ожидать»?

Уезжая в середине 1882 года за границу, Тихомиров, по его свидетельству, ехал с мыслью, что напишет «записки о делах и людях 70-х и 80-х г.г.». «Товарищей этих я очень любил», говорит он. «Спасти их память от забвения—казалось мне некоторым священным долгом».

Это, как-будто, совсем хорошо. А перевернешь страницу и находишь (в описании первого радостного дня по приезде в Женеву): «Какого числа был этот день—не помню. Но с него началась для меня новая жизнь, некоторое время даже очень новая, пока я снова, *волею судеб* (курсив мой), не втянулся в «распроклятую политику»... Втянулся! Не сам пошел, а втянулся.

Те, которые долгое время жили нелегальною жизнью, занимаясь революционной деятельностью, знают, какого напряжения сил требует эта жизнь. И вот Тихомиров, проведший 4 года в тюрьме и 5 лет на нелегальном положении, попав, наконец, за границу, вместо того, чтобы стать в усло-

вия полного покоя, отдохнуть и оправиться, *втягивается* в работу в обстановке, еще более неблагоприятной, чем в России. Вместо сплоченного товарищества людей, свежих, полных сил и веры в дело, людей, которых он любил и уважал, его окружает нездоровая среда эмигрантов, лиц, потерпевших кораблекрушение, обломков всевозможных кружков и группировок, различных по национальности, месту и времени деятельности.

В этой обстановке, вместе с М. Н. Ошаниной, он завязывает и ведет революционные сношения с Россией, занимается литературными предприятиями *для* России и делает неоднократные попытки из-за границы действовать в России. Он сам сознает нелепость и невозможность последнего; однако, это не останавливает его. Варынского, известного члена польского «Пролетариата», хорошего революционера, он считает человеком легкомысленным и все же пишет о нем мне, которой дает такую же характеристику и хочет связать его со мной. Это не состоялось: прежде чем Варынский доехал до меня, он был арестован в Польше. Характеризуя молодых членов «Народной Воли», как «мальчишек», совершенно неспособных продолжать революционную работу партии, он в письме, однако, советует мне созвать с'езд из этой молодежи для продолжения деятельности. А после моего ареста (в феврале 1883 г.) и крушения моей последней попытки восстановить центр, он с Ошаниной возобновляет эту попытку и организует в Париже группу Лопатина, Саловой и других, которые отправляются в Россию, чтобы руководить революционным движением. В сентябре того же года к Тихомирову и Ошаниной из России является Дегаев; он делает признание о своем предательстве и роли провокатора, и они заключают с ним договор—пощадить его жизнь ценою предательства и убийства Судейкина. В декабре 1883 г. акт был совершен, но организация, во главе которой был поставлен Лопатин, через несколько месяцев, благодаря захвату адресов

у Лопатина, потерпела крах, отозвавшийся по всей России и захвативший даже Сибирь.

Не удивительно, что, втянувшись, благодаря своему имени, в политику, которую он называет «распроклятой», политику, неизбежно связанную с острыми переживаниями, Тихомиров, уезжавший из России уже совершенно разбитым, окончательно погубил свои последние силы. Свидетельством этого служат сохранившиеся после его смерти дневник и записки, которые он вел в Париже с августа 1883 по 21 января 1889 года.

Эти документы представляют величайшую ценность; они интересны как с психологической, так, еще более, с психиатрической точки зрения: в них-то, по моему мнению, надо искать ключ к пониманию того переворота, который с ним произошел.

Дневник, это—ежедневная, краткая запись несчастий и неудач общественного характера; крушение ряда тщетных попыток организовать что-либо в России и *для* России; непрерывная нить всевозможных недоразумений с товарищами по эмиграции; суды и разбирательства, как кто держал себя на следствии; ссоры по деловым сношениям с лицами других направлений; обличения шарлатанов, выдающих себя за революционеров... и безденежье, безденежье без конца—таково содержание этой скорбной летописи. В личном отношении это бесплодные поиски работы, не только регулярной, но хоть какой-нибудь. Нет денег из России на революционные издания, нет их и из каких-нибудь заграничных источников; еще большая нужда на самые элементарные личные потребности.

В марте 1886 года наступает полное разочарование: у него вырывается признание, что, по его мнению, революционная Россия, в смысле серьезной, сознательной силы, *не существует*. Все приезжие из России, говорит он, подтверждают это; революционное движение того времени—не буря, а рябь

на поверхности моря. «Народ страшно измельчал, он способен только рабски повторять примеры былых героев, но совершенно неспособен понять изменившихся условий и выдумать что-нибудь свое». В связи с этим он записывает, что заявил, что готов служить партии только как публицист, и что из-за границы никаких организаций он не ведет. В том же марте он пишет, что издательство вошло по уши в долги и что «даже это дело *не по силам* партии» (курсив Л. Т.). «И так в моих глазах уже более года (т.-е. с 1885 г.) несомненно, что *отныне нужно ждать всего лишь от России, русского народа,* почти ничего не ожидая от революционеров, по крайней мере на долгое, неопределенное время», говорит он. «Сообразно с этим я начал перестраивать и свою личную жизнь. Я должен ее устроить так, чтобы иметь возможность служить России, как мне подсказывает *мое* чутье, независимо ни от каких партий».

В это время положение его было отчаянное: в издание «Вестника Народной Воли» он вложил все свои силы, все связи и остался «без работы и без всяких связей с Россией или с Европой, т.-е. связей *своих,* которыми бы мог распоряжаться по своему усмотрению». Он искал работы, но находил ее мало и плохо оплачиваемой—«впроголодь», как он выражается, «до истощения нервов». И у него опускаются руки, он уже не верит, что выкарабкается из этой ямы.

В апреле того же 1886 г. он на последней грани измученности; его сынишка заболевает менингитом. «Мушки, компрессы, бессонные ночи, крики, раздирающие душу»,—он один ухаживает за ребенком, жена рыдает за стеной. И тут же французская полиция является на сцену, угрожая выдачей России или изгнанием... Ребенку все хуже, «бедный мальчик измучился, исстрадался и смотрит так жалко. Он стал серьезен», и отцу «так и чудится, что он уже чувствует, что все пустяки на свете и что существует—только смерть».

В январе 1887 года в дневнике запись, что все последнее время Тихомиров с семьей жил, «можно сказать, подаянием. Работал ужасно мало, кидался во все стороны и не заработал ни гроша». Жена его больна; безденежье такое, что голодают; заплатить доктору нечем; за квартиру—в долгу; и как-раз в это время происходит известное разграбление типографии «Вестника» русскими шпионами. Доведенный до отчаяния, Тихомиров делает пометку: «я ничто, нуль; я существо даже уже пришибленное; и в то же время (что за противоречие.—*В. Ф.*) «я не могу отказаться от желания серьезно, глубоко влиять на жизнь». И далее, по поводу предполагаемого журнала, говорит, что «с большей охотой видел бы возникновение кружка с здоровым, созидательным, антитеррористическим направлением», и записывает: «мне нужно создать партию серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую».

Какая странная смесь самоунижения и самовозвеличения: «я ничто, нуль», и на ряду с этим широкие планы «о правящей партии». Во всем этом намечается перелом; отход от революционного прошлого уже совершился, но еще не принял той формы, в которую вылился в конце 1888 г. Симптоматичны признаки развития суеверия, веры в предзнаменования, сны и предчувствия. Дело доходит до того, что, зная, где на горизонте взойдет молодая луна, он намеренно встает у окна так, чтобы увидеть ее справа. Чаша отчаяния переполняется, когда его ребенок находится при смерти, когда измученный отец с угрозами и с сжатыми кулаками заставляет сына пить лекарство, силой разжимая его челюсти. Громкий плач жены; ни сантима на лекарство и доктора; гибель в России, неприятности и расхождения в эмиграции,—все соединилось, чтобы доканать человека...

Тихомиров покидает Париж и поселяется в его окрестностях, в местечке Le Raincy. Страницы, в которых он опи-

сывает несколько месяцев, проведенных там, составляют лучшую часть всего им написанного.

Там тишина, там уединение до полного безлюдья, там открытое небо, безбрежные леса и солнечные поляны. Измученный Тихомиров отдается покою, который навевает природа. Разбитый острыми переживаниями, он вздыхает по простой, не осложненной жизни, завидует дереву, которое растет и зеленеет, не зная человеческих скорбей и огорчений. Прогулки по темному лесу и светлым полянам дают ему глубокое наслаждение; страшное напряжение понемногу спадает, и осенью в его душе наступает кризис.

Поселяясь в Рэнси, Тихомиров нанял домик, в котором нет других жильцов; в верхнем этаже поместилась его жена с сынишкой, который стал выздоравливать; внизу—он сам. Этот этаж совершенно лишен мебели; наступает дождливый сезон; дачники, какие были, раз'ехались; Тихомиров—словно на необитаемом острове; дождь стучит в окна; в пустых комнатах нижнего этажа, похожих на оголенную тюремную камеру,—сумрак и ничем не нарушается тишина. И Тихомиров целыми часами ходит взад и вперед и думает, думает без конца. Здесь его психология приобретает характер, сходный с психологией заключенного. Его душевное состояние под тяжестью несчастий, которые он испытал, как общественный деятель, как товарищ, муж, отец и как почти нищий, выходит за пределы здоровой психологии нормального человека, и с точки зрения психиатра, по моему мнению, его можно признать душевнобольным. Все представляется ему в мрачных и враждебных красках; он изверился в революции, который служил столько лет, изверился в людях, которые поддерживали и помогали ему и с которыми он долго находился в хороших отношениях; изверился в возможности создать нормальные условия для своего семейного очага и вырваться из когтей унизительной нищеты и жалких подачек. Все и все обернулось к нему самой дурной стороной своей—

таково представление его обо всем окружающем, и самому себе он кажется ничтожеством, нулем. Возможно ли такое состояние назвать нормальным? Пусть те, кто долго пробыл в тюрьме, припомнят о себе и о своих товарищах, не бывали ли они временно в подобном же тяжелом и несправедливом настроении? и каждый признает, что это было проявление психической ненормальности.

И вот, в таком ненормальном настроении, с таким тяжелым душевным грузом, Тихомиров в тихом Рэнси, в своей импровизованной тюремной камере, предается анализу всех своих убеждений, всего пережитого, всего накопившегося за 10—12 лет. Ему не с кем поделиться своими размышлениями, не только физически не с кем, но и духовно. Его жена давно уже отошла от революционного движения. Не глупая, но неподвижная, любящая покой и домашний уют, она была узко материалистична и не могла, и не хотела переносить лишений. В самом деле, если не иметь высших стремлений, то во имя чего бедствовать и терпеть унижение нищеты? Понятно, что она могла только портить уже в конец испорченную жизнь мужа, и при всей сдержанности Тихомирова относительно внутреннего уклада его семейной жизни, у него порой вырывается стон: «Нигде поддержки, нигде утешения»...

И вот, ходя без конца по своим пустым комнатам, Тихомиров перебирает все прошлое, весь идейный багаж свой и приходит к выводу, что все рухнуло, что в душе нет ни веры, ни любви. Ничего не осталось. А между тем, была же у него любовь, когда он хотел спасти от забвения память своих друзей. Его прошлое представляется ему нелепостью, миражем, за которым он гонялся много, много лет. Из-за чего? Зачем? Все кажется ему призрачным, нереальным, существующим лишь в воображении. Он ищет чего-нибудь реально, действительно существующего, и оно привлекает его во всем: он отдыхает душой, глядя на садовника, который копается

в земле, он «уважает» дерево, муравьев, которые суетливо копошатся в огороде; все это дает ему отраду, как действительно существующее и *по-своему* занятое делом. Реального ищет он и в своей личной жизни. И у него возникает жгучее требование и в ней того немногого, что он чувствует, как несомненно реальное. И все это «немногое, последнее достояние», без чего ничто уже не связывало бы его с жизнью, он находит разбитым, расстроенным, обессмысленным им самим. Родители—покинутые мать и отец; две дочери—брошенные на руки родственникам, которым они в тягость; сынишка, который плохо говорит по-русски и по-французски, и которому он не может об'яснить, что такое русские, где Россия, и на вопрос о церкви в Рэнси, не может ответить, что такое церковь, зачем люди идут туда; жена, которую он затащил в яму, откуда нет выхода... Все, в чем он реально ощущает долг—в развалинах, в полном безобразии.

...Реальная Россия, ее история чарует колоссальным величием, а кругом все чужое—все не его. Он вспоминает русский храм, и в его душе возникает, по его выражению, что-то странное, мистическое, имени чего он не знает; и он чувствует бога в себе или около себя и далее рассказывает, что еще 1879, 80 и 81 годах ему казалось, что люди, в частности, революционеры, по внешности преследуя как-будто *свои* цели, на самом деле руководимы какой-то невидимой всевластной рукой, ведущей совсем не к тому, к чему стремились люди. Страшная болезнь сына заставляет его в припадке отчаяния обращаться—он сам не знает к кому—к высшей инстанции: «Господи, если ты есть, помоги!»... До этого он был, по его словам, преисполнен сознанием своего человеческого величия. Болезнь ребенка его сломала,—гордость исчезла, и он молится «тому, кто есть, если он есть». Выздоровление сына наполняет его благодарностью, которую он «не сознает, но ощущает». Надо заметить, что в брошюре

1888 г. «Почему я перестал быть революционером» нет еще ни слова о религии.

В бессонные ночи, в Рэнси, ходя часами по своим пустынным комнатам, Тихомиров задается вопросом, что же дальше? что в будущем? как жить? чем жить? Ответов в самом себе он не находит и, поддаваясь склонности к суеверию, ищет их в евангелии, что, по его словам, «бывало с ним и раньше». Задавая вопросы высшего порядка: в чем правда? в чем обязанность? он вместе с тем искал и утешения, указания «в тяжком угнетении своим безвыходным материальным положением». В одну такую минуту «мистического настроения» ему попадается ответ: «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского, фараона» (Деян. апост.). Это изречение упорно попадается ему много раз (и, вероятно, чем дальше, тем чаще книга от употребления открывается на той же странице). Эта настойчивость поражает Тихомирова—он придает этому особенное значение, но ни тогда, ни долгое время спустя ему не приходит в голову, что это—указание на возвращение в Россию и милосердие русского царя. Но мысль о значении текста все снова и снова занимает его, и он не перестает размышлять, какой смысл скрыт в загадочном изречении: кто избавит его от скорби, и о каком египетском фараоне говорит апостол?

Практически прозорливая жена, семь лет тому назад давшая первую мысль об от'езде за границу, на этот раз первая находит разгадку и шепчет, что фараон—не из Египта, а из России, и что утолит скорби и дарует благоволение русский самодержец.

Так открывается путь к возвращению на родину.

Казалось бы, после Рэнси, в котором произошел полный разрыв с прошлым, Тихомиров должен был порвать и все отношения с политической эмиграцией, а он по возвращении в Париж в течение полугода продолжает сноситься с Лавро-

вым, с Ошаниной и другими лицами, при чем у него происходят сильные разногласия то по поводу типографии в Женеве, то по поводу студенческих волнений в России.

В мае 1888 года он кончает свою брошюру: «Почему я перестал быть революционером», печатает ее и широко распространяет как за границей, так и в России, а в августе посылает письмо директору департамента государственной полиции Плеве, в котором, прилагая свою брошюру, просит указать, в каких тонах он мог бы обратиться к государю с прошением о возвращении в Россию.

По получении ответа, прошение им послано и возвращение в Россию разрешено.

Дальнейшая дорога определена, и по приезде в Россию он ультра-консерватор и ультра-монархист. Как консерватору—для него нет границ. Он посылает статью Суворину, тот дает 400 рублей, а статью отсылает в «Московские Ведомости». Оскорбленный Тихомиров в дневнике пишет: «У консерваторов есть предел, который они не переступают, а я *переступаю*» (курсив мой). Как монархист, о революционерах он выражается «мерзавцы, подлецы». В религиозном отношении можно бы ожидать, что он человек истинно верующий. Ничуть не бывало. Он сам во многих местах выражает сомнение на этот счет. По его собственным словам, он верует разумом, но не чувством. Он подлинный, не сознающий этого, лицемер, обманывающий своего бога, у которого только и вымаливает материальные блага. Деньги, деньги и деньги, так и мелькают в записях изо дня в день. Их все недостаточно, все нехватает; обеспечения семьи—нет; ее будущее шатко. Посты, говенье, крестные ходы и молебны—вот что занимает его ум и в чем состоит его религиозная жизнь. Это одна внешность без всякого внутреннего содержания.

Возможно ли признать нормальным человека, одержимого такой обрядовой манией? Его суеверие не имеет границ:

при зубной боли он мажет свою щеку маслом от св. Митрофания; за завтраком—крестит яйцо, прежде чем его с'есть; после дурного сна спрашивает телеграммой брата о его здоровьи; заказав молебен по поводу болезни друга, он рассуждает, а вдруг он умер? и записывает: «Ну, да молитва о. Валентина не бесполезна и на том свете». Не звучит ли это цинизмом даже в ушах человека, совершенно чуждого религиозных верований?

Итак, его жизнь в России вся состоит в погоне за литературной работой для добывания средств [1]) на семейные нужды и в исполеннии обрядовой стороны церковной жизни, в которой нет ничего, что намекало б ына искреннее чувство. Он положительно болен—психически болен; и его болезнь—наихудшая форма mania religiosa. Она дорого обошлась ему, как отцу: его сын, тот некогда маленький Саша, которого ценой невыносимых страданий он вырвал из когтей смерти, им же—ханжеством религиозного маниака—был вырван из жизни и брошен в монастырь.

Каков же вывод из всего, мною написанного?

Прав ли Морозов? Права ли я?

По моему мнению—правы оба.

Рассмотрение всей жизни Тихомирова доказывает, что он был человек безвольный и бесхарактерный: он поддавался влияниям, которые могли поднимать его на высоты или спускать в низины. Это такая почва, на которой могли вырасти всевозможные сорные травы.

Почва была: «Можно было ожидать», но на данной почве выросло злокачественное растение—психоз, превративший революционера, республиканца и атеиста в ретрограда, монархиста и ханжу.

18 марта 1925 г.

---

[1]) Любопытны слова: «Нам, монархистам, особенно церковного направления, хоть пропадай—негде писать». И он пишет жалобницу Победоносцеву...

Н. И. Драго.

Николай Иванович Драго не принадлежал к числу первых членов кружка чайковцев, а был принят позднее, и его деятельность, как чайковца, относится, если не ошибаюсь, главным образом, к 1875—76 г.г.,—периоду, к концу которого самые выдающиеся члены кружка (П. Кропоткин, Синегуб, Сердюков и др.) были арестованы или, как Клеменц и Кравчинский, эмигрировали.

Я познакомилась с ним в конце лета 1876 года, когда, оставив Цюрихский университет, переехала из Москвы в Петербург. Освобождение из Николаевского госпиталя П. А. Кропоткина, организованное чайковцами и описанное Н. И. Драго, было только-что совершившимся фактом, и революционная публика еще была в приподнятом состоянии после этого блестящего побега. В это время две низенькие комнаты, которые занимал Н. И. в мезонине дома в одном из переулков между Литейной и Знаменской, являлись центром деловых и дружеских свиданий всех близких к кружку чайковцев, и Н. И., повидимому, нес главную тяжесть работы по поддержанию связей этой организации со всевозможными лицами, прикосновенными к революционной деятельности.

Высокого роста, статный, с интересным, бледным лицом, большими, серыми, томными, выпуклыми глазами, он имел вид человека, крайне утомленного беспокойной, напряженной работой. Но обстоятельства были не таковы, чтоб можно было оставить все и уехать на отдых: революционная организация чайковцев носила следы разгрома, хотя трудно сказать, чего собственно ей недоставало, потому что людей в Петербурге было еще довольно много, о чем можно судить по числу участников в деле довольно сложного побега Кропоткина.

Действительно, в Петербурге, кроме Драго, находились чайковцы: Зунделевич, Богданович, Натансон и его жена

Ольга, Зубок-Мокиевский, Александра Ивановна Корнилова, выпущенная тогда на поруки из Петропавловской крепости, в которой содержалась по делу «193-х», а из лиц, близких к кружку,—Л. И. Сердюкова, Орест Веймар, Грибоедов, Иванчин-Писарев, М. Лешерн; были, конечно, и некоторые другие, которых я не встречала. И все же существовала какая-то заминка—затишье, которое теперь, на расстоянии времени, я склонна об'яснить тем, что прежняя программа деятельности была в то время изжита до конца; она не только не одушевляла, но и не удовлетворяла большинства прежних деятелей. Где-то в глубинах сознания, вероятно, бродила смутная, еще громко не высказываемая мысль, что надо пересмотреть прошлое и, сообразно предшествовавшему опыту, искать новых путей; внести изменения в программу, чтоб избежать сделанных ошибок, и достигнуть лучших результатов. Иначе трудно было бы об'яснить, каким образом в октябре—ноябре 1876 года, когда прежняя деятельность была пересмотрена и в будущую работу были внесены необходимые поправки, подсказанные самой жизнью, почти мгновенно выкристаллизировалась обширная, жизнеспособная организация, в форме тайного общества «Земля и Воля».

Напомню, что к этому времени об'единение чайковцев с лавристами, гнилой ниткой сшитое усилиями Натансона, порвалось; *последняя* крупная попытка жизни в народе в Нижегородской губ., в имении, которое под фирмой американца арендовал Линев, кончилась бегством врассыпную.

В первой части моего «Запечатленного Труда» рассказано, какую роль сыграл Драго в выработке программы, около которой произошла новая группировка; рассказано, как, собираясь почти ежедневно в квартире литератора Гольдсмита, издателя журнала «Знание», Иванчин-Писарев, Богданович и Драго выработали основы программы—известной под названием *народнической;* как к тому времени с юга,

из Донской области, вернулись в Петербург Боголюбов, Хотинский и др., бывшие летом на полевых работах, а потом постепенно подобрались и другие лица с тем же настроением и с теми же выводами, к каким пришли и какие формулировали три названные лица.

Потом начались собрания и обсуждения новых основ деятельности, менее утопических, чем в период «хождения в народ», и открылся период деятельности землевольцев, составивший вторую стадию развития русского революционного движения, перешедшего в 1879 году в третью стадию—стадию «Народной Воли».

Если в этом отношении Н. И. принял участие в очень важном моменте революционного движения, то в дальнейшем его роль свелась на-нет. Когда образовалась, с одной стороны, «Земля и Воля», в которую вошли Натансон с женой, Плеханов, Александр Михайлов, Оболешев и и т. д., а с другой—та землевольческая группа, в которую входили я, Богданович, Писарев, Драго и пр., последний отправился, наконец, отдыхать на юг, где находилась его жена, состоявшая до этого тоже членом кружка чайковцев. Однако, удалившись из Петербурга, Драго как в воду канул, и во всем дальнейшем революционном движении не принимал участия. Он служил в Одесской городской думе; в 1879 году я несколько раз виделась с ним, но в наши народовольческие дела мы его уже не посвящали, пользуясь только его адресом для писем и явок. С теми одесскими либералами-конституционалистами, которые были разогнаны Панютиным во время генерал-губернаторства Тотлебена, он несомненно находился в связи, но, когда мы приехали в Одессу для организации покушения на Александра II, дела этих либералов уже были ликвидированы, да мы, народовольцы, к их словопрениям о формах конституции относились с иронией. Таким образом, отношение к Драго было далекое. Эта же даль отделяла меня и во второе пребывание мое в Одессе

в 1881 и 1882 г.г.; ничего об'единяющего, кроме воспоминаний, в текущий момент между нами не было; поэтому я и не могу дать более яркой и исчерпывающей характеристики его личности, чем та, которую я дала выше [1]).

Прошли 22 года тюремного заключения, и я вышла из Шлиссельбурга. Драго не искал меня, не послал ни одного письма; как вдруг, через 18 лет после моего выхода, однажды перед пасхой 1922 г., у входной двери квартиры раздался звонок, и, когда я вышла встретить посетителя, незнакомый голос спросил: «Верочка, не узнаешь?» Я широко раскрыла глаза. «Я—Драго»,—сказал он. Мгновенно я узнала—нельзя было не узнать. Это был тот же высокий, статный блондин, правда, более солидного сложения, чем 40 лет тому назад, но все с тем же красивым лицом, с чертами, не расплывшимися от возраста, и теми же выпуклыми серыми глазами с томной поволокой; только длинная борода обрамляла знакомое, незабытое лицо. И после первой четверти часа приветствий и поцелуев я услыхала: «Ну, я видел тебя, и теперь могу умереть!» Кто бы мог подумать, что эти слова через какие-нибудь две недели станут совершившимся фактом?!. Он умер здесь в Москве, заразившись по дороге сыпным тифом.

---

[1]) *Примечание редакции.* Н. И. Драго в свою бытность в Одессе занимался кооперативной работой и служил в банке «Внешней торговли». При советской власти он был поставлен во главе Одесского госбанка. Будучи до Февральской революции довольно умеренных либеральных взглядов, он, тем не менее, всегда оказывал денежную поддержку революционным кругам (в том числе и соц.-демократам), помогал заключенным в тюрьмах, хлопотал за арестованных, давал свою квартиру для собраний и пр. При приходе советской власти он не только не саботировал ее творческой работы, но и довольно усердно участвовал в этой работе. В период деникинщины он помогал скрываться от контр-разведки тем, кто имел основания бояться преследований последней. Но, конечно, по своей идеологии он стоял довольно далеко от коммунистов.

Он приехал из Одессы, как директор банка, на с'езд; вскоре почувствовал недомогание, во время которого не один раз виделся со мной, а затем слег на квартире у своего брата, когда уже простился со мной, предполагая через день отправиться в обратный путь.

Так, встретившись на минуту, мы разошлись, и он ушел в вечность.

Добрый, очень отзывчивый, но лишенный горячего темперамента и страстной энергии, он по всей натуре своей не мог стать народовольцем. Наша активная политическая деятельность, с ее террористическими актами, была не по нем, и культурно-просветительский ледок нельзя было соединить с революционным огнем.

Евгения Николаевна Фигнер.

Евгения Николаевна Фигнер, по мужу Сажина, родилась в 1858 г. в Казанской губернии и среди братьев и сестер была по возрасту пятой. Хотя ко второй половине 60-х г.г. характер нашего отца смягчился, все же на долю ее, как и старших, выпало немало наказаний и строгостей режима, введенных в наш домашний обиход и воспитание суровым, деспотическим родителем [1]). Когда в 1869 г. я вышла из института и оказалась неспособной к занятиям с нею, ее отдали, было, в то же закрытое учебное заведение, но через полгода взяли, и, за смертью отца и переездом матери в Казань, она стала учиться в гимназии. Гимназическое образование она кончила, однако, не там, а в Коломенской гимназии в Петербурге, так как для образования братьев семье пришлось переселиться туда. После гимназии Е. Н. вместе с матерью прожила полгода в Швейцарии, где познакомилась с некоторыми эмигрантами: Иванчиным-Писаревым, Марьей Павловной

[1]) См. главу «Няня» в I т. собр. соч. Отец наш был сначала лесничим, а потом мировым посредником и землевладельцем Тетюшского уезда.

Лешерн и др., и это знакомство не осталось без следа на ее развитии. По возвращении из-за границы, во второй половине 1876 г., благодаря совместной жизни со мной у Покрова, в доме Баранова, где в Петербурге мы наняли для матери квартиру, круг ее революционных знакомств расширился, так как у нас постоянно бывали нелегальные: Дмитрий Рогачев, Кравчинский, Богданович, Клеменц, Энкуватов и чайковцы: Драго, Зубок-Мокиевский, Грибоедов и многие другие лица, принимавшие тогда участие в социалистическом движении. Общение со всеми этими революционерами, более старыми по возрасту и уже имевшими определенные социалистические убеждения, вовлекало Евгению Николаевну в общие интересы и направило ее сочувствие и стремления к общей с ними цели. Когда вырабатывалась программа народников, она присутствовала на собраниях и 6 декабря участвовала в демонстрации у Казанского собора, этом первом коллективном выступлении на улицах Петербурга о-ва «Земля и Воля», при чем едва не была арестована при возвращении домой, когда шла со мной и Яковом Потаповым (знаменосцем на демонстрации), схваченным полицией на полдороге к Покрову.

У Евгении Николаевны был чудный меццо-сопрано, и ей могла предстоять такая же блестящая артистическая карьера, какую десять лет спустя сделал наш брат Николай. Она и начала учиться пению. Но демократические тенденции того времени не допускали подобного рода профессий: они были неприемлемы для социалиста. «Неужели вам превращаться в мешок с золотом?»—говорил Иванчин-Писарев; в том же направлении действовали Богданович и я. В конце-концов, вместо оперной знаменитости, вышла скромная фельдшерица-акушерка, при чем фельдшерскому искусству она обучалась в Царицыне у врача Загорского, мужа старшей сестры Перовской, Марии, у которой, надо сказать, не было никаких общих черт с нашей Софьей Львовной. Полу-

чив диплом, Е. Н. приехала ко мне в Вязьмино Петровского у. Саратовской губ., и в то время, как я исполняла обязанности фельдшерицы, в чем сестра оказывала мне существенную помощь, сопровождая в выездах в Ключевку и в Синенькое для приема больных, она открыла в нашем помещении в Вязьмине бесплатную школу для детей. В этом была настоятельная нужда, так как во всех трех волостях, которыми я заведывала, ни одной земской школы не было.

Принадлежа к одной и той же революционной партии и к одному и тому же кружку землевольцев, единомышленные и единодушные, мы вели одну общую работу, посещали вдвоем крестьян, стараясь расширить наши знакомства, и устраивали по вечерам чтения в тех размерах, в каких это было тогда возможно при том подозрительном отношении к нам, какое установилось со стороны волостного писаря, урядника, священника и помещичьей конторы графа Нессельроде [1]).

В марте 1879 года к нам в Вязьмино из Вольского уезда приехал наш товарищ Александр Константинович Соловьев, служивший, подобно Юрию Богдановичу и Писареву, волостным писарем в этом уезде. Он хотел сообщить нам о своем решении оставить место и вообще деревню, так как условия жизни среди крестьян показали ему полную невозможность революционной деятельности среди них. «Сломить, во что бы то ни стало, самодержавие—вот задача, за которую надо взяться»,—говорил он, «Только с устранением его будет расчищен путь для широкой работы в деревне». Убить царя и тем нанести первый удар царизму—вот что хочет совершить он. Мы и сами в то время были со всех сторон окружены сетями шпионства: школу сестры закрыли, крестьян подвергли допросам и аресту; из нас сделали пугало, крестьяне стали бояться посещать нас. А когда, после покушения Со-

---

[1]) Подробности см. в I т. собр. соч.

ловьева на Александра II (2 апреля 1879 г.) дознание раскрыло все прошлое Соловьева, то нам не оставалось ничего, как покинуть Петровский уезд и сделаться нелегальными. Осенью 1879 года мы обе стали членами народившейся партии «Народная Воля». Переехав в Петербург, сестра наняла комнату под фиктивным именем Побережской, а я поселилась с А. Квятковским на общественной квартире в Лештуковом переулке. Желание разделять с товарищами самые рискованные положения увлекли меня в Одессу для организации покушения на 11-й версте, в Гнилякове, под Одессой, но, чтобы сохранить штаб-квартиру «Исполнительного Комитета» «Народной Воли», я предложила пригласить Евгению Николаевну заменить меня в качестве хозяйки, что и было исполнено: она прописалась на этой квартире по тому же паспорту, по которому жила раньше. К несчастью, ни я, ни кто другой не подозревали, что имя Побережской известно кому-либо из посторонних и что сестра раздавала «Народную Волю», когда она выходила в свет. Это повело к непоправимому великому несчастью и стоило жизни Квятковскому и ссылки в Сибирь на поселение Евгении Николаевны. Незадолго до обрушившейся на них катастрофы, брат Николай, имевший разнообразные связи, передал матери, что ему сообщили, что полиция напала на след Евгении и что она учится пению, но неизвестно, в какой школе; с другой стороны, агент «Исполнительного Комитета» «Народной Воли» Клеточников принес предупреждение, что III отделение знает, что разыскиваемая Евгения Фигнер находится в Петербурге и учится в школе пения Руссо, но под какой фамилией— неизвестно. А сестра действительно возобновила уроки пения и под фамилией Побережской посещала эту школу. Мать, устроив свидание с Евгенией, настоятельно требовала, чтобы она ликвидировала дела и уезжала за границу, но Евгения Николаевна категорически отказалась от этого. Предупреждение Клеточникова пришло 23 ноября, а в 4 часа утра

24-го на квартиру Евгении Николаевны в Лештуковом переулке, д. 13, явилась полиция для производства обыска. Гроза эта пришла, однако, совсем с другой стороны. Сестра несколько раз давала революционные издания курсистке Богословской, с которой познакомилась, как Побережская. 23 ноября она передала ей свежий номер «Народной Воли», а Богословская дала его своему соседу по квартире Алмазову, который снес его в полицию [1]). Та явилась с обыском к Богословской, которая указала, что номер «Народной Воли» получила от Побережской.

Полиция, после справки в адресном столе, немедленно отправилась на квартиру Квятковского. У сестры в шкафу нашли банки с динамитом, номера «Народной Воли», запас типографской бумаги и пр. Тем временем Квятковский, в комнату которого полиция еще не входила, истреблял наиболее важные документы, но впопыхах план Зимнего дворца с крестом на царской столовой не сжег, а, скомкав, бросил или обронил на пол. Затем Квятковский вошел в комнату Евгении Николаевны и, несмотря на ее протесты, заявил, что динамит и прочие вещи, найденные у нее, принадлежат ему. Тогда присутствовавшие при находке динамита жандармы сделали обыск и у него, все бумажки были подобраны, и как сестра, так и Квятковский арестованы. На суде выяснилось, что до взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. жандармы не подозревали значения бумажки с планом, но после взрыва тотчас расшифровали смысл его и значение креста на нем [2]). Это определило судьбу Квятковского.

В октябре произошел суд по так называемому делу «16-ти». Это был первый процесс народовольцев; на нем дело шло о взрыве царского поезда под Москвой, в котором обви-

---

[1]) Виктор Алмазов—отставной рядовой лейб-гвардии саперного батальона.

[2]) См. обвинительный акт по процессу «16-ти», стр. 36 и 37 (Журнал «Русская Историческая Библиотека», № 3, 1906 год).

нялся Ширяев, о взрыве в Зимнем дворце, в чем уличался Квятковский, и о первой типографии «Народной Воли», арестованной в январе, при чем было оказано вооруженное сопротивление и взяты наши типографщики: Софья Андреевна Иванова (впоследствии Борейшо), Николай Бух, Цукерман и Грязнова.

Вероятно, в виду интереса новизны, судьи, по единодушным отзывам подсудимых, давали полный простор для выяснения мотивов их деятельности, а также целей и тактики новой партии.

В число 16-ти, кроме уже упомянутых, входили: Зунделевич, Кобылянский, Мартыновский, Пресняков, Зубковский, рабочие Тихонов и Окладский, сделавшийся после суда провокатором и служивший царскому правительству вплоть до революции 1917 года; Дриго, запятнавший себя корыстной изменой своему другу, богатому Лизогубу, Булич. Пять человек были приговорены к смертной казни, но казнены (в пределах Петропавловской крепости) двое: Квятковский и Пресняков, а Ширяев заключен в Алексеевский равелин, где и умер.

Евгения Николаевна получила лишение всех прав состояния и поселение в отдаленнейшие места Сибири. Она была отправлена в ссылку вместе с узниками, вышедшими из централов Харьковской губ. Это были: Дмоховский, Долгушин, Дм. Рогачев, Мышкин, Ковалик, Войнаральский, Сажин и др. Всего, вместе с административными, в партии было 46 чел.

В Иркутске, где в то время жила в ссылке сестра Лидия, Евгения Николаевна заболела в тюрьме сыпным тифом, а по выздоровлении ее отправили в Киренск, Иркутской губ., где она нашла Алексееву, осужденную в 1880 г. по делу о Херсонском банке, и трех рабочих; но через год колония ссыльних увеличилась: прибыли Джабадари, Цицианов, пять солдат равелинцев, сосланных по делу о сношениях Нечаева с «Исполнительным Комитетом» «Народной Воли» [1]).

[1]) Вишняков, Орехов, Терентьев, Дементьев и Петров.

В Киренске Евгения Николаевна встретилась с М. П. Сажиным и вышла за него замуж. Вскоре они переехали на Ленские золотые прииски, так как Михаил Петрович получил возможность занять там место. Потом жили в Балаганске, в Лиственичном и, наконец, переместились на Ниманские золотые промысла на притоке Амура—Бурее, после чего стали передвигаться на запад; жили в Тюмени, а после смерти Александра III вернулись в Европейскую Россию и поселились в Риге, вместе с 4 сыновьями, которые родились у них за время брака. Дальнейшим местопребыванием Е. Н. был Нижний. Здесь она стала принимать участие в работе о-ва распространения народного просвещения в Нижегородской губ., в нелегальном Красном Кресте, обслуживавшем политических заключенных местной тюрьмы, и в отделе о-ва помощи нуждающимся женщинам: «воскресные собрания», на которых производилось обучение грамоте, русскому языку, арифметике, немецкому языку, устроивались вечеринки, клубные собрания и т. д.

Подобного же рода деятельность Е. Н. продолжала с 1908 г. и в Петербурге. В то время на Петербургской стороне существовало просветительное о-во имени Некрасова, имевшее библиотеку для рабочих, в которой Е. Н. и работала вместе с О. К. Булановой (председательницей этого о-ва). После Февральской революции 17-го года Е. Н. вместе с Булановой, Стрелковой и некоторыми другими принимала участие в работе комитета помощи амнистированным, входила в состав группы, которая задавалась целью издавать листки для народа на жгучие тогда вопросы политического переустройства. Действительно, они выпустили 2—3 листка на эти темы, но в первой половине октября, после взятия немцами Риги, она уехала с мужем в Грозный к сыну, служившему на нефтяных промыслах, где и прожила более 2-х лет, совершенно отрезанная от Петербурга и всех родных. В Грозном ей пришлось пережить жестокую граждан-

скую войну, с пожарами нефтяных фонтанов, подожженных чеченцами, ведущими вековую борьбу с казаками, составляющими часть населения Грозного; испытать тревоги постоянных перестрелок, грабежей и быть свидетельницей полного разорения рабочих, оставшихся без крова. Только в июне 1920 года Сажиным удалось вырваться из этого пекла междоусобицы и, переехав в Москву, соединиться со мной.

Из трех сестер, как я для Евгении, так и она для меня была самой близкой. Обстоятельства складывались так, что ее жизнь и моя тесно переплетались друг с другом. Она вышла из гимназии, когда сестра Лидия была в тюрьме и пошла в ссылку, а сестре Ольге было всего 11 лет. Ее революционное и социалистическое развитие происходило на моих глазах, под моим влиянием и влиянием моих друзей. С 1876 года мои друзья были и ее друзьями, и в практику жизни революционера она вступала вместе со мной и с ними. В 1878 и 79 годах мы вместе жили в Вязьмине, и «сестрички», как нас звали крестьяне, сообща вели работу, и для нас обеих эта жизнь в деревне, где сестра была «золотой учительшей» и где мы чувствовали себя нужными и полезными, осталась навсегда лучшим воспоминанием.

Вместе мы жили и в Тамбове одновременно со многими землевольцами, собравшимися там перед Воронежским с'ездом. В то время, несмотря на разгром Саратова, над нашей дружной революционной компанией небо было ясно, никакая забота не тяготела над головой. То было нечто в роде отдохновения перед напряжением, которого потребовала деятельность «Народной Воли», и мы легко и весело проводили время в беседах на квартире гостеприимного и вполне сочувствовавшего нам Девеля и ездили на лодках по Цне в прекрасный сосновый бор, лежавший вдали от города на живописных берегах этой реки. Там, на просторе, голосовые средства Е. Н. могли развернуться, и ее пение приводило в неистовый восторг Попова, Николаева и других товарищей.

В Петербурге в 1879 году мы опять были связаны друг с другом по «Народной Воле», как это описано выше, а ее арест и приговор суда были одним из узлов тех нитей, которые соединяли нас. После многих лет разлуки, которые она провела в Сибири, а я была в Шлиссельбургской крепости, в 1906 г. именно ей пришлось обогреть меня в своей семье, когда департамент полиции разрешил мне из деревенской ссылки приехать в Нижний, а теперь после Грозного мы опять живем вместе.

Но я помню ее еще 3-летней малюткой в Христофоровке, когда все старшие за тяжеловесность звали ее *пудиком* и *свинцовым комочком*. Эту тяжеловесность я испытала, когда, наклонившись на мостках, на которых полоскали белье в пруду сада, она упала вниз головой в воду, и я, 9-летняя, вытащила эту маленькую утопленницу. А потом в 17 лет *пудик* превратился в высокую девушку, такую стройную, что, свидевшись с ней после Цюрихского университета, я называла ее пальмой, а о ее лице в тот период верное понятие дает прилагаемая фотография, снятая в 1877 году.

После суда в 1880 году, прервавшего нормальное течение ее жизни, Е. Н. написала мне письмо, которое сохранилось в копии, сделанной мной тогда же [1]). Я привожу его, как характеризующее духовный строй ее и настроение в этот серьезный момент.

«Милая, дорогая моя. Вот и решен вопрос жизни, а на душе стало еще пустее, еще тоскливее; ты, конечно, поймешь, что это тоскливое чувство является не вследствие безотрадности моего положения и судьбы; нет, во-первых, я ждала худшего, а во-вторых, я как-то апатично отношусь лично к себе; я даже считаю сожаление о себе, как нечто недостойное и позорное для меня, когда гибнет целый ряд дорогих и ценных для дела людей—вот что давит и гнетет

---

[1]) Письмо это получено через защитника.

в данную минуту, и в то же время, как гибнет и погибло столько людей, наше дело, можно сказать, не подвигается вперед. Ты, милая, вероятно осуждаешь меня, что я защищалась,—откровенно тебе скажу, что я в этом отношении тоже вступила в компромисс со своей совестью, но первоначальную мою решимость не защищаться поколебали советы товарищей, которые находили глупым с моей стороны отказываться от защиты, когда дело мое являлось наименее сложным и, следовательно, подавало большие надежды, чем кому-либо; конечно, тут примешивалось и личное желание пожить еще. На суде я тоже говорила, что если бы товарищи только пожелали для цельности процесса, чтобы я отказалась, то я это сделаю, но в нашем процессе, как и во всяком, не было полного единодушия, я не говорю уж про Дриго, Булича и Грязнову, но даже Зубковский, несмотря на всю очевидность той роли, которую он играл на воле, отказался даже от принадлежности вообще к партии и, вылезая из кожи, чтобы оправдать себя, только уронил свое достоинство. Моя защита, по крайней мере, строилась только на отрицании фактов по отношению моего участия в делах типографии [1]) и во всем остальном была похожа скорее на обвинительную речь, за что я не была нисколько в претензии—мое самолюбие от этого не пострадало, и иной речи я не позволила бы сказать. Ваше же послание слишком поздно пришло в этом отношении. Но все-таки мне кажется, что наш процесс по своей цельности должен произвести благоприятное впечатление на общество и даже должен поднять нашу партию в глазах его. Квятковский, Ширяев, Зунделевич держали себя прекрасно и представляются в деле высоко стоящими по нравственному и умственному своему складу. Отдам честь Мойше [2])—я им просто любовалась, так он мило

---

[1]) Сестра действительно не имела к типографии никакого отношения.

[2]) Зунделевичу, А. И.

себя держал; между прочим, не в похвалу будь сказано, мы, кажется, обоюдно получили симпатии друг к другу. В доставленных сведениях ты сама узнаешь постановку программы и вообще сущность всех заявлений и раз'яснений, так что об этом говорить не буду. Что тебе сказать о себе? Не могу очнуться от всего перечувствованного за это время, в голове какой-то хаос. Как бы я желала повидаться с тобой, но об этом можно только помечтать, да и увидимся ли мы вообще когда-нибудь? Я боюсь, что меня сошлют в Якутскую область. Вот уже год истекает, как я в тюрьме, а для меня он какой-то один бесконечно долгий день, так что, если бы я теперь очутилась на воле, то для меня этого года не существовало бы в жизни, а как хочется на волю-то, если бы ты только знала, и это желание обостряется еще свиданиями, после которых тюрьма еще ненавистнее,—да, дорогая моя, верно, судьба такая моя, что приходится сойти со сцены, не успев ничем быть полезной. Да, впрочем, и могу ли я быть чем-нибудь полезной? Продолжительный анализ над собой потряс веру в свои силы, слишком обдал меня холодной водой, но это не значит, что поколебалась моя вера в дело, чтоб я когда-нибудь изменила своим убеждениям, я хочу верить, терпеть, не отчаиваться и надеяться до конца, так как в этом суть жизни, а я хочу жить... Я смеюсь, что мы идем кресчендо: Лида—на житье, я—на поселение, а мисс Джек-Блек [1]) угодит на каторгу, но да сохранит ее бог подольше от такой напасти—слишком тяжело расставаться с волей. Воображаю ужас петровцев [2]), когда они прочтут, что вблизи их находилась такая язва, ха! Ну, прощай, моя дорогая, только тебя и мать жаль мне очень будет, когда придется покидать. Напиши мне, голубка; твое

---

[1]) Мое семейное шутливое прозвище.

[2]) Сестра говорит о знакомых г. Петровска, в уезде которого мы жили.

письмо для меня будет большой отрадой. Я и раньше ждала от тебя, но ты почему-то забыла меня. Передай от меня всем привет и поцелуй. Крепко, крепко тебя обнимаю и целую».

Афанасий Афанасьевич Спандони.

Афанасий Афанасьевич Спандони-Басманджи (род. в 1854 г.) по происхождению со стороны отца был грек, а по социальному положению—сын купца, но по образу жизни и убеждению не имел ничего общего со средой, в которой родился. Он провел всю свою жизнь в самых скудных материальных условиях в двух административных ссылках, на каторге и в ссыльном поселении. С некрасивым, совсем нерусским лицом, Спандони с малых лет отличался болезненностью, имел хилый, не по годам старческий вид и в зрелом возрасте казался вместилищем множества болезней, почему, кроме первоначального прозвища «Грек», назывался в товарищеском кругу «Кащеем». Можно удивляться, каким образом при организме от роду слабом, пораженном преждевременным истощением и какой-то дряхлостью, он все же прожил 52 года в условиях, самых неблагоприятных и материально и морально.

Воспитывался Спандони в своем родном городе—Одессе, в частной гимназии, но по болезни ее не окончил. По свидетельству своего товарища по ссылке Геккера, был некоторое время вольнослушателем Одесского университета и с 20 лет вращался в революционных кружках местной молодежи.

В 1878 г., когда судили Ковальского и у здания суда после приговора к смертной казни произошла демонстрация, Спандони, близкий к участникам процесса, был арестован и выслан административно в Великий Устюг. Он пробыл там недолго, но, возвращенный в Одессу, был привлечен к дозна-

нию об образовании в 1878 г. в Одессе «революционного сообщества», во главе которого стоял Сергей Чубаров, впоследствии казненный. Так говорит официальный документ. По жандармским сведениям, кружок, составлявший «сообщество», был известен под названием «башенцев» от местожительства одного из членов в башне дома Новикова, и к нему принадлежали Попко, Волошенко, Кравцов (впоследствии все осужденные), а с Лизогубом Спандони находился в переписке. В Одессе, среди революционной молодежи, действительно, были «башенцы», жившие и часто собиравшиеся в квартире, находившейся в башне дома Новикова за Строгановским мостом. Но то, что жандармы называют «сообществом», не было организацией, как это понимается в революционных кругах; скорее это была одна из тех квартир, которые назывались в те времена «толкучкой», куда невозбранно заходили различные молодые люди посидеть и поговорить на революционные темы. Формальное дознание не дало улик против Спандони, с ним расправились административным порядком и отправили во второй раз в ссылку, на этот раз в Восточную Сибирь. Дело происходило при одесском генерал-губернаторе Тотлебене. Спандони водворили в Верхоленске, холоднейшей глуши холодного, глухого края. Однако, уже в январе 1881 г., благодаря отзыву преемника Тотлебена, врем. одесск. ген.-губер. Дрентельна, о необоснованности этой высылки, Спандони был возвращен в Европейскую Россию, но с запрещением жить в столице, столичных губерниях и в родном городе его—любимой Одессе. Он поселился в Киеве. Тут я и познакомилась с ним, когда приезжала из Харькова в 1882 г., чтоб составить себе понятие о местной киевской группе партии «Народная Воля». Спандони тогда уже был горячим приверженцем нашей партии и состоял членом киевской группы вместе с А. Бахом, Софьей Никитиной и др. (см. мой «Запечатленный Труд», ч. 1). А. Н. Баха я в тот период не видала, а из остальных Спан-

дони обратил на себя мое внимание, как наиболее солидный по возрасту и революционному опыту. В то время я искала людей, которые могли бы восполнить центр партии, и пригласила Спандони оставить Киев и отдаться упорядочению общих дел организации. На это он дал согласие и с той поры действовал в полном согласии со мной и в Киев уж не возвращался.

Спандони, как я знала, был человек серьезный и немногословный, и впоследствии я с удивлением узнала, что на каторге он был великим спорщиком и полемистом, яростно защищавшим идеи «Народной Воли» в прениях с противниками, и часто сам вызывал споры, хотя они тяжело отзывались на его нервной системе. Что Спандони умел внушать доверие к себе и заслуживал его, показывает факт, что, когда он вышел на поселение и познакомился с Евгенией Дм. Субботиной, то она отдала в его распоряжение восемь тысяч рублей на революционное дело—последние деньги, которые оставались у нее от очень большого состояния, которое имела ее семья и большая часть которого была употреблена на социалистическую деятельность т. н. Московской организации («фричи» и «кавказцы»), судившейся в 1877 г. по процессу «50-ти» (Петр Алексеев, Бардина, Л. Фигнер, 3 сестры Субботины, 2 Любатович и др.). Эти деньги Спандони по получении их в 1882 г. передал мне в самый трудный период нашей деятельности, когда мы совершенно не имели денежных средств.

Вместе со мной и Сергеем Дегаевым Спандони участвовал в обсуждении того, как быть с переговорами, которые граф Воронцов-Дашков начал с литератором Николадзе о том, чтобы заключить перемирие с «Народной Волей», предложив ей воздержаться до коронации Александра III от террористических актов, с обязательством правительства дать при коронации политическую амнистию и «свободу социалистической пропаганды», а в залог верности обещав

выпустить того, кого пожелает партия [1]). Когда же был поднят вопрос об устройстве типографии в Одессе и сообща было решено, что хозяевами ее будут супруги Дегаевы, а работниками—Суровцев и Калюжная, то на Спандони выпала роль посредствующего звена между типографией и внешним миром.

Типография была основана, но просуществовала лишь один месяц. 18 декабря 1882 г. она и причастные к ней были арестованы по причине, которая так и осталась невыясненной. Арестовали и Спандони несколько недель спустя—10 января 1883 г., вероятно, это было первым следствием предательства Дегаева и оговора его жены, давшей откровенные показания.

Год и девять месяцев прошли до 24 сентября 1884 г., когда начался суд над 14 народовольцами; в числе их был и Спандони и я. На суде Спандони не выступал и прошел незаметно. Он был осужден на 15 лет каторги и отбывал ее сначала на Каре, а потом в Акатуе.

В апреле 1891 г. его срок был сокращен на одну треть, и в конце года он вышел в вольную команду, а в 1893 году—на поселение.

Срок ссылки кончился в 1902 году. Спандони вернулся в Европейскую Россию, но жить в любимой, родной Одессе с ее солнцем, морем и шумной уличной жизнью ему не было разрешено; он поселился в Кишиневе, и только по ходатайству брата, в целях лечения, ему дозволено временное пребывание в Одессе. Можно подумать, что надолго? Ничуть не бывало. В 1905 г. произошло восстание на «Потемкине», и, как лицо, бывшее на полицейском учете, он был заподозрен в прикосновенности к этому делу и подвергся новой

---

[1] С этим предложением 15 октября 1882 г. ко мне в Харьков приезжал Н. К. Михайловский, и я направила это дело за границу (См. I т. собр. соч.).

высылке, на этот раз в Вологду. Оттуда его освободил октябрьский манифест—революция, которую Спандони приветствовал со всей горячностью революционного чувства. Он опять очутился в Одессе, среди ликующей природы и ликующей товарищеской братии. Но здоровье его, всегда плохое, было в то время уже из рук вон плохо. Его мучила грудная жаба, а материальные условия не давали ни покоя, ни хорошего питания, ни возможности лечиться. Надо было зарабатывать кусок хлеба — скудный кусок за работу в душной канцелярии ради нищенских 30 р. в месяц. И день-деньской он корпел за работой, не досыпая по утрам, для аккуратного выполнения служебных обязанностей. У Спандони не было собственной семьи, а родственники были людьми совершенно чуждыми ему по интересам и взглядам. Он жил не у них, а в неуютных меблированных комнатах. Сдержанный, он не говорил о своих отношениях к родным и не ронял слов о скверных условиях своей жизни в той переписке, которую поспешил начать тотчас после моего освобождения из Шлиссельбурга. Эта переписка продолжалась до его смерти в октябре 1906 г., но, к сожалению, его письма ко мне не сохранились, да, пожалуй, не дали бы большого материала для характеристики, так скуп он был в сообщениях о себе.

Чувство товарищества было в высшей степени развито в Спандони. Быть может, отчуждение от близких по крови делало его особенно чутким и привязчивым к товарищам по революции. Только среди них он чувствовал себя легко и свободно: он не выносил ни одиночества, ни общества людей, с которыми не был связан идейно. Геккер и его жена окружали его попечением в последнее время жизни, и теплый некролог, написанный этим товарищем, свидетельствует о чувствах его к умершему. С признательностью вспоминаю я внимание и любовь, которые он проявил в стремлении увидаться со мной после нашей многолетней разлуки. Но обстоя-

тельства не позволили произойти нашему свиданию: он умер, не увидав той, с которой его соединяло революционное прошлое, которым он дорожил.

Портреты народовольцев.

Насколько похожи на свои оригиналы помещенные в «Былом» за 1906—07 г.г. портреты народовольцев, с которыми я жила, встречалась и состояла в организации?

Первый портрет, о котором следует говорить, конечно, будет портрет *С. Л. Перовской.*

Этот портрет (помещен в «Былом» за март 1906 г.) отличается выдающимся сходством, и это единственный портрет в мире, который волнует меня каждый раз, когда я его вижу. Целый ряд воспоминаний сейчас же пробуждается в памяти, воспоминаний грустных и тяжелых, потому что, прежде всего, вспоминаются последние дни ее на свободе—мартовские дни «Народной Воли»...

Лицо Софьи Львовны отличалось необычайной простотой и чрезвычайной привлекательностью. Когда она была в рубашке, какие носят крестьянки, то казалась настоящей деревенской девушкой. Такой показалась она мне в первый раз, который почему-то кажется мне чуть ли не первой встречей с ней, когда она ночевала у нас в семье в 1877 г. в Петербурге, на Прядильной.

Портрет вполне передает ее моложавое лицо, в котором было что-то детское, передает и чуть заметную складку около губ, которая мне кажется выражением настойчивости и упорства, а, может быть, и детского каприза. Не видно только ее белой кожи и разлитого розового цвета щек, характерного для блондинки.

Доброта сквозила из всех черт ее лица, и когда она говорила и улыбалась,—каждого невольно влекло к ней.

За все время знакомства она почти не изменилась: годы, казалось, проходили для ее наружности бесследно; только в последнюю зиму часто можно было подметить выражение скорби на миловидных чертах ее кругленького личика.

Во время процесса 1-го марта рассказывали, что присяжный поверенный Спасович все время рисовал портрет *Желябова,* и когда я развернула мартовскую книжку «Былого» за 1906 г. и увидала помещенный там набросок, якобы изображающий Андрея Ивановича, то мне сейчас же пришло в голову, что это тот самый «портрет», который рисовал Спасович. Спешу сейчас же заявить, что с действительной наружностью Желябова он не имеет ничего общего.

Вы видите довольно худощавое, вытянутое сверху вниз лицо, на котором бросаются в глаза приподнятые кверху брови и обнаженные зубы. Всякий, кто видал старинного письма иконы и гравюры, изображающие божьих угодников и старообрядческих начетчиков, тотчас же признает в нем этот тип аскета и фанатика, поборовшего плоть... Ничего подобного не было в Желябове, и если бы, указывая на этот портрет, меня просто спросили, кого он мне напоминает, я никогда бы не назвала имени моего товарища по «Исполнительному Комитету».

Андрей Иванович имел атлетическую фигуру, прекрасно сложенную, а его голова была красивой головой типичного русского крестьянина. Общее выражение всей фигуры и лица была мощь, энергия и сила воли. Серые глаза имели выражение смелости, а когда он шутил в товарищеской компании, они сыпали искры добродушного лукавства и насмешливости. Темная, окладистая борода лопатой обрамляла довольно широкое лицо с смуглым румянцем. Когда он смеялся, все зубы, ослепительно белые, ровные, не очень крупные, совершенно обнажались, и каждый мог полюбоваться ими.

Когда он являлся оратором и произносил речь, то зачастую его брови были приподняты, и, на мой взгляд, это портило его.

Жизнерадостность была отличительным свойством Желябова. Это был здоровый, крепкий и вполне нормальный организм. Ни одна нота надломленности не звучала в нем. Иногда он способен был дурачиться и шалить, как ребенок, и бесконечной бодростью и энергией звучало каждое его слово, то же выражало и каждое его движение. Черты его лица были правильны и гармонировали с общим характером его телосложения. Если бы он дожил до преклонных лет, он, наверное, до конца остался бы красавцем, так как подобная наружность с годами обыкновенно мало изменяется: в ней все было определено и закончено.

Когда он выходил на улицу, то зимой носил длинное пальто и шапку и держал грудь колесом. Мы смеялись, что он в этом виде очень походит на купца. Настоящее русское лицо делало его на улице довольно незаметным, в комнатах же его личность обратила бы на себя внимание каждого. Но в ней не было решительно ничего утонченного: как было уже сказано, это был прекрасный мужик, переработанный образованием и культурой.

После процесса 1-го марта тщетно искали мы где-нибудь и у кого-нибудь его фотографию: таковой решительно не оказывалось. Указали только на гимназический портрет (см. «Былое», август 1906 г.), и один художних должен был приделать к нему бороду, чтобы напомнить Желябова зрелого возраста. К счастью, это предприятие не было выполнено. Этот портрет заключает лишь отдаленный намек на нашего лидера 1879—81 г.г. и, надо заметить, напоминает его гораздо больше, чем портрет времен студенчества, помещенный в августовской книжке «Былого» за тот же год [1]).

---

[1]) После революции 1917 г. в «Былом» (1924) был помещен набросок художника Маковского, переданный в редакцию писатель-

Если когда-нибудь стоило с досадой отбросить от себя книгу, так именно мартовскую книгу «Былого» (1906 г.) за помещенные там потреты Н. И. Кибальчича и Геси Гельфман.

С *Кибальчичем* я жила в Одессе, в 1879 г., на общей квартире, и постоянно видалась в Петербурге, вплоть до его ареста в марте 1881 г., и положительно поражена была, увидав лицо, которое почтенный журнал выдал за Кибальчича. Я прямо отрицаю, чтобы это был Николай Иванович, — такого Кибальчича, если он когда-либо был таким, — я не знавала.

Начать с того, что напечатанный портрет имеет продолговатые, резкие черты, и Николай Иванович кажется на нем брюнетом. На деле же он был шатеном, и все черты его лица отличались мягкостью. Таково же было и общее выражение лица. Довольно жидкая борода его во время нашего знакомства обыкновенно не была выбрита на щеках, как передает портрет. Словом, ни отдельные черты, ни общее выражение лица не напоминают мне лица знаменитого техника «Исполнительного Комитета».

Что касается *Геси Гельфман,* то это просто профанация знакомить с нею публику по достойному коллекций Лом-

---

ницей Летковой с ее интересной заметкой о происхождении наброска, сделанного автором его в записной книжке во время суда над первомартовцами. Маковский был настроен неприязненно к судившимся и, несмотря на это, по словам Летковой, он набросал Желябова героем, а судей—жалкими фигурами.

Действительно, набросок великолепен, как художественное изображение, и оставляет незабываемое впечатление. Но это Желябов—мученик, в минуты глубочайшего страдания. Таким мы его не видали, не знали. Однако, по моему суждению, это *Желябов*— но Желябов, преображенный проникновением великого мастера.

Совершенно иного характера прекрасный бюст из дерева, созданный скульптором С. Д. Королевым в новейшее время. Этот, в своем роде, chef d'oeuvre, находится в Музее революции, в Москве. Такого Желябова мы знали. Это—трибун, зовущий на борьбу за свободу, вождь, делающий вызов угнетателям... Настоящий волевой тип, каким был в действительности Желябов.

брозо «преступному типу», который лежит перед нами на 192 стр. журнала «Былое» (март, 1906 г.).

Крошечного роста, с миниатюрными ручками, Геся Гельфман имела и миниатюрные черты лица. Но ее лицо, не бывши красивым, никогда не было грубым, одутловатым, каким мы его видим тут. Никогда у нее не было и тупого выражения лица. Ее лицо дышало добродушием, приветливостью и всегда улыбалось: оно было положительно симпатично, и еще более привлекал к Гесе тонкий и звонкий голосок ее.

Другой портрет Геси Гельфман в июньской книжке «Былого» за 1906 год, повторенный в «Первом женском календаре» г-жи Ариан 1907 г., гораздо более удачен. Он относится, повидимому, к периоду до суда «50-ти», происходившего в 1877 году, когда Геся была моложе и имела более буржуазный вид. В позднейшие годы, когда она отбыла срок наказания в рабочем доме (в Литовском замке) и бежала из Старой Руссы, куда была сослана, она уже не носила прически, которую мы видим на этом портрете. На последнем—ее волосы в сетке, спускающейся довольно низко, и костюм более изыскан, чем та демократическая одежда, которая была свойственна народовольцам. В общем портрет похож на оригинал: несомненно, это Геся, но только Геся—хорошо причесанная и нарядная.

Портрет *Александра Михайлова* помещен в февральской книжке «Былого» 1906 г. Этот «хозяин» нашей организации, бдительное и суровое око, непрестанно оберегавшее безопасность извне и дух дисциплины внутри ее, был бы на портрете передан удачно, если бы не та деланная поза, которую придал ему фотограф. Так и видишь, что последний собственными руками повернул эту голову вверх и вбок и сказал: «сидите неподвижно». Эта неестественность портит все... Лихо закрученные усы на первый взгляд поражают неприятно, но, надо сказать, что, занимаясь опасными делами, Ми-

хайлов, действительно, придавал своей наружности фатовской оттенок. Когда он жил в Саратовской губернии, в с. Синеньких, среди раскольников в качестве учителя, ежедневно переходившего из одного дома в другой для очередного питания, его облик был обликом самого обыкновенного крестьянина или «дворника», как мы все тогда его звали.

Большие, серые, *влажные* глаза Александра Михайлова были полны жизни и ума и напоминали волны моря. Это были в своем роде единственные глаза, которых нельзя было забыть, раз увидавши. Русые волосы немного волнились над высоким лбом, а усы и борода носили чуть-чуть рыжеватый оттенок. Когда из «дворников» он превратился в барина, то костюм и закручивание усов совершенно изменили его простое и скромное лицо, и было довольно курьезно видеть этого метаморфозированного денди. Но глаза остались те же и для друзей заслоняли остальное. Красота и выразительность этих глаз переданы на портрете лишь отчасти. В общем, это все же не живой портрет Александра Дмитриевича: в нем нет обычного для Александра Дмитриевича одушевления и блеска жизни [1]).

Товарищем детства Александра Дмитриевича и другом в жизни был *А. И. Баранников,* портрет которого мы видим в июньской книжке «Былого» за 1906 г. Этот портрет похож на оригинал, но далеко не передает действительного образа Баранникова. Он имел фигуру, выдающуюся по своей стройности и красоте, и отличался большой физической силой и цветущим здоровьем, которые быстро сломились в Алексеев-

---

[1]) Портрет А. Михайлова в шубе снят в 1924 г. с экземпляра, хранящегося в Ленинградском музее революции. Лицо у него такое мрачное, что для нас, знавших его, больно смотреть на него. Он снят после ареста, и этим об'ясняется, почему у него такое выражение. Но портрет похож и много говорит.

ском равелине, где он умер от цынги. Его красивое лицо, смуглое, матовое, без малейшего румянца, волосы цвета воронова крыла и черные глаза делали его непохожим на русского: его можно было легко принять за «восточного человека», всего более—за кавказца, каким он и был по матери. Выражение его лица было мрачным, что еще более усиливалось обычной молчаливостью его. Иногда случалось, что «Исполнительный Комитет» назначал для переговоров с кем-нибудь Желябова вместе с Баранниковым. Тогда в шутку мы говорили, что Желябов назначается для того, чтобы говорить, а Баранников—чтобы устрашать. Баранников был одним из самых энергичных и пылких террористов. Его фигура и мрачное лицо вполне гармонировали с решительностью его убеждений, и если бы нужно было дать физическое воплощение террору, то нельзя было сделать лучшего выбора, как взяв образ Баранникова. По смелости и отваге это был настоящий герой: если кого-нибудь можно назвать ангелом мести, так именно его. Впечатление, которое он производил, было всегда громадно. Таково оно было и на суде. По крайней мере, относительно Спасовича передавали, что на него глубокое впечатление произвел именно Баранников. Его счастливая наружность обеспечивала ему большой успех среди женщин, и в некоторых он вызывал настоящее поклонение. Но и все вообще к нему относились с нежностью и любовью.

Смерть этого могучего по своему сложению человека еще в равелине чрезвычайно поразила меня. Я никак не могла помириться с тем, что именно он, при его молодости, силе и здоровье, мог сойти в могилу, когда гораздо более слабые пережили первый период заключения до Шлиссельбурга. Стихотворение, написанное мною в Шлиссельбурге в честь его, хоть немного, но все же рисует этого далеко не обыкновенного человека, прекрасного как физически, так и духовно.

На смерть Баранникова.

Зачах ты в страданьях неволи,
Прекрасный, отважный герой.
Заслуживал лучшей ты доли,—
Мечтал ты о смерти иной.
Тебя в равелине сокрыли,
Сочли неудобным казнить,—
Но жизнь лишь затем пощадили,
Чтоб медленной пыткой убить.
С душою отважной и страстной
Для бурь ты был создан и гроз.
Погибнуть на битве опасной
Мечту ты в могилу унес.
Ты не был апостолом слова,
Героем болтливой толпы...
С душою закала иного
Искал ты и жаждал борьбы.
Поклонник свободы и чести
В стране миллионов рабов,
Казался ты ангелом мести,
Вождем непокорных духов.
С прекрасным лицом, горделивым,
С рукой, поднятою на месть,
Вперед ты стремился с призывом:—
Свобода!.. Свобода иль смерть...

Другим выдающимся человеком, не дожившим до перевода в Шлиссельбург, был *Н. Колоткевич,* портрет которого помещен в январской книжке «Былого» 1907 г. Портрет, несомненно, хорош, но Колоткевич на нем красивее, чем был в действительности. Его чрезвычайно красила роскошная борода, но, надо сказать, что на Воронежском с'езде, где я в первый раз встретила его, она была пробрита на подбородке, и это делало его физиономию положительно ужасной. Традиционный взгляд, что шпионы должны иметь отвратительную наружность, заставил меня в изумлении остано-

виться перед лицом этого чудного товарища и человека. Я смотрела на это лицо положительно с недоверием и подозрительностью: на улице я приняла бы его непременно за шпиона. А между тем, привыкнув, я находила это лицо симпатичным. Оно было чрезвычайно выразительно, нельзя было пройти мимо него и не заметить. Прежде всего, бросался в глаза лоб, открытый и необыкновенно развитой, с большими буграми; потом серые глаза, серьезные, суровые: на портрете эти глаза смотрят прямо и спокойно, обыкновенно же они смотрели исподлобья. Громадная черная борода при этом лбе и глазах делала его физиономию крайне резкой и поразительной по своей угрюмой мрачности... При ближайшем знакомстве оказывалось полнейшее несоответствие между суровой внешностью и нежной и гуманной душой Колоткевича. В воспоминаниях Поливанова о равелине довольно ярко рисуется трогательный образ этого чуткого, чистого человека. Общение с ним было истинным наслаждением, и это общение совершенно изменяло первоначальное впечатление. Его внешность обнаруживала лишь одну сторону его натуры — энергию и мужественную твердость, а вся доброта и деликатность были скрыты под холодной и мрачной оболочкой. Случайно эта двойственность отразилась и в шутливых прозвищах, которые ему были даны. Играя словами и намекая на его мрачность, мы называли его Угрюм-Бурчеевым и Змеем-Горынычем, а, с другой стороны, за свои огромные усы он носил ласкательное — Кот-Мурлыка.

Перейду к портрету *Н. Е. Суханова* (см. январскую книжку «Былого», 1906 г.). Портрет рисует его с самой невыгодной стороны: измученным, худым, с глубокой скорбной складкой около губ... Между тем, наружность Суханова была красива и в высшей степени обаятельна. Очень высокий, стройный, в шитом золотом мундире моряка, с белокурой

головой, юношеским цветом лица и оживленными, серыми глазами, он выглядел мужественным красавцем. Но это была красота, проявлявшаяся во всем блеске, главным образом, в беседе: твердый и звучавший неуклонной прямотой и искренностью голос, жесты, энергичные и всегда удачно подчеркивавшие те или иные места его речи, пленяли слушателя. Фигура Суханова и его энергичное лицо чудно гармонировали со всем, что он говорил и делал. Это был один из самых привлекательных людей, которых я когда-либо встречала. Уже первое впечатление, первый взгляд, брошенный на него, располагал к нему, и при дальнейшем знакомстве чувство симпатии и уважения к Суханову только росло и укреплялось. Но он обладал одной из тех подвижных физиономий, передать которые никакая фотография не в силах, — бумага не запечатлевает жизни, неуловимой игры чувства и мысли таких лиц. На портрете Суханов производит болезненное впечатление: он кажется таким нездоровым, таким утомленным... Хотелось бы знать, к какому периоду относится эта карточка. Быть может, он снят уже в тюрьме, где с первого же дня знал, что его ожидает. Во всяком случае, это не тот энергичный и полный одушевления Суханов, который в кружке моряков, стоя среди сотоварищей в Кронштадте, подчинял себе окружающих, одушевлял сходку и на чей-то вопрос о правах и обязанностях члена партии «Народной Воли» отвечал, энергичным жестом поднимая и опуская руку, как-будто бросал что-то: «Бомба — вот ваше право... Бомба — вот ваша обязанность»...

Одним из выдающихся по своему интересу портретов является портрет *Ю. Н. Богдановича,* этого бывшего владельца магазина сыров на М. Садовой, умершего в 1888 г. в Шлиссельбурге. Этот портрет и очень похож, и очень не похож. Дело в том, что черты лица и доброе, мягкое выра-

жение лица запечатлены фотографией верно; но, если судить по портрету, Богданович был красив. На деле же этого не было, и он сам добродушно указывал на это качество своего портрета. На карточке он вышел брюнетом, в действительности его волосы были светложелтые, окладистая борода — светлорыжей, а цвет лица—красноватый. В общем, на фотографии наружность Богдановича—барская, между тем, это было совершенно простое, демократическое лицо и как нельзя более подходило к принятой им в 1881 г. роли торговца. Это лицо, вместе с находчивостью и необыкновенным уменьем держаться и говорить по-простонародному, послужило главной причиной, почему на его долю выпала эта важная и трудная роль. По отзыву очевидцев, в качестве хозяина магазина, за стойкой, он в своем белом фартуке был восхитителен: настоящий, типичный торговый человек.

Не отличаясь красотой, наружность Ю. Богдановича была в высшей степени симпатичной. Она привлекала своим мягким и добрым выражением. Его обращение было полно простоты, очаровательной задушевности, а речь полна тонкого юмора. Задушевность была главной отличительной чертой его характера. Его голос был глубоким басом, мягким и глубоким, вполне гармонировавшим со всем его духовным обликом. Колоткевич, Суханов и Богданович были, на мой взгляд, людьми самыми выдающимися по своей нравственной чистоте, людьми—совершенно идеальными... и это придавало им особое, чарующее обаяние. При встрече с ними чувствовался, как мне кажется, не столько деятель, сколько чудный человек. По крайней мере, таково было впечатление, которое все трое производили на меня. Из всех хороших людей, которых я имела счастье встречать, эти трое были самыми лучшими.

Понятно, что портрет Ю. Богдановича не может удовлетворить меня. Он мне лишь напоминает его, но и за это можно быть благодарным.

СТАТЬИ

Из политической жизни 80-х годов [1]).

В начале 1912 г. появилась книга В. Я. Богучарского: *«Из истории политической борьбы 70-х и 80-х годов XIX века. Партия народной воли, ее происхождение, судьбы и гибель».*

Эта книга, уже вызвавшая некоторый отклик в литературе [2]), требовала бы тщательного просмотра и поправок со стороны оставшихся в живых народовольцев. Но я не задаюсь этим и обращаюсь к той части книги В. Я. Богучарского, которая посвящена тому, что известно в публике под названием переговоров правительства с «Исполнительным Комитетом» партии «Народная Воля» в 1882 г.

Еще в 1906 и 1907 г.г. в журнале «Былое» печатался ряд воспоминаний разных лиц, так или иначе причастных к этим переговорам. Писали: Николадзе, Бороздин; была перепечатана посмертная записка Н. К. Михайловского, и т. д.

Под впечатлением этих статей и желая зафиксировать собственные воспоминания, я тогда же, в конце 1907 г., записала то, что знала сама об этом. Дело в том, что, как указывают эти авторы, осенью 1882 г. Н. К. Михайловский приезжал ко мне в Харьков, как к единственному члену

---

[1]) «Рус. Богатство», № 11.

[2]) См. рецензию в январской кн. 1912 г. в «Рус. Бог.»; «Совр. Мир», кн. V, ст. Плеханова; брошюру Кистяковского: «Страницы прошлого». М., 1912 г.

«Исполнительного Комитета», оставшемуся тогда на свободе в России. И приезжал он именно с тем, чтобы передать предложения, которые, по его выражению, делало правительство через Николадзе партии «Народная Воля».

О свидании Н. К. Михайловского со мной я и хочу рассказать в 1912-м г., потому что в книге Богучарского повторяются те же версии, которые заставили меня еще в 1907-м г. записать то, что совершенно отчетливо сохранилось у меня в памяти. Я считаю это тем более необходимым, что в заметке Михайловского наша деловая беседа передана кратко, бледно, местами неверно и без того определенного характера, который она носила. Некоторые интересные подробности ее совсем опущены: об одних он мог совсем забыть, а о других, быть может, находил неудобным писать. Что же касается рассказа Николадзе, перепечатанного теперь в книге В. Я. Богучарского, то он находится в полном противоречии с тем, что 30 лет тому назад мне передал Н. К. Михайловский, со слов того же Николадзе. В этом может убедиться всякий, кто сравнит соответствующие места в моем рассказе и в передаче Николадзе (см. в особенности стр. 355, 356 соч. Богучарского).

Ниже я переписываю свою прежнюю статью, без внесения в нее каких-либо изменений, кроме тех, которые вызваны появлением упомянутой книги, тщательно отмечая то, что мне лично известно по данному делу. Находясь в Шлиссельбурге, я в течение более чем 15 лет не имела возможности говорить с кем-либо на эту тему, а в последующие 5 я слышала кое-что от товарища по заключению С. А. Иванова. О первой стадии переговоров, происходивших в России, и о которых я намерена рассказать теперь, он ровно ничего не знал, зато мог рассказать мне о второй стадии, имевшей место за границей.

Тут я услыхала немало для меня нового и некоторым подробностям с трудом могла поверить. Так, напр., он рас-

сказывал о миллионе не то франков, не то рублей, которые *правительство будто бы должно было дать революционной партии «Народной Воли» в случае успеха переговоров о прекращении террора.* Так передавал С. А. Иванов, так и говорится в записке, написанной им по моей просьбе в 1907 г.

Николадзе совсем не упоминает о миллионе [1]), а Бороздин говорит [2]), что, по предложению Тихомирова, этот миллион, положенный в банк, *должен был играть роль залога по выполнению правительством тех обязательств, которые оно на себя принимало, и в случае неисполнения—перейти в руки Исполнительного Комитета.*

Рассказы С. А. Иванова имели своим источником его беседы с Л. Тихомировым и М. Ошаниной-Оловенниковой, когда в 1885 г., т. е. 3 года спустя после событий, он попал за границу.

Нечего и говорить, что ни о каких миллионах *в России* речи не было, и я думаю, что, выплыви они на сцену, Николай Константинович даже не взялся бы передавать мне обо всем деле.

---

15 октября 1882 г. Н. К. Михайловский приехал в Харьков и через книжный магазин Кончаловского разыскал меня. Встретившись, мы отправились в какой-то ресторан, и там в отдельной комнате, где можно было свободно говорить, он сказал, что, под предлогом устройства своих литературных дел, приехал специально ко мне *по очень серьезному, важному делу.* Он рассказал, что к нему явился Николадзе и передал следующее: одно *весьма высокопоставленное лицо, по своему характеру* заслуживающее *полного доверия,* просило его (Николадзе) быть посредником между правительством и партией «Народная Воля» и войти в переговоры с «Исполнительным Комитетом» партии с целью заключить перемирие...

---

[1]) «Былое», сентябрь, 1906 г.

[2]) «Былое», октябрь, 1907 г.

Моя уверенность в Н. К. Михайловском была так велика, что—раз он не назвал мне высокопоставленное лицо, я не сочла возможным спрашивать имя. Я спросила только, известно ли *ему* это имя, и вполне ли данное лицо заслуживает доверия? Ответ был дан утвердительный.

Только в Шлиссельбурге от С. А. Иванова я узнала, что это был министр двора граф Воронцов-Дашков.

«Правительство,—так со слов Николадзе передавал Михайловский речь министра,—утомлено борьбой с «Народной Волей» и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены, и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозою революционного террора. Не что другое, а только террор является тормозом для осуществления благих намерений правительства... Прекратится террор—и реформы будут произведены. Итак, все дело заключается в том, чтобы партия «Народная Воля» прекратила свои разрушительные акты. *Правительство* предлагает *Исполнительному Комитету партии приостановить свою террористическую деятельность до коронации. И в таком случае при коронации будет издан манифест, который даст:*

1) *полную политическую амнистию,*

2) *свободу печати,*

3) *свободу мирной социалистической пропаганды*».

По моим воспоминаниям, относительно прекращения террора «Исполнительный Комитет» должен был дать лишь словесное обещание. Но покойный Спандони [1]), которого, как и Дегаева, я посвятила потом в это дело, на мой запрос о том, что помнит он о приезде Н. К. Михайловского, в сохранившемся у меня письме от 26 марта ответил: «Исполнительный Комитет должен был выпустить прокламацию, в которой об'являл бы о том, что до коронации он не предпримет террористического покушения»...

[1]) Умер 15 октября 1906 г.

А Дебогорий-Мокриевич сообщает [1]), будто в 1882 г. такая прокламация «Исполнительного Комитета» была, как он слышал, даже опубликована в одном из польских революционных изданий в Варшаве (?).

Если это не ошибка со стороны Мокриевича, то это какой-то подлог: никакой подобной прокламации вплоть до моего ареста в феврале 1883 г. «Народная Воля» не выпускала и, по самому ходу дела, не могла выпустить.

В доказательство искренности своих обещаний правительство, по рассказу Михайловского, *предлагало:* тотчас же выпустить кого-нибудь из политических узников, ранее осужденных, *напр., Исаева,* содержавшегося тогда вместе с другими народовольцами в Алексеевском равелине.

Это имя крайне удивило меня, и его одного было достаточно, чтобы заставить насторожиться и вызвать улыбку: Исаев, очень хороший человек и ценный *техник,* важной роли в партии не играл; освобождение его, не имея для партии существенного значения, никоим образом не могло служить доказательством какой бы то ни было искренности правительства. Как-раз наоборот, предложение выпустить именно *его,* а не кого-нибудь из других выдающихся членов «Исполнительного Комитета», томившихся в равелине, было само по себе подозрительно.

Любопытно, что в Шлиссельбурге от Фроленко, гулявшего с Исаевым (ум. в Шлиссельбурге), я впоследствии узнала, что к Исаеву в равелин являлся *Судейкин* и предлагал свободу, если он даст обещание уговаривать своих еще находящихся на воле товарищей отказаться от террора. От подобной миссии Исаев, конечно, отказался.

Интересно, было ли предложение графа Воронцова-Дашкова и Судейкина выпустить Исаева простым совпадением, или же граф Воронцов-Дашков действовал тут в полном со-

---

[1]) «Былое», апрель, 1907 г.

гласии с начальником политического сыска? Или же, в виду версии В. Я. Богучарского об интригах и соперничестве между графом Воронцовым-Дашковым и министром вн. дел графом Д. Толстым купно с Судейкиным, следует допустить, что в данном случае они сознательно оспаривали друг у друга, каждый с *особыми* целями, *одно* и то же орудие.

Михайловский сказал мне, что он придает большое значение предложению правительства и потому, по просьбе Николадзе, взялся разыскать кого-нибудь из членов «Исполнительного Комитета». Зная, что я нахожусь в Харькове, он приехал для переговоров со мной, как единственным, известным ему членом «Комитета», оставшимся в России.

Лично он верил в возможность осуществления, по инициативе правительства, вышеназванных трех пунктов и сочувствовал тому, чтобы «Комитет» вступил в договор.

Что касается меня, то с первого же раза я отнеслась ко всему предложению совершенно отрицательно. Я указывала Михайловскому, что предложение высокопоставленного лица есть не что иное, как полицейская ловушка с целью напасть на след революционной организации, чтобы потом нитка по нитке всю ее разобрать. Следя за теми, кто ведет переговоры, легко было достигнуть этого. После открытия в июне динамитной мастерской в Петербурге и арестов Буцевича, Грачевского, Корба, Прибылевых и др., этот след был потерян, и теперь полиции во что бы то ни стало нужно было снова найти его.

На это Михайловский твердил одно: высокопоставленное лицо, давшее поручение Николадзе, выше всяких подозрений и ничего общего с политическим сыском не имеет.

Но, по самому существу дела, оно казалось мне невероятным. Правительство, которое в 1881 г., после 1 марта, не сделало *никаких* уступок и открыто заявило, что никаких изменений в политическом строе не последует, это самое правительство теперь, после полуторагодового почти полного

затишья [1]), *искало* перемирия с партией «Народная Воля»... Оно было утомлено борьбой... Понимало потребность общества в бо́льшей свободе... и готово было вступить на путь реформ...

Это казалось странным...

В прошлом была история с Гольденбергом, арестованным три года тому назад. Взывая к его патриотическому чувству, прокурор Добржинский уловил его уверениями, что только террор мешает правительству осуществить столь необходимые либеральные реформы: пусть Гольденберг раскроет все силы и планы террористов... пусть пожертвует друзьями и товарищами: это будет великая жертва родине, для которой откроется возможность итти вперед по пути прогресса.

Гольденберг уверовал... Он начал свои показания словами: «Сердце мое обливается кровью, но я должен...». Далее следовали хвалебные характеристики наиболее близких и дорогих ему людей и на ряду с этим их физические приметы... Он сообщил относительно «Народной Воли» все, что знал, но, убедившись потом, что «жертва» была бесплодна, кончил самоубийством в Петропавловской крепости.

Теперь снова террор являлся единственным препятствием для реформ, и речи Добржинского повторялись почти слово в слово.

Если же предложение, переданное через Николадзе, принять за военную хитрость, то все становилось понятным. Прошло уже более полутора года после смерти Александра II, а о коронации нового императора не было ни слуху, ни духу. По общему убеждению, такое промедление происходило от неуверенности правительства в безопасности коронационных торжеств. После взрыва царского поезда под Москвою, взрыва в Зимнем дворце и катастрофы 1 марта—чего нельзя было ждать от «Исполнительного Комитета»?!

[1]) За все время был лишь один террористический акт—убийство военного прокурора Стрельникова в Одессе.

Несмотря на множество арестов и судьбищ в 1881 и 1882 г.г., самые беспокоящие слухи циркулировали в публике и, конечно, волновали государственную полицию. Так, в конце 1881 г. рассказывали, что Кобозев (Юрий Богданович), содержавший магазин сыров на Малой Садовой, где была заложена мина для 1 марта, проник в число предпринимателей по коронационной иллюминации в Москве... Понятно, какие опасения внушали подобные слухи и какую тревогу возбуждала мысль о возможных последствиях террористического акта во время торжеств. Быть спокойным в этом отношении, обезопасить коронацию от всяких неожиданностей, конечно, было очень важно, и для этого стоило дать обещания. Наконец, для осуществления предполагавшихся свобод—свободы печати и свободы социалистической пропаганды [1])—никаких гарантий не предлагалось. Слова: «Народное представительство», «конституция» *при всех этих разговорах ни разу не произносились.*

Все эти соображения были приняты во внимание в беседе с Михайловским, но он поставил мне в упор существенный вопрос: «А можете ли вы, фактически, осуществлять террористическую часть программы? Предпримете ли вы и можете ли вы что-нибудь предпринять в смысле центрального террора?».

На такой прямой вопрос я могла ответить только отрицательно. Обманывать его или себя какими-либо иллюзиями на этот счет не было возможности. Центр партии «Народная Воля»—«Исполнительный Комитет»—в то время уже не существовал. Все его члены погибли: одни на эшафоте, другие умирали в Алексеевском равелине, третьи ждали суда; Тихомиров и Ошанина удалились за границу. Оттуда они советовали мне создать новый центр из молодых народовольцев,

---

[1]) Не лишнее вспомнить, что Судейкин не раз в беседах с арестованными называл себя социалистом, сторонником мирной социалистической пропаганды—лишь бы не террор!

но я относилась к этому плану совершенно отрицательно: эти молодые, неиспытанные силы не могли заменить старых, опытных товарищей. При таких условиях и полном разгроме связей в Петербурге и Москве о каких-нибудь серьезных актах нечего было и думать.

Я отвечала Михайловскому категорическим: «Нет!».

Этим я дала ему оружие против себя. Он стал убеждать меня, что, раз мы не в силах в данное время продолжать борьбу с правительством в прежней форме и, вместо террористических актов, должны заняться накоплением сил и их организацией, то наша обязанность воспользоваться случаем, который посылает судьба в форме предложения правительства. Терять при таких обстоятельствах, по мнению Михайловского, мы ничего не теряли, так как и без того принуждены были сделать то, чего хотело от нас правительство, а между тем «все-таки, говорил он, есть надежда что-нибудь да получить».

Доводы и уговоры Николая Константиновича заставили меня сойти с той твердой почвы полного отрицания всяких переговоров, на которой я ранее стояла.

Обдумав все, я предложила Николаю Константиновичу следующую комбинацию: лично я решительно отказываюсь от каких бы то ни было сношений по этому делу и предлагаю Михайловскому сообщить Николадзе, что *никого* из членов «Исполнительного Комитета» *он не нашел,* потому что, как он узнал, местопребывание «Комитета» перенесено за границу; пусть Николадзе отправляется туда и обратится со своим предложением к Л. Тихомирову и М. Ошаниной-Оловенниковой. Тем временем я, *без ведома Николадзе,* пошлю к ним человека, чтобы известить о его миссии, возможном приезде к ним и моем недоверчивом отношении ко всему делу. Вместе с тем я намеревалась передать Тихомирову, что, направляя к нему Николадзе, мы, в России, сохраняем полную свободу действия и будем руководиться лишь налич-

ными условиями и возможностями, оставляя за собой в последнем счете право принять или отвергнуть те условия, которые Тихомиров и Ошанина могут выработать за границей, *если войдут в сношение с Николадзе.*

Относительно предложения освободить Исаева в доказательство искренности правительства, я решительно заявила Михайловскому, что требовать надо не Исаева, а Нечаева, Александра Михайлова или, как того хотел сам Михайловский, Чернышевского, и что в этом же смысле мной будет дан наказ за границу.

О назначении расследования по поводу разгрома и избиений в Карийской тюрьме *между мной и Михайловским речи не было.* Где и когда возник вопрос об этом, я ничего не знаю.

Условившись обо всем, мы расстались: Михайловский уехал в Петербург, а я вызвала из Одессы Салову и просила ее отправиться за границу с моим поручением к Тихомирову, что та и сделала.

Дальнейший ход дела за границей остался мне лично совершенно неизвестным, так как вплоть до моего ареста, 10 февраля 1883 г., я не получала никаких писем,—ни от Саловой, ни от Тихомирова из-за границы, ни от Михайловского из Петербурга. Да и сама я не обращалась ни к кому из них с какими-либо запросами, считая все дело пустым и безнадежным.

Между тем, как теперь это известно, Николадзе, по указанию Михайловского, действительно отправился к Тихомирову, и переговоры между ними состоялись: сначала—в Женеве 27 и 28 ноября ст. ст., а потом начиная с 8 декабря—в Париже.

Сергей Андреевич Иванов в записке, написанной для меня, говорит, что однажды, когда переговоры между Тихомировым и Николадзе были в полном разгаре, последний «прибежал к Тихомирову крайне встревоженный и показал

только-что полученную им из Петербурга телеграмму, в которой говорилось *о необходимости тотчас же ликвидировать начатое предприятие, во избежание крупных убытков.* Иносказательный смысл этой телеграммы был таков: *прекращайте немедленно переговоры и возвращайтесь в Россию, если не хотите нажить крупных неприятностей...* Николадзе высказывал крайнее изумление по поводу такого оборота дела, но, конечно, тотчас возвратился в Россию»...

Николадзе ни о какой телеграмме не говорит, а Бороздин повествует, что после того, как Николадзе получил от Тихомирова проект договора, «ему ничего более не оставалось делать в Париже; а как в то же время телеграммой из Петербурга извещали его о тяжкой болезни княжны Гурамовой, он и поспешил выехать. Несколько дней спустя выехал и я,—говорит Бороздин,—«и 31 декабря был уже в Петербурге». («Былое», октябрь, 1907 г., стр. 161).

Смешал ли С. А. Иванов в рассказе Тихомирова об истории с телеграммой имя Николадзе с именем Нивинского, который в августе 1882 г. вел подобные же переговоры с Лавровым от имени «Земской лиги» [1]) и был внезапно вызван в Петербург, или Николадзе, по каким-нибудь соображениям, ввел в заблуждение Бороздина—так или иначе, дело с переговорами на этом обрывается.

В статье «Освобождение Чернышевского» [2]) Николадзе рассказывает, что, вернувшись в Петербург *в последних числах декабря,* он передал гр. Воронцову-Дашкову собственноручную записку Тихомирова об условиях перемирия между «Народной Волей» и правительством; но гр. Воронцов-Дашков встретил его заявлением, что *«надежды и расчеты его разрушились: положение дел в Петербурге изменилось на-*

---

[1]) Под этим флагом действовала та же Священная дружина, но уже в лице кн. Щербатова.

[2]) «Былое», сентябрь, 1906 г., стр. 270.

столько, что ему навряд ли теперь удастся хоть что-нибудь сделать в смысле прежних предположений. Он просил Николадзе немедленно уведомить об этом Тихомирова и сообщить ему, что он и его товарищи, в виду изменившихся обстоятельств, вольны считать себя свободными от всякого уговора».

Такую же перемену в настроениях в Петербурге нашел и Бороздин [1]).

Нельзя не обратить внимания на то, что в той же статье (стр. 271) Николадзе говорит, чте по приезде в Петербург все, что нужно, он сообщил Михайловскому, высланному в Выборг, через С. Н. Кривенко, довольно часто навещавшего Михайловского в изгнании. Между тем Михайловский в своей посмертной записке пишет, что Николадзе *«вернулся с очень странным результатом, никого не нашел»* [2]).

Если бы Николадзе сообщил ему действительный ход и развязку дела, которому Михайловский придавал значение и в котором Михайловский участвовал, рассказал бы все то, о чем он пишет в своих мемуарах [3]), — то мыслимо ли, чтобы Михайловский мог забыть решительно все и занести слова, что Николадзе *«никого за границей не нашел?»*

А в таком случае, чем же об'яснить поведение Николадзе по отношению к Михайловскому?

Истинная причина перерыва переговоров для непосредственных участников дела осталась в то время тайной и, как мне кажется, может считаться еще и теперь спорной.

В 1882 г., когда велись переговоры, в них постоянно фигурировало слово: *«Правительство»*. «Исполнительный Коми-

---

[1]) «Былое», октябрь, 1907 г., стр. 161.

[2]) «Былое», сентябрь, 1907 г., стр. 213.

[3]) «Былое», 1906 г., сентябрь.

тет» все время был уверен, что имеет дело именно с ним. За правительство уже в течение целого 25-летия принимало одну из договаривающихся сторон и общественное мнение.

Но В. Я. Богучарский в своей книге об'ясняет, что под именем правительства оперировала «*Священная Дружина*»—анти-революционное тайное общество. В число членов этого общества, образовавшегося после 1 марта, входили многие высокопоставленные и влиятельные лица, имевшие большие связи и денежные средства. Но направление и тенденции этих лиц были весьма различны. С одной стороны, это были люди, преследовавшие цели чистейшего сыска и искавшие сношений с «Исполнительным Комитетом», чтобы, проникнув в сокровенные тайны его, предать его в руки полиции. С другой—это были люди либеральные, желавшие для России свободных учреждений и думавшие бороться «с крамолой» путем введения конституционных реформ. Таковы были: гр. Воронцов-Дашков и гр. Павел Петрович Шувалов. По версии В. Я. Богучарского, эти искренние конституционалисты предполагали обезоружить «Исполнительный Комитет» *посредством договора,*—с тем, чтобы *действительно добиться* обещанных в договоре свобод, но им помешал в этом министр вн. дел Д. Толстой. В. Я. Богучарский рассказывает, что между Священной дружиной и министерством вн. дел существовала непрерывная борьба за власть, за влияние. Священная дружина в целом, как организация совершенно обособленная, от министерства совершенно независимая, но преследовавшая, однако, по отношению к революции одну и ту же цель—искоренения,—была занозой в глазу гр. Д. Толстого и его правой руки—Судейкина. Стремления же графов Воронцова-Дашкова и Шувалова в их глазах могли быть только революционной попыткой сверху. Соперничество и интриги Д. Толстого привели, наконец, к роспуску «Священной дружины»—этой добровольной охраны, не состоявшей ни под каким официальным контролем. 5 декабря 1882 г., как сооб-

щает В. Я. Богучарский, по приказанию государя, дружина была распущена.

Это и было, по мнению того же автора, истинной причиной прекращения переговоров.

Однако, среди участников переговоров, как и в широкой публике, до самого последнего времени господствовало совершенно другое об'яснение.

20 декабря 1882 г. в Одессе был арестован Дегаев, хозяин типографии, устроенной им по моему поручению.

Из документа, пред'явленного мне в Петропавловской крепости весною 1884 г. и написанного собственной рукой Дегаева, я увидела, что он предал *решительно все, что только было ему известно о революционных делах партии.* А в то время, после ареста старейших членов «Исполнительного Комитета», он был посвящен мною во все, более или менее важное, между прочим, и во все детали моей беседы с Михайловским. Кроме того, по моему же поручению, перед поселением в Одессе он совершил об'езд всех пунктов, где были военные кружки, в числе которых были такие, доступа к которым он ранее совершенно не имел (Киев, Одесса, Николаев).

Когда прокурор Добржинский, в присутствии генерала Середы, по высочайшему повелению назначенного для производства следствия по всей империи по делу о военной организации, пред'явил мне тетрадь с признаниями Дегаева, то прежде всего спросил:

— Узнаете ли вы этот почерк?

Почерк был незнаком (я не знала руку Дегаева), и я ответила отрицательно. Тогда Добржинский перевернул ту тетрадь серой бумаги большого формата, которая лежала передо мной, и я увидела подпись: «Сергей Дегаев», и, как это ни странно, у меня сохранилось воспоминание, что стоявшие тут же рядом число и месяц были: 20 *ноября.* И это число оставалось у меня в памяти до опубликования в «Былом»

воспоминания Спандони, в котором говорится, что Дегаев был арестован *18 декабря* (по данным Богучарского— 20 декабря).

Я видела подпись и число лишь один миг и была, быть может, слишком потрясена открытием, чтобы потом не спутать месяца, хотя иногда в такие минуты все запечатлевается особенно ясно. Но тогда подпись была для меня важнее числа; во всяком случае, оно было ужасающе близко к моменту ареста Дегаева...

После того, как Дегаев дал свои показания, он вошел в сделку с жандармами: ему был устроен фиктивный побег по дороге на вокзал, куда его повезли на извозчике, будто бы для отправки в Киев. Как беглец, он явился сначала в Николаев, а потом ко мне в Харьков, чтобы выдать меня. Здесь не место описывать подробности нашей встречи, когда я волновалась радостью видеть его на свободе, а он был совершенно подавлен предстоящим предательством.

Числа с 25—26 января по 10 февраля 1883 г. Дегаев пробыл в Харькове в постоянных сношениях со мной, при чем ту психическую перемену, которую я видела в нем, я об'ясняла тем, что его жена, арестованная вместе с ним, оставалась еще в тюрьме. За это время прежний друг, всегда выказывавший мне крайнюю преданность, тщательно выспросил у меня все подробности моей повседневной жизни и от меня самой получил все указания, необходимые для того, чтобы, не будучи заподозренным, выдать меня. Для этого он воспользовался другим предателем—рабочим Меркуловым, который ранее, на улицах Одессы, ловил для полиции своих прежних товарищей. Услышав от меня, что я считаю себя в Харькове в полной безопасности, если только не встречусь с Меркуловым, который знает меня в лицо, Дегаев выписал его и поставил на моем пути с квартиры.

В один из 14—15 дней, которые при мне Дегаев провел в Харькове, последовало правительственное распоряжение о

назначении в мае коронации, внушавшей до того времени так много опасений.

Теперь, после предательства Дегаева, бояться и опасаться было нечего. Дегаев знал, что «Исполнительный Комитет» уже не существует, а молодые группы в Харькове, Киеве, Одессе и отдельные народовольцы Москвы и Петербурга не в силах предпринять что-нибудь серьезное. Военная организация, начало которой было положено зимой 1880 г., хотя и бездействовала со времени ареста Суханова, но до декабря 1882 г. была в полной целости; оживить ее я надеялась при помощи выхода в отставку Ашенбреннера, Рогачева, Крайского и Похитонова. Посредником между мною и ими по этому поводу был Дегаев, посетивший их перед от'ездом в Одессу. Теперь все они, вся военная организация, были отданы Дегаевым в руки политической полиции. Совершенный Дегаевым об'езд Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Николаева давал ему доступ ко всем местным организациям, и ему было достаточно в каждом городе назвать хотя бы одно лицо, чтобы по нему, как по концу нитки, размотать весь клубок.

Кроме того, с этого времени во главе революционного движения становится тайный агент правительства: Дегаев не остановился на измене и предательстве,—он стал провокатором, в истории русского революционного движения *первым* провокатором из интеллигенции [1]).

Таким образом, полиции не только выяснялось *настоящее,* но было обеспечено и *будущее.*

Когда перед правительством все карты были раскрыты, к чему были нужны какие бы то ни было переговоры, искренние или лукавые, исходившие от конституционалистов или от сыщиков? Положение партии «Народная Воля» было

---

[1]) До этого человека 4—5 рабочих были в разных местах убиты, как таковые (Рейнштейн в Москве, Никонов, Прейс и др.)

ясно, все наличные силы известны, и на будущее время в организации, в самых верхах ее, становился провокатор.

Итак, несмотря на новые данные В. Я. Богучарского о роспуске Священной дружины 5 декабря 1882 г., я все же считаю, что истинной причиной прекращения переговоров был не этот роспуск, а измена Дегаева (арестованного в конце декабря), измена, не оставившая в революционном мире ничего тайного для правительства.

Что вернее? Что правдоподобнее?

Интриги и взаимное подсиживание между лицами различных ведомств вполне возможны. История и в прошлом, и в настоящем дает немало тому примеров. Нет ничего невероятного, что роспуск Священной дружины произошел по настоянию министра вн. д. Д. Толстого. Она могла быть распущена, но граф Воронцов-Дашков и граф Шувалов могли и после этого продолжать вести свою линию. Разве роспуск Священной дружины, в которой были разнообразные элементы, сам по себе доказывает, что граф Воронцов-Дашков и граф Шувалов потеряли доверие и расположение верхов?

Самые переговоры с Тихомировым в *Париже* происходили, по словам Николадзе, около половины декабря [1]), т.-е. после роспуска дружины [2]), а по возвращении в Петербург он еще в марте и апреле 1883 г. видался с графом Шуваловым. Последний даже предлагал ему выхлопотать аудиенцию у государя, если он, Николадзе, согласится «твердо и властно уверить», что революционеры произведут новое страшное потрясение, если России не будет дана конституция [3]).

Очевидно, граф Шувалов не знал, что во главе революционного движения правительство имеет провокатора и ему не страшны уже никакие угрозы. Между тем это обстоя-

---

[1]) С этим согласуются даты Бороздина.

[2]) «Былое» 1906 г., сентябрь, стр. 270.

[3]) Ib., стр. 271—272—279.

тельство было таким большим козырем в игре Д. Толстого и Судейкина, что за спиной гр. Воронцова-Дашкова и гр. Шувалова отнимало у них всякую почву и изменяло положение дел в Петербурге настолько, что всякие шансы на успех их конституционных планов утрачивались.

Оставляя в стороне, насколько искренними конституционалистами были графы Воронцов-Дашков и Шувалов, какникак состоявшие в одном сообществе с неофициальными сыщиками, при чтении документов бросается в глаза, что они ламентировали на одну и ту же тему, одними и теми же словами и давали такие же обещания, как и представители государственной полиции. Так, в том же 1882 году, прокурор Добржинский и директор департамента полиции Плеве предлагали О. Любатович и Г. Романенко быть посредниками между партией «Народная Воля» и правительством («Былое» 1906 г., июнь, ст. О. Любатович: «Далекое и недавнее»).

Подозрительно похожи друг на друга также и все крахи этих попыток. Так, Плеве по неизвестной причине *внезапно* прерывает переговоры с Любатович и Романенко; доктор Нивинский [1]), *в августе 1882 года* ведет переговоры с Лавровым и Оловенниковой и *внезапно* прерывает их, вызванный в Петербург. Позднее, если верен рассказ С. А. Иванова, то же самое происходит и с Николадзе... Что за странные совпадения!...

Посмертная записка Михайловского начинается словами: «Первое, что мне вспоминается, это—одна необыкновенно грустная история, которую стыдно рассказать, а грех утаить» [2]).

Эти строки, конечно, вызваны мыслью, что все перего-

---

[1]) Представитель графа Щербатова (по Богучарскому).

[2]) «Былое», сентябрь, 1907 г., стр. 212.

воры, в которые Николадзе вовлек Михайловского и «Народную Волю», были комедией, пустой игрой, не стоившей внимания и траты сил.

Но каким образом могло случиться, что, выслушав Николадзе, Михайловский передал мне содержание их беседы в *том* виде, как я рассказываю, *а не так,* как 24 года спустя Николадзе говорит в статье «Освобождение Чернышевского» [1]).

При первом свидании с министром двора, пишет Николадзе, я развивал программу, которая «заключалась в *приглашении* (курсив мой. *В. Ф.)* правительства стать на путь социальных, вернее—экономических, улучшений народного быта, с значительным в этом смысле расширением сферы воздействия печати и земского или общественного самоуправления» [2]).

Во время второго свидания, продолжает Николадзе, «я услышал от графа Воронцова-Дашкова, что осуществление правительством *высказанных мной предположений* (курсив мой. *В. Ф.)* было бы возможно, если бы существовала уверенность, что этим путем положен будет конец террористическим явлениям и *вообще нелегальной деятельности революционной партии»* (курсив мой. *В. Ф.).*

«Но раньше, чем правительство окончательно станет на этот путь и примет решение держаться такой политики, ему необходимо получить точные сведения о минимальных стремлениях революционной партии, узнать из достоверного источника, насколько и в каких случаях можно быть уверенным, что она откажется от своей подпольной деятельности и вернется к легальной. *Не предпринимая, покамест, ничего, не принимая на себя никаких обязательств и не обещая ни малейшего изменения своих действий,* правительство, для своих соображений, желало бы уяснить эти вопросы.

[1]) «Былое», сентябрь, 1906 г.

[2]) «Освобождение Чернышевского», стр. 256.

Поэтому гр. Воронцов-Дашков просил меня обстоятельно *переговорить* с кем-либо из руководителей партии и выяснить осторожно ее виды и стремления, *не компрометируя правительства* [1]) и не подвергаясь опасности принять единоличное мнение того или другого заговорщика за настроение и программу всей партии». (Стр. 265—266, «Освоб. Чернышевского», «Былое», сентябрь, 1906 г.).

Итак, Николадзе высказывает Воронцову-Дашкову свои предположения об умиротворении страны, а министр просит, *не компрометируя правительства,* сделать осторожную разведку...

Между тем, Н. К. Михайловский, со слов Николадзе, передает дело в таком виде, что в глазах одних—роняет личное достоинство гр. Воронцова-Дашкова, внушая мысль о его причастности к сыску, а в глазах других—явно компрометирует полновластное правительство, которое унижается до трусливого заискивания у революционной партии.

Правда, на страницах, предшествующих только-что приведенным цитатам, Николадзе пишет, что содержание бесед с гр. Воронцовым-Дашковым было предварительно обсуждено с Н. К. Михайловским и С. Н. Кривенко... Но, в таком случае, каким образом Михайловский мог скрыть от меня истинный характер этих бесед?

А если Михайловский умолчал, то почему за границей, в переговорах с Тихомировым, молчал Николадзе и не обрисовал, как следует, роль вельможи,—роль осторожную и ни к чему не обязывающую?..

Все это загадки... загадки, придающие всему эпизоду вид мистификации.

Кто же кого мистифицировал? Михайловский—меня или Николадзе—Михайловского, Тихомирова и через них (и меня) «Народную Волю»?..

---

[1]) Курсив в обеих цитатах—мой.

И поневоле думаешь, что в истории революционного движения, быть может, теперь совершенно отсутствовала бы глава о переговорах Священной дружины с «Исполнительным Комитетом» партии «Народная Воля», если-б содержание 265—266 страниц статьи Николадзе было в свое время известно всем непосредственным участникам пресловутых «переговоров».

1912 г. Швейцария.

Без приюта.

(Харьков. 1882 г.).

Под ногами у меня снег хрустит; с неба на меня звездочка глядит... А кругом—темный, холодный пустырь... И иду я за город, к Мари.

Мари—краснощекая, веселая, хорошенькая толстушка с черными волосами и темными, выпуклыми глазами. Она богатая и будет еще богаче, когда выйдет замуж и получит приданое. Добрая она, умная... Кончила гимназию и думает поселиться в имении, чтоб вести пропаганду.

Со мной она в наилучших отношениях, и иду я к ней ночевать.

Вот уже две недели, как у меня нет квартиры, и я скитаюсь—где день, где ночь... Уж и усталость берет, да что поделаешь? Паше нужен был паспорт—я отдала тот, по которому жила, а сама осталась без приюта и без документа.

Немножко жутко вечером итти так пустырем, одной... Хрустит снег... глядит небо с звездами, а кругом темно, холодно... и одиноко...

Вот и дом... дверь... звонок...

Хорошо из неуютной большой пустыни очутиться в четырех стенах теплой комнаты, где ярко горит лампа и где сидят друзья.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!.. А я к вам с ночевой... Но что это? Разве вы переезжаете?

Вещи в комнате разбросаны—на кровати лежит платье, на полу чемоданы... Перед ковром, на коленях, молодой студент—жених Мари—укладывает книги, а сама она стоит подле, и на руках у нее целая куча белья.

— Нет, но завтра совсем уезжаю!

— Куда?

— В Одессу...

— Вот кстати! Мне нужно написать туда, вы отвезете?

— Ладно!

Сажусь за стол и принимаюсь за письмо, а уголок глаза видит немую сцену. Молодой человек отрывает клочок бумаги и, набросав несколько слов, передает Мари.

Та делает жест, похожий на отрицание или неодобрение... Потом тоже берет бумажку и пишет... И так повторяется 2—3 раза...

Я кончаю и встаю.

Что-то неладно: Мари—вся пурпуровая... Глаза у нее растерянные...

— А знаете...—начинает она, запинаясь:—знаете, у меня ночевать нельзя!.. Могут притти с обыском... Если застанут вас,—мои планы... наши планы... разлетятся впрах!...

— Ну, я уйду. Прощайте!

— Да вы посидите.

— Нет! уж поздно, половина 11-го...

И ни одного слова, ни одного вопроса—куда? Есть ли куда пойти?! А итти, в сущности, некуда!..

Снег хрустит... Ноги почти бегут... За кого-то стыдно, за кого-то больно... И каждый хруст отдается в горле, царапает его...

А кругом — темно, безлюдно... Только в небе горят звезды...

Куда же, однако, итти? Если-б я была мужчиной, пошла

бы в сквер, просидела бы на скамье до утра и смотрела на звезды...

...Не пойти ли к Николаю Антоновичу? Там радушно принимают. Они простые, бедные, живут своим трудом: он токарь, имеет мастерскую. Почему они радушные? Ведь я не друг им и не товарищ! Не потому ли, что вносишь блестку интеллигентности, искру общественного интереса в обыденщину бледной жизни?.. И за это любят и привечают.

Городские улицы... сквер... и в глубине — гнилой домишко... там живут простые души...

Стучу... Хорошо, если не спят!

— Кто там?

— Я.

— А!!. Здравствуйте! Очень рады... Но что-ж так поздно?!

— Да так пришлось...

— Ну, пришлось—так пришлось! Только пора спать: уж двенадцатый час... завтра надо вставать рано.

Постилаются чистые простыни на старую софу, отбирается у кого-то подушка, и гостеприимная чета удаляется за перегородку...

Небольшая комната, и все в ней бедно и серо.

И я лежу на чужом ложе, смотрю в темноту и с трудом сдерживаю жгучее чувство...

Вот я пришла... пришла к этим простым, добрым душам... и они дали мне приют... *Что* для *них*—я?.. Они не знают—ни кто я, ни моего прошлого, ни моего будущего... *не* знают, что повсюду меня разыскивают и очень хотели бы поймать! А ведь к ним *могут прийти*... Говорит же Мари, что к ней *могут прийти!*.. Если придут сегодня, застанут меня.. И—они пропали!.. За что?.. Я не посвящаю их в дела... Конечно, они сочувствуют... знают, что я революционерка... слыхали мои слова—и только!

Их жизнь—предо мной, как на ладони, а моя—скрыта

под псевдонимом... и я играю с ними втемную! Рискую, не спрашивая о согласии!..

И они пропадут!.. «Он» пойдет в тюрьму... «Она» и дети останутся без хлеба...

Потом—ссылка и полное крушение семейной и трудовой жизни...

О, проклятье! Получать любовь и нести—гибель!..

...В тюрьме, лежишь порой на койке, как *тогда* у *них*... Смотришь в темноту и думаешь... Где теперь эти простые души? Что с ними?.. Арестована и увезена... осуждена и заперта... и ни одного известия, ни малейшего слуха ни о ком... Ничего и о них... пять лет... десять... пятнадцать, и еще, еще!

Лежишь на койке, как *тогда* у *них*... и думаешь. Если-б выпустили на свободу—сейчас написала бы им... просила бы простить... благодарила бы за прошлое... И послала бы, как воспоминанье, маленький подарок... коробочку и в ней каждому что-нибудь особо...

Дети—уже выросли... Взрослые—стали стариками. Верно, и внуки уже есть! Надо положить игрушек... веселых детских игрушек...

Вышла из тюрьмы... Ищу и спрашиваю... Следов нет. Кто говорит—уехали, кто говорит—умерли...

Ни старых, ни молодых!

И подарок не послан!

Но в душе, как на небе, много звезд: каждая хорошая встреча зажигала звезду, и одна звездочка зажжена *ими*... Она горит и о них говорит...

На белых крыльях большой птицы.

Сегодня—большой день у меня.

До этого я, как и другие, летала только во сне..., а сегодня сон превратился в явь; я летала над Женевским озером на гидроаэроплане!

Вот уже две недели, как все побережье озера чуть не каждый день волнуется то там, то здесь от криков: «Летит, летит!», и то на воде, то над нею, то низко, то высоко плывет, рассекая волны или воздух, большая, белокрылая птица, сделанная рукой человека.

31 августа, 1 и 2 сентября н. ст. был конкурс четырех гидроаэропланов, летавших между Evians les Bains на французском берегу озера (в Савойе) и набережной Ouchy в Лозанне. А теперь гидроаэропланы стали брать пассажиров. Вчера, шутя с художником, который пишет мой портрет, я размечталась о том, как хорошо было бы и мне полетать.

— Ну что же, и полетай,—сказала мой друг, Александра Ивановна Мороз, присутствовавшая при этом.

И хвать, вечером художник уже об'являет, что он дал задаток хозяину аэроплана за свою жену, которая хочет лететь, и за меня.

— Ну, что вы?! Ведь это еще не было решено.

— Как не решено? Когда я даже обещал вам нарисовать большую картину, изображающую вас на гидроаэроплане. И вы завтра же поедете...

Мы стоим на берегу озера, неподалеку от пирамидальных тополей, которые так украшают набережную.

Нечего делать, я волнуюсь, протестую, говорю, что я устала, и подбираю десятки разных препятствий.

— Верочка, неужели ты в самом деле полетишь?—спрашивает солидный серебробородый товарищ. — Я сам видел, как погиб один авиатор.

Но я не боюсь и, смеясь, говорю.

— Конечно, полечу.

Однако, дело идет к вечеру, и дует довольно сильный биз. На дебаркадере нам об'являют, что по этой причине сегодня полетов уже не будет.

Молоденькая, миленькая художница, крепко сжимая мне руку, мечтает о завтрашнем чудесном дне, который должен дать так много новых ощущений. Наша компания вспоминает, что завтра—17-е сентября, правда, по новому стилю, но мы, две Веры, хотим изобразить из себя именинниц. И в самом деле: разве это не именины (о, да еще какие!) совершить полет над озером около Montreux и Clarens.

Мы расходимся возбужденные и те, кто завтра полетит, и те, кто нас увидит летящими.

Наутро 17 сентября — день чудесный. Озеро и все прибрежные горы прикрыты густой дымкой.

— Можно ли лететь при такой дымке?—спрашиваю я Александру Ивановну.

— Не беспокойся, день будет прекрасный, как-раз для полета.

Спешим напиться чаю, и после как бы материнского осмотра моего костюма и вопросов: «А что будет на голове?», «Не лучше ли надеть белое пальто?» и т. д., мы с Александрой Ивановной спускаемся к условному дереву, где к нам присоединяются художник с женой и несколько друзей.

Дымка над озером приподнялась и растаяла в лазури. Конец Женевского озера при впадении Роны—очаровател-

ное местечко. Постоянно слышишь восторженные отзывы о красоте итальянских озер: Лаго-Маджиорэ, Лугано, Лаго-ди-Комо. Но, побывав в тех местах, я смело утверждаю, что Женевское озеро близ Монтрэ и Кларана не уступает им. С одной стороны его поднимается темная группа Граммон, более двух тысяч метров высоты, а с другой—все покрытые лесом Плеяды, Кюбли и высоты, где по вечерам сияет огнями Ко, который я в уме называю «поясом Венеры». На востоке—заманчивая свеже-зеленая низина долины Роны и над ней развернутые, как ширмы, изящные зубцы Dents du Midi, покрытые снегом, особенно низко спускающимся в этом году. А в сторону Женевы синеет широкая водная поверхность, иногда совершенно сливающаяся с горизонтом и симулирующая море.

Сегодня, в день наших воображаемых именин, праздник не только в нашем настроении, но и всюду кругом: безоблачное небо, яркое, горячее солнце, которое в этом году совсем не баловало Швейцарию; яркие краски на воде, на земле, на горах и на небесах. Все обещает нам чудный полет.

Небольшой кусочек набережной, отгороженный канатом,—для героев и героинь дня, летчиков. Кругом—публика в довольно большом количестве: дети, прилично одетые, и плохо одетые ребятишки: первые при маменьках и боннах, а вторые, попросту перепрыгивая через парапет набережной, ютятся на камнях, в которые плещется озеро; дамы, мужчины и опять дамы и дамы. Видимо, они более, чем сильный пол, заинтересованы предстоящим зрелищем.

Предприниматель—швейцарец, которого сразу не отличишь и который если чем замечателен, то желтыми усами и толстым кольцом на указательном пальце,—кольцом таким толстым и таким желтым, что я готова биться об заклад, что оно—медное. На его территории единственным сооружением является тоненькая-претоненькая будочка, в роде столбика, где у него оказывается телефон и маленькая пачка

каких-то пакетиков с бумагами. Вдали, скрываясь от любопытных взоров, за мыском, находится гараж с гидроаэропланом и авиатором, monsieur Burri.

Этот гидроаэроплан построен, как я узнала, во Франции, в Мурмелоне (департамент Марны) в 1910 г., а Эрнест Бюрри, 25-летний швейцарец из кантона Невшатель,—крепкий, квадратный молодой человек, с жизнерадостным взглядом и открытым, добродушным лицом. Положительно с ним будет приятно лететь: сейчас же видишь, что ему можно довериться и что он тебя не заставит барахтаться в голубых, но холодных водах озера. Он, однако, уже испытал аварию, и очень недавно, всего 26 августа. Ветер опрокинул биплан, который перевернулся, разбился, но не затонул. M-r Бюрри успел во-время вскарабкаться и стать на ноги. Подплывшая лодка приняла его с опрокинувшегося аппарата. Это приключение нисколько не уменьшило его веселого настроения, так бодряще действующего на его пассажиров.

— Сколько получает ваш пилот?—спросила я хозяина.

Желтые усы зашевелились:

— Ну, этого я вам уж не скажу,—промычал он после того, как об'яснил, что за аппарат он заплатил 30 тыс. франков и что построен он Зоммером.

Несколько минут ожидания в лодке; слышится характерный шум, и гидроаэроплан вылетает из своей засады; он несется над озером, низко, потом все выше, выше, проносится резким силуэтом мимо склонов Граммона и, плавно, красиво спускаясь на воду, описывает круг, оставляя за собой длинную пенящуюся борозду.

Тоненькая, изящная фигура маленькой художницы быстро окутывается белым шарфом, завертывается в плюшевое пальто. Несколько встревоженный муж-художник дает что-то в роде прощального поцелуя, и подплывшая лодка увозит молодую женщину к аппарату, где ее ждет Бюрри.

Вот она уже на месте, и они летят. Мы с лодки кричим

«браво», машем платками, а любящий муж притворяется, что он спокоен.

Минуты проходят... И вот сейчас-сейчас моя очередь. Снимаю шляпу, чтобы заменить ее шарфом; сбрасываю жакетку, чтобы надеть пальто.

Бледная фигура спущена в нашу лодку, из которой теперь выхожу я. Подражая художнице, я даю прощальный поцелуй Александре Ивановне и поспешно сую 100-франковую бумажку в руку предпринимателя.

Вот я причалила к биплану.

— Monsieur Бюрри, везите меня как можно выше! Я не хочу детской игры: я хочу опасности. Сделайте так, чтобы было опасно.

Но странно, лицо пилота так и говорит: «Ну, уж нет, сударыня, этого вам за ваши денежки я не предоставлю»...

Бюрри улыбается, и все его лицо из-под кэпки уверяет: «Будьте благонадежны».

Его сильные рабочие руки подсаживают меня на какое-то подобие ступеньки. Но куда же ставить другую ногу? Передо мной ничего нет, кроме эфемерной проволоки, не толще трех миллиметров!.. Нужно закинуть правую ногу куда-то дальше, чем то позволяет узкая юбка... Приходится прыгнуть, как балерина... Это восхождение к плоскому лоточку, на который надо сесть, право, кажется мне труднее, чем подняться на высоту Граммона.

— Ça y est!

Ноги вытянуты, но—увы!—не доходят до перекладины, в которую надо упереться. Дело, видимо, серьезное, ибо пилот торжественно надевает на меня широкий спасательный пояс. Итак, если мы упадем, то и в узкой юбке я, как поплавок, буду держаться на воде, а тем временем Александра Ивановна под'едет на лодке вместе с друзьями поднять утопающую.

Бензиновый мотор приведен в действие; слышится смяг-

ченный стук, похожий на шлепающие по воде удары колеса, и мы плавно и легко скользим по темно-синей зыби озера, отливающей металлическим блеском. «Так могла бы плыть богиня в раковине, запряженной лебедями»,—думаю я. Но впереди лебедей нет, и дело скорее походит на то, что я сижу на спинке водяного жука, непромокаемые ножки которого неслышно бегут по поверхности воды. Всюду, спереди и с боков, видишь только одну эту синюю воду; аппарата как-будто и нет; никакого твердого вещества кругом,—только собственные ноги, да тонкая проволока там и сям. И не смешно ли: прямо впереди, передо мной и авиатором, протянута эта железная нить, и в середине скреплена...—чем бы вы думали?—простой тряпочкой! Вообще вся конструкция какая-то хрупкая, игрушечная, почти балаганная; а кругом—вода и вода. Без малейшего толчка, совершенно неслышно, лыжи гидроаэроплана отделяются от нее. Я этого и не приметила и увидела, что мы летим в воздухе, тогда, когда биплан уже порядочно поднялся над водой.

Все выше и выше с неподражаемой плавностью поднимался биплан, и скоро стало совсем холодно. Пронизывающий ток воздуха бил в лицо и приподнимал юбку и края пальто. Но некогда и неудобно было поправлять их. Одна рука лежала на локотнике сиденья, а другая держалась за какой-то железный стерженек. Я попробовала облокотиться спиной, но тотчас же отказалась от этого, почувствовав неприятные толчки. Между тем, сидя свободно, невозможно было заметить никакого сотрясения. Находясь на кресле в комнате, нельзя было бы чувствовать себя спокойнее... И, вероятно, этот физический покой передавался и настроению. Мы были высоко,—лодочки на озере казались крошечными, а беспокойные чайки—маленькими снежинками на синем фоне, а я не испытывала ни малейшего волнения, ни тени беспокойства. Я попробовала сказать спутнику: «Подымитесь выше». Но не только он, но и я сама не услышала звука

своего голоса. Какая тут Иматра,—мотор шумел и стучал, кажется, еще оглушительнее... Притом, какой-то пронзительный свист, похожий на фабричный гудок, непрерывно сопровождал нас. Сначала я думала, что это свистят пароходы, пробегающие под нами. Но нет! Вероятно, это было движение встречного воздуха. Самое замечательное, как мне кажется, было то, что я *перестала дышать:* холодный, поразительно чистый воздух без всякого движения грудной клетки, механически вливался в горло и прополаскивал легкие. Это давало совершенно особенное, характерное ощущение, которое нельзя описать иначе, как сказав: *дыхания не было.*

На минуту что-то дрогнуло, и биплан стал накреняться в мою сторону. «Неужели мы начнем хромать?»—подумала я и посмотрела на Бюрри. Нахлобученная кепка и бесстрастное бронзовое лицо; рука в постоянном движении от управления рулем: вот она сделала небольшой поворот, и мы снова быстро стали забирать выше. Хорошо бы еще и еще дальше, в облака... Но биплан описывает широкую дугу, и скоро мы летим над домами Монтрэ и зданиями Кларана. Как неприятно после полета над водой нестись над этими каменными коробками. Мне так и чудится: вот-вот мы сядем на мель. Морозов при полете сел на сосну, среди леса,—мне как бы не сесть на трубу. Это, пожалуй, хуже, чем по поговорке—вылететь в трубу.

Прочь от земли, от суши. Она хороша и красива, когда видишь высоко с озера извилистые очертания ее красновато-бурого прибрежья. Мы летим к островку Ile des Mouettes», с его белой виллой и высокими тополями.

Скоро ли двигается биплан? Как ни странно, но мне кажется, что мы двигаемся очень-очень медленно. Я смотрю больше всего на воду. Сначала я думала, не будет ли у меня кружиться голова? Нисколько... И вот я не отрываю глаз от серебристо-синей зыби. Вех для измерения проходимого

пространства у меня нет. Оттого-то мне и кажется, что наш полет совсем не быстр. Но холод и свист воздушного тока обличают ошибку. Мои руки коченеют от холода и неподвижности, и я думаю: «А что было бы, если бы забраться на ту высоту, на которую поднимаются знаменитые авиаторы?»...

Условное время проходит. И внезапно, стремительно, как хищная птица, биплан со своими распростертыми крыльями падает вниз. В самом деле, это—настоящее падение: так крут спуск. Я немного откидываюсь назад, но даже не успеваю испугаться... Я сразу попадаю из студеных слоев атмосферы, таких свежих, таких чистых, как-будто в какую-то тепловатую жидкость: это нагретый солнцем надземный воздух.

Снова мягкие, шлепающие удары, снова лыжи гидроаэроплана плавно и легко скользят, как пара лебедей, запряженных в раковину,—и стоп! Улыбающийся Бюрри соскакивает со своего сиденья и с сияющим видом протягивает мне руку. Он задает мне какой-то вопрос, и я отвечаю: «C'est beau!»

Но что это за голос? Чей и откуда? Я совершенно не узнаю звуков, вылетающих из моего горла! Какой-то далекий, заглушенный звук. Точно он вырвался из подземелья... Я догадываюсь, что оглохла. Оглохла от непрерывного трескучего шума, который издавал двигатель.

Тут подле нас уже стоят несколько лодок, в которых сидят друзья. Лица у них радостные, они приветствуют меня криками «браво», жмут руку... Художник, несколько раз перед тем пускавший в ход свой фотографический аппарат, снимает последнюю пластинку...

— Ну, что? Как? Хорошо?—раздается со всех сторон, гулко отдаваясь в моих ушах.

— Скверно возвращаться на землю!—восклицаю я и, сбросив с головы белый шарф, который душит, спешу, сама не зная почему, вон из лодки, на которую меня приняли.

По доске вбегаю на берег. Там незнакомая публика делает маленькую овацию: дамы машут платками, улыбаются, кивают головой и кричат «bravo». Они задают множество вопросов, но я в каком-то возбужденном состоянии, не могу сразу удовлетворить их. Показывая на уши, я смеясь говорю: «Excusez, je suis presque sourde», и бегу обратно к друзьям в лодку...

... Теперь весла рассекают голубое озеро, и мы направляемся к своей пристани. Время уже за полдень, и пора обедать.

В праздничном настроении мы подымаемся в гору и по дороге заходим на телеграф дать весточку о вознесении на небо.

В отеле, где нашу компанию ждет обед, хозяйка совершенно экспромтом подает нам пирог с капустой, с яйцами. Тут уж мы с художницей заявляем: «Как хотите, господа, но сегодня мы всамделишные именинницы». Появляется бутылка вина, предлагаются тосты: за именинниц, за летчиц, за изобретателей аэропланов.

— Нет, господа! Выпьем за человеческий гений! — предлагаю я. — Или еще лучше: *за стремление в высоту!*..

Праздник кончился, и завтра будет просто 18 сентября.

Не спится в эту ночь: все перебираешь события и ощущения дня. И мне вспоминается одна сцена в Финляндии. В солнечный зимний день, когда в городе и в поле все покрыто снегом, я иду кататься на лыжах по замерзшему фиорду. Со мной две анемичные, белокурые 5-летние девочки-близнецы и мальчик немного постарше—Вадя, хрупкий, нежный, с необычайно благородной наружностью. А еще—их бонна, молодая немочка из Риги.

— Поедемте на Мадагаскар, — говорит Вадя, указывая куда-то в сторону.

— Нет, лучше отправимся на полуостров Малакку,— продолжаю я шутку и протягиваю руку в направлении узкой косы побережья.

Но прежде чем попасть на Мадагаскар, Малакку или Целебес, мы должны спуститься по довольно крутому склону, чтобы добраться до ровной поверхности фиорда. Мальчик надевает лыжи и, маленький, тоненький, словно черный жучок с изящными ножками, быстро и плавно спускается вниз. Бонна не решается спускаться на лыжах, а девочки и тем более боятся упасть.

— А я поеду,—будь, что будет! Хоть не умею и в первый раз беру в руки лыжи, а все уж попробую: должно быть, это приятно!..

И вот через минуту, как вихрь, я мчусь вниз. О, чудо! Мое тело внезапно теряет вес... Этого тела больше нет, оно не существует... Чувство беспредельной свободы и легкости... Буйная радость освобождения... Все в одном устремлении вперед... Одно мгновение, всего одно—какого-то никогда не испытанного, чистого наслаждения... Я хлебнула его один раз, только один... и, в ту же минуту потеряв равновесие, упала на спину, беспомощно путаясь ногами в неуклюжих лыжах.

Я хохотала: было так весело и необычно, так радостно и молодо,—и с той поры уж не могла забыть чудного мгновения и этого ощущения полной свободы от всего телесного...

Теперь на аэроплане я не испытала ничего подобного,— и это, по-моему,—недостаток при полете в качестве пассажира. Тебя везут... Ты остаешься все время совершенно пассивным. Ты—груз; кусочек мыслящего, замороженного мяса. Все время *созерцаешь,* только созерцаешь... Это полное отсутствие активности лишает летящего остроты ощущения, этой высшей сути наслаждения.

Так бродят ночные мысли... И не на легких крыльях большой птицы,—крыльях аэроплана, не в голубом просторе

поднебесья, как это мог бы подумать простодушный читатель,—а тут в постели, в четырех стенах комнаты, приходят на ум фантастические антитезы жизни: прошлое и настоящее... Крепостные стены... Выложенный камнем, тесный дворик с саженным забором... тесный колодезь, над которым виднеется жалкий лоскут небесного свода... И никогда-никогда не видишь горизонта...

А тут—все четыре страны света... Куда ни глянь,—всюду простор... На крыльях, легких крыльях аэроплана... Высоко над землей, над всеми ее вольными и подневольными каменными мешками. Ну, не сказка ли вся эта быль?!.. А завтра будет просто 18-е сентября...

Кларан,
17-го сентября 1912 г.

«Исповедь» М. А. Бакунина.

Каждый, кому дорого или только знакомо имя М. А. Бакунина, с тревожным порывом возьмется за книгу, только-что названную и недавно опубликованную—за «Исповедь» этого великого агитатора-революционера. Когда мы, друзья или враги, говорили или мысленно произносили «Бакунин», в уме являлось представление о мощном революционном монолите, вся жизнь которого освещена одной идеей: «Свобода!» и согрета одним чувством: чувством возмущения против деспотов, деспотизма и всяческого угнетения — национального, политического и экономического.

В этом общепринятом представлении—от дрезденских баррикад 48 года мысль переносилась непосредственно к последнему десятилетию жизни Бакунина, когда он являлся апостолом разрушения, вождем анархизма, расколовшим первый Интернационал и увлекшим за собой Италию, Испанию, Францию и Швейцарию.

В своей памяти мы миновали десятилетие—51—61 годы, когда вслед за арестом в Хемнице Бакунин был выдан русскому правительству и заточен в Алексеевский равелин, а потом—в Шлиссельбургскую крепость. Об этом периоде, который закончился ссылкой в Сибирь и бегством в Европу, кроме внешних фактов, сведений почти не было. И с этой стороны собственноручный документ Бакунина — «Исповедь», написанный им в Петропавловской крепости для им-

ператора Николая I, только теперь в Государственном архиве найденный, открывает совершенно новую страницу духовной жизни автора и, потрясая читателя полной неожиданностью, делает громадный прорыв в обычном представлении о бунтаре-великане: «Бакунин на коленях» — характеризуют этот документ одни. «Сумерки великой души»— говорят другие, более благожелательные голоса. «Кающийся преступник» — подписывается в конце «Исповеди» Николаю сам Бакунин.

«Молящий грешник»—в 1857 году заканчивает он письмо к Александру II с мольбой *«не дать ему умереть в одиночном заключении»*.

Уж одни эти подписи дают понятие о рабском языке, которым написана «Исповедь», обращенная к ненавистному деспоту, душителю России, жандарму Европы. Но не говоря об отдельных выражениях и общем тоне, в своей «Исповеди» Бакунин унижает свое прошлое—революционное прошлое 40-х годов: он развенчивает революционное движение Германии этих годов, представляя его ничтожным, а себя и других участников этого движения изображает людьми недальновидными, нерешительными и неумными. Он квалифицирует свою тогдашнюю деятельность, как преступную, злодейскую, и радуется, что его намерения и планы, в особенности по отношению к России и ее монарху, были лишь измышлением разгоряченной головы и оставались без воплощения в жизнь.

В рецензии можно дать лишь намек на содержание «Исповеди»; ее следует прочесть самолично каждому, кто интересуется революционным движением и его деятелями: с психологической точки зрения документ представляет чрезвычайный интерес... Иные высказывают мнение, что «Исповедь» была применением правила: «цель оправдывает средства», что Бакунин брал на себя личину; что он притворялся и лгал, чтоб вырваться на свободу и вновь отдаться кипучей рево-

люционной борьбе. Но это невероятно, противоречит общему тону рассказа, противоречит содержанию его переписки с родными из Шлиссельбургской крепости (не вошедшей в разбираемую книгу), противоречит, наконец, его поведению и образу жизни в Сибири, где он вызывал недоумение тех, кто хотел видеть в нем непреклонного борца за свободу.

Сомненья нет, Бакунин в «Исповеди» был искренен. Как же заполнить прорыв в представлении о нем? Когда вчитаешься в рассказ Бакунина о периоде 42—48-х годов, который прошел в скитаниях по разным городам Европы в поисках встреч с политическими деятелями, немецкими, польскими, чешскими, и вдумаешься в воспоминания, которые заключаются в предисловии Вяч. Полонского, то нельзя не найти, что, если Бакунин «Исповеди» далек и совершенно чужд Бакунину, которого мы знаем по последнему десятилетию его жизни, то он родственен и близок Бакунину премухинского периода, периоду перед его от'ездом в Берлин в 1840 году, когда он увлекался философией Гегеля, находил все существующее разумным и не только не возмущался «гнусной» русской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества.

Основатель позитивной философии, О. Конт перед смертью выполнил обряды, требуемые католической церковью. В смертной тишине и неподвижности одиночной камеры Бакунин, человек исключительно сильных эмоций, главной психологической пружиной которого был порыв и непреодолимая жажда движения и деятельной жизни, испытывал своего рода предсмертные муки.

Холодным рассудком анализируя свое мятежное прошлое, он, который впоследствии говаривал, что в революции 99% иллюзии и только 1% рассудочности, не сохранил в оценке этого прошлого даже и 1% иллюзии.

В его психологии обнаружился атавизм, возврат к Бакунину 30—40-х годов.

Смотря на дело в этой перспективе, можно *понять* «Исповедь». Можно сказать, что все мы, как почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, и «Исповедь» разорвала эту иллюзию на-двое.

Иллюзия разорвана на-двое, но величавая фигура Бакунина и любовь к нему остаются. И в этом деле, быть может, всего печальнее, что после исповеди перед Николаем I он не сделал исповеди перед своими друзьями и единомышленниками.

Через 4 года после того, как была опубликована «Исповедь» Бакунина и написана предыдущая заметка, А. А. Корнилов в книге «Годы странствований Михаила Бакунина» поместил письмо последнего, переданное в 1854 г. тайно сестре Татьяне на свидании в Петропавловской крепости [1]).

В этом письме, писанном на клочках бумаги, Бакунин говорит [2]): «Это письмо—моя высшая и последняя попытка связаться с жизнью. Раз мое положение будет как следует выяснено, я буду знать, должен ли я еще ждать в надежде быть еще полезным согласно убеждениям, какие я имел, согласно убеждениям, какие я еще имею и какие всегда будут моими,—или я должен умереть».

Заканчивается письмо так: «Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая? спросите вы меня.—Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей выдержкой и большей предусмотрительностью,

---

[1]) После полуторагодового перерыва.

[2]) Привожу две цитаты в переводе Корнилова с французского. Стр. 493 и 495.

может быть. Ибо тюрьма по крайней мере тем хороша для меня, что дала мне досуг и привычку размышлять. Она, можно сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений. Она сделала их, наоборот, более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, заключается в одном слове—свобода».

Эти цитаты заставляют думать, что «Исповедь» Николаю I была приложением правила: «Цель оправдывает средства», но это не может удовлетворить и успокоить потрясенного читателя...

Жены декабристов.

Когда наступает столетие годовщины вооруженного выступления тех, которые известны под общим именем «декабристов», когда различные учреждения и отдельные лица делают во всех направлениях изыскания о событиях, деятелях и всех причастных революционному движению тех годов,—нельзя не воздать должного моральному подвигу Трубецкой, Волконской, Муравьевой, Нарышкиной, Ентальцевой, Юшневской, Фонвизиной, Анненковой, Ивашевой,—женам декабристов, имевшим громадное значение во всей последовавшей за приговором жизни не только своих мужей, но и всей группы осужденных по делу о восстании [1]).

В этом ряду женщин были и безродные, как Ал. Вас. Ентальцева, и жестоко в детстве бедствовавшие, как француженка П. Е. Гёбль, ставшая женой Анненкова, и такие неродовитые, как дочь гувернантки—Камилла Петр. Ле-Дантю, сделавшаяся женою Ивашева уже во время отбывания им каторги. Но большая часть перечисленных женщин принадлежала к титулованной знати, вельможным богачам — светилам верхов общества. Княгиня М. Н. Волконская была дочерью знаменитого Раевского; княгиня Е. И. Трубецкая —

---

[1]) Позднее к братьям Бестужевым, когда они вышли на поселение, приехала их сестра Елена Александровна, а жена Якушкина, многократно добивавшаяся разрешения присоединиться к мужу, так и не могла получить его.

дочь миллионерши Козицкой и графа Лаваль. Отцом А. Г. Муравьевой был граф Чернышев, а Ек. Петр. Нарышкина была дочерью графа Коновницына, героя войны 12-го года. Юшневская была замужем за генерал-интендантом; Анна Васильевна Розен носила титул баронессы. Ал. Ив. Давыдова была невесткой владелицы известного имения Каменки, Киевской губернии, где шла широкая, барская жизнь и собирался цвет культурного общества. И если революционные действия Северного и Южного обществ вообще были неожиданностью, не имевшей примеров в русском прошлом, то для жен декабристов арест их мужей, суд и приговор над ними являлся настоящей всесокрушающей катастрофой, к которой ничто не подготовляло среди роскоши и светского блеска их семейных очагов.

Они не участвовали в той общественной и революционной деятельности, которая об'единяла их мужей в тайное общество, они не знали о существовании ни Северного общества, ни Южного, как не ведали и о предшествовавшей тайной организации — Союзе Благоденствия. В начале XIX века нравы ограничивали поприще женщины областью семьи, и женщина не допускалась даже в такие об'единения, как масонские ложи. Поэтому отчасти, быть может, и вследствие бережного отношения мужей, жены декабристов не только не были посвящены в политические планы их, но и в мыслях не имели, чтобы близкие им люди могли замышлять государственный переворот, обсуждать вопрос о цареубийстве и истреблении всей царской семьи и пойти на дело, которое грозило смертью, каторгой и ссылкой.

События и люди, уходящие в такую даль, как целое столетие, всегда покрываются дымкой, и не потому, чтобы память о них молчала, но потому, что «все движется, все течет», и вечно развивающаяся и осложняющаяся жизнь с каждым десятилетием ставит новые задачи, выдвигает новых людей, подкапывает и разрушает старое и создает новые

условия, которые делают необычайное — осуществимым, поразительное — обыденным, и позднейшие поколения перестают удивляться прошлому и восхищаться им.

Если влияние движения декабристов было сильно в 30-х и 40-х годах и отразилось на духовном развитии Герцена, Огарева и их единомышленников, если Пушкин, Одоевский, Веневитинов и др. воспели жен декабристов в стихах и прозе, — то уже через 50 лет после событий, к середине 70-х г.г., жизнь преодолела прошлое, и память о тех днях и людях сохранилась лишь в смутных очертаниях, без четких индивидуальностей, без оживляющих подробностей. А потом прошло еще почти три десятилетия, прежде чем стала появляться литература об этих далеких наших предшественниках. Так долгие годы, можно сказать, не было ничего, что питало бы благодарную память о них и на чем можно было бы учиться их опыту.

Но, если о самих участниках восстания существовали лишь самые скудные сведения, то об общественном значении жен декабристов, в течение десятилетий совершавших свой моральный подвиг в Сибири, в руднике Благодатском, в остроге Читинском и в замке Петровском, можно было узнать и того меньше.

Поэма Некрасова «Русские женщины», воскресившая образы кн. Трубецкой и кн. Волконской, появилась в эпоху, когда русская женщина ушла далеко вперед. В 60-е годы, под влиянием новых условий, возникших вследствие освобождения крестьян и связанных с ним реформ, женщина отстояла свою личность в области семейных отношений, пред'явила право на самостоятельный труд, на высшее образование и на участие в общественной деятельности. Духовный рост ее за это десятилетие был так велик, что, вступая в 70-е годы, она сразу становится товарищем мужчины в революционной борьбе за социализм и свободу, делается членом тайных группировок, кружков и обществ и участвует

как в мирной пропаганде, так и в организованных боевых актах. Как далеко это от отношений Рылеева и его жены! Как далеко это от сцены, когда ночью, в ожидании ареста, Волконский будит жену, сжигает с ее помощью различные документы и на заданный ею после его короткого возгласа: «Пестель арестован!» вопрос «почему?» отвечает *молчанием!*

Жизнь преодолела пассивную роль женщины; она преодолела возможность громовых ударов с лазоревого неба, поразивших ничего не подозревавших, ничем не подготовленных жен декабристов. Она преодолела и леденящий ужас перед Сибирью, лежащей за тридевять земель, с ее выбрасываемым из России уголовным элементом. Преодолела, с одной стороны, тем, что то, что было новью в эпоху декабристов для изолированной группы их, стало привычным явлением в 70-е, 80-е и дальнейшие годы, когда тысячи политических ссыльных непрерывной цепью потянулись во все углы далекой окраины. А с другой стороны, старые и вновь воздвигнутые централы, при царской реакции раскинутые по всей земле русской — от Шлиссельбурга, Вятки и Орла до Николаева и от Москвы и Владимира до Зерентуя, — своими тюремными злодействами заставили побледнеть то, что в свое время испытали декабристы и последовавшие за ними жены.

Но что же следует из этого? Да, жизнь изменилась, ужас перед Сибирью она преодолела другими, еще более жуткими ужасами; да, она повысила требования к личности и женщину на ряду с мужчиной повела на эшафот и под расстрел. Но духовная красота остается красотой и в отдаленности времен, и обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия сияет и теперь в немеркнущем блеске прежних дней. Их лишения, утраты и нравственные страдания роднят их с нами, женщинами позднейших революционных поколений. Но для них арест и кара, обрушившиеся на декабристов, были потрясением, вырывавшим почву из-под ног. Воспитание, образ жизни, привычки, среда, —

все восставало против грозного будущего, открывавшегося перед ними. А женщины нашего последнего полустолетия шли сознательно на свою участь, они мысленно подготовляли себя к ней и обладали великим благом, *участвуя* в великом движении, прозревать его славное будущее. Это давало им силы, давало нравственное удовлетворение и душевное спокойствие. У женщин-декабристок этого не было.

В драме Ибсена фанатический проповедник Брандт требует от своей слабой, хрупкой жены непосильных жертв. Он уводит ее от людей, из привычной обстановки ведет в мрачные ущелья гор: там он будет выполнять свою миссию спасения душ жителей жалкой деревушки, заброшенной в туманную долину среди высот. Он отнимает у нее крошку-сына, который умирает от сырых испарений и вечной облачности дикой, нездоровой местности. У бедной матери остается одно: маленький чепчик дитяти, который, как дорогое воспоминание, она носит на груди. Брандт отнимает и это последнее, — он велит отдать чепчик нищей, у ребенка которой голова ничем не покрыта.

Император Николай I употребил всю жестокую изобретательность своих слуг, чтобы всевозможными ограничениями если не задержать в России, то связать по рукам и ногам женщин, пожелавших следовать за мужьями в Сибирь, и отравил жизнь тем, кого неизменно называл «невинными» женами декабристов. Кроткие увещания, жестокие угрозы и преувеличение будущих опасностей и бед,—все было использовано как в России, так и на пути в Сибирь, чтобы запугать неопытных и заставить отказаться их от своих намерений.

Николай отнял у «невинных» все имущественные и наследственные права, все титулы и звания и низвел обездоленных на прожиточный минимум, ежемесячный отчет в котором они должны были представлять местному начальству. Эта сумма была так ничтожна, что держала Волконскую и

Трубецкую на границе нищеты. Чтобы улучшить пищу заключенных на Благодатском руднике, они должны были сокращать собственное питание и отменить свои ужины; а Трубецкая одно время питалась *исключительно* черным хлебом и квасом. Эта избалованная княгиня ходила в истрепанных башмаках и отморозила себе ноги, потому что свои теплые башмаки она употребила на шапочку для одного из товарищей мужа, чтобы предохранить его голову от обломков горной породы, падавших в руднике при каждом ударе молота.

Император отнял у «невинных» их детей, запретив брать их с собой в Сибирь. 20-летняя мать Волконская, всего год назад вышедшая замуж, вынуждена была покинуть своего первенца-сына, который вскоре умер. Трубецкая оставила в России 2-х дочерей и сына; сын умер, а дочери на всю жизнь потеряли здоровье. Баронесса Розен, не успевшая пробыть замужем и года, могла вырваться к мужу только благодаря сестре, которая взяла ее младенца. Анненкова оставила свою дочь. Юшневской пришлось сделать то же самое. Фонвизина уехала, поручив двух сыновей своей матери; неразумная бабушка избаловала мальчиков и сделала их непригодными к жизни людьми. Давыдова, имевшая 5 человек детей, была вынуждена раз'единить их и разместить по своим родным.

Император осудил «невинных» жен на вечную разлуку и с родителями: последние не имели права когда-нибудь посетить Сибирь для свиданья с дочерьми.

Он отнял у «невинных» и родину, лишив их—не в пример женам уголовных — права возвращения в Россию. Даже после смерти мужей они должны были оставаться в Сибири. В 1844 году умер Юшневский; его вдова неоднократно просила о разрешении возвратиться в Россию — ей было в этом отказано. Через 20 лет после декабря, в 1845 году, умер Ентальцев, бывший уже на поселении. Его вдова, совершенно измученная жизнью с душевно-больным мужем в глуши Бе-

резова и тогдашнего Ялуторовска, хотела вернуться на родину — ей это не было разрешено!..

Подлая предусмотрительность венценосца и слуг его простиралась так далеко, что, прозревая будущие возможности, женам запрещалось иметь брачные отношения с осужденными мужьями.

В Чите в 1828 году мужьям было дозволено посещать жен на их квартирах, и в 1829 г. 16 марта у Анненковой родилась дочь, у Давыдовой — сын, у Муравьевой — тоже дочь. «Мы писали родным, что просим белья для ожидаемых нами детей», говорит Анненкова в своих записках. Старик комендант Лепарский, делавший для заключенных все возможное, а к женщинам неизменно благосклонный, получив эти письма для отправки в Петербург, в высшие инстанции, был крайне смущен таким содержанием их. Он возвратил дамам письма и пришел с об'яснениями.

«Mais mesdames, permettez-moi de vous dire», говорил он запинаясь и с большим смущением: «vous n'avez pas le droit d'être enceintes» [1]). А потом, желая успокоить, прибавил смешную фразу: «Quand vous serez accouchées c'est autre chose» [2])...

Да, «невинные» жены от всего отказались, на все согласились; все пред'явленные им требования скрепили своими подписями. Когда бумагу с ограничениями дали прочесть и подписать Волконской, она сказала: «Я подпишу, не читая».

Удивительно ли, что суровый отец Волконской, герой войны 12-го года Раевский, который при решении дочери следовать за мужем в Сибирь, сжав кулаки над головой ее, кричал: «Я прокляну тебя!..» — на смертном одре своем, умирая в разлуке с ней, сказал: «C'est la plus admirable

---

[1]) «Позвольте сказать вам, сударыни,—говорил он.—Вы не имеете права быть беременными».

[2]) «Когда вы разрешитесь от бремени—другое дело»...

femme, que j'aie connue» [1]). Да, он мог и должен был сказать это, потому что, кроме всего, что должны были преодолеть другие, дочь его должна была преодолеть сопротивление в своей собственной семье: гнев отца и гнусные интриги брата Александра, который перехватывал ее письма, устранял встречи с родными мужа, скрывал известия о нем, не сообщал о ходе дела и даже самую весть о приговоре задерживал, насколько это было возможно. Узнав, наконец, что муж приговорен к каторжным работам на 20 лет, Волконская с молодой решимостью порвала все опутывавшие ее тенета и первая после Трубецкой полетела в Сибирь.

Волконская догнала Трубецкую на Большом Нерчинском заводе, в 12 верстах от Благодатского рудника, где в остроге содержались их мужья и шесть других декабристов: Оболенский, Давыдов, два брата Борисовы, Бестужев и Якубович (остальные находились в Чите). Начальником над рудниками был Бурнашов, живший на Б. Нерчинском заводе. Это был человек грубый, «строгий до несправедливости». Его отношение к декабристам вполне характеризуется гневным выкриком при получении приказа о них — содержать строго и заботиться о здоровье: «Чорт побери, — воскликнул он, — какие глупые инструкции дают нашему брату: содержать строго и беречь их здоровье! Без этого смешного прибавления я бы выполнил, как должно, инструкцию и в полгода вывел бы их всех в расход!».

По прибытии в Благодатск Трубецкая и Волконская застали заключенных в бедственном положении, и первые встречи с ними были потрясающие. Увидав в расщелину тына мужа в кандалах, в коротком оборванном и грязном тулупчике, подпоясанном веревкой, изменившегося лицом и обросшего волосами, Трубецкая упала в обморок. Когда Волкон-

---

[1]) «Это самая удивительная женщина, которую я когда-либо знал».

скую ввели в каморку Волконского для свидания, она не бросилась к нему с об'ятиями, но пала пред ним на колени и поцеловала кандалы на его ногах... Это была не любовь к мужу, а трогательное почтение к страданию, которое человек нес во имя бескорыстной цели.

Благодатская тюрьма состояла из двух комнат, разделенных сенями. В одной содержались уголовные, совершившие побег, в другой — декабристы. Вдоль стен были устроены каморки, столь низкие, что было трудно стоять... Каморка Волконского имела три аршина длины и два — ширины. В ней, кроме Волконского, помещались Трубецкой и Оболенский. Лишенные права переписки, заключенные ничего не знали о своих близких и не получали от родных ни писем, ни посылок. У них не было ни денег, ни белья; они спали на нарах без подушек и каких-либо постельных принадлежностей. Здоровье у всех было расшатано. По официальным сведениям, Трубецкой страдал кровохарканьем; у Оболенского была цынга; Якубович и Давыдов страдали грудью, а Андрей Борисов был болен психически. Между тем питание было скудное и плохого качества. Выше было указано, каким лишениям должны были подвергнуть себя избалованные женщины, чтобы несколько улучшить пищу заключенных. У Трубецкой по приезде совсем не было денег, а у Волконской была лишь незначительная сумма. Отпустив горничных, которые добровольно сопровождали их в пути, они сами исполняли все домашние работы, — убирали, стряпали и стирали, а для мужчин чинили и шили белье, приготовляли кушанья, которые носили в тюрьму. Правда, нельзя сказать, чтобы это выходило у них искусно. Говоря о Чите, Анненкова пишет: «Дамы наши часто приходили ко мне посмотреть, как я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп, то состряпать пирог». Но когда дело доходило до того, чтобы вычистить курицу, они «со слезами сознавались, что завидуют моему умению все делать, и горько жа-

ловались на самих себя за то, что не умели ни за что взяться». Говоря о скудости и материальной нужде жен декабристов, надо прибавить, что в Благодатске Трубецкая нанимала у одного казака комнату такого размера, что, когда на полу у нее ночевала Волконская, ее голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Этот чулан, черный хлеб с квасом и истрепанные башмаки — вот обстановка княгини, урожденной графини Лаваль, которая во дворце своей матери ходила по мраморным плитам императора Нерона, купленным старой графиней в Риме.

Свидания с мужьями они имели 2 раза в неделю в тюрьме, в присутствии офицера. Конечно, это не удовлетворяло, и летом «любимым времяпрепровождением нашим было, — говорит Волконская, — сидеть на камне против окон темницы; оттуда я разговаривала с мужем; приходилось говорить довольно громко, так как расстояние было значительное». Эта вольность «сидеть на камне» далась не даром; солдаты отгоняли дам, наносили грубости, и однажды (уже в Чите) солдат ударил Трубецкую кулаком. В один из промежутков между свиданиями в тюрьме случилась история, очень напугавшая Трубецкую и Волконскую. Горный офицер Рик, которому было поручено наблюдение за тюрьмой, вздумал еще более ухудшить участь заключенных. «Он потребовал, чтобы по возвращении с работ, вместо того, чтобы, умывшись и переодевшись, обедать вместе, каждый шел в свою каморку и там ел, что ему подадут. Кроме того, из экономии он перестал выдавать им свечи. Оставаться же, — продолжает Волконская, — без света с 3 часов пополудни до 7 часов утра в клетке, где можно было задохнуться, было настоящей пыткой». Им было также запрещено разговаривать друг с другом через перегородки клеток. И вот, произошла первая в истории революционного движения тюремная голодовка-протест. Заключенные сговорились не принимать пищи и стали отправлять назад обед и ужин. Прошел день, прошел

другой; Рик струсил и подал рапорт, что заключенные *взбунтовались и хотят уморить* себя голодом. Приехал Бурнашов. Вызвав Волконского и Трубецкого, он разразился громовой речью, *угрожая кнутом* в случае *возмущения*. До женщин, не имевших понятия о том, что происходило в последние дни в тюрьме, дошел распространившийся среди местных жителей слух, что «секретных» будут судить. В тревоге и ужасе застыли Волконская и Трубецкая, когда увидали, что их мужей повели на допрос к Бурнашову. Вдоволь накричавшись, последний дал, наконец, возможность об'яснить ему, в чем заключался «бунт» и чем он был вызван. И дело кончилось благополучно: распоряжения офицера были отменены, а сам он через некоторое время был удален.

В Благодатске декабристы работали в рудниках от 5 часов утра до 11 и должны были вырабатывать по три пуда руды в день.

Осенью 1827 года их перевели в Читу, где они соединились с остальными товарищами. В остроге скопилось тогда более 70 человек. Тюрьма была тесная: проходя ночью, надо было остерегаться, чтобы кого-нибудь не задеть. Днем оглушительный звон от кандалов был нестерпим для тех, у кого нервы были расстроены. Непрерывный шум и говор отнимали возможность сосредоточиться и чем-нибудь заняться. Тюрьма к тому же была темная, с окнами под потолком, как в конюшне. Рудников здесь не было, и декабристы сначала мели улицы, очищали хлевы и конюшни старых казарм, а когда не стало этих работ, их заставляли молоть зерно на особых ручных мельницах, как это практиковалось в монастырях в виде наказания. «Так провела большая часть их 15 лет своей юности в заточении»,—с грустью вспоминала в своих «Записках» по этому поводу М. Н. Волконская.

Когда из Благодатска декабристов перевели в Читу, туда переехали и Трубецкая с Волконской. Они нашли там Ал. Гр. Муравьеву и жившую с ней Нарышкину. В Чите находилась

и Ентальцева, которую новоприбывшие пригласили жить вместе с ними. Постепенно из России приезжали и другие жены: Фонвизина, Давыдова и француженка Гёбль, которая выхлопотала у императора разрешение отправиться в Сибирь к Анненкову и там обвенчаться с ним. Вначале они имели свидания с мужьями попрежнему лишь два раза в неделю, а в остальные дни ходили к тюремной ограде из бревен, неплотно прилегавших друг к другу; через эти расщелины можно было видеть заключенных и говорить с ними. На первых порах это делалось с опаской, а потом вошло в норму. После удара, который солдат нанес Трубецкой (на что была принесена жалоба), последняя, по словам Волконской, устраивала там целые приёмы: она приносила стул и усаживалась; внутри тюремного двора собирался кружок, и каждый ждал очереди для беседы [1]).

Для человека, не знавшего тюрьмы, это кажется пустяком! А сколько радости доставляла заключенным эта возможность переглянуться, перекинуться словцом с редким посетителем извне! Восторженное стихотворение князя Одоевского, написанное по поводу этих визитов у тюремного тына, красноречиво свидетельствует об этом.

С того момента, когда Волконская и Трубецкая прибыли в Благодатск, а Муравьева, Нарышкина и Ентальцева—в Читу, они сделались утешением и радостью всех заключенных. И в крупном и в мелочах они были их добрыми гениями и, кроме нравственной поддержки, оказывали сотни всевозможных услуг. Благодаря связям в столице и личной известности некоторых из них императору, местные власти не могли не считаться с ними, и это удерживало от произвола по отно-

---

[1]) Это живо напоминает то, что было в Шлиссельбурге, когда тесовые заборы стали от времени отходить от крепостной стены и узники прикладывали к щели глаз, чтобы увидать соседа; а позднее Л. Волкенштейн устраивала приемы, находясь в своей клетке, при чем соблюдалась правильная очередность для собеседников.

шению к узникам. А личное обаяние молодых, образованных женщин не могло не действовать на окружающих, начиная с членов администрации и до уголовных, с которыми приходилось постоянно соприкасаться. Один каторжанин под кнутом не назвал Волконскую, которая через него оказала денежную помощь скрывавшемуся беглецу Орлову.

Неусыпные заботы женщин распространялись на всех декабристов безразлично. Когда кончались сроки низших разрядов осужденных, они обшивали и снабжали всем необходимым тех, кто выходил на поселение, так как многие не имели ни родных, ни связей в России. Переписка всех заключенных велась через них. Подобно тому, как в 80-х годах это было на рудниках Кары, каторжане не имели права писать родным сами, но лицемерно разрешалось переписываться через кого-либо вне тюрьмы, при чем, говоря о заключенном в третьем лице, переписчик, как бы от себя, передавал содержание письма [1]). Этих писем было множество: каждая дама имела свою группу; Трубецкой каждую неделю приходилось переписывать десяток, а вместе с Волконской иногда она переписывала их до 30-ти. Когда случалось, что кого-нибудь из позже осужденных провозили через Читу, дамы шли к пересыльной тюрьме, за три версты от города, пешком, чтобы ранним утром у тына встретиться и сказать слово ободрения, как это было с офицерами Черниговского полка—Мозгалевским, бароном Соловьевым и несчастным Сухиновым, который потом бежал с 200 уголовных и был приговорен к расстрелу, но в ожидании казни повесился на ремне своих кандалов. А когда, благодаря ловкости Волконской, удалось узнать, что приехавший фельд'егерь должен увезти в Петербург декабриста Кондратовича, дамы всю ночь

---

[1]) Несколько открыток такого рода я передала в Ленинградский революционный музей. Их от имени Т. Лебедевой писали ее подруги, вышедшие в вольную команду.

в ужасную стужу дежурили поочередно, чтоб не отпустить товарища без последнего «прости».

В тесноте и скученности Читинского острога декабристы прожили более трех лет. Тем временем в Петровском заводе строилась обширная тюрьма, куда должны были их перевести. Жены заблаговременно послали прошения, чтоб им разрешили жить в тюрьме вместе с мужьями, и это было разрешено. Летом 1830 года двинулись декабристы, а за ними их жены. Не доезжая до Петровска, комендант Лепарский передал дамам письма и газеты. Последние принесли весть о революции в Париже и низвержении Карла X, и по прибытии в острог, подобно тому, как в позднейших российских тюрьмах праздновались Коммуна 18-го марта и взятие Бастилии 14-го июля, всю ночь тюрьма оглашалась песнями и криками «ура», а караульные дивились, чему радуются новоселы.

Если в Чите у декабристов все было общее—вещи, книги, то в Петровске об'единение в одну организационную дружную общину было довершено устройством двух артелей. «Большая» артель уравнивала всех экономически: каждый мог располагать по своему усмотрению приходящейся ему долей—это делало членов независимыми. «Малая» артель имела целью помощь на первое обзаведение тем, кто выходил на поселение. Касса этой артели составлялась из пожертвований и отчислений. Дамы, поселившиеся в тюрьме, являлись здесь об'единяющей связью. Некоторые товарищи потеснились и отдали в их распоряжение две комнаты. Там по вечерам собирались все, и устраивались чтения, беседы и дебаты. Благодаря женам получались все русские газеты, одна немецкая, несколько журналов и газет на французском языке, о книгах нечего и говорить—количество их постоянно возрастало. Женщины обеспечили общине медицинскую помощь. Если по идее А. Г. Муравьевой в Чите они устроили и оборудовали больницу, то в Петровске благодаря им в

остроге была организована аптека, и декабристу Вольфу, хорошему врачу-хирургу, были доставлены все необходимые инструменты и медицинские книги и издания.

С удивлением читаешь, что в Петровской тюрьме не было окон в стене, и, по рассказу Волконской, целый день приходилось поддерживать огонь. Всем известно, как тягостен в тюрьме вечный искусственный свет ночью, но в Петровске и днем должны были пользоваться только им, и это чрезвычайно действовало на нервы и портило зрение. Дамы обратились в Петербург, прося разрешения прорубить окна; в 1831 г. разрешение было дано, но комендант Лепарский, чрезвычайно мнительный по отношению к возможности побегов, приказал, при всем благодушии своем, сделать их под потолком, и с тех пор как стали делать эту переделку, дамы устроились вне тюрьмы, прожив в ней год. У Волконской и Анненковой, у Ле-Дантю, обвенчанной с Ивашевым в Петровске, и у Розен, присоединившейся к мужу только тут, рождались дети, и эти «цветы жизни» были радостью не только матерей, но и всей тюремной колонии, приобретавшей в них крестников и крестниц.

Так десяток женщин, очень подружившихся между собой, служили источником всего светлого, что могло быть в однообразной жизни тюрьмы, и несли наравне с узниками все тяготы, которые выпали на их долю, и своей деятельностью дали совершенно недосягаемый идеал для всех организаций помощи политическим заключенным и ссыльным, какие существовали в ближайшее к нам пятидесятилетие царской власти.

Шли годы тяжелой медленной поступью. «Первое время нашего изгнания,—пишет Волконская,—я думала, что оно, наверное, кончится чрез 5 лет; затем я себе говорила, что это будет через 10, потом—через 15 лет; но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей».

Шли годы, но женщины-декабристки оставались неизменны: «в каждом несчастном они привыкли видеть брата»,—говорит о них Достоевский. Когда его вместе с другими петрашевцами провозили через Тобольск, жены декабристов упросили смотрителя пересыльной тюрьмы дать с ними свидание в его квартире. «Они благословили нас в новый путь,—пишет Достоевский,—и каждого оделили евангелием—единственной книгой, позволенной в остроге», и в евангелии были спрятаны деньги.

Так от начала до конца они были всегда равны и верны себе. Они проявили твердую волю и смелую решимость итти неуклонно к намеченной цели, неусыпающую энергию и действенную любовь. Разве не они раскрыли перед нашими передовыми писателями качества, которые они назвали «доблестью русской женщины»? И после них разве не эти качества русская женщина целыми десятилетиями должна была вносить в наше многострадальное революционное движение? Когда читаешь трогательные воспоминания о них декабристов или в тишине вечера пробегаешь собственные повествования Волконской, Анненковой,—разве не преисполняешься благодарностью к этим женщинам? И если отвлечься от страстных, жестоких и великих переживаний последних десятилетий и обратить взор в столетнюю даль,—не найдем ли и мы в них то *необыкновенное,* что поражало и восхищало их современников, и не признаем ли их светочами, озаряющими даль нашего революционного движения?

Женское движение в Финляндии.

25 мая (н. с.) 1906 г. финляндский сейм вотировал почти единогласно новый избирательный закон, который даровал всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право каждому не опороченному по суду гражданину Финляндии 24-летнего возраста, без различия по отношению к имуществу, сословию и полу.

Таким образом, из всех европейских стран Финляндия первая разрешила вопрос о политических правах женщины. На первый взгляд такой счастливый оборот может показаться загадкой. В самом деле, каким образом эта маленькая страна могла опередить всю Европу и даже почти весь мир, так как она дала женщине не только активное, но и пассивное избирательное право, которое имеют лишь Нов. Зеландия и некоторые отдельные штаты Северо-Американских Соединенных Штатов (числом 4).

На вопрос о средствах, которыми это было достигнуто, как на причину подготовительную, указывают на распространенность совместного обучения обоих полов в различного рода учебных заведениях [1]). Главной же причиной считают

---

[1]) Совместное обучение происходит в сельских народных школах, в низших классах городских народных школ; в так наз. народных университетах; затем из 13 тыс. учащихся в средних учебных заведениях $^1/_3$ учится совместно в частных гимназиях, получающих субси-

участие женщины, наравне с мужчинами, в борьбе за свободу и теперешнюю конституцию Финляндии.

Дальнейшее изложение послужит доказательством справедливости этого последнего мнения.

Финляндское *женское движение* началось, конечно, не со вчерашнего дня, но особенное оживление его относится к 1898 г., когда от буржуазии движение перешло в широкие демократические круги.

Уже в 1883 г. был основан буржуазный женский ферейн, так называемый «Финский женский ферейн» (Finischer Frauenverein). Его целью было «поднятие умственного развития женщины и улучшение положения ее в экономическом и социальном отношении».

Деятельность общества была, главным образом, культурная и состояла в работе среди женщин низших классов. Члены общества устраивали странствующие школы, в которых женщины обучались домашнему хозяйству, рукоделиям, кулинарному искусству, ремеслам и т. п. Эти школы об'езжали всю Финляндию, заводили непосредственные связи с женским населением и на ряду с культурными начинаниями вели деятельную пропаганду своих взглядов на равноправие женщины и мужчины. Устраивались также различные специальные просветительные курсы и публичные лекции, где проводились те же идеи.

Подобными же целями задавался и другой буржуазный женский союз «Унион» (Union), основанный группою мужчин и женщин в 1892 г. Первый параграф его устава гласил, что союз основан для содействия образованию девушек и молодых женщин и для улучшения положения женщины в семье

дию от государства и стоящих в общественном мнении выше казенных, где мальчики и девочки обучаются отдельно. Наконец, Гельсингфорский университет, открытый для женщин еще в 1870 г., насчитывал в 1905 г. 564 студентки (из общего числа 2640 слушателей).

и государстве путем об'единения мужчин и женщин в целях реализации женского равноправия.

Оба эти союза были типичными феминистскими союзами: их задачей было поднятие женщины, *как таковой,* уравнение ее в правах с мужчиной. Они не стремились к изменению существовавшего тогда избирательного права, основанного на цензе, и не добивались реорганизации архаической формы четырехкамерного сейма. Их целью было лишь распространение существующих прав и на женщину.

Однако, в этом направлении во все первые годы существования «Финского женского ферейна» и «Униона» они ничего серьезного не сделали, если не считать отдельных брошюр и статей, появлявшихся в печати начиная с 1882 г. и написанных г-жами Hagman, Molander, Ehrnrooth, Westermark и друг., защищавшими в литературе идею политического равноправия женщины. Главные же силы женских буржуазных союзов, как было уже указано, уходили на просветительную и культурную работу.

По мнению одной из выдающихся деятельниц Union'a—Annie Furuhjelm, такое положение дел в значительной степени зависело от общего политического положения страны. С каждым днем становилось очевиднее, что русское правительство смотрит с опасением и чувством недоверия на национальную автономию и конституционную систему Финляндии: Дамоклов меч, казалось, уже был поднят над свободой страны. При таких условиях, говорит A. Furuhjelm, считалось неблагоразумным стремиться к реформе устарелой системы представительства и избирательного права.

В 1899 г. давно жданный удар был нанесен: финляндская конституция—сокрушена, автономия—поставлена на край гибели. Тяжелое время наступило для Финляндии; каждый день приносил ей новые обиды: язык, религия, весь строй жизни, все, что было дорого для национального чувства финляндцев, находилось под угрозой. Лозунг о пассивном

сопротивлении каждой незаконной мере, подобно боевому кличу, пронесся тогда по всей стране и об'единил большинство населения. Сотни и тысячи женщин всех классов, не помышлявшие ранее о своих правах или, лучше сказать, о своем бесправии, вступили в ряды оппозиции, предлагая свою помощь, и мужчины приняли ее с энтузиазмом. Тайная организация, в которой женщины принимали деятельное участие, распространилась по всей стране. Специальная женская организация взяла на себя сбор денег для политических целей, а когда финские патриоты, изгнанные русским правительством, стали издавать в Швеции газету «Свободное Слово», женщины, и притом высших слоев общества, занялись тайной перевозкой ее.

Таким образом, общая борьба об'единила мужчин и женщин, а условия политического гнета пробудили самосознание последних в слоях, которые до тех пор были чужды политике, интерес к ней все более и более распространялся. Фактически женщины участвовали теперь в судьбах своей родины, и желание разделять с мужчинами ответственность за эти судьбы становилось двигательной силой среди женского населения Финляндии...

Незадолго пред наступлением этого критического периода на сцену женского движения выступила новая сила: женская демократия—работницы.

В 1898 г. в Гельсингфорсе, а позднее и в других городах, было положено начало ряду профессиональных женских ферейнов, а в 1900 г. в Гельсингфорсе был созван первый конгресс их, на котором присутствовало 33 делегатки от 21 ферейна. На этом конгрессе произошло об'единение этих ферейнов в один общий союз работниц с общим центральным управлением (Direktion), местопребыванием которого был назначен Гельсингфорс. Предметом горячих обсуждений было завоевание избирательного права для женщин. В результате конгресс вынес резолюцию, гласившую, что женщины-работ-

ницы будут действовать совместно с рабочими-мужчинами, и вместе с социал-демократической рабочей партией добиваться всеобщего избирательного права как для мужчины, так и для женщины, что является одним из требований социал-демократической программы.

Относительно буржуазных женских союзов конгресс выразил желание действовать вместе с ними лишь в тех случаях и лишь постольку, поскольку совместная деятельность не будет задевать интересов партии.

Избранный комитет ревностно принялся за агитацию и разослал по всей стране своих агентов и соответствующую литературу.

В июле 1902 г. был созван второй конгресс—в Або. Там, кроме оживленных прений об избирательном праве, было решено агитировать в пользу законодательной защиты женщин и детей. Управление союза было перенесено в Выборг.

Третий конгресс должен был состояться в 1904 году, но так как в это время всякие открытые собрания, в том числе и женские, были запрещены, то конгресс мог собраться только неофициально. Собравшиеся делегатки-работницы решили отдельной петиции об избирательных правах женщины в предстоящий сейм не подавать, но поддерживать петицию рабочей партии о всеобщем избирательном праве, в которое права женщин входят, как часть в целое.

Осенью того же года «Унион» задумал созвать в Гельсингфорсе всеобщий конгресс женщин для обсуждения вопроса о женском равноправии. Он обратился ко всем женским ферейнам страны с предложением подписать воззвание о конгрессе и быть инициаторами его. Различные ферейны, как крупные, так и мелкие, даже и такие, которые по предыдущей деятельности ничего общего с политикой не имели, например, ферейн Martha (цель его—обучение хозяйству, домашним работам и т. п.), филантропические ферейны и т. д. подписали это воззвание. Подписали его и представители со-

циал-демократических женских ферейнов. Отказался от официального участия лишь консервативный «Финский ферейн», мотивировавший свой отказ тем, что он уже имеет свою петицию об этом предмете.

Ферейны, подписавшие воззвание, являлись лишь устроителями конгресса, участницами же его должны были быть не делегатки этих союзов, а делегатки, выбранные территориально финскими женщинами вообще, безразлично, принадлежали ли они к какому-либо союзу или нет.

Этот с'езд финляндских женщин произошел 7 ноября 1904 г., и собралось их более тысячи, принадлежавших ко всевозможным классам и политическим партиям. Studenthuset—большое здание в Гельсингфорсе—не могло вместить всех, и сотням женщин нехватило места.

Конгресс имел в виду выяснить отношение присутствующих к вопросу о политических правах женщины, и на предварительном совещании руководящей комиссии, в виду большого разнообразия направлений, было решено, что каждое будет защищать на конгрессе свои собственные взгляды.

Действительно, в то время как большинство конгресса держалось социал-демократической программы, буржуазный «Унион» защищал свои требования, заключавшиеся в *уравнении* женщины в правах с мужчинами, т.-е. требовал распространения на нее *существующего* избирательного права (как *активного, так и пассивного*).

Подавляющее большинство поддерживало, напротив того, требование всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, в которое право женщины входит, как часть в целое.

Конгресс не выработал никакой общей петиции в предстоящий сейм, но вынес резолюцию, что в ближайшую сессию женщины должны подать как можно больше петиций, требующих избирательного права для женщины.

Конгресс прошел, в общем, очень оживленно; настроение присутствующих было приподнятое. В истории Финляндии наступал в то время поворот. Ненавистный генерал-губернатор Бобриков был убит, и заря лучшего будущего, казалось, занималась над страной. Со всех концов конгресс получал сочувственные адреса, подписанные сотнями женских имен, при чем высказывалось мнение, что политические права будут ценны лишь в том случае, если закон и конституционные права Финляндии будут восстановлены...

После этого конгресса ясно обнаружился разрыв женщин буржуазии с женщинами-работницами. «Унион» подал в сейм петицию с требованием прав, какими пользовались мужчины, т. е. прав буржуазных, т. к. старый избирательный закон имел в основе имущественный ценз.

Это показало работницам, что совместная работа их с женщинами буржуазии невозможна, что они будут пользоваться женщинами-работницами, лишь как орудием, и что победа их будет для рабочих-женщин—уроном.

«Финский женский союз», с своей стороны, тоже подал петицию о женском избирательном праве, но тогда как «Унион» требовал и *пассивного* избирательного права, «Финский женский союз» не только не стоял за это, но даже противодействовал и агитировал против. Союз, который целые 20 лет ратовал за права женщин, теперь, казалось, боялся, что женщины достигнут, наконец, своих целей, боялся, что они не сумеют пользоваться своими правами и что какая-нибудь работница, пожалуй, попадет в члены сейма. В Гельсингфорсе и губернских городах этот союз собирал митинги для противодействия домогательствам работниц и выставлял своих лучших ораторов, чтоб доказывать, как опасно требовать слишком многого.

Женщины социал-демократки развили со своей стороны в зиму 1904—1905 года широкую деятельность. Они всюду устраивали собрания и организовали комитеты для пропаган-

ды своих идей, постоянно подчеркивая, что преследуют не свои специальные цели, а требуют прав для всего народа.

14 апреля 1905 года сейм обсуждал вопрос о всеобщем избирательном праве. Многотысячная толпа мужчин и женщин теснилась около места заседания, и когда стало известно, что духовенство высказалось за всеобщее избирательное право мужчин, но не женщин, среди последних поднялись крики: долой духовенство, не признающее женщину за равноправного человека!

17 июня 1905 г. в Таммерфорсе собрался четвертый социал-демократический женский конгресс, состоявший из 82 делегаток. Главным очередным вопросом опять-таки был вопрос об избирательном праве. Настроение конгресса, благодаря общим политическим условиям как Финляндии, так и России, было возбужденное. За событиями в России следили с глубоким интересом, и на конгрессе раздавались громовые речи против угнетателей. Резолюция работниц гласила, что никаких дальнейших петиций в сейм они подавать не будут, но будут *требовать,* чтобы на следующем же сейме вопрос о правах женщин был решен.

В видах дальнейшей агитации решено было разделить страну на 13 областей, разослать агитаторов и по всей стране произвести ряд женских манифестаций.

За день до этого конгресса происходил с'езд делегаток от женской прислуги, и на нем было решено создать союз—Dienstmädchenverein—с центральным комитетом в Гельсингфорсе. На с'езде было решено требовать 10-часового рабочего дня; это требование нашло поддержку на последовавших затем в различных городах многолюдных митингах прислуги. Так как Dienstmädchenverein примкнул к социал-демократической рабочей партии, то это произвело значительный переполох среди буржуазии, жаловавшейся, что социализм добрался до домашних очагов ее.

Затем наступило время всероссийской забастовки, рас-

пространившейся и на Финляндию и ниспровергшей все прежние отношения.

По всей стране были организованы стачечные комитеты, в которых женщины участвовали наравне с мужчинами, так что Финляндия управлялась в то время столько же женщинами, сколько и мужчинами.

Манифест 4 ноября восстановлял финляндскую конституцию и предложил сейму реформировать устаревшее представительство и разработать новый избирательный закон на основе всеобщего избирательного права.

В этот решительный момент финляндские женщины вложили всю свою энергию в дело агитации за свои права: они понимали, что если не используют теперешних благоприятных обстоятельств, то решения вопроса придется еще ждать многие, многие годы. По опыту других стран они знали, что под всеобщим избирательным правом часто разумеют лишь право мужчин и что на одну эту формулу вполне полагаться нельзя.

Для разработки программы действий 2 декабря (1905 г.) в Гельсингфорсе был созван снова всеобщий женский конгресс. Здесь относительно сейма было решено: никаких дальнейших петиций не представлять, так как он не организован на новых началах всеобщего избирательного права. Затем вынесена резолюция, которая должна была формулировать еще раз требования женщин, а именно: требование однопалатной системы представительства и всеобщего, прямого, равного и тайного как активного, так и пассивного избирательного права для *каждого* совершеннолетнего, не опороченного судом финляндца.

Этих реформ женщины обещали добиваться всеми способами, не отступая ни на шаг и пользуясь теми средствами, которые дадут им в руки события в России и Финляндии.

Вместе с тем было решено произвести ряд демонстраций по всей стране, и 17 декабря назначено днем повсеместного

выступления женщин. Этот день так и был назван «женским днем».

Действительно, 17 декабря по всей Финляндии произошли грандиозные митинги, на которых насчитывалось иногда до 10 тыс. женщин, которые произвели на буржуазию большое впечатление.

30 декабря в Гельсингфорсе была новая демонстрация, на которой присутствовало множество женщин из деревень.

На происходивших при этом митингах выносились резолюции, в случае, если сейм не проведет закона об однопалатной системе и всеобщем избирательном праве, произвести всеобщую забастовку и в этих видах организовать в селах и городах забастовочные комитеты.

Когда сейм собрался, общественное мнение зорко следило за его деятельностью; всякое уклонение от демократических требований вызывало немедленно энергичный протест. Комиссия, которая разрабатывала новый закон о представительстве и о всеобщем избирательном праве, находилась под строгим контролем общества. Как только в ней возникали какие-нибудь сомнения относительно зрелости женщин, в прессе появлялись возражения, и женщины во всякую минуту готовы были встать на защиту своих прав. О ходе предстоявшей реформы ходили всевозможные слухи; порой женщины начинали опасаться, что мужчины-работники, достигнув всеобщего избирательного права для себя, могут покинуть дело женщин... В таком случае они предполагали забастовать одни.

В тот день, когда вопрос решался в сейме, густые толпы народа наполняли улицы, прилегающие к месту заседания. Каждого члена ландтага, попадавшегося на глаза, публика спрашивала, будут ли женщине даны такие же права, как и мужчинам, и если ответом было «да», толпа чувствовала облегчение...

28 мая н. с. сейм, почти единогласно, решил вопрос в

утвердительном смысле: вместо прежней, архаической четырехкамерной системы, Финляндия получила одну палату. Вместе с тем она получила всеобщее избирательное право, не знающее никаких ограничений. Финляндская женщина, принимавшая такое громадное участие в политической распре Финляндии с Россией, в борьбе за утверждение свободы и расширение прав всего народа, получила те же права, что и мужчина: после всего прошлого никто не смел отказать ей в праве голоса—отныне она могла не только вотировать наравне с мужчиной, но и сама быть избрана депутатом.

Интересно, что глава финляндского правительства—сенатор Мехелин,—бывший всегда сторонником равноправия женщин и во время аудиенции у государя горячо защищавший избирательное право женщин, в ответ на сомнения государя насчет своевременности такого важного шага отвечал, что «общественное мнение требует этого, и нет никаких оснований опасаться, что женщины в пользовании своим правом будут одушевлены меньшим чувством ответственности, чем мужчины».

Следующий социал-демократический женский конгресс состоялся 8 октября 1906 г. в Выборге. Присутствовало 130 делегаток; очередным вопросом было осуществление новых избирательных прав: обсуждалась платформа и выборная агитация.

Финляндские женщины оказались и тут на высоте положения и решили не выступать с отдельными женскими списками, но вотировать за кандидатов как из среды мужчин, так и из среды женщин [1]).

Это решение находится в полной гармонии со всей предшествующей деятельностью женщин Финляндии. Эта деятельность характеризуется девизом, который должен быть

---

[1]) В первом после реформы ландтаге среди избранных делегатов оказалось 19 женщин.

девизом женского движения в каждой стране, а именно: не выделять себя в особую касту должны женщины, но итти рука-об-руку с мужчиной в борьбе за равенство, справедливость и братство.

Только в широкой демократизации движения и в слиянии своих интересов с общими интересами всего народа женщина приобретает ту силу, которая выведет ее из состояния подчинения и рабства.

Декабрь 1907 г.

Женское движение в Англии (1909 г.).

Движение за политическое равноправие женщин в Англии имеет свою длинную историю, но лишь в последние 2—3 года оно приняло, благодаря удивительной энергии и активной тактике женщин, такой оборот и возбудило такой интерес в широких слоях населения, что вопрос о даровании им политических прав стал вопросом злободневным и по всем видимостям близится к своему разрешечию.

До сих пор, в течение целых 40 лет, движение шло мирным и обычным для Англии путем: женщины примыкали к тем или другим политическим партиям, ища в них поддержки, а, с другой стороны, организовали союзы, вели пропаганду на митингах и в печати, но в особенности старались склонить на свою сторону членов парламента.

В последнем отношении они с внешней стороны имели значительный успех, так как в настоящее время 420 членов нижней палаты являются сторонниками женской эмансипации в той или иной форме и в первую сессию 1908 г. вотировали во втором чтении за билль о распространении ныне существующего избирательного закона на женщин. Имея за себя такое большинство в парламенте, казалось, не трудно бы достичь цели. Однако, до сих пор ни один билль в пользу равноправия женщин не доходил до третьего чтения, которое было бы решающим. Достигалось это путем уловок, которым дает простор парламентская процедура и

которыми пользуются частью противники женской эмансипации («заговаривая» билль), но главным образом министерство. В самом деле, партийная дисциплина требует от отдельных членов парламента, каковы бы ни были их личные симпатии, подчинения лидерам, составляющим правительство, и если министерство не сочувствует какой-либо реформе, оно всегда имеет возможность снять ее с очереди. И до сих пор еще не было министерства, либерального или консервативного, которое захотело бы оказать женщинам надлежащую поддержку: для 3-го чтения просто не назначают дня.

Между тем, обе большие партии, как консервативная, так и либеральная, при выборах издавна пользовались услугами женщин, которые не щадили ни сил, ни материальных средств для поддержания соответственных кандидатов. Primerose League (лига подснежников) стяжала в этом отношении всесветную славу, а Liberal Women Federation (либеральная женская федерация), в свою очередь, усердно поддерживала либералов. Правда, в благодарность за это, будущие члены парламента сулили женщинам свою поддержку в нижней палате. Но мы уже видели, что, даже предполагая полную искренность, эта поддержка сводится на-нет, и ни одна партия, ни одно министерство никогда еще не ставили вопрос о политических правах женщины на первый план. Всегда выдвигались какие-нибудь другие реформы, а женщины приглашались к терпению и пожертвованию своими интересами в пользу этих реформ. Так, при вступлении теперешнего министерства, вопрос шел о свободе торговли, о народном образовании; затем началась кампания против палаты лордов, а в средине 1908 г. возник вопрос о патентах (на продажу спиртных напитков). В прошлое министерство внимание коммонеров отвлекала война с бурами и т. д. Годы шли, а вопрос о политических правах женщин не двигался с места.

В виду этой безнадежности, среди английских женщин образовалось течение, составляющее реакцию против прежней мирной тактики, в течение десятилетий не приводившей ни к чему. Из массы женщин выделился передовой отряд, относящийся отрицательно к прежней политике и в два-три года наполнивший шумом всю Англию. Это были так называемые «воинствующие суффражистки». Не видя настоящей помощи ни со стороны партий в целом, ни со стороны министерства, они резко отграничили себя от всех политических партий и об'явили дело политического равноправия женщин стоящим *вне и над* ними. Желая посвятить себя всецело делу женской эмансипации, они отказались служить и помогать другим партиям, а министерству, как выразителю партии, стоящей у власти (консервативной или либеральной, все равно), они об'явили войну—войну *действием*, до тех пор, пока сопротивление не будет сломлено и политическое равноправие женщин не станет фактом. Пути и средства, которыми женщины пользовались для нанесения реального вреда врагу и благодаря которым они получили название «воинствующих» (suffragettes militant), возбудили насмешки и негодование одних, одобрение и сочувствие других, но главный результат был тот, что интерес к вопросу был вызван решительно у всех.

Новая тактика, конечно, увлекла за собой далеко не всех женщин, и многие из них остались при прежних методах; но раньше, чем говорить о деятельности воинствующей части, надо сказать, что, кроме тактики, есть гораздо более существенный вопрос, по которому английские женщины расходятся между собой. Дело состоит в следующем.

Одни из них стоят на почве *ныне действующего* избирательного закона и требуют лишь распространения его на женщин, удовлетворяющих тем же условиям, какие ставятся для мужчин. «Кто платит налог (прямой), тот и вотирует». «Нет обложения без представительства—такова основа ан-

глийской конституции», говорят они. Поэтому отказ в праве голоса женщинам, владеющим цензом и платящим прямой налог, по их мнению, есть прямое беззаконие и, как таковое, должно быть отменено: женщины, несущие по отношению к государству одинаковые с мужчинами обязанности, должны на ряду с ними вноситься и в избирательные списки.

Другая фракция, напротив того, требует *отмены нынешнего* избирательного закона, как основанного на цензе и потому несправедливого по отношению к неимущим классам. Взамен его они желают введения *всеобщего* и равного избирательного права для всех совершеннолетних, *как мужчин, так и женщин.* Из этого видно, что общественное значение требований, которые выставляют та и другая фракция, различно.

В первом случае принцип, обусловливающий участие в законодательстве, остается неизмененным. Имущество определяет его. Но при современных порядках из 12½ млн. взрослых мужчин лишь 7 млн., или 60%, участвуют в управлении страной, а 5 млн., или 40%, как не удовлетворяющие цензовым условиям, остаются вне его.

Предполагая такие же имущественные отношения и среди женского населения, лишь 60% из него могли бы при реформе получить право голоса. Но с точки зрения рабочего класса эти 60% голосующих женщин еще не составляют шага к *демократизации* избирательного права.

В самом деле, ведь политическое соотношение сил имущих и неимущих осталось бы при этом все тем же. Но дело обстоит хуже: 60% голосующих женщин не будет—их будет гораздо меньше. Из 13 млн. взрослых женщин право голоса получают не 7 млн., а всего 1½—2 млн., 11½ млн. женщин останутся бесправными и лишь 12% получат блага политического равноправия.

Действительно, *громадное большинство замужних* женщин, мужья которых имеют право голоса, как домо- и зем-

левладельцы или как квартиронаниматели, не могут получить избирательных прав уже в силу того, что дом или квартира записаны не на их имя, а на мужа, и лишь *небольшая группа богатых женщин* будет иметь возможность, *помимо* ценза мужа, получить свой самостоятельный домовый или квартирный ценз.

Что же касается женщин *незамужних,* то опять-таки лишь родственники богатых будут в состоянии устроить своих сестер и дочерей в качестве квартиранток, удовлетворяющих цензовым условиям; громадная же масса работниц не будет иметь квартиры в 4 шил. в неделю, как того требует избирательный закон, ибо обычная недельная плата работницы не превышает 7½ шил.

Поэтому, утверждение, будто при распространении на женщин теперешнего избирательного закона выиграют, главным образом, женщины рабочего класса, и что таковых будет 82% в общем числе женских голосов, не выдерживает критики, и надо признать, что весь выигрыш падет на долю женщин богатого и зажиточного классов. Но это не только не сохраняет теперешнего соотношения политических сил, но даже передвигает его в сторону и без того власть имущих.

В общем же итоге из 25 млн. взрослого населения королевства Великобритании и Ирландии почти 2/3 останутся политически бесправными.

Дать права этим 2/3 может лишь *всеобщее* избирательное право. Лишь оно гарантирует интересы неимущих и дает им возможность влиять на законодательство страны. С этой точки зрения Limited Bill (урезанный или ограниченный билль) в противоположность Adult suffrage—всеобщему избирательному праву является мерой реакционной и создает препятствие для введения всеобщего избирательного права, так как увеличивает численность группы богатых, а, стало-быть, усиливает и сопротивление их этой широкой реформе.

К тому же, наиболее богатая и по своему общественному

весу наиболее влиятельная группа женщин сосредоточивается в Primerose League и составляет оплот консерваторов. Получив политические права по Limited Bill, они отдадут свое влияние партии тори и, быть может, водворят ее снова у кормила правления. А это отодвинет Adult suffrage и другие прогрессивные реформы на долгое время.

С первого взгляда Limited Bill имеет некоторые преимущества. Он не пугает своим радикализмом. Избирательные урны при нем не будут наводнены 13 млн. женщин, которые, вотируй они все, прямо превратили бы Великобританию в царство амазонок, так как женское население в ней многочисленнее мужского. Вместо 13 млн. лишь сравнительно небольшая кучка в 1½—2 млн. отборных представительниц культурного класса будет привлечена к участию в выборах, что в конце-концов ни к каким особенным пертурбациям не приведет. Эта сторона дела, разумеется, должна подкупать публику и при известном консерватизме английского общества имеет свою цену. А с точки зрения чистого феминизма данная реформа будет великой брешью в цитадели господства мужчин в обществе и государстве.

Другие рассматривают осуществление Limited Bill, как первый шаг в направлении к всеобщему избирательному праву. Если нельзя получить сейчас этого последнего, говорят они, то лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Именно так относится к вопросам «*Независимая Рабочая Партия*» (Independent Labour Party), входящая, как автономная часть, в большую «*Рабочую Партию*» (Labour Party): она сочувствует и Limited Bill, и Adult suffrage.

Сама же Labour Party (состоящая из социалистов, трэдюнионистов и некоторых других элементов) на последнем конгрессе своем 605 тыс. голосов против 250 тыс. высказалась *за всеобщее* избирательное право и *против* избирательного права женщин на основе существующих законов.

Столь же *отрицательно* относятся к последнему и англий-

ские социал-демократы (Social-democratic Party, прежняя S. d. Federation). Однако, в парламенте, когда происходило второе чтение билля о распространении нынешнего избирательного закона на женщин, лидеры рабочей фракции Кейр-Гарди, Рамзей Макдональд, Сноудэн и другие вотировали за этот билль. Это противоречие решению партии можно об'яснить лишь тем, что первые, хотя и посланы в парламент рабочей партией, но состоят членами *независимой рабочей партии* и, вероятно, рассматривают резолюцию конгресса не как обязательное постановление, но лишь как выражение мнения большинства организаций, представленных на конгрессе. Что же касается Сноудэна, который состоит членом *рабочей партии,* то, по всей вероятности, на соблюдении дисциплины по этому вопросу она не настаивает, не считая его основным.

Чтоб покончить с отношением политических партий к вопросу о женской эмансипации, следует прибавить, что большие английские партии либералов и консерваторов никогда не принимали по нему *общих* партийных решений, предоставляя своим членам полную свободу действия. Поэтому, когда приходилось вотировать в парламенте по поводу биллей о даровании женщинам права голоса на основании существующих законов, то и та, и другая партии всегда разделялись, т. е. иные консерваторы и либералы вотировали *за,* другие же члены обеих партий — *против.*

Что касается всеобщего избирательного права, то консерваторы принципиально *против* него, а либералы в этом вопросе распадаются на фракции.

Смотрят ли сами женщины на Limited Bill, как на предварительный шаг к всеобщему избирательному праву? Некоторые, заявляющие себя социалистками, действительно рассматривают его таким образом. Другие же совершенно недвусмысленно заявляют свое несочувствие всеобщему избирательному праву и подчеркивают умеренность своих стремлений.

Miss Pankhurst, одна из выдающихся деятельниц женского движения, член союза «National Women's Social and Political Union», об'единяющего *главные боевые силы воинствующих суффражисток,* в статье от 13 июня 1908 г. в Daily Mail говорит: «Многие полагают, что мы требуем права голоса для *каждой* женщины. Но это совершенно ошибочно. Наши требования крайне умеренны: мы хотим лишь одного, чтобы женщины, занимающие одинаковое положение с мужчиной и несущие равные с ним обязанности, вносились наравне с ними и в избирательные списки. Будут ли вотировать замужние женщины? часто спрашивают нас. На это мы отвечаем: да,—но лишь в том случае, если они имеют свой собственный ценз».

Леди F. Balfour в январе 1907 г. в «The World's Work» заявляет: «Избирательное право женщин несомненно явилось бы оплотом против таких крайних требований ультрарадикалов, как всеобщее избирательное право. Действительно, многие из нас имеют самые серьезные возражения против него. Все, чего мы добиваемся, это—распространение на женщин тех прав, которыми пользуются теперь мужчины...

Лишь немногие замужние женщины получили бы при этом право голоса, но все-таки от 1½—2 млн. женщин воспользовались бы им».

А Mrs Fawcett, являющаяся лидером национального союза, представляющего федерацию многих обществ, добивающихся *распространения* избирательного закона на женщин, выражается так: «Руководящая статья вашей газеты ссылается на слова министра Lloyd George, что женское избирательное право является частью великой проблемы всеобщего избирательного права. Но подобный взгляд совсем не обязателен для общества, добивающихся равноправия женщин. Некоторые из нас вовсе не желают всеобщего избирательного права» (Times. Nov. 20—07).

Сторонницы распространения на женщин существующего избирательного закона группируются, главным образом, в три обширные союза. Это:

1) Women's Social and Political Union (3, Clement Inn, Strand). Главное лицо Mrs Pankhurst.

2) Women's Freedom League. Главное лицо Mrs Despard (18 Buckingpam Street).

3) National Union of Women's Suffrage Societies. Главная руководительница Mrs Fawcett (25 Victoria Street Westminster).

Первая организация держится воинственной тактики обструкций (Militant suffragettes).

Вторая представляет из себя лишь часть первой, недавно (в 1907 г.) отколовшуюся. Не различаясь по тактике, она обнаруживает большую терпимость, не делая обязательным участие в воинственной политике.

Третья группа, лидером которой является Mrs Fawsett, признает обструкционную тактику недостигающей цели и действует мирными средствами—демонстрациями, пропагандой, переговорами с членами парламента и т. п.

Все три ассоциации в своей деятельности стоят обособленно, но иногда соединяются для общих действий. Так было, напр., при грандиозной демонстрации в Гайд-Парке 21 июня 1908 г., о которой будет сказано ниже. В ней участвовали и Mrs Pankhurst, Mrs Despard и Mrs Fawcett.

Кроме этих женских союзов, для агитации в пользу политических прав женщин есть и мужские организации. Такова, напр., основанная в 1907 г. Men's League for Women's Suffrage, развивающая значительную деятельность. Что касается до защитниц *всеобщего* избирательного права, то *отдельной женской* ассоциации они не образуют. Но есть общая для мужчин и женщин ассоциация: Adult Suffrage Society. Отношение последней к сторонницам Limited Bill

отрицательное, и ее члены считают этот проект прямо реакционным и для рабочего класса Англии зловредным.

Но не эта последняя ассоциация и не мирная National Union of Women's Suffrage Societies поставили теперь в Англии вопрос об избирательных правах женщины. Эта честь принадлежит «воинствующим» суффражисткам. На них сосредоточено общее внимание, на их стороне—неугомимая энергия, боевая готовность итти напролом и энтузиазм, не останавливающийся перед тюрьмой, насмешками и клеветой, которыми их осыпают противники.

«В борьбе обретешь ты право свое», провозглашают они и под борьбой понимают борьбу действием. Совершенно ясно формулировав свое отношение к политическим партиям и решив независимо от них, и во что бы то ни стало, добиться немедленного осуществления своей цели, они стремятся нанести наивозможно больший реальный вред партии, стоящей у власти, и министерству, осуществляющему эту власть. Главным орудием при этом являются дополнительные выборы, происходящие то здесь, то там в течение всего года. Разновременность их дозволяет организациям суффражисток заблаговременно посылать в данную местность своих членов для агитации, имеющей целью, в худшем случае, отнять у кандидатов министерства как можно больше голосов, а в лучшем—вовсе провалить его.

В продолжение 1908 года в целом ряде местностей кампания суффражисток велась самым энергичным и успешным образом. Взывая к сочувствию на митингах и в памфлетах, они обращались к населению, прося поддержать требования женщин и вотировать против либералов. «Оказывая оппозицию правительству,—говорили они при этом,—мы действуем совершенно независимо от каких бы то ни было партий. Мы против либералов не потому, что они либералы, но потому, что они стоят у власти, и если бы у власти стояли консерваторы, мы действовали бы точно таким же

образом, и это до тех пор, пока нам не дадут политических прав». Даже в тех случаях, когда либеральный кандидат об'являл себя сторонником женской эмансипации, суффражистки действовали против него, и это потому, что дело «не в индивидуальных симпатиях того или другого члена парламента, а в платформе партии и в ее министерстве, как целом». В северо-западном Манчестере, в апреле 1908 г. они поддерживали консерватора Jonson-Hicks против либерала W. Churchill и по поводу обещаний последнего употребить свое влияние на правительство в интересах женского избирательного права, мисс Кристабелль Панкгёрст, в период выборной агитации, выражалась в «Manchester Press» так: «Если уж Кэмпбелль-Баннерман, сочувствовавший женскому избирательному праву, не мог, будучи премьером, вынудить содействие своих коллег в этом вопросе, то едва ли влияние мистера Черчилля окажется большим... Пусть мистер Черчилль знает, что мы успокоимся лишь в том случае, если мистер Асквит и правительство в целом предпримут решительные меры, чтоб ныне находящийся в палате общин билль об избирательных правах женщин получил безотлагательно санкцию закона. Если же мы не получим со стороны правительства официального заверения в этом, мы будем агитировать против кандидатуры мистера Черчилля и других кандидатов правительства». И действительно, Черчилль был побит, и по признанию победителя своей победой он был обязан отчасти «дамам, которых иногда осмеивают, но которых теперь мистер Черчилль будет остерегаться»... Вот несколько данных относительно результатов выборов, при которых велась агитация суффражисток.

Выборы происходили в южном Herefordschire, Worcester, южном Leeds. В первом—вместо либерального большинства в 300 голосов образовалось консервативное большинство в 1.000 голосов.

В Worcester консервативное большинство из 129 превратилось в 1.292 голоса.

Далее, в Dewsbury при участии женщин либеральное большинство сократилось на 2 тыс., а в Kincardineshire на 700 голосов.

В Pekham либеральное большинство в 2.339 голосов обратилось в консервативное большинство в 2.494 голоса.

При выборах в Dundee W. Churchill получил 7.079 голосов—на 2 тыс. меньше, чем кандидат либералов получил при общих выборах.

В Wolverhampton либеральное большинство уменьшилось на 2.800 гол., и настроение в пользу суффражисток было таково, что ни один из кандидатов не мог собрать митинга, если в это время происходил митинг женщин.

Далее, выборы происходили: в Stirling Burghs, в Pudsey, в Haggerston. В Pudsey при *общих* выборах либеральное большинство равнялось 3.502 гол., а при дополнительных,— в июне 1908; большинство, хотя и небольшое (113 гол.) осталось за консерваторами. Это были по счету пятые дополнительные выборы в Иоркшире, считавшемся доселе цитаделью либералов. В двух случаях либералы вовсе лишились мест, а в 3-х число голосов за них сильно уменьшилось. «Избиратели услышали наш призыв не поддерживать либеральную партию, пока она на практике не осуществит свой принцип, что обложение и представительство — нераздельны», говорит по этому поводу «Votes for women» (орган суффражисток).

В августе в Hoggerston либерал был побежден 1.143 голосами после агитации, в которой суффражистки по обыкновению выказали блестящую энергию и выносливость, «удивительную в слабом поле».

Вообще в прессе не раз в течение года раздавались самые лестные отзывы о выдающихся качествах, обнаруженных женщинами во время выборов. Удивлялись способности

суффражисток к организации, их упорству, их умению говорить и другим качествам, «которые дали бы неслыханный успех кандидатам, владей они таковыми же»... «Энергия суффражисток неистощима: едва раздается фабричный гудок, поднимающий рабочий люд, члены женского союза уже разбрасывают об'явления о своих митингах, а в полночь, неутомимые, ловкие и полные рвения, они подводят итоги дня и планируют на завтра. Весь день видишь этих неустанных борцов с их знаменем и девизом: «Избирательное право для женщин!», и всюду они вызывают уважение, внимание и удивление»...

Другим способом вредить врагу служит обструкция на собраниях и митингах, устраиваемых либералами, где ораторами являются министры или какие-нибудь выдающиеся лица партий. Разместившись в различных пунктах, суффражистки после речи оратора, а часто и в средине ее (что решительно противно обычаям!) задают ему одна за другою вопросы более или менее щекотливые, или делают восклицания, прерывающие речь. Если оратор говорит о свободе, они спрашивают: «Где же свобода для женщин?!» Если он начинает речь о справедливости, суффражистка вопрошает: «Когда же дождутся справедливости женщины?» и т. п.

Более добродушный оратор парирует вопрос, как может: но чаще на лице его отражается досада или неудовольствие. Публика начинает волноваться. Происходят окрики, часто очень грубые, в сторону суффражистки: «Вон ее!», «Молчите!», «Заткните ей рот!» и т. п. Блюстители порядка, дюжие парни из публики бросаются на нарушительницу митинга: ее толкают, тащут вон, разрывая иногда платье; она сопротивляется, восклицая: «Да здравствуют избирательные права женщин!» и т. п. Скандал выходит невообразимый. Зачастую впечатление речи совершенно испорчено, никто о ней не думает: общее внимание поглощено инци-

дентом. Порою разыгрываются самые дикие сцены, и столбцы газет переполнены описаниями, раздающими порицание направо и налево. Разговорам и пересудам нет конца. Но суффражистки твердо стоят на своем и заявляют, что и впредь, доколе женщин не восстановят в их конституционных правах, они будут поступать таким же образом, так как закон игнорирует их.

Третьим средством возбудить общественное внимание и вызвать порицание существующему порядку служит подача петиций парламенту и запросы премьеру, при чем суффражистки стараются насильственно ворваться в здание и проникнуть в зал заседаний. Полиция их не пускает; они сопротивляются и упорствуют. Их арестовывают и затем присуждают к штрафу или тюремному заключению. Никогда суффражистки не соглашаются платить штраф и, отправляясь на 3 или 6 недель, а то и на 3 месяца в тюрьму, с гордостью указывают на свою готовность страдать за идею.

Типичный пример подобного рода произошел 13 октября 1908 г. В этот день в Лондоне происходила демонстрация безработных, повлекшая сильные беспорядки и многочисленные аресты. Смятение значительно увеличилось манифестациями суффражисток, которые в этот день тоже держали митинг и об'явили, что во что бы то ни стало войдут в парламент для подачи докладной записки премьеру. С митинга в Caxton Hall они отправили в парламент 12 женщин. Но полиция их не пропустила, и 8 женщин были арестованы. Затем вторая группа женщин была послана из Caxton Hall, но и ей не удалось проникнуть в парламент. И снова, несколько раз, они повторили ту же попытку... Толпа, которая окружала в этот день Вестминстер, доходила до 100.000 человек. Сочувствуя женщинам, она бросалась на полицию, происходили стычки: с обеих сторон были раненые... Конная полиция стреляла... Были сделаны многочисленные аресты.

И все же, в 8 ч. вечера, одной из женщин путем хитрости удалось ворваться в палату общин.

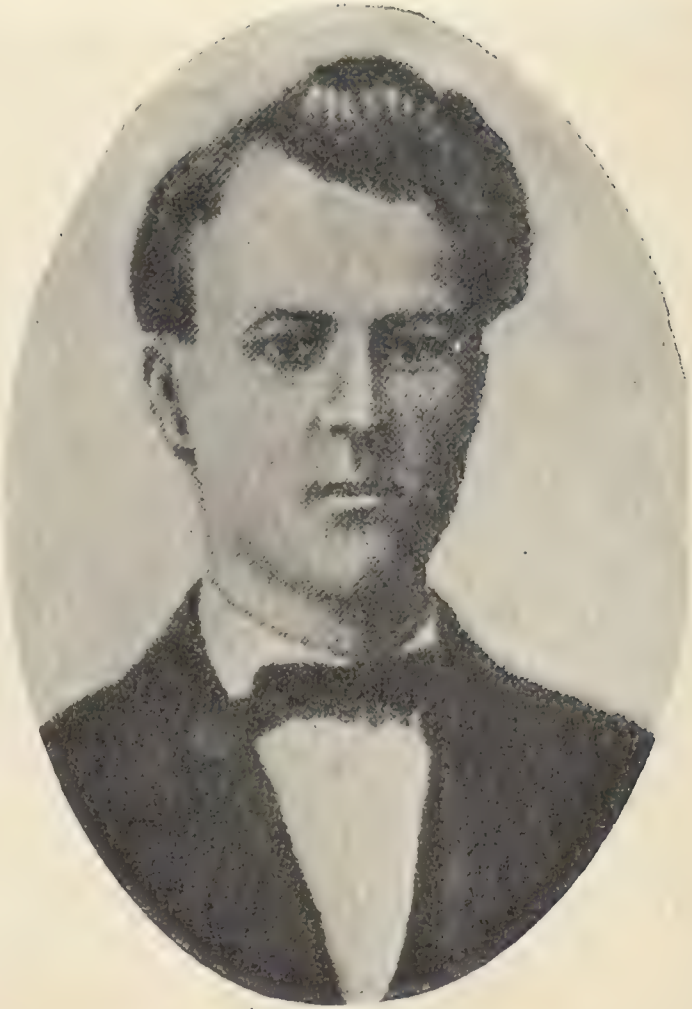
В то время, когда один из членов палаты говорил речь о законе, запрещающем продажу табаку детям, в залу заседаний, как вихрь, ворвалась дама. Став перед председателем и подняв руки к небу, она воскликнула: «К чему так много говорить о детях! Поговорите лучше о женщинах!»...

Последовало общее изумление... Оратор опустился на свое место, а трое дюжих приставов немедленно вывели ворвавшуюся...

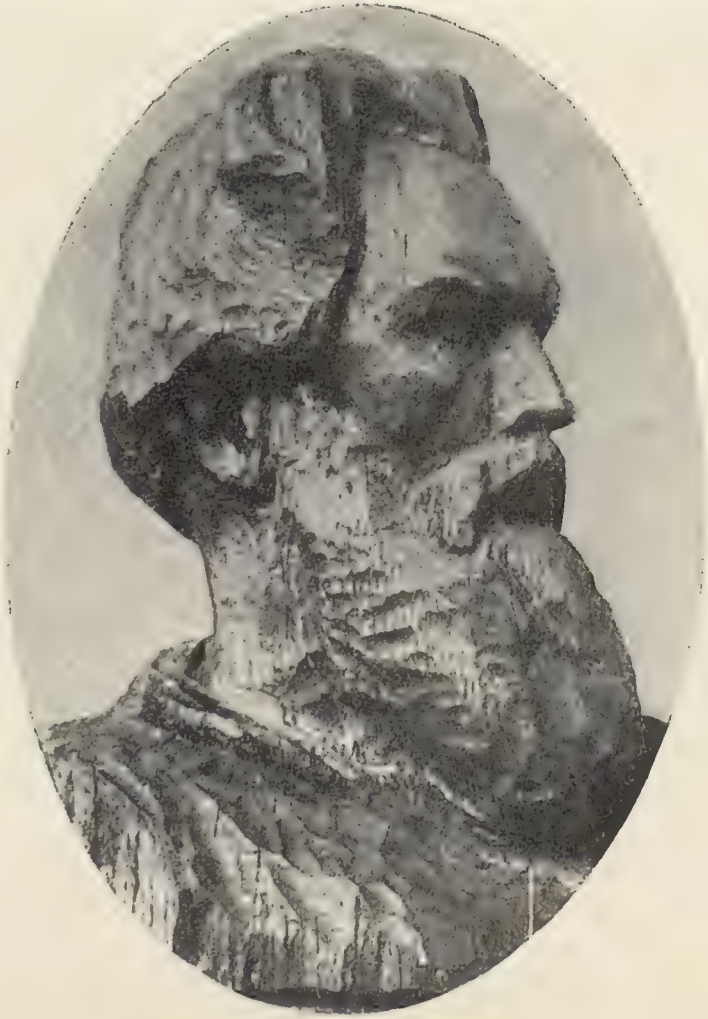
Суффражистки собирают также митинги вблизи парламента с целью протеста против лишения права голоса. Они не останавливались перед тем, чтобы приковывать себя при этом цепью к решеткам, дабы полиция при разгоне митинга не могла сделать это достаточно быстро, и женщины успели бы произнести речи. Каждый раз за этим следовали аресты, суд и тюрьма. Так было в начале года, когда 10 февраля они приковали себя к решеткам у здания, где заседали кабинет-министры, обсуждавшие содержание тронной речи (женщины желали, чтоб в ней было обещание дать им право голоса). Так было в конце года, когда 28 октября несколько суффражисток, находясь в галлерее для женщин в парламенте, начали свою обструкцию, прикрепив себя цепями к решетке, за которой сидят дамы. Чтоб вывести их вон, пришлось сломать часть решетки за невозможностью разбить или отомкнуть цепь, а пока это делалось, они шумно требовали равноправия.

До сего времени мартиролог суффражисток уже насчитывает до 300 женщин, претерпевших тюремное заключение за убеждения или, как квалифицирует их поведение суд, за нарушение тишины и спокойствия или возбуждение к бунту, как было формулировано обвинение за события 13 октября.

Софья Перовская



Андрей Желябов



Андрей Желябов
(скульптура Королева)

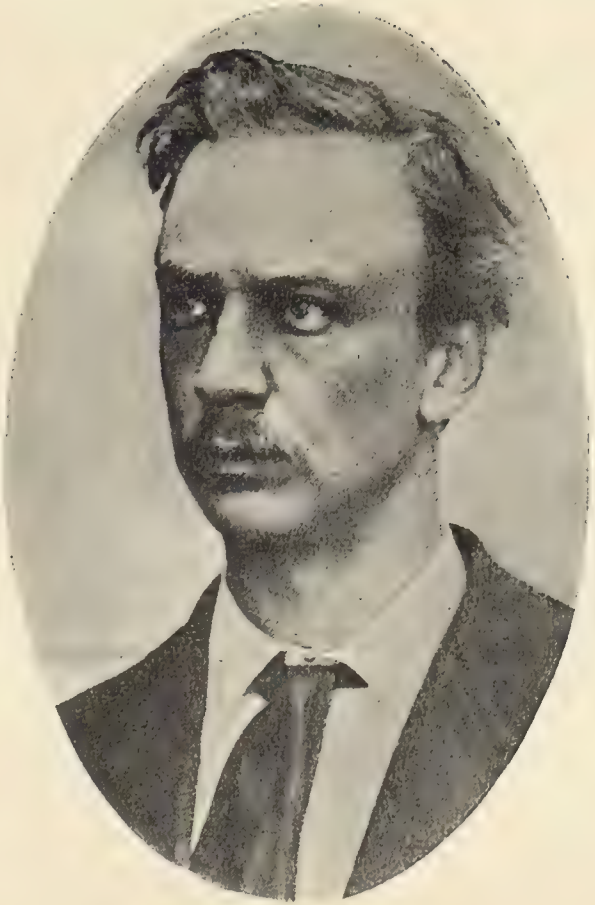
Николай Кибальчич

Геся Гельфман

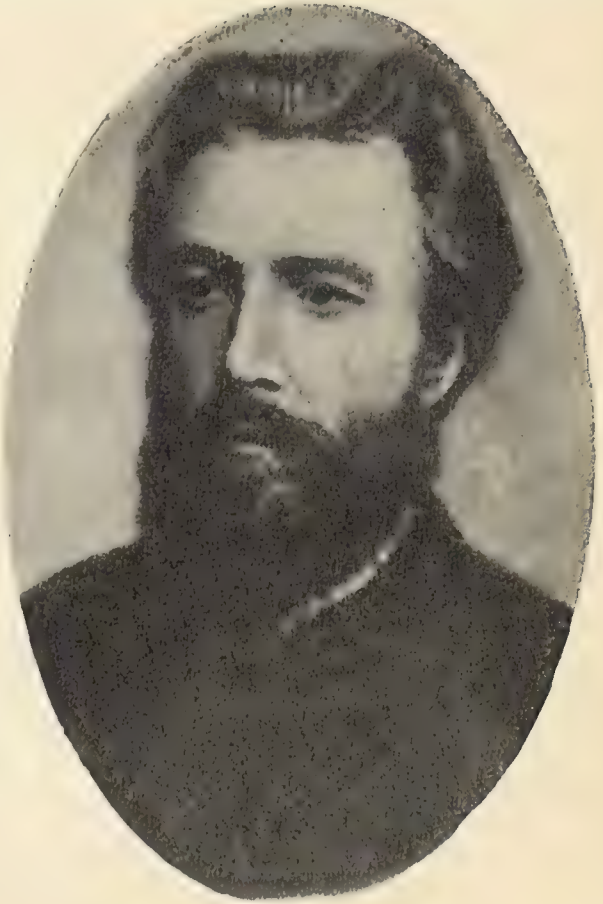
Александр Михайлов

Александр Баранников

Николай Колоткевич



Евгений Суханов



Юрий Богданович

Суды над суффражистками возбуждают сильный интерес и вызывают большое сочувствие к ним. Сами они величают своих коллег «мученицами», и дни их освобождения из тюрьмы празднуются торжественными встречами, завтраками и обедами, а митинги, на которых выступают пострадавшие, неизменно имеют шумный успех.

До чего доходит горячность суффражисток, показывает следующий случай.

Не однажды обращались они с запросами и докладными записками к премьер-министру Асквиту, понуждая его провести реформу о политических правах женщин. Ответ был всегда один и тот же.

Так, еще в конце 1907 г. на запрос, откажется ли он, наконец, от сопротивления требованиям женщин, он публично заявил:

— Мой ответ, как многократно я заявлял и раньше, будет отрицательный. Я готов отказаться от моей оппозиции (которая в данном случае совсем не представляет особой важности), но лишь при 2-х условиях, и только при них. А именно: если я убеждусь, что большинство женщин в стране желает иметь избирательное право, и, во 2-х, если я буду уверен, что это полезно для них и для общества.

И вот после одного из посещений суффражистками Асквита в этом году, суффражистки, заблаговременно взяв мешок с камнями, после неблагоприятного ответа побили в его доме стекла.

За это они были привлечены к суду, на котором фигурировал в качестве вещественного доказательства изрядный булыжник, «могший нанести увечье», попади он в кого-нибудь в доме.

Одна из подсудимых на укоризненное замечание судьи об этом орудии ответила ему:

— Теперь—камни, а потом будут бомбы...

Вообще суффражистки очень гордятся своим методом борьбы: они считают его своим изобретением и в действительность его верят глубоко. Постоянно подчеркивают они, что только сильным давлением на органы представительства были осуществлены такие великие реформы Англии, как отмена хлебных законов, уничтожение «гнилых местечек», демократическая реформа избирательного права и т. д., и об'являют, что не остановятся ни перед чем, чтобы добиться цели.

Вот то новое, энергичное и действенное, что обнаруживает движение в Англии, и общий голос страны и прессы признает, что воинствующим суффражисткам действительно удалось пробудить общественное мнение и свернуть с мертвой точки вопрос о политических правах женщины. Теперь момент—самый горячий. Асквит публично дал обещание, что до конца этого парламента правительство внесет в палату общин проект о всеобщем избирательном праве и что желающие могут внести к нему поправку о праве голоса и для женщин. Следовательно, от большинства палаты будет зависеть, принять или не принять такую поправку. Но на запрос женщин, будут ли члены парламента, стоящие за избирательные права женщин, вотировать *за* всеобщее избирательное право, хотя бы поправка не прошла, те отвечают утвердительно. Таким образом, возможно, что закон пройдет, но женщины останутся обойденными. Женщины понимают, что нужно напрячь все силы, чтоб вынудить уступку в этот решительный момент, иначе дело их будет отодвинуто на самый неопределенный срок. Всеобщее избирательное право для мужчин удовлетворит многие интересы, и женщины останутся одинокими. Понятно, что женщины не щадят усилий, чтоб воздействовать в этот момент на мнение страны и принудить правительство теперь же сдаться.

Надо ли говорить, что обычные пути агитации и пропаганды практикуются самым широким образом женскими организациями всех оттенков. Но пальма первенства и тут принадлежит воинствующей группе. Разветвления последней раскинуты по всему королевству, и число членов равняется десяткам тысяч. Одна только лига женской свободы (Women's Freedom League) насчитывает 30 тыс. членов, и число это постоянно возрастает.

Митинги, собираемые ими в различных пунктах, так многочисленны и людны, что превосходят собрания всех других партий.

Демонстрации в виде шествий заставляют говорить о себе все газеты. 13 июня 1908 г. десять тысяч женщин манифестировали в Лондоне от Вестминстера до Albert Hall, где держали свое собрание. А 21 июня произошел по своим размерам небывалый даже для Англии митинг в Гайд-Парке. Число собравшихся равнялось, по оценке одних, 500 тысяч, а по другим—даже 750 тысяч человек! В шествии принимали участие 30 тысяч женщин, с'ехавшихся со всех концов Англии. 80 кафедр имели в Гайд-Парке женщин-ораторов. Это было «женское воскресенье» [1]), и оно прошло блистательно. Вся Англия аплодировала необычайному успеху, которым увенчалось это предприятие: к нему готовились задолго, и в нем принимали единодушное участие все женские организации страны. Инициатива же принадлежала воинствующим суффражисткам, орган которых «Votes for women» вел пропаганду, изумительную по своей энергии и блеску. Для ведения агитации был об'явлен сбор фонда в 20 тыс. фунт. стерлингов, и этот фонд был собран. Месяц за месяцем «Votes for women» печатал столбцы пожертвований, где богатые вклады чередовались с грошами работниц. Была об'явлена «неделя самопожертвования», когда

---

[1]) День был воскресный.

каждая сочувствующая должна была что-нибудь сделать в пользу общего дела, принести жертву каких-либо размеров. И тысячи женщин отовсюду откликнулись на призыв. Деньгами в эту неделю было собрано 7.500 фунт. стерлингов. Не обошлось и без курьезов. Так, «Votes for women» совершенно серьезно рассказывает об одной даме, сообщившей журналу о великодушном решении целую неделю не обедать дома, но ходить в гости, а экономию прислать в кассу...

Печатным словом женщины пользуются широко. Они издают книги, журналы, брошюры и массу памфлетов, где бичуют современное законодательство, обездоливающее женщину, обличают правительство, не идущее навстречу справедливым требованиям женщин и игнорирующее мнение страны, которое, повидимому, действительно достаточно подготовлено к тому, чтоб реформа в пользу женщин была осуществлена.

Декабрь, 1908 г.

Письмо из Англии (о женском движении)

Английское женское движение попрежнему занимает первое место в Европе в области завоевания политических прав для женщины.

С одной стороны, попрежнему поражаешься настойчивостью и непреклонным упорством, которые обнаруживают англичанки в своей пропагандистской деятельности. С другой стороны, они попрежнему держатся воинствующей тактики, наполняющей своим шумом всю Англию.

В каком-нибудь маленьком городке, в роде Letchworth (Gardencity) с 6 тыс. жителей, всегда найдется своя подвижница. Так, в только-что упомянутом местечке каждую неделю я была свидетельницей следующей сцены.

Молодая девушка, бывшая учительница народной школы, в платье и шляпе излюбленного англичанками зеленого цвета, водружала у опушки парка или на городской площади большой деревянный ящик из-под товара—это была ее кафедра. Сзади две подруги держали знамя с крупной надписью: «Votes for women», и в определенный час, иногда в сумерках сентябрьского вечера, Miss Brownė начинала свою речь. Она говорила на тему, почему женщинам необходимо дать избирательное право; иногда делала исторический очерк женского движения в Англии или критиковала обычные возражения противников эмансипации женщин. У ее ног шмыгали дети—это обычное явление в Англии, что дети бегут на ми-

тинг, если он происходит на воздухе. Конечно, для большинства из них это лишь забава: тут происходит нечто в роде игры кошки с мышкой, маленькие свалки и драки. Однако, порой, какая-нибудь восьмилетняя девчурка с серьезным вниманием смотрит в лицо суффражистки, и кое-что, наверное, западает в ее душу. Далее располагается кружок мужчин и женщин, главным образом—женщин. Они слушают ораторшу и обыкновенно сочувствуют ей. Но позади них идет новый слой молодежи, юношей от 16-ти до 21 года. Они настроены враждебно. Оттуда слышится ворчанье, иронические возгласы, дерзкий смех...

Но суффражетка спокойна: приветливая улыбка не сходит с ее розового лица. Лишь по временам, немного возвышая голос, она произносит: «Ставьте вопросы потом, по окончании речи». Но буяны не унимаются. Вот полетел пучок травы по направлению к импровизированной кафедре, потом зеленое яблоко... Красный помидор чуть не задел шляпу на русой голове, а вот пролетел и камень над плечом Miss Browne...

Но спокойствие и невозмутимая кротость не изменяют ей: она продолжает речь с теми же жестами и с тем же одушевлением.

Невольно проникаешься симпатией к ней! Эта симпатия еще усиливается, когда видишь ее на обширной площади, кажущейся еще пустынее оттого, что вокруг деревянного ящика с неутомимым оратором стоит не более десяти слушателей.

Сумерки сгущаются, площадь не освещена, а молодая девушка, не смущаясь ни темнотой, ни малой аудиторией, говорит о необходимости политических прав для женщины с тем же рвением, с каким она обращалась бы к тысячной толпе...

— Miss Browne! Давно ли вы выступаете? и как вы научились так владеть собой и, не волнуясь, громко и отчетливо

говорить на митингах под открытым небом?—спрашиваю я по закрытии митинга.

— Года два назад,—отвечает она,—я отправилась впервые к Miss Pankhurst, стоящей во главе «Political and Social Union of Women». Я сказала ей, что сочувствую целям этого общества и хотела бы быть полезной. «Отлично,—сказала Miss Pankhurst,—сегодня у нас митинг в Hyde Park'e и ораторов мало. Вы будете говорить сегодня же?».

Miss Browne, конечно, не ожидала такого быстрого начала своей карьеры суффражетки. Она никогда еще не говорила публично. Она не подготовлялась к произнесению речи. Тем не менее, она решилась—отступить было невозможно.

С тех пор, мало-по-малу, она научилась выступать перед публикой, научилась говорить логически и плавно; она положительно отличный лектор: простота и ясность изложения—отличительные признаки ее речи, а отсутствие самолюбия и погони за многочисленной аудиторией невольно привлекает к ней сердца. Только молодая, неустанная энергия может не разбиться перед собранием в десяток лиц...

В другой раз, идя по улицам Лондона, я наткнулась на толпу, теснившуюся на одном из перекрестков. Я подошла. Молодая женщина в скромном ватерпруфе, похожая на наших курсисток, стояла на маленьком, круглом табурете. Она говорила о борьбе женщин за гражданское и политическое равноправие. Мое русское самолюбие было польщено первыми словами, которые я разобрала. Это были слова о *русской* женщине, о ее борьбе за права человека и гражданина, о ее подвигах в деле завоевания свободы.

Было совершенно ясно, что вокруг нее стоят недруги. Одни—индиферентные и молчаливые, другие—нахальные и шумливые. Непрерывное улюлюканье заглушало голос женщины. Возмущеный мой спутник сказал несколько слов увещания двум-трем близстоящим буянам. Высокомерный

взгляд—и звучит ответ: «Вы—иностранец, не вмешивайтесь в наши дела». С третьего этажа соседнего дома начинают брызгать водой на суффражетку. С улыбкой доброй христианки она стряхивает с своего ватерпруфчика капли воды. Мой знакомый обращается к стоящему тут полицейскому. «Вовву» (бобби), монументально-величественный, с олимпийским спокойствием взирает на происходящую сцену.

«Прекратите это безобразие», сказал мой товарищ. Тот, как-будто, и не слышал. «Я запишу ваш номер и сообщу вашему начальству». Нуль внимания. «Я напечатаю в газетах», с раздражением заявляет мой спутник. Увы!—«Вовву» неподвижен...

В эту минуту с третьего этажа выплескивают полное ведро воды.

Целые потоки обливают ораторшу, тысячи брызг попадают на публику. Хохот, радостный, насмешливый и вызывающий, оглашает улицу... Суффражетка как ни в чем не бывало встряхнулась, соскочила с табуретки и, схватив ее, перенеслась на противоположную сторону улицы. Вот она опять на своей трибуне—ровная и спокойная. Она выше всех этих мелких уколов. Кого-нибудь, если не словами, то своей сдержанностью и терпением, она покорит и привлечет в лагерь женщин.

Наиболее крупной молчаливой демонстрацией в этом году со стороны женщин было, конечно, решение Women's Freedom League учредить дежурство, так называемые пикеты, у дверей парламента. Известно, что лондонские суффражетки в прошлые годы совершили не один буйный набег внутрь парламентского здания. Эти набеги сопровождались отпором со стороны полиции, арестами женщин, грубыми сценами хватания и насильственного удаления их. В этом году тщетно женские организации добивались у премьера Асквита аудиенции по вопросу о том, что думает сделать правительство в парламенте в пользу женщин. Де-

путации не принимались. Асквит неизменно отвечал через секретаря, что он уже давно высказался и прибавить ничего не имеет.

Тогда было решено поставить у дверей парламента стражу из суффражеток, чтобы молчаливым присутствием, изо-дня в день, напоминать депутатам о домогательствах женщин. Заседания парламента в эту сессию, благодаря новому бюджету, затянулись на необычайно долгий срок. Депутаты вовсе не имели обычных каникул; заседания по бюджету продолжались чуть не каждый раз до 2-х, 3-х, а иногда и до 6 часов утра. И вот, сколько бы времени ни тянулось заседание, пикет суффражеток стоит на своем посту. Декорированные своей суффражистской лентой через плечо, молодые и старые, хорошенькие и некрасивые, они стоят часами; иногда под проливным дождем, стоят скромно и неподвижно, символизируя социальную несправедливость по отношению к женщине. Одна смена следует за другой, и на каждые сутки требуется не менее 100 женщин для отбывания этой добровольной повинности. Первое впечатление от этого молчаливого, пассивного протеста на членов парламента было громадное. Газетные статьи сочувственно трактовали эту внушительную демонстрацию. Позднее—привыкли, как люди привыкают ко всему на свете. Теперь об этом больше не говорят...

А они—все стоят...

Предводительницей этих амазонок из Women's Freedom League является Mrs Despard. Словам ее команды повинуются тысячи человек. Эта замечательная старуха стала известна всей Англии, главным образом, своей многолетней и неустанной деятельностью по призрению бедных.

Худощавая, седая, с головой, никогда не покрытой шляпой, она полна энергии и строгой силы. Ее громкий голос звучит властно; а сухая рука, опирающаяся на стол, дрожит от волнения, когда она произносит свое протестующее слово.

В своих действиях она отличается решительностью. Еще совсем недавно много толков в Лондоне возбудил следующий инцидент. По английской конституции, нет обложения без представительства. И вот Mrs Despard, не имеющая, как женщина, избирательного права, отказывается платить налоги, ссылаясь на нарушения конституционного принципа. Ее имущество описывается и предстоит аукцион. Множество публики собирается на место действия. Первая же золотая безделушка покупается кем-то из присутствующих по цене, покрывающей налог, а затем возвращается покупателем обратно, в качестве подарка, Mrs Despard.

Mrs Despard живет в рабочем квартале и находится в самом тесном единении с трудящимся людом. Когда вместе с ней я подходила к ее дому, грязные ребятишки, толстые матроны в засаленных фартуках, рабочие девушки с растрепанными прическами, все бросали ей приветствие или улыбку. Она просила меня сказать речь на собрании рабочих по металлу. Часть собравшихся находилась в неуютном зале, в нижнем этаже дома; для других был устроен митинг тут же у дверей на улице.

Первый же взгляд на аудиторию указывал на ее демократический состав. Передние ряды стульев занимали женщины, бедно одетые, с причудливыми токами на головах, пожилые, с голыми руками работниц. Все лица просияли, когда во вступительном слове Mrs Despard назвала *Марию Спиридонову*. Выражение лиц ясно показало, что о ней знают, что о ней помнят. А когда я кончила свою речь об освободительном движении в России, эти простые люди окружили меня, и не одна добродушная женщина произнесла с рукопожатием «God bless you» (Господь, благослови вас). Общее впечатление было трогательное.

Перейду к воинствующей тактике английских женщин. Она состояла, как и в предыдущем периоде, в стремлении нанести елико возможно больший вред партии, стоящей во

главе управления,—в данном случае—либералам. При дополнительных выборах женщины агитировали энергично против их кандидатов; на избирательных митингах и на многочисленных собраниях по поводу разрабатываемого теперь [1]) бюджета они старались помешать им и действительно срывали их возгласами, вопросами, прерывающими речь, и вызывали всевозможные беспорядки, кончавшиеся арестами. Во многих случаях употреблялись метательные снаряды — камни, летевшие в кабинет министров и в самого премьера. Когда Асквит с своей семьей гостил у друзей в провинции, суффражетки вечером перелезли через ограду виллы, в которой он находился, и в то время как он со всей семьей сидел за чаем, в окно столовой был брошен камень, наделавший много переполоха. Злоумышленницы скрылись. А за Асквитом с тех пор повсюду стала следить охрана, напоминающая наши отечественные обычаи.

Затем в газетах появилась загадочная история, будто по пути проезда Асквита, в одном доме, где пребывали суффражетки, были после их от'езда найдены швабры, пропитанные керосином, и молва приписывала им намерение пустить из окна зажженную метлу в его карету.

Дело осталось темным, — Асквит по этому пути не поехал.

Не обходится иногда и без неуместного призывания благословения божия на эти камни. Так, однажды камень, брошенный рукой женщины, был завернут в бумагу, на которой было написано: «Восстание против тиранов есть повиновение богу».

Но что всего более взволновало общественное мнение, так это насильственное кормление суффражеток, попавших в тюрьму и отказавшихся принимать пищу.

---

[1]) В 1909 г.

Голодный бунт идет теперь по всей линии. Множество суффражеток за камнеметание, беспорядки и столкновение с полицией присуждаются к тюремному заключению. Их держат на положении уголовных: одевают в тюремную одежду, с русской точки зрения довольно живописную, как свидетельствуют циркулирующие фотографии. Их кормят, как обыкновенных уголовных преступников, пищей, о которой, конечно, и не снится нашим заключенным.

Но английские женщины справедливо считают свои проступки политическими и требуют соответственного содержания в тюрьме. В этом случае они сохраняли бы свою одежду, имели лучшую пищу и свободное общение с друзьями.

На этой почве создается конфликт, определенного конца которому еще нельзя предвидеть. Арестованные суффражетки отказываются надевать арестантское платье, отказываются принимать пищу и об'являют голодную стачку [1]). Что с ними делать?

По тюремным правилам, власти должны пещись о сохранении здоровья и жизни заключенных. На этом основании дня через 3—4, когда голодающие женщины бледнели и слабели, их обыкновенно выпускали. Но, с течением времени, когда случаи голодовки участились, администрация с помощью врачей стала прибегать к искусственному кормлению. В парламенте представители рабочей партии, главным образом, Кейр-Гарди, много раз делали по этому поводу запросы министру внутренних дел Гладстону. Эти запросы были сопряжены с множеством отвратительных подробностей. Невозможно было читать без чувства возмущения рассказы, как человек пять надзирательниц с 2-мя врачами во главе «деликатно» держали за плечи, за горло заключенную... Как доктор посредством гуттаперчевого зонда, «спу-

[1]) Любопытно, что честь изобретения этой формы протеста английские суффражистки справедливо приписывают русским...

скавшегося весьма осторожно и без вреда для пациента», накачивал в ее пустой желудок теплое молоко или суп...

Почтенная коллегия врачей свидетельствовала, что «эта процедура безвредна и практикуется весьма часто с умалишенными, отказывающимися от принятия пищи».

Итак, человек, женщина, в полном разуме и в полной памяти, приравнивается к душевнобольному, лишенному сознательной воли...

По мнению медиков и некоторой части депутатов, аплодировавших об'яснениям министра внутренних дел, это — ничего!

Они ни разу не стали выше вопроса о физической стороне дела, не возвысились до понимания всей унизительности насилия над разумной, правоспособной личностью... А между тем Кейр-Гарди даже указывал случай смерти при искусственном кормлении. Это было несколько лет назад и произошло не оттого, легко или с затруднением скользит зонд через ноздри или глотку человека, подвергаемого насилию, не оттого умер несчастный пациент, а единственно от нравственного потрясения...

Искусственное кормление арестованных женщин смутило общественную совесть и вызвало глубокое негодование во всех слоях населения, даже и в тех, которые совершенно не сочувствуют воинствующей тактике суффражисток. А женские организации подняли целую бурю. В печати и на митингах последовал ряд протестов. Особенно грандиозен был октябрьский митинг в Albert Hall, где присутствовало 8 тысяч человек и где под гром протестующих речей в течение 10 минут было собрано 50 тыс. рублей для поддержки женского движения. После этого в политике тюремной администрации показались признаки отступления: в газетах снова появился ряд известий об освобождении из разных тюрем суффражисток, подвергших себя добровольному голоданию. А 4 ноября министр внутренних дел Гладстон

принимал по этому вопросу депутацию, представленную членом парламента Кейр-Гарди. Министр выразил сожаление о необходимости прибегать к подобной мере и благодарил депутацию за освещение вопроса.

Пользуясь всяким случаем напоминать о своих домогательствах, недавно женщины прибегли к довольно-таки радикальной форме протеста против своего политического бесправия.

В Бермондси происходили дополнительные выборы; в помещении, где находились избирательные урны, ворвались две дамы с флаконом, наполненным какой-то жидкостью,— кислотой—по словам одних, невинного характера—по версии других. Эту жидкость они выбросили на урны, кстати обрызгав и находившихся вблизи лиц. Газеты писали, что жидкость испортила платье и попала в лицо одного из клерков...

Этот поступок вызвал сильное неодобрение и дал могущественное орудие в руки противников женской эмансипации. Вообще можно сказать, что в настоящий момент все громче раздаются голоса, находящие агрессивную тактику женщин зашедшей чересчур далеко. В общественном мнении происходит перелом, и очень может быть, что женщины, сея ветер, пожнут бурю. Некоторые признаки недовольства существовали и раньше, но теперь они принимают более острый характер.

Когда я говорила о молодых хулиганах, нахально ведущих себя на женских митингах, я не упомянула о мотивах, которыми они оправдывают свое поведение. Об'яснение заключается в том, что они мешают женским митингам потому, что женщины нарушениями порядка стараются срывать и срывают политические митинги своих противников. Таким образом, яблоки, помидоры и обидные возгласы являются возмездием.

Серьезная же часть английского общества стоит на принципиальной точке зрения: эти лица защищают спокойное

течение митингов, потому что последние составляют одно из драгоценнейших прав гражданина.

Беспрепятственное пользование этим правом одинаково необходимо и должно быть одинаково дорого для всех партий, без различия убеждений или пола.

И действительно, если суффражистки мешают свободному обмену мнений на митингах, мешают пользоваться митингом, как могущественным орудием пропаганды тех или иных идей, то они этим самым развязывают руки тем, кто не сочувствует им, и дозволяют платить тем же «Око за око».

Не далее, как 4 ноября произошло следующее: могущественный «Politikal and Social women's Union» организовал крупный митинг в Alexandra Palace в Лондоне. Главными организаторами являлись лидеры этого союза—Mrs Pethick Lawrence и талантливая Miss Christabel Pankhurst. В аудитории собралось более 2 тысяч человек.

И вот, ни один оратор не мог сказать своей речи беспрепятственно. С начала и до конца был ряд скандалов, Мужская молодежь распевала народные песенки, вопила, рычала, свистала и топала. Нельзя было расслышать ни одного слова. Женские флаги разрывались в клочки, публика из партера карабкалась на галлереи по спущенным вниз палкам. Платформа чуть не подверглась штурму, стулья ломались, а суффражистки подвергались грубым толчкам. Пришлось обратиться к полиции, и она очистила зал.

Митинг был сорван, как не однажды срывали митинги воинственные члены союза.

Общественное внимание Англии теперь всецело поглощено вопросом о бюджете. Либералы вносят в него принцип, который одни считают движением к социализму, а другие называют грабежом. Это—принцип обложения (и, надо сказать, весьма скромного на первый раз) незаработанного дохода,—дохода от повышения земельной ренты вследствие социальных условий, не зависящих от труда и усилий собственника.

В атмосфере накопляется электричество. Интересы собственников затронуты, и они вопиют громким голосом о разбое. Возможно, что лорды отвергнут билль, произойдет роспуск парламента, и будут назначены общие выборы. Борьба между консерваторами и либералами предстоит ожесточенная: за власть вообще, за материальные интересы, затронутые бюджетом, в частности.

Надо ли говорить, что в виду этих перспектив требование избирательных прав для женщины становится quantité négligeable, совершенно стушевывается перед другими национальными задачами, и, вероятно, пройдет немало времени, пока вопрос об уравнении в правах женщин с мужчинами займет одно из первых мест.

Таким образом, в женском движении, быть может, наступает кризис: с одной стороны, ослабление интереса к нему в области общей политики, с другой—недовольство современными приемами женских организаций, дирижирующих движением.

7 ноября 1909 г.
Лондон.

P. S. 1928 г. Когда началась европейская война (1914 г.), воинствующие суффражетки из чувства патриотизма официально заявляли, что на все время войны прекращают свою агрессивную политику.

В награду, по окончании войны в 1919 г., парламент провел билль об уравнении женщин в избирательных правах с мужчинами на основах существующего закона (цензового). С тех пор некоторое количество английских женщин состоят членами парламента.

Вопрос же о *всеобщем* избирательном праве отодвинулся в неопределенную даль.

РЕЧИ.

Речь на русско-английском митинге 23 июля 1909 г. в South Place, в Лондоне.

Если бы несколько лет назад, когда я была в Шлиссельбурге, кто-нибудь сказал мне, что я буду в большом городе, среди многочисленных друзей и товарищей, я сочла бы это за недостойное издевательство над человеком, который связан по рукам и ногам и не имеет никакого будущего...

Однако, факт налицо—и мы собрались здесь, чтоб обменяться приветом и поделиться некоторыми мыслями.

Я не буду рассказывать вам обо всем, что было пережито нами в Шлиссельбурге за многие годы, проведенные там. Эта повесть слишком длинна и слишком сложна, чтоб ее можно было изложить в такой короткой беседе.—Я остановлюсь только на одном моменте—на той общественной атмосфере, которая сопровождала нас, когда мы сходили в нашу живую могилу, и укажу на некоторые особенности, присущие исключительно заключению в Шлиссельбурге. Вам известно, что в 1879 г. образовалось тайное общество «Народная Воля», сложившееся из наиболее энергичных элементов, накопленных в предыдущем периоде. Целью «Народной Воли» было свержение самодержавия. Ее девиз Delenda est Carthago» указывал, что устранение абсолютизма партия считает первым условием, без которого невозможно никакое развитие, никакой прогресс в России.

Два года велась ожесточенная борьба,—вам известны ее перипетии. Вся интеллигентная Россия с напряженным вни-

манием следила за единоборством небольшой кучки людей и сильнейшего по своим материальным средствам правительства в Европе.

Отсутствие свободы обсуждения, свободы прессы делало то, что действовавшая партия не могла правильно оценить силу симпатий к своей деятельности. Народ не знал нас, а интеллигентное общество шептало нам слова одобрения. «Народная Воля» рассчитывала, что в момент решительной схватки с правительством подавленные силы общества и народа вырвутся наружу и громко заявят свои политические и экономические нужды. Этот момент наступил, и разорвалась дымка иллюзий. Народ безмолвствовал, а притаившееся общество молчало... В это трудное время «народовольцы» увидали, что они, как передовой отряд, далеко забежали вперед, и когда на минуту остановились,—оказалось, что за ними никого нет!.. Акт, который должен был показать силу, показал бессилие. Тайная организация, как бы она ни была отважна, не могла сломить правительственную власть, если была одинока.

Вот где причина, что «Народная Воля», как метод борьбы с самодержавием, без опоры в массах умерла духовно раньше, чем наступило ее физическое уничтожение.

Ряд арестов отдал в руки правительства цвет «Народной Воли». Организация еще не была уничтожена, но это было уже мертвое тело. Душа «Народной Воли» отлетела. Понемногу силы таяли, и в момент, самый критический, когда сплоченность и единство, быть может, еще могли бы вывести революционную партию на дорогу, выполз предатель-провокатор Дегаев и нанес «Народной Воле» последний удар, тяжелый в особенности в моральном отношении.

Арестованный в конце 1882 г. по незначительному поводу в Одессе, он вошел в сделку с тайной полицией и после мнимого бегства, устроенного жандармами, явился ко мне, как товарищ, как друг и единомышленник. Он выдал тот-

час же меня и военную организацию, до тех пор неизвестную правительству, и, искусно замаскировав свою роль, начал рука-об-руку с Судейкиным, шефом тогдашнего сыска, свою деятельность провокатора.

Под бременем сознания своего общественного и политического одиночества, поруганные предательством своего друга и товарища, стояли мы на суде. И с этим тяжелым сознанием сошли мы в нашу живую могилу... И это, именно это, составляло самый тяжелый камень, который давил нас в каменных стенах Шлиссельбурга.

Нельзя было казнить всех народовольцев, и вот для них выстроили особую тюрьму. Специально для них. Эта тюрьма должна была заменить смертную казнь, и высокие сановники, посещавшие нас, никогда не упускали случая поставить это нам на вид.

В тюремном уставе по отношению к Шлиссельбургу была сделана небольшая оговорка. Она указывала, что эта тюрьма находится на особом положении и регулируется специальными определениями министра внутренних дел. Это значило—политический застенок. И, действительно, Шлиссельбург был тем, чем была Бастилия для старой Франции и австрийский Шпильберг для итальянских патриотов.

В самом широком месте Невы, у ее истоков из Ладожского озера, на маленьком острове, брошенном среди вод, стоит эта крепость, за которую несколько веков сражались русские и шведы. Белые стены крепости с ее круглыми башнями кажутся такими красивыми на поверхности реки...

Одинокий шпиц, на вершине которого блестит золотой ключ, был единственным указателем, что мы привезены в Шлиссельбург. До взгляда, брошенного на этот ключ, ни один узник не знал, куда его собственно везут.

И, казалось, этот ключ показывал, что раз запертый в эту крепость не найдет ключа, который позволил бы ему выйти.

Как темная пасть, стоят ворота, а над ними эмблема—двуглавый орел распростер свои хищные когти, и выветрившиеся от времени неровные буквы зловеще гласят: «*Государева*».

И как этот бедный островок с узкой полоской земли оторван от материка, так и жизнь в крепости была оторвана от общего русла житейского моря. Во главе тюрьмы для управления этим мертвым царством был поставлен человек с железной волей, железной рукой и железным сердцем. Необразованный, без малейшей культуры, выслужившийся из унтер-офицеров, он не умел даже говорить без грамматических ошибок. Властный и жестокий, он имел полную власть над нашим телом и думал властвовать и над нашим духом.

Степень его умственного развития может показать маленький случай. Когда один узник, желая разрешить задачу, начертил палочкой на стене своей камеры треугольник, смотритель, грозно указывая пальцем на эту геометрическую фигуру, выразительно произнес: «Чтоб эвтих хитрых премудростев—у меня не было!..». Он, видимо, подозревал в ней какие-то таинственные масонские знаки.

А чтоб показать свою готовность исполнять по отношению к нам приказания начальства, он выразился однажды так:

— Прикажут называть «Ваше сиятельство»—буду называть «Ваше сиятельство!». Прикажут задушить—задушу!...

Понадобилось три человеческие жертвы, чтоб сместить этого человека. Тотчас после открытия тюрьмы в 1884 г. протестовал против ее жестоких порядков Минаков. Он был расстрелян. Через 3 месяца после него протестовал Мышкин—и был расстрелян.

И потребовалась ужасная жертва всесожжения, когда Грачевский облил себя керосином и заживо сгорел,—чтобы смотритель был наконец уволен.

С того момента, как заключенный вступал в крепость, *тайна и молчание* окружали его.

Даже наши отцы и матери не знали, где мы?.. За пределами крепостной ограды мы оставляли родину и деятельность, друзей и родных. Оставляли человечество и всю жизнь его...

Молча входили жандармы, приносили, что надо, и молча уходили. Когда кто-нибудь обращался к ним с необходимым вопросом, лицо, похожее на маску, ясно показывало, что им запрещено не только *отвечать,* но и *слышать...* Молча уводили нас на прогулку. И там в небольшом загончике, клетке с 4-аршинным двойным забором, мы, как из колодца, могли видеть лоскуток неба, который вызывал только тоску по широком горизонте... А когда мы были в камере, ни один луч солнца не проникал в нее. Матовые стекла застилали солнце, а маленькая форточка отворялась только во время прогулки. Нельзя было видеть синеву неба или следить за меняющимися очертаниями облака. 12 лет мы не видали ночного неба, не видали звезд. И не было для нас звёзд не только на небе, но и в душе!..

Первоначально, первые месяцы и даже годы, мы жили интенсивной внутренней жизнью. Самая тишина, в которой не было никакого отвлечения, способствовала этому: душа была полна воспоминаниями; ярко вспыхивали образы, воскресали давно прошедшие переживания. Но в прошлом было так много скорбного: потери, разочарования, сожаления... И для того, чтобы не погибнуть, все это надо было заглушить, поглубже запрятать и позабыть... Понемногу потухали воспоминания и наступала безотрадная пустота. На чем было остановить взор? Самый вид камеры действовал угнетающим образом. Вначале стены были окрашены в неопределенный цвет, свойственный всем русским присутственным местам. Но вскоре камеры были перекрашены. Черный асфальтовый пол и от него до высоты человеческого роста стены были выкрашены в темный свинцовый цвет. Каждый из нас, войдя в эту обновленную камеру, невольно прошептал: «Это—

гроб». И в этой камере празднен был ум, праздны руки; все органы внешних чувств оставались в полной бездеятельности. Несколько десятков никуда негодных книг 30 и 40-х годов составляли всю умственную пищу... И кругом молчание...

Молчание и тишина были главными орудиями, которые должны были сокрушить наш дух. Так как глазами мы не могли ничего видеть, мы могли жить только ушами. Слух в этих условиях обострился до болезненности: ведь только он мог сообщать замурованному о том, что делается вокруг него. И донесения этого слуха были по временам ужасны...

Первые годы в Шлиссельбурге были годами смерти. Каждый месяц кто-нибудь умирал, и в 1886 г. в один месяц умерло трое. И нам приходилось слышать стоны умирающих и быть незримыми свидетелями их предсмертной агонии.

Ни о какой больнице, ни о каких-либо облегчениях для умирающих не было и помину. И хотя инструкция, вывешенная на стене, говорила о прогулках вдвоем, но—только при условии «хорошего поведения»... И большинство умерших—«за дурное поведение»—сошло в могилу, не увидев дружеского лица, не получив ни одного ласкового рукопожатия.

Эти умирающие преступники нарушали, видите ли, тюремную дисциплину: они не могли удержаться, чтоб слабой рукой не постучать соседу, что они «еще живы». Затем, периодически, мы слышали сцены насилия над непокорными... Какой-нибудь безумец начинал петь или, потеряв власть над собой, узник принимался стучать в дверь. Тогда в коридоре раздавались многочисленные шаги, слышался таинственный шопот; потом быстро отворялась дверь камеры... Слышался неистовый, внезапно задушенный крик; поднималась возня, шла суматоха,—кого-то влекли, тащили и уносили вон.

Это уводили в карцер, где избивали и надевали сумасшедшую рубашку...

Ни одно известие не проникало к нам. О родных мы ничего не знали и лишь через 13 лет мы получили разрешение

2 раза в год писать родным и получать от них письма. Но к этому времени наши родственные чувства замерли и ослабели. Уж не было ни горячей любви, ни страстной потребности в общении с покинутыми. Для большинства переписка была тягостна; были лица, не пользовавшиеся даже этим жалким правом.

О том, что делается в России, о том, чем живет и волнуется человечество, во все первые годы мы не знали ничего. Тайной были облечены даже имена сменявшихся директоров департамента государственной полиции, под непосредственным наблюдением которых мы состояли.

Никого не привозили к нам, и мы вымирали, оставленные, как-будто бурей выброшенные на необитаемый остров неведомого океана.

Серьезно, казалось, что на белом свете существует—один Шлиссельбург, и все человечество состоит из 2—3 десятков его обитателей.

Лишь в 1901 г. явился к нам, словно метеорит упал из межпланетного пространства, давно жданный и всегда обманывавший наши ожидания новый пришелец. То был представитель нового поколения, выросшего уже без нас, Карпович, убивший министра народного просвещения Боголепова, который отдавал университетскую молодежь за студенческие беспорядки в солдаты.

Карпович принес нам благую весть, которая должна была воскресить души мертвых. Ничто не указывало нам на развитие дорогих для нас идей. Показателем существования революционного движения мы склонны были считать привоз или непривоз к нам новых товарищей. Но их не привозили, и мы стояли, как стража, забытая на посту, смена которой не приходит...

Карпович ярко описал нам революционное движение в России, описал пробуждение рабочих масс, обширные стачки, шумные демонстрации... изобразил могучий размах студен-

ческого движения и возвестил, что знамя свободы уже развевается на улицах русских городов... С изумлением слушали мы одну поразительную новость за другой. С волнением выкапывали мы из земли и читали листики, написанные и спрятанные рукой Карповича. Он называл себя лишь первой ласточкой и с уверенностью говорил, что недолго пробудет в Шлиссельбурге; через 5 лет он предсказывал революцию в России...

Не раз сомнение закрадывалось в душу при такой речи, и с огорчением Карпович видел, что его словам мы едва верим.

Но время пришло, и когда мы вышли из Шлиссельбурга, действительность превзошла все ожидания...

Мы оставили Россию еще носившей следы эпохи крепостнического права. Народное хозяйство едва выходило из первобытных форм. Промышленность была в зародыше, а средний класс был малочисленен и беден. Крестьяне и городские рабочие, только-что оторвавшиеся от деревни, были неграмотны и трудно поддавались влиянию идей.

Теперь все изменилось: в городах волновался и шумел многочисленный промышленный пролетариат, возвысившийся до классового самосознания и об'единенный духом солидарности. На почве экономической борьбы за свои интересы он понял свое значение и силу. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» провозглашал он громогласно. Крестьянство выдвинуло новое поколение, никогда не знавшее крепостного права и сознававшее свое человеческое достоинство. Об'являя целью своих стремлений «Землю и Волю», оно об'единялось вокруг лозунга «В борьбе обретешь ты право свое»...

Войско, изведавшее горечь унизительных поражений, не хотело долее терпеть негодное правительство и отдавало свое оружие делу свободы.

Средний класс вырос и разбогател. Он требовал новых, широких условий жизни...

Целая армия молодежи обоего пола наполняла учебные заведения, и тысячи энергичных бойцов готовы были отдать жизнь за освобождение своего народа.

Четверть века назад лишь единицы и десятки участвовали в политической борьбе. Теперь—миллионы были втянуты в водоворот общественной жизни.

Когда после Шлиссельбурга меня привезли в ссылку в Архангельскую губернию, сотни административно-ссыльных возвращались с отдаленных берегов Ледовитого океана на родину. Десятки лиц проходили через село, где я должна была жить. Они приветствовали меня и зарю обновления России. Тут были фабричные рабочие и крестьяне разных губерний, учителя, статистики и техники со всех концов нашей страны. Все они были молоды, одушевлены надеждами и рвались на новую борьбу за лучшие формы жизни. Моей первой радостью на рубеже новой жизни было то, что в адресе, присланном мне архангельскими ссыльными, первою из 200 подписей была подпись крестьянина того самого села Саратовской губернии, где я когда-то была фельдшерицей. Он был тогда мальчиком, и я лечила его отца. Мальчик вырос, ушел из деревни, которая не могла кормить его, в город на заработки и здесь, увлеченный общим движением, попал в административную ссылку в Архангельск. Теперь он приветствовал меня, как члена «Народной Воли» и товарища по революционной борьбе.

А когда меня перевезли в Казанскую губернию, на мою родину, то ко мне из одного села явился молодой крестьянин и вместо рекомендации подал фотографию, которую он купил за пятачок в городе. «Вот борцы за освободительное движение,—сказал он.—Вот Мышкин, вот Желябов и Перовская, вот вы!..».

Таковы были симптомы пробуждения народного сознания, и казалось близко время, когда мечты молодости перейдут в действительность...

В настоящее время светлая картина омрачилась: тяжелые страдания выпали на долю нашей родины. Действующее поколение потерпело поражение и с грустью смотрит на совершающиеся факты. Но те, кто находится *теперь* в тюрьме и ссылке, не могут смотреть на будущее с тем чувством, с каким когда-то смотрели народовольцы. Они были одиночками, и смести их с арены жизни было не трудно. Но истребить целый народ—нельзя, и нельзя уничтожить то, что уже прошло через сознание этого народа. Русский народ накопил в предшествующий период великие умственные и нравственные силы, которые дозволят ему пережить теперешние несчастия... Карфаген еще стоит, но стены его потрясены..., и когда наступит решительный момент, на призыв откликнутся не единицы, не десятки, а весь народ русский!..

«Памяти борцов за свободу».

Речь на вечере 7 апреля (н. ст.) 1917 г.

Я радуюсь, что могу приветствовать собрание в тот момент, когда освобожденная Россия празднует первые дни новой жизни. Теперь, когда низвергнут царизм, для нашей родины открываются широкие горизонты.

Труден был путь завоевания свободы, а, быть может, еще труднее сохранение и укрепление ее. Мы жили в царстве беззакония и бесправия, и это не могло не отразиться на психологии всех нас: мы не привыкли уважать закон, не умеем пользоваться правами, не научились уважать права других. Но, если общими дружными усилиями демократическая республика будет установлена и мы укрепим за собой политические и гражданские свободы, то не только будет достигнуто благо России, но и укрепится демократия всех европейских стран. Изменятся и международные отношения. Тогда, быть может, осуществится золотая мечта, что прекратятся кровавые войны, подобные той, от которой страдает в настоящее время человечество.

Кругом удивляются, что революция этих дней стоила столь малого числа жертв, что она прошла так единодушно и безболезненно.

Таково мнение людей, которые видят только настоящее, но если оглянуться назад, дело представится совсем иначе.

У Леонида Андреева есть рассказ: «Стена». За этой стеной, быть может, скрыта цель достижения всего человечества. Стена высока и неприступна. Первая колонна людей, подходящих к ней, цепляется за каменную твердыню, карабкается, обрывается и мертвыми телами падает у подножья ограды. Подходит вторая колонна; наступает на трупы предшественников, цепляется, карабкается на стену, срывается и гибнет.

Так одна за другой, все новые и новые толпы людей подходят к роковой стене и гибнут. Груда трупов все увеличивается, и по ней все выше и выше подходят люди к вершине стены.

Пришедшие последним легко по телам погибших достигают верха заветной стены и за ней видят далекий горизонт.

Таков был и путь достижения свободы: ценой гибели тех, кто боролся с деспотизмом в предшествующих поколениях, современники видят обновление России.

Мы приглашены сюда Волынским полком, потерявшим товарищей в стычках со слугами старого правительства.

Третьего дня их торжественно хоронили на Марсовом поле. В продолжение 8—9 часов народная манифестация дефилировала на этом поле. В честь погибших раздавались салюты со стен Петропавловской крепости; той самой крепости, в которой томились декабристы и петрашевцы, поэт Михайлов и Чернышевский; той крепости, в которой умирали от истощения и голода народовольцы, а после них находились в заключении последующие участники революционного движения.

На Марсовом поле будет воздвигнут памятник «Борцам за свободу». Но пострадавшие за нее целыми сотнями безвестно легли костьми за тюремными стенами Орла и Владимира, Зерентуя, Акатуя и целых десятков других централов России и Сибири.

На небольшой отмели за стеной Шлиссельбургской крепости легли умершие в ней народовольцы. На месте погребения нет ни плиты, ни креста—этой эмблемы страдания. Из одиночной камеры жандармы тайком уносили трупы и хоронили, сравнивая землю так, чтоб место осталось неизвестным.

Так:

Пали все лучшие... в землю зарытые
В месте пустынном безвестно легли.
Кости, ничьею слезой не омытые,
Руки чужие в могилу снесли...
Нет ни крестов, ни оград, и могильная
Надпись об имени павших молчит.
Выросла травка, былинка бессильная,
Землю прикрыла и тайну хранит.
Были свидетелем волны кипучие,
Гневно вздымаются, берег грызут...
Но и они, эти волны могучие,
Родине весточку в даль не снесут...

Таково стихотворение, написанное мной в Шлиссельбурге в память товарищей, погибших в заточении [1]).

Воспоминание о них не перестает жить во мне и мешает полноте той радости, которая одушевляет теперь молодое поколение.

В романе Де-Костера, который называют библией Бельгии, герой романа, описывающего борьбу Нидерландов против испанского владычества, Тиль Уленшпигель непрестанно повторяет, говоря о своем отце, погибшем на костре инквизиции: «Пепел Клааса стучит в мое сердце»... Я тоже могу сказать: «Прах погибших стучит в мое сердце»...

Я думаю, вы разделяете мои чувства и, заканчивая речь, предлагаю почтить вставанием память всех, за свободу погибших, всех, тайно, медленным голодом, в тюрьмах умерщвленных [2]).

---

[1]) См. т. IV собрания соч.

[2]) См. приложение.

Речь о Музее Революции на вечере 2 июня 1917 г.

Вскоре после революции несколько членов Революционного красного креста—В. Шах, Л. Куприянова, Т. Богданович, Э. Соломина и др.—взяли на себя инициативу образовать общество, которое соорудило бы музей революции, чтобы собрать в нем все, относящееся к борьбе за свободу в России.

Не знаю, надо ли доказывать, что в России необходимо иметь такое постоянное учреждение, в котором можно бы сосредоточивать, классифицировать и изучать материалы по истории движения, которое насчитывает уже более ста лет, начиная с Радищева и кончая последними месяцами, когда фактически мы имеем республику.

Каждая страна, каждая нация имеет уголок, в котором она хранит то, что ей дорого и мило, и только Россия не имеет хранилища для воспоминаний, к которым мог бы прибегать историк и общественный деятель, психолог и педагог.

До сих пор мы жили при условиях, когда хранилище не могло быть безопасным от покушений полиции и жандармерии: все, что относится к борьбе с существовавшим строем, подвергалось преследованию. Все, причастные общественной деятельности и в особенности борьбе против абсолютизма и экономического порабощения масс, стояли пред возможностью неожиданного обыска или ареста и, считаясь с этим,

не могли хранить у себя никаких документов и вещей, относящихся к оппозиционной и революционной деятельности. А те, кому они отдавали что-нибудь на хранение, по трусости и болезненной мнительности сплошь и рядом истребляли огнем то, что должны были сберечь. Так безвозвратно погибали ценные документы, единственные экземпляры и вещи, драгоценные по воспоминаниям, вещи, которые уж нельзя восстановить.

И не грустно ли сознавать, что единственная в своем роде коллекция предметов и литературных документов по освободительному движению, собранная Бебутовым и насчитывающая шесть тысяч зарегистрированных номеров, была перевезена в Германию за отсутствием свободы в России и сдана на хранение германской соц.-демократической партии!

Но теперь, когда старый режим рушился, неужели надо кого-нибудь убеждать, что должен быть создан и у нас музей—дом революции, в который русские люди могли бы спокойно снести все ценное по истории нашей борьбы против угнетения и всякого рода рабства?

Одними из самых сильных впечатлений, испытанных мной в последнее десятилетие за границей, были впечатления, вынесенные из двух музеев.

Один из них—музей польский—находится в Швейцарии, в кантоне С. Галлен, в городе Рапперсвиль. На берегу Цюрихского озера, в самом конце его, у синих вод озера стоят высокие стены старой крепости, сплошь увитые плющом. Около них—купы стройных деревьев, вверху благодатное голубое небо, а кругом—горы с мягким очертанием вершин и склонов.

Польский магнат граф Плятер арендовал крепость на 99 лет у города и содержит музей, в котором собраны национальные исторические ценности Польши. Нация, рассеченная на три части, но никогда не забывавшая своего единства, хранит здесь, на чужбине, свои святыни. Ни в одной

из своих рассеченных частей не могла она найти для них безопасного приюта. Но в маленькой Швейцарии создала убежище для хранения того, что ей дорого, как воспоминание о ее государственной независимости. Здесь находятся польские знамена, древнее оружие, портреты польских государей, общественных деятелей и национальных героев, утварь, монеты и разные предметы польской старины; собраны рукописи и книги. На всем следы заботливости и любви. А во дворе, внутри крепости, под колонной, увенчанной польским орлом, лежит сердце польского героя—сердце Костюшки.

После осмотра, вместе с группой русской учащейся молодежи, выброшенной из России после революции 1905—1906 года, я сидела на прибрежных валунах у плещущегося озера, охваченная грустными размышлениями о судьбах польского народа, рассеченного на три части, и о том, что, подобно польским патриотам, русские люди тоже вынуждены искать приюта и себе, и своим общественным историческим ценностям на чужой стороне, вне родины...

Потом я была в Париже и посетила музей Великой французской революции, музей Карнавалэ. Он особенно привлекал меня. Я принадлежу к поколению, которое мужало и получало революционное воспитание под влиянием идей французской революции и французских социалистов. Отправившись в начале 70-х годов в Швейцарию для поступления на медицинский факультет Цюрихского университета, я и те русские женщины, которые с'ехались в Цюрих для той же цели, нашли там прекрасную библиотеку, основанную пятью первыми молодыми эмигрантами того времени. Там, кроме собрания всего, что вышло из-под пера Герцена, Огарева и Бакунина, были все наиболее значительные сочинения по истории французской революции и последующих революционных движений Франции, а также все выдающиеся произведения французских социалистов от Фурье и С. Симона

до Кабэ, Прудона и Луи Блана. Все новые для нас и недоступные в России идеи черпали мы из этих источников. Социалисты Франции рисовали нам идеалы общественного переустройства, а деятели французской революции учили, как надо бороться и умирать за идеи. Каждая из моих ближайших товарок выбирала себе героя из великой эпохи позапрошлого века. Одни брали за образец неподкупного Робеспьера, другие увлекались пылким Дантоном, третьи в молодой прямолинейности чтили превыше всех свирепого Марата...

С большим запасом затаенного чувства я вошла в музей Карнавалэ.

Во дворе старого дома, в помещении небольшого размера, я нашла комнату, где по стенам развешены портреты революционных деятелей и республиканских полководцев эпохи, которою не может не увлекаться каждый молодой читатель. На большом столе стояла модель Бастилии, этой эмблемы деспотизма, взятой приступом и разрушенной толпой в начале революции. В витринах расположены различные предметы, принадлежавшие историческим личностям той эпохи. Все эти люди жили бурной общественной жизнью, когда рождалась свобода, все боролись, страдали и умирали на своем посту, каждый за свои убеждения. Там я видела письма, маленькие записки из тюрьмы, набросанные второпях на клочке бумаги. Вот письмо знаменитой Теруань де-Мерикур; на гравюрах мы видим ее молодой и красивой, во фригийском колпаке, сидящей на пушке, которую влечет народ. Сначала—героиня парижской уличной толпы, потом опозоренная, она умерла—гильотинированная. Из тюрьмы она пишет своим друзьям, чтоб они собрали ее долги—она нуждается в деньгах. А на пожелтевшем клочке бумаги жирондист Бюзо пишет своей возлюбленной, чтоб она принесла ему в тюрьму немного белья и табаку. Его тоже ждет гильотина. Тут же рядом нож и вилка, которые другой жи-

рондист употреблял в тюрьме, быть может, накануне дня совершения над ним смертной казни. Сюда попал и чепчик королевы, ненавистной народу австриячки, Марии Антуанетты, голова которой упала под ножом гильотины. А на стене—декрет Конвента о смертном приговоре Людовику Капету и прокламация, определяющая меры предосторожности по пути следования бывшего короля к месту казни. Все эти документы и предметы, немногие остатки великой, до сих пор волнующей, трагической эпохи, эти мелкие реальные вещицы производят глубочайшее впечатление. Они говорят о жизни, воскрешают события и людей, они напоминают до осязаемости муки и страдания, которых стоили новые формы общественной жизни и общественных отношений. И посетитель выходит из музея, обвеянный воспоминаниями, с незабываемыми переживаниями.

Неужели же Россия, которая более ста лет вела борьбу с царизмом, с угнетением и всякого рода рабством, Россия, имевшая свою Бастилию, свои централы, имевшая тысячи смертных казней и десятки тысяч политических каторжан и ссыльных,—неужели эта Россия не имеет страниц истории, которые стоит сохранить, не имеет никаких предметов, которые стоит сберечь?!

Находясь за границей, я занималась организацией денежной помощи политическим каторжанам, и ко мне приходили письма и сообщения об условиях тюрьмы и ссылки. Между ними иные были замечательны по фактам, другие—по стилю и своей трогательности.

Непосредственным поводом к тому, чтоб я занялась этой помощью, послужило письмо из Алгачей, пересланное мне из России в декабре 1909 г.

«Везде много горя,—писала мне сестра,—но тут уж свыше всякой меры». В письме передавались условия, в которых правительство цивилизованной страны содержит своих политических противников в этой сибирской каторжной тюрьме.

В то время свирепой реакции все тюрьмы вообще были переполнены заключенными, и в Алгачах вместо 300 чел. было помещено 600. Теснота была такая, что заключенные спали не только на нарах, но и под нарами, между нарами, на столах и во всех проходах; спали на полу, без подушек и каких-либо постельных принадлежностей; спали в отвратительной атмосфере зловония от парашки; они ели отвратительную пищу, рассчитанную на прежний контингент в 300 чел., и оставались постоянно голодными; ни чаю, ни мыла, ни письменных принадлежностей они не имели за отсутствием собственных денег. «У меня нет одной копейки, чтобы купить конверт и лист почтовой бумаги», писал один рабочий в другом письме из тех же Алгачей.

В баню их водили один раз в месяц, при чем набивали по 40 чел. в крошечное помещение, где заключенные стояли плечо к плечу, имея всего семь шаек на 40 человек. Осенью, пока земля не замерзла, начальство заранее выкопало 70 могил для будущих покойников...

Стыдно, но приходится во всеуслышанье сказать, что телесные наказания применялись к политическим каторжанам во всех тюрьмах России Европейской и по всей Сибири, за исключением Александровской, Мальцевской и, быть может, еще одной или двух, которых я не знаю. Из-за этого люди кончали самоубийством и навсегда имели убитую душу. Орел, Рига, Смоленск, Вологда, Пермь и *еще, еще* другие,— но в особенности Орел!—были настоящими застенками, где калечили, изводили и убивали с такой жестокостью и цинизмом, что нет возможности в печати описывать все, что там происходило. Разве не стоит памяти этот мартиролог? Разве не надо составить один бесконечно длинный обвинительный акт против всех гнусных мучителей, целое десятилетие истязавших политических, и еще раз, еще один раз покрыть позором позорный режим, который так долго терпела наша родина? Память русского человека коротка: еще на-днях,

по поводу жестокого обращения с офицерами, арестованными в Кронштадте, в статье В. И. Вернадского, помещенной без поправок в таком осведомленном органе, как газета «Речь», повторяются слова проф. Кузьмина-Караваева (в «Биржев. Вед.» 22-V), возмущающегося отношением кронштадтцев к заключенным, но утверждающим, что подобный режим царил *иногда, не часто,* при старом режиме, *как злоупотребление властью* местных ее носителей, и вызывал к себе глухой, *а нередко и открытый протест всех русских* людей, не чувствовавших себя рабами. Нет! я утверждаю на основании данных, которые Парижский комитет помощи политическим каторжанам получал из тюрем, что это было не спорадическое злоупотребление властью,—это была *система,* гнусная, истребительная, не щадившая ни жизни, ни чести заключенного, и эта система должна быть, наконец, документально вскрыта, и позорные страницы опубликованы. Я утверждаю также, в противность авторам упомянутых статей, утверждаю со скорбью, что русское общество не сделало для защиты заключенных в «мертвых домах», рассыпанных в России, всего того, что должно было сделать.

Дом-музей революции, дом вековой борьбы за свободу России должен собрать весь материал по истории этой борьбы и тем оказать справедливость по отношению к замученным и погибшим.

Речь на вечере памяти Е. Созонова 26/XI 1921 г.

Устроителями сегодняшнего собрания являются две различные организации: с одной стороны, это—О-во б. политических каторжан и ссыльно-поселенцев, а с другой—историческая секция, и обе организации подходят к делу и к личности Егора Сергеевича Созонова с различных сторон.

Члены О-ва б. каторжан, смотрят на Созонова, видят и ценят в нем, главным образом, человека, нравственные достижения которого находятся на высоких вершинах этики. Они видят также в Созонове товарища, с которым делили одну участь: в сибирских тюрьмах они имели с ним одни и те же переживания; некоторые из них жили с ним под одной кровлей и были свидетелями его трагического конца во имя братской солидарности.

Историческая секция преследует научную цель. Она изучает революционное движение в прошлом и в настоящем и собирает материал, печатный и устный, относящийся к революции и ее участникам. И в этой области историческая секция может рассматривать политическое выступление Созонова с точки зрения исторического момента, когда произошло это выступление, и дать оценку политического значения его для данного момента.

Затем она может рассматривать Созонова, как члена и выразителя идей и стремлений партии социалистов-револю-

ционеров и интересоваться преемственностью идей в программах социалистов-революционеров и «Народной Воли», действовавшей за 25 лет до выступления Созонова.

И, наконец, с третьей стороны, она может интересоваться личностью Созонова с точки зрения изменения психологического типа революционера на промежутке от начала 70-х до 900-х г.г.

Для основательного рассмотрения всех этих сторон потребовалось бы гораздо больше времени, чем мы располагаем, и я лишь слегка коснусь их.

Относительно исторического момента надо вспомнить, что это было время японской войны, которая несла России одну неудачу за другой, а революционное настроение, повышавшееся с 90-х годов, достигло к 1903—04 г.г. сильного напряжения. Третьим фактором того времени являлся властный министр, более самодержавный, чем самодержец Николай II, один из тех, кто бросил Россию в войну, потому что *«маленькое кровопускание будет полезно для России»*, думал министр, разумея революционную Россию.

Вот в этой-то обстановке неудачной войны, при накопленных потенциальных революционных силах и наличии ненавистного для всех министра Плеве, была брошена бомба Созонова. Впечатление, вызванное ею, было громадно. Общественное настроение сразу сильно поднялось—ободрились самые робкие, а в правительственных сферах это событие сделалось поворотным пунктом во внутренней политике.

Созонов, как известно, не был предан военному суду и не был казнен. Уж одно это показывает, что министр не пользовался популярностью и был тяжел даже для тех, политику которых он проводил.

На место Плеве министром внутр. дел был назначен бесцветный Святополк-Мирский. В верхах заговорили о дове-

рии к обществу; были обещаны реформы государственного строя; «повеяло весной», как тогда говорили в обществе. В ноябре был неофициально разрешен с'езд городских и земских деятелей в Москве и предметом обсуждения было изменение государственного строя. Резолюция с'езда постановляла, что должно быть народное представительство и при том не законосовещательного характера, а с правом законодательным.

Прошло около двух месяцев, и в Петербурге 9 января 1905 года произошло грандиозное выступление пролетариата. Оно разбило иллюзию рабочих масс о благожелательности императора: манифестация кончилась кровавой бойней, и крик негодования пронесся по всей России. Затем последовал новый удар со стороны соц.-рев.—убийство великого князя Сергея, а тем временем на Дальнем Востоке—ряд потрясающих событий: кровавая битва при Ляояне, дело с эскадрой Рождественского, закончившееся трагедией Цусимы; и при каждом ударе, каждом несчастьи, какая-нибудь уступка со стороны правительства: сначала апрельский закон о свободе вероисповедания, потом—булыгинская комиссия, и когда эта комиссия дала карикатурный проект государственной реформы, возмущенное население, в лице железнодорожных рабочих, об'явило всеобщую стачку, которая охватила фабрики, заводы и затем была единодушно поддержана стачкой почты, телеграфа, банков и даже суда.

Тогда был издан манифест 17 октября, и если-б он не был вероломно нарушен, русский народ получил бы политическое воспитание.

В цепи этих грандиозных событий свою долю участия несомненно имела и кровь Созонова.

Теперь, если обратимся к преемственности идей от «Народной Воли» к партии социалистов-революционеров, то рас-

смотрение программ этих партий делает эту преемственность очевидной [1]).

Рассматривая эти программы, мы видим, что центром как той, так и другой является вопрос о земле. Партия соц.-рев. говорила о социализме земли. У «Народной Воли» этого слова—социализация—не было, но говорилось о передаче всей земли в руки народа на трудовом начале. Партия соц.-рев. главную опору имела в крестьянстве. Для этого она имела возможность, так как земельная теснота к началу 900-х годов сильно обострилась и революционизировала крестьянство; к тому же культурный уровень крестьян к этому времени значительно возрос; число грамотных было уже значительно, и для народа уже существовала обширная литература, которой во время «Народной Воли» совсем не было, а в численно увеличившемся третьем элементе соц.-рев. имели близких к народу проводников своих идей.

«Народная Воля» хотя фактически опоры в крестьянстве не имела, но в своей программе, по тем историческим условиям, в которых она действовала, только в крестьянстве и могла надеяться найти поддержку. Дело в том, что в конце 70-х и начале 80-х годов Россия была страной исключительно крестьянской. Рабочего пролетариата в западноевропейском смысле слова тогда совершенно не было. Фабричный рабочий был крестьянином, только-что взятым от сохи, и психология его была крестьянская. Фабричные рабочие были элементом, постоянно кочевавшим между городом и деревней: еще в 90-х годах фабриканты жаловались на это отсутствие постоянного контингента рабочих. Где же при этих условиях «Народная Воля» могла искать массовой

---

[1]) Редакция, не разделяя взгляда В. Н. Фигнер на преемственность идей от «Народной Воли» к партии социалистов-революционеров, оставляет в неприкосновенности оценку В. Н., как характерную для автора.

поддержки? Конечно, только в крестьянстве. Но те возможности, которые отсутствовали при «Народной Воле», были налицо в эпоху образования партии социалистов-революционеров, и это обусловило и различие в программах: так, идея классовой борьбы была чужда «Народной Воле»; в ее время определенных классов в том смысле, в каком говорят о них в настоящее время, не было; о классовой борьбе в программе не могло быть речи.

Партия «Народная Воля» в своей борьбе против самодержавия старалась организовать недовольные элементы, беря их всюду, где их можно было найти, но, в силу экономического развития России, для партии соц.-рев. положение было другое. К 900-м годам рабочий класс стал более или менее устойчив; он был уже сплочен, дисциплинирован; он уже начал давать битвы капитализму и выступать на политическое поприще. Естественно, что в свою программу соц.-рев. внесли уже элементы и классовой борьбы.

В отношении тактики соц.-рев. взяли у народовольцев тактику политического террора.

В наше время массовых движений не было; они не могли иметь места в силу некультурности населения и полной разрозненности как рабочих, так и самих крестьян. Поэтому в борьбе с правительством «Народная Воля» была вынуждена прибегнуть к индивидуальным выступлениям.

Партия соц.-рев., как я уже сказала, имела за собой некоторое количество промышленных рабочих, имела точку опоры и в крестьянстве, так как в 1904 г. уже существовали крестьянские братства и вскоре явился и крестьянский союз. Тем не менее революционный темперамент и повышенная чувствительность к насилию и произволу правительства не допускали выжидания, когда инертные народные массы всколыхнутся и начнут борьбу, и партия признала тактику «Народной Воли» своей тактикой, одним из выразителей которой и явился Созонов.

В дальнейшем мы увидим, что после декабристов «Народная Воля» положила основание чисто военной организации. Она говорила и о восстаниях. Партия соц.-рев., преследуя ту же цель, усвоила план организации военных сил, совершенно тождественный с тем, который был выработан «Народной Волей». Это была организация, строго централистическая и совершенно отдельная от организации гражданской. «Народная Воля» по условиям времени могла группировать только офицерство—партия соц.-рев. могла уже вести пропаганду и организовать солдат. «Народная Воля» *говорила* о восстании—соц.-рев. могли уже осуществлять восстания. Вспомним Кронштадт, Свеаборг, попытку в Севастополе. Таким образом, то, что было у «Народной Воли» в неразвитом виде, у социалистов-революционеров получило дополнение и выполнение.

Если от преемственности обратимся к стороне психологической, то не безынтересно сравнить тип, вернее темперамент, настроение социалиста 70-х годов, и революционера времени Созонова. На суде Желябов говорил о перв. пол. 70-х годов, как о розовом периоде революционного движения. Действительно, это движение было розовым: розовыми были люди, действовавшие тогда. Это были идеалисты, не знавшие ни жизни, ни народа, в который шли для пропаганды. Розовой представлялась им и революция, к которой они призывали; розовой была и иллюзия, владевшая ими, что социалистический строй может быть водворен без всяких предпосылок экономических, культурных и психологических.

Обратите внимание на следующее: неделю тому назад, в этом зале, говоря о Достоевском, один оратор сказал, что Достоевский считал своим призванием в литературе борьбу с этой литературой. Достоевский находил, что писатель его эпохи есть писатель-барин, и его подход к изображаемым им «униженным и оскорбленным» есть барский

подход; в его основе лежит *жалость,* которая унижает маленького человека. Писатель-барин не понимает тех, кого награждает своей жалостью, а если бы умел заглянуть в душу обездоленного, то вместо жалости почувствовал, быть может, страх. Оратор указал, что отрицательное отношение Достоевского к русскому социалистическому движению его времени обусловливалось тем, что и в нем Достоевский видел «жалость». Как ни трудно, но нельзя не признать, что элемент жалости действительно, мне кажется, был у социалистов-пропагандистов, ходивших в народ, но это была не унижающая жалость, а тот вид ее, который зовется сочувствием, потому что, что общего между жалостью барина и той жалостью, которая ведет на каторгу и в ссылку?

Во всяком случае, общий тон социалиста-семидесятника был мягкий; строй его мысли был мирный. Революция представлялась ему, как теперь сказали бы, в белых перчатках. У пропагандистов не было личных острых переживаний, клокочущей злобы против существующего строя. Лично они не испытывали экономического гнета, и политическая репрессия еще не обрушивалась на них с силой, когда они задумывали «итти в народ».

У народовольцев я тоже не нахожу тех чувств, которые явились у социалистов-революционеров 900-х годов. Народовольцы перешли к боевой деятельности в силу того, что все пути деятельности оказывались закрытыми; никакого доступа к народу не было; не было возможности вести даже культурно-просветительную работу на пользу народу. У народовольцев не было тех жгучих ощущений, которые толкают к револьверу и динамиту. Необходимость боевой деятельности вытекала из *общего* положения дел в тогдашней полицейской России.

Если же обратимся к Созонову, что увидим?

Он также принадлежал к обеспеченной среде. Его отец был разбогатевший лесопромышленник, монархист, старо-

обрядец, человек, в высшей степени религиозный. Иконами и царскими портретами были увешаны комнаты отца Созонова, и, по его собственным словам, он вырос и впитал монархические и религиозные традиции своей семьи. Это был юноша тихий и скромный. Будучи гимназистом, он помогал отцу в торговых операциях; когда поступил в Московский университет, не имел никакого понятия о политике; будучи студентом, не знал о существовании каких-либо студенческих кружков. Его чтение было «Московские Ведомости» и одна из гнусных газет того времени: «Свет» Комарова. Студенческое движение не захватывало его, и только отдача петербургских и киевских студентов за университетские беспорядки в солдаты дала ему толчок, но выстрел Карповича в Боголепова привел его в ужас. Однако, он стал принимать участие в сходках. На одной из них вместе с другими был арестован и он. Студентов загнали военной силой в манеж, в котором арестованные и просидели несколько дней. Здесь в разгоряченной атмосфере молодежи, окруженной вооруженными солдатами, и началось революционное воспитание Созонова. Сильное впечатление произвел на него приход рабочих, явившихся для освобождения арестованных. Как только раздались первые удары в двери, солдаты выстроились, чтобы винтовками встретить освободителей. История кончилась ссылкой в Уфу на родину. Там Егор Сергеевич бросился изучать нелегальную литературу. У него сделали обыск один раз, а несколько спустя в 1902 г., после нового обыска, он был арестован. «На обыске мне ломали руки и раздирали рот,—говорит он в своем автобиографическом очерке,—потому что я попытался уничтожить кое-какие бумаги. Картина обыска была до того отвратительна, что родители мои подумали, что я лишу себя жизни. Жандармы из личной злобы на меня не давали мне покоя даже в тюрьме. Меня там, по приказанию жандармов, ежедневно подвергали самому унизительному обыску с ног до

головы. Жалобы на это прокурору ничуть не помогли. Меня ежедневно сводили с ума сценами самого отвратительного обращения с уголовными, вплоть до их избиения». «Свидания с родителями для меня и для моей матери превращались в пытку, благодаря грубости и придирчивости жандармских солдат. Мать моя подвергалась грубым выходкам со стороны жандармского правления, когда обращалась за разрешением свидания. На нее грубо кричали, ей советовали отказаться от сына-злодея». Для протеста Созонов был вынужден об'явить голодовку, результатом которой был перевод в Самарскую тюрьму. Там закончилось его воспитание, как революционера. Он встретился с революционерами, собранными со всех концов России; от них он узнал, что то, что творилось с ним, повторялось всюду. Он видел людей, которых били в тюрьмах и полицейских участках, людей, которые не раз выносили 10—12-дневную голодовку, людей, которые голодовками и тюремным режимом вгонялись в чахотку. Потрясающее впечатление на него произвели известия о порках, учиненных в Вильне и Харькове, но особенно расстрел златоустовских рабочих. «Это были люди,—говорит он,—очень простые, почти ничего не слыхавшие о революции. Они были виноваты только в том, что не захотели, чтобы уменьшали их жалование, чтобы казна отнимала у них трудовой кусок хлеба». На площади, где собралась мирная манифестация рабочих, «были люди разного возраста, женщины и дети. Никто не ожидал такого конца; когда заиграл рожок, люди ничего не поняли... В результате 28 гробов и раненых без числа». «О, в какой бессильной ярости,—говорит Созонов,—я метался тогда в своей тюремной клетке, как бился головой о тюремную стену... Как бессильно ломал руки, которые не могли сокрушить тюремных решеток, и как горько, какими горькими, унизительными слезами я плакал. Я понял тогда, насколько неотразима сила эффекта, под давлением которого совершается убий-

ство. Я молил судьбу, о, если бы мне теперь воля... Зато, когда я узнал, что палач златоустовцев—губернатор Богданович—погиб, как свободно, полной грудью я вздохнул, «боже мой». «Да, правительство сделало из меня, человека мирного,—революционера. Целый ряд убийств и других преступлений, содеянных министрами и их агентами, заставили меня сначала оправдать, затем признать и возвести в программу террористические акты».

Вот психология человека, который на самом себе испытал ряд насилий, видел сцены унижения человеческой личности и был свидетелем кровавых расправ с беззащитным людом. Таких жгучих переживаний при образовании «Народной Воли» еще не было. Нечего говорить, что их не было и в начале 70-х годов.

Мы видим, таким образом, что на протяжении тридцати лет темперамент революционера изменился, и нам становятся понятными индивидуальные революционные выступления со стороны партии социалистов-революционеров в начале 90-х годов.

Я кончила. Егора Сергеевича Созонова я лично не встречала, никогда не видела его, о нем, как о человеке, скажут те, кому пришлось работать и жить в тюрьме вместе с ним.

Скажу только одно: Созонов дважды отдал свою жизнь. Один раз он отдал ее на улице Петербурга, когда бросил бомбу и, весь истерзанный ее осколками, упал на мостовую... Тогда судьба не приняла его жизни. Во второй раз он отдал свою жизнь, приняв яд, чтобы отклонить от товарищей позор телесного наказания. И эта двукратная отдача своей жизни характеризует Созонова-революционера.

Для того, чтобы отдавать себя *так,* как отдавал себя Созонов, надо иметь, конечно, большое, очень большое сердце, быть может, на всем протяжении революционного движения—единичное сердце.

П. А. Кропоткину [1]).

«С каждым человеком умирает вселенная»,—сказал Лессинг,—и как часто мы проходим даже мимо крупнейших людей, не заглянув и не исчерпав этой «вселенной».

Я виделась с П. А. Кропоткиным в период 1908—1909 г.г., когда три раза приезжала в Лондон; виделась с ним в Париже, когда он, я и Лопатин были приглашены партией социалистов-революционеров и Бурцевым рассмотреть дело по обвинению Азефа в провокации; видела раз в Петербурге после революции и, наконец, провела два дня в его семье в Дмитрове летом 1920 года. Казалось бы, всмотреться в его «вселенную» случаев было достаточно, и стыдно перед другими, больно за себя, что я не сумела взять от него всего того, что он мог дать. При одних встречах обстоятельства были неблагоприятные. Петр Алексеевич был окружен людьми, которые исключали возможность интимности; но в других-то, конечно, виновата я сама, моя неспособность так подойти к человеку, чтобы в общении со мной он выявил черты своей индивидуальности. Повидимому, для этого мне необходимо продолжительное время, а не более или менее короткие встречи.

Ну, что из того, что я скажу, что меня поражала необыкновенная подвижность Петра Алексеевича? Что из

[1]) Эта заметка помещена среди речей в виду единства темы с двумя последующими речами о П. А. Кропоткине.

того, что я скажу, что с первого же раза, не зная, что и другие так зовут его, я стала звать его «Красным солнышком».

Суть в том, что в душе своей я более ощущала и ощущаю Петра Алексеевича не в Лондоне и даже не в Дмитрове, а в тот момент, когда после обиды, которую нанес лакею отец Петра Алексеевича, последний в темном коридоре детскими устами целует руку крепостного человека, а тот, отталкивая, говорит: «Вырастешь, такой же будешь»; ощущаю Петра Алексеевича не на деловых заседаниях в Париже, а того юношу-офицера, который на высоте азиатского горного хребта стоит с восхищенными казаками, указывая на струящиеся воды Амура. Да! Петр Алексеевич вошел в мою душу, как человек, своими «Записками революционера» и, как учитель,—своей книгой «Хлеб и воля».

Эти две книги создали для меня обаятельный, целостный образ Петра Алексеевича и так захватили мое сознание и чувство, что вплоть до момента, когда уж нет возможности приблизиться к нему, я, не отдавая себе в том отчета, считала, что я вполне, до дна, знаю его и больше узнавать в нем мне нечего. Когда-нибудь я напишу свои воспоминания о том, как я выступила в Лондоне на большом собрании вместе с Петром Алексеевичем; о той агитации, которая происходила перед неудачным приездом в Англию Николая II, и о впечатлении, которое произвела тогда на английское общество и рабочих брошюра Петра Алексеевича: «The Terror in Russia». А теперь, в день годовщины его смерти, я могу только с сокрушением признаться, что, обласканная всем теплом, на какое только был способен Петр Алексеевич, я не запечатлела в своей памяти тех искр его души, которые могла бы подобрать, если бы была более умелой, искусной собеседницей.

25 января 1922 г.

П. А. Кропоткин и В. Г. Короленко.

Речь в первую годовщину смерти П. А. Кропоткина (1922).

Истекший год принес нам две великие потери: в начале 1921 года, в феврале, умер Кропоткин, а в декабре—Короленко. Я не напрасно сопоставляю эти два имени. Я вижу родство этих двух душ—в моих глазах это были два светоча идеи гуманности и справедливости.

Будучи главою анархического движения, П. А. Кропоткин был глашатаем социальной справедливости. В своих книгах: «Хлеб и воля» и «Поля, фабрики и мастерские» с глубокой верой в массы он, на основании реальных научных данных, доказывал, что технические успехи современной культуры вполне достаточны, чтоб обеспечить человеку не только удовлетворение материальных нужд его, но и досуг, необходимый для умственного, морального и эстетического развития. Да! Он утверждал наличность всех технических условий для того, чтобы человечество вышло из экономического рабства и морального угнетения,—но учил, что *для этого* необходимы *свободная инициатива и самодеятельность масс.*

В. Г. Короленко не был главою партии и теоретиком политического течения, не был учителем того, как должна быть произведена революция и преобразован общественный строй.

Он был художником слова, с ним умер последний из могикан тургеневской школы, той несравненной школы, в которой учились писатели моего поколения и на смену которой пришли другие, новые люди.

Но Короленко был не просто художник, он был и светочем, в известном направлении, таким же, как Кропоткин. В каждом своем произведении, в самом мелком рассказе, он был глашатаем человечности и учителем того, *как надо относиться к человеку.*

Кропоткин был анархист и отрицал принудительную государственную власть. Короленко не отрицал ее; он жил и действовал в пределах ее. Он был, если можно так выразиться, легалистом: как публицист, как автор брошюры «Бытовое явление», как практический деятель в процессе мультанских вотяков, которых обвиняли в принесении человеческих жертв языческим богам, как восстановитель истины при судебных ошибках военных судов времен царизма, он является в совершенно исключительной роли борца *за право,* за законность, за милосердие и справедливость *в судах.*

В наше время, когда, с одной стороны, мы несем все последствия мировой войны, приучившей к убийству, к грабежу и всевозможному насилию, а, с другой — все последствия братоубийственного междоусобия, с его кровавыми восстаниями, казнями и всевозможными репрессиями, — особенно чувствительна потеря таких людей, как Кропоткин и Короленко, один факт существования которых среди нас давал отраду.

Как тот, так и другой желали счастья России и призывали к нему. Все произведения Кропоткина есть призыв к свободной, счастливой жизни.

«Человек создан для счастья, как птица для полета», говорит в рассказе Короленко «Парадокс» калека, от рождения прикованный к своей повозке.

Для России, искалеченной войной, междоусобием, экономической и моральной разрухой, в душе Короленко звучал тот же возглас: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

И оба, как анархист Кропоткин, так и государственник Короленко, условием свободной, счастливой жизни считали водворение правды и справедливости в человеческих отношениях, инициативы и самодеятельности в области общественной.

В конце своей жизни Кропоткин, автор книги: «Взаимопомощь», писал обширный трактат «Этика», который он не успел закончить. А Короленко в письме к моему родственнику, в период всеобщего озверения и грубости, писал, что он уверен, глубоко убежден, что наступит и уже наступает поворот к этике, к нравственному обновлению.

Голоса Кропоткина и Короленко о необходимости морального обновления мы не услыхали. Но, когда мы чествуем их память, собираемся и выслушиваем речи, восхваляющие их личность, жизнь и деятельность, то думаем ли мы, помним ли, что вместо похвал—наилучшим чествованием этих двух светочей России должна являться пропаганда их гуманитарных идей правды, справедливости, общественной инициативы и самодеятельности как отдельной личности, так и масс.

Вступительное слово 9 декабря 1924 г. на вечере П. А. Кропоткина.

Сегодня я прочла в газетах, что на вечере, посвященном чествованию П. А. Кропоткина, я говорю вступительное слово.

Я не мастерица говорить ни вступительных, ни заключительных слов, и то, что я скажу, встретит, может быть, и возражения, но в виду того, что нам предстоит еще выслушать несколько докладов, обсуждение этого мы отложим до другого раза.

В литературном наследстве Петра Алексеевича есть две замечательные книги: «Хлеб и воля» и «Поля, фабрики и мастерские». В них П. А., подвергая научному анализу современные наличные силы общества, рисует и доказывает возможность такого строя, который мог бы обеспечить благосостояние для всех. П. А. писал «Хлеб и волю», главным образом, для французских рабочих, имея в виду социальный переворот во Франции. Набросанный им в общих чертах план общественной перестройки, осуществления будущего безгосударственного строя—своего рода утопия.

Но посмотрим же, каковы те условия, намечающиеся в современном обществе, при которых возможно осуществление такого строя.

Это прежде всего *правильная организация труда.* Капитализм в известной степени делает это, но всегда в ущерб интересам рабочего класса и трудящихся. Затем *разумное*

использование рабочей силы всех членов общества без лишней траты сил.

Современное общество не удовлетворяет этому требованию. Это задача огромная, и ее полное разрешение возможно лишь в очень отдаленном будущем.

В настоящее время как в семье, так и во всех отраслях производства (не говоря уже об административных учреждениях) силы человеческие растрачиваются зачастую без всякой нужды и пользы.

Мало того, все это лишь внешние необходимые условия, а для проведения в жизнь и установления нового общественного строя нужны еще известные психологические особенности. Существует ряд условий, без которых невозможно осуществление довольства и благосостояния для всех. И П. А. останавливается прежде всего на том, что у некоторых наций выработались не только *привычка, но и потребность к труду*. Затем он подчеркивает, что французские рабочие обладают громадной организаторской способностью к об'единению.

Но для вольного сотрудничества, для свободного соглашения членов общества для удовлетворения потребностей всех эта организаторская способность должна воплощаться в нечто иное, чем простое соединение людей в то или иное общество. В современном же обществе, даже в кооперации, царит индивидуализм, и члены кооперации, как песчинки, ничем не спаяны между собой. Кооперативные союзы в своей практике употребляют те же методы, что и капиталисты, и сказать, что кооперация воспитывает солидарность среди своих членов,—нельзя и эта форма общественной организации не то, чем должен быть союз людей, ставящий целью сообща работать и сообща распределять продукты.

Вот почему П. А. вопросам этики отводит громадное место и пред'являет высокие нравственные требования как в личной, так и в общественной жизни к строителям нового

общества, указывая на то, что даже многие революционные вожди рабочего движения не удовлетворяют этим требованиям.

Мы видим, что отмена некоторых учреждений влечет за собой изменение нравов. Так, освобождение крестьян внесло изменение и в жизнь, и в быт, и в нравы. Отмена частной собственности, права наследства, обобществление орудий производства—это, так сказать, материальная база для осуществления нового строя, но нужно еще нечто иное, что совершалось бы внутри самого человека, какая-то работа каждого над самим собой.

Во Франции в школах введено преподавание гражданской морали, но, конечно, это не дало положительных результатов, а обратилось лишь в заучивание правил гражданской добродетели.

В настоящее время мы часто видим, что в семьях даже передовых и революционно настроенных людей дети идут совсем по другому пути и не имеют альтруистических стремлений.

Со времен Христа очень мало кто идет по пути, начертанному Христом, который учил, что самопожертвование есть высшее, к чему способен человек. Основа нравственности состоит в стремлении к наибольшему счастью наибольшего числа людей, и в каждом человеке для осуществления такого строя должна происходить какая-то внутренняя серьезная работа над самим собой.

Сам Петр Алексеевич был величайший идеалист. Он дал нам утопию, которая имеет научную базу. Но как преобразовать внутренний мир человека, как изменить его настолько, чтобы он смог осуществить будущий свободный строй, на это Петр Алексеевич указания и ответа не дал.

Вступительное слово на вечере 20-летней годовщины 9-го января 1905 г.

Сегодняшний вечер посвящен памяти 9 января 1905 г. Этот день навсегда занял крупное место в истории нашего революционного движения, потому что он знаменует поворотный пункт в этой истории, и с него, можно сказать, начинается русская революция.

Народная манифестация этого дня по своим грандиозным размерам была первой массовой манифестацией, охватившей в одном порыве десятки тысяч трудящихся. А трагическая развязка этого движения об'единила всю пробуждающуюся тогда Россию одним общим чувством глубокого возмущения.

В то время трудящиеся массы были всецело во власти традиционной веры в царя, как последнего прибежища страдающего и угнетенного народа. И с этой верой петербургское рабочее население пошло к Зимнему дворцу, чтоб подать царю петицию с изложением своих экономических нужд и политических чаяний.

Народ считал свои действия закономерными; обращение к царю он считал своим правом; он был безоружен, и шел под эгидой служителя бога: ряса священника, наперстный крест его и икона ставили эти верующие, наивные толпы как бы под защиту самого бога. Но бог не защитил, и царь не принял своего народа. Вместо царя его встретили пули,

и улицы столицы обагрились кровью. Но каждая пуля, убивая одного, убивала в десятках и сотнях обаяние царя. Кумир царизма был разбит кровавой расправой самодержца, и народ освободился в этот день от иллюзии, в которой жил сотни лет.

Дальнейший ход движения известен.

Несчастья японской войны, неудачи русских войск на суше и на море, террористические выступления с.-р. партии, трусливые уступки и посулы царского правительства неделя за неделей и месяц за месяцем усиливали революционное настроение, и оно вылилось в единодушную всеобщую забастовку, вырвавшую у царя манифест 17-го октября.

И пусть вскоре началась реакция и в течение 12 лет душила Россию,—молекулярная революционная работа в душе народа делала свое дело и сказалась в той революции, которая низвергла самодержавие — и уж навсегда!

Я предлагаю почтить вставаньем тех безвестных, которые пали в день 9-го января на улицах Петербурга.

На вечере (6/IV 1927 г.) в память 25-летия смерти Г. И. Успенского.

Если кто-нибудь из присутствующих надеялся узнать от меня какие-либо ценные сообщения о встречах с Успенским, то будет совершенно разочарован, потому что эти встречи были совершенно случайны и происходили всегда в самой неблагоприятной обстановке. Как многие люди с именем, Г. И. привлекал к себе людей самых разнообразных и не имел достаточной твердости отмести от себя никчемные знакомства. Встречаясь с ним с осени 1879 г., я никогда не оставалась с ним наедине, а всегда на людях, среди которых были и пожилые, и молодые, были революционеры, нелегальные и личности, ничего общего с революционерами не имеющие, и большей частью все присутствующие были или мало, или совсем между собой незнакомы. От этого вечера у него в семье проходили вяло, никаких животрепещущих вопросов не поднималось, была пустая болтовня, перескакивающая с одного на другое. Глеб Иванович был замечательный рассказчик — об этом есть множество свидетельств. Однако, при мне он ни разу не вовлекался в какой-нибудь рассказ на одну из тех тем, которые у него постоянно были в голове. У моего друга, нелегального лавриста Таксиса, я задолго до напечатания рассказа «Больная Совесть» слышала пересказ этого рассказа, с содержанием которого неоднократно Успенский, после возвращения из-за границы, де-

лился в Москве со своими знакомыми радикалами. Тут был и солдат Кудиныч, который избивал венгерцев в 48 году, бился с горцами на Кавказе, сражался с венгерцами при Николае, и на ряду с этим восхвалял и тех и других. Тут был и прокурор в Версале, посылающий коммунистов на каторгу с глубоким убеждением в правоте своего дела — защиты священной собственности, и прокурор русский, который произносит обвинительную речь, за которой следует та же каторга, а потом собирает деньги в пользу обвиняемого. Помню, как тут для меня впервые Таксис указывал на полную определенность отношений в Западной Европе, вполне сложившихся, кристаллизовавшихся, с одной стороны, а с другой—на полную неопределенность социальных отношений в нашей России 70-х годов.

Другие рассказы случалось слышать в передаче Иванчина-Писарева. Но мне, повторяю, ни разу не удавалось видеть Глеба Ивановича в ударе.

Часто видела я его тоскующим от суетливой, бессодержательной городской жизни. «В деревню, скорее бы в деревню!», говорил он многократно. Видимо, только там, подле мужика, находил он удовлетворение своему глубокому интересу к трудовой жизни крестьянина.

Известно, что 70-е годы были годами небывалого под'ема настроения учащейся молодежи. Это настроение выражалось в сильной тяге в деревню, к мужику. Этот мужик для нас был величиной неизвестной, загадочной.

Бакунин говорил, что он—революционер и социалист по своему положению, и мы глубоко верили в это. Социальная революция казалась нам близка. Каких-нибудь 5 лет был срок, который указывал даже другой учитель наш—Лавров.

Община и артель, первая—по Гакстгаузену и вторая—по Флеровскому, туманили нам глаза. Мы считали, что они не только залог и основа будущего социалистического строя, но являют собой солидарность в крестьянской среде, взаимо-

помощь и способность к коллективным усилиям на общее благо.

Но Успенский, искренний и правдивый, не допускавший никакой придумки, зоркий и тонкий наблюдатель деревенской жизни, рисовал иное: каторжный, физический труд, еле-еле дающий возможность быть сытым; полная раз'единенность интересов, неспособность к общему усилию для улучшения своей жизни; рисовал рабскую подчиненность природе, господствующей над волей крестьянина: «власть земли» делала его не только рабом своего труда, но и приучала к подчинению, к рабству перед всяким крупным и мелким начальством.

Тот, кто рисовался нам по сочувствию к трудящимся массам идеальным в нравственном отношении, искателем правды-истины и провозвестником справедливости, — являлся у Успенского обладающим нравственностью лишь зоологической, инстинктивно сложившейся в условиях узкого общежития и разлетающейся в прах при изменении этих условий.

Как же случилось, что, несмотря на полную противоположность во взглядах на крестьянство Успенского и революционной молодежи, рвавшейся в народ и за свои неудачные попытки приблизиться и слиться с этим народом жестоко поплатившейся, этот автор, на ряду с Михайловским, который руководил нашими умами, был самым любимым писателем нашего поколения?

Единственное об'яснение заключается в том, что нас об'единяло с ним глубокая преданность делу народа, желание поднять его на должную высоту, материальную и духовную. Подходили к народу мы с разных сторон и разными дорогами, но одни и те же чувства соединяли нас. И если революционная молодежь, раскрывая «Отечественные Записки», искала прежде всего статью Михайловского и рассказ Успенского, то и Успенский чувствовал тягу к револю-

ционеру. В нем—в революционере—он видел ту возвышенность мысли и дела, ту гармонию, которых не находил в людях всякой другой среды. Происхождение и силу тяги и увлечения Глеба Ивановича революционными деятелями я поняла только по выходе из крепости, когда могла прочесть те произведения, которые были написаны после того, как мы, революционеры эпохи 70-х годов, ушли из жизни, а пока мы были в ней, мы и не подозревали, какое значение имела для него встреча с типичными семидесятниками.

В литературе есть указание, что Г. И. присутствовал на моем процессе. Это неверно, он не присутствовал; но верно то, что через мою младшую сестру Ольгу, он просил передать мне, что завидует мне. В этом «завидует», мне кажется, заключается трагедия его. Если он действительно завидовал, то его жизнь похожа на трагедию Толстого, которого целыми десятилетиями терзало противоречие между его духовными стремлениями и той буржуазной обстановкой, вырваться из которой он не находил в себе сил до последнего «ухода» от семьи. Г. И. говорил не раз Иванчину-Писареву, что общение с революционерами *выпрямляет* его—знаменательное признание! И нельзя не связать его со строками, которые он писал Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей»: «Да, надобно *действовать* прямо. Ты—писатель (думают они), сочувствуешь и тому-то, и тому-то? Ну, так докажи. Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела... Ты должен не быть зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, то и на деле—пожалуйте. Это все верно, правда сущая; но я уже напуган. Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю *так!* Если я не сделаю так, то все—чепуха, вся жизнь—вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки...».

На этом я и кончу.

На вечере (8 января н. ст. 1928 года) памяти Н. А. Некрасова.

Тот, кто в настоящее время развернет книгу стихотворений Некрасова, не может представить себе значение, которое он имел для молодого поколения 70-х и 80-х годов.

Литература 60—70-х годов была учительская. Так смотрело на нее каждое поколение, вступавшее в жизнь в эту эпоху: в литературе оно искало ответа на свои вопросы: как жить? чем жить?

Так смотрели на свою миссию и сами писатели и отдавали ей свои силы.

Лавров говорил о долге народу; Михайловский—о борьбе за правду-истину и за правду-справедливость; Глеб Успенский—о каторжном труде крестьянина и его зоологической нравственности, которая одна только и могла сложиться в убогой, забитой деревне времен крепостного права. О той же убогой, забитой деревне говорила и вся поэзия Некрасова.

Все они действовали в одном направлении: будили интерес к общественной деятельности, к положению народа.

60-е и 70-е годы, благодаря уничтожению крепостного права, были временем общей ломки экономики и психики. Всколыхнулась русская жизнь до глубинных основ своих. На арену ее вышло новое лицо—мужик. Барин—это было

прошлое; мужик—масса—будущее России. И как в центре жизни стал мужик, так и в литературе он занял первое место. Противники говорили, что вся литература провоняла мужиком. И среди писателей, отдававших свой талант мужику, был и любимый поэт эпохи—Некрасов.

Молодое поколение 70-х годов только краем своего детства коснулось крепостного права, но Некрасов прожил первые 40 лет своей жизни при нем. В собственном отце своем он видел яркий образец деспота, развратного насильника-крепостника. Все творения его насыщены социальным содержанием. Везде он говорит о русской действительности, о крестьянине и барине; везде мы видим противопоставление эксплоататора и эксплоатируемого, богатого и бедного, знатного и убогого, сильного и слабого, и всюду находим его вражду к первому и горячее сочувствие ко второму. Его поэтическое слово, согретое любовью и пониманием нужд народа и его положения, заражало читателей своим настроением и звало на защиту угнетаемых и обездоленных. Возьмем ли стихотворения: «Железная дорога», «У парадного под'езда», «Родина», «В дороге» или стихотворения: «Соленая», «Орина—мать солдатская», «Страда деревенская» или поэму: «Мороз-красный нос»,—везде одна и та же социально-экономическая тема: ограбление мужика, бессолнечная жизнь его, оскорбление человеческого достоинства, насилие над человеческой личностью, горькая доля русской женщины, как человека труда, как матери, жены и вдовы.

И, обращаясь в другую сторону, в сторону молодежи, Некрасов говорил:

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути:
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким итти?

Одна просторная
Дорога торная—
Страстей раба.
По ней громадная
К соблазну жадная
Идет толпа...

Иной есть путь, и он зовет:

Иди к униженным,
Иди к обиженным
По их стопам.
Где трудно дышится,
Где горе слышится,
Будь первый там.

Некрасов поставил нам и загадку, не разгаданную до сих пор, о противоречиях России:

Ты и обильная,
Ты и убогая,
Ты и могучая,
Ты и бессильная
Родина — мать.

Средь мира дольного молодежь выбирала вторую дорогу, а по поводу неразгаданности русского противоречия шла разрешать его на практике, стремясь узнать народ в непосредственной близости к нему.

Народничество литературы переплеталось с народничеством социально-революционным. И то, и другое обусловливалось и вызывалось жизнью и было возможно только в эпоху глубокого переворота, совершавшегося во всей жизни русского народа. Формально массы, освобождаемые от скорлупы крепостного права, призывались к общечеловеческой жизни, к свободному труду, к равноправию, к культуре; но все это надо было осуществить на деле. К этому устреми-

лось все живое и молодое в 60-х годах со своими воскресными школами, ассоциациями, артелями. Семидесятники продолжали то же дело, но на широких основаниях, ставя задачей социальную революцию.

Между теми, кто воплощал литературные влияния в жизни, и самой литературой было взаимодействие.

Если Некрасов благословлял революционную молодежь стихом:

Храни, судьба, того, кто скажет:
Простите, мирные поля!
И смело свой челнок привяжет
К корме большого корабля,

то он и провожал ее при обрушившейся каре:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...
. . . . . .

Некрасов дал нам тип человека, искалеченного рабством, в образе Якова верного, холопа примерного, который вешается на глазах барина, всю жизнь тиранившего его. Но он же, как бы в провидении будущего, дал и другой тип Кудеяра, действенно протестующего против насилия.

В песне «О двух великих грешниках», когда пан Голуховский похваляется:

Жить, старче, надо по-моему:
Сколько холопов гублю:
Мучу, пытаю и вешаю,
А, посмотрел бы, как сплю! —

Кудеяр вонзает ему нож в сердце, и Некрасов говорит: «Убить насильника не грех, а подвиг!»

Вступительное слово на вечере (10 февраля 1929 г.) 25-летия со дня смерти Н. К. Михайловского.

Николай Константинович Михайловский был учителем и руководителем молодых поколений 70-х, 80-х и частью 90-х годов.

Не революционер, как он сам говорит о себе в письме к Лаврову, он вел нас к революции, а как противник капиталистического, буржуазного строя—к социализму.

Мы слышали голос анархиста-бунтаря Бакунина и прислушивались к голосу государственника-пропагандиста Лаврова. Но революционная доктрина не охватывает всего содержания жизни. Для того, чтобы революционные семена взросли и принесли результаты, нужна почва, обработка умов, освещение всей совокупности явлений жизни, экономической, политической и социальной. Для того, чтобы развить и укрепить революционное отношение к действительности, нужно познание и критика существующего, и Михайловский месяц за месяцем, год за годом в своих литературных, научных и публицистических произведениях давал нам это. И, кажется, ни одному писателю не выпадала на долю такая длительная воспитательная деятельность.

Он был прав, когда отказался от предложения Лаврова участвовать в редакции нелегального революционного органа за границей, не желая потерять свою обширную аудиторию: 8, а потом 12 тысяч подписчиков «Отечественных Записок».

В первую половину 70-х годов он держался в стороне от революционного движения. Его форма и утопический характер не соответствовали его взглядам и настроению. Но когда движение созрело и поставило себе конкретную цель— свержение самодержавия, он принял предложение «Исполнительного Комитета» партии «Народная Воля», вошел в состав редакции партийного органа и работал в нем вместе с членами к-та: Львом Тихомировым, Николаем Морозовым, Анной Павловной Корба и членом партии Иванчиным-Писаревым.

Тот, кто помнит воспоминания Михайловского, быть может, удивится, что здесь отсутствует мое имя. Но это потому, что я была человек действия и никакого влечения к литературной работе не имела и ничем не проявляла способности к ней. Если я — писательница, то меня сделал ею Шлиссельбург.

Несмотря на то, что Михайловский говорит, что я довольно часто бывала у него, я не имею никаких воспоминаний, о которых стоило бы говорить здесь. В своем умственном и общественном развитии я очень многим обязана произведениям Михайловского, но я не понимала его и не могла подойти к нему, как к человеку. Для моего молодого фанатизма он был слишком от мира сего, и я не могла принять его. Как человек—он был далек для меня.

Из записок французского посла Палеолога[1]).

К речи «Памяти борцов за свободу».

Суббота, 7 апреля (н. ст.).

«...Но интерес всего зала сосредоточен на большой императорской ложе, против сцены, ложе торжественных спектаклей. В ней сидят человек тридцать: старые мужчины, несколько старых дам, лица серьезные, худые, странно выразительные, незабываемые, удивленно озирающие публику. Это герои и героини терроризма, которые еще двадцать дней тому назад жили в ссылке в Сибири, в заключении в Шлиссельбурге или в Петропавловской крепости. Тут: Морозов, Лопатин, Вера Фигнер, Вера Засулич и пр. Я с ужасом думаю о всех физических страданиях и нравственных мучениях, перенесенных в молчании, погребенных забвением, которые представляет эта группа. Какой эпилог для «Записок» Кропоткина, для «Воспоминаний из мертвого дома» Достоевского!

Концерт начинается «Марсельезой», которая теперь сделалась русским гимном. Зал дрожит от аплодисментов и криков: «Да здравствует революция». Ко мне обращены несколько криков: «Да здравствует Франция».

---

[1]) Выдержка взята из русского перевода книги Палеолога.

Затем длинная речь министра юстиции Керенского. Искусная речь, в которой тема о войне затушевана социалистической фразеологией; дикция резкая, отрывистая; жест редкий, неожиданный, повелительный. Большой успех, который вызывает выражение удовольствия на бледном, напряженном лице оратора.

В следующем затем антракте Бьюкенен говорит мне: «Пойдем засвидетельствовать почтение правительству в его ложу—это произведет хорошее впечатление» [1]).

Лишь только кончился антракт, мы вернулись в свою ложу.

Шопот симпатии и какого-то благоговения проносится по залу; какая-то безмолвная овация.

Это Вера Фигнер появилась на сцене, на месте дирижера оркестра. Очень простая, с гладко причесанными седыми волосами, одетая в черное шерстяное платье с белой косынкой, она похожа на знатную старую даму. Ничто не обнаруживает в ней страшной нигилистки, какой она была некогда, во время своей молодости. Она, впрочем, из хорошей семьи, близкой к знати.

Тоном спокойным, ровным, без малейшего жеста, без малейшего повышения голоса, без единого знака, в котором промелькнули бы резкость или напыщенность, горечь злопамятности или гордость победы, она поминает бесчисленную армию всех тех, кто безвестно пожертвовал жизнью для настоящего торжества революции, кто анонимно погиб в государственных тюрьмах и на каторге в Сибири. Мартиролог развертывается, как литания, как мелания. Последние фразы, произнесенные более медленно, имеют непередаваемый оттенок грусти, покорности, жалости. Может быть, одна только славянская душа способна на такой резонанс.

---

[1]) Палеолог не упоминает, что он, Бьюкенен и Карлотти пошли в царскую ложу, чтобы обменяться с нами приветствиями и рукопожатиями.

Похоронный марш тотчас после ее речи, исполненный оркестром, как-будто служит продолжением речи, патетический эффект которой переходит, таким образом, в религиозную эмоцию. Большинство присутствующих плачут. В следующем затем антракте мы уходим, так как об'являют, что Чхеидзе, оратор «трудовой» группы, будет говорить против войны, что ожидаются споры и пр. Здесь нам больше не место. Затем, воспоминание, которое оставила в нас эта церемония, слишком редкого качества: не будем его портить».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

Аввакум, протопоп.—265.
Аверкиев, Ал-др Никол., устроитель тайной типографии, ос. в 1878 г.—183, 193, 199.
Агапов, Семен Ив., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—125, 184, 191, 198.
Азеф, Евно Фишел. (Евг. Филип.), провокатор.—465.
Аксаков, Ив. Серг., славянофил.—171—173.
Аксельрод, Пав. Борис., чайковец., черноперед., один из основат. группы «Освобожд. Труда», с.-д.—130.
Александр I, император.—13.
Александр II, император.—109, 172, 206—207, 209, 229, 231, 240—241, 243, 245, 249, 265, 276, 302, 307, 339, 370.
Александр III, император.—33, 276, 310, 317.
А. П. Александров, адвокат.—228.
Александров, Вас. Максим., чайковец, эмигрант.—123.
Александров, Владим. Петр., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—191.
Александрова, Варв. Ив. (по мужу Натансон), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—49, 56, 78—79, 120, 125, 184, 187, 191—192, 200.
Александровский, фотогр.—253.
Алексеев, Петр Алекс., рабочий-революционер, кариец, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—125—126, 184, 186—187, 191, 196—198, 201, 227, 317.
Алексеева, Анна Алекс., ос. в 1880 г. по делу о подкопе под Херсонское казначейство.—309.
Алексей Михайлович, царь.—265.
Алексей Петрович, царевич.—258.
Алерини, франц. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72.
Алмазов, Виктор, отст. рядовой, доносчик.—308.
Андреев, Леонид Никол., писатель.—446.
Анненков, Ив. Ал-др, декабрист.—374, 385.
Анненкова, Праск. Егор. жена, декабриста.—374, 379—380, 382, 388—389.
Анфантен, Бартоломей-Проспер, франц. утопич. социалист.—55.
Аптекман, Дора, цюрих. студентка.—56, 70, 75, 113, 130, 139, 143—144, 154, 184.
Аптекман, Осип. Вас., землев., черноперед., в 1880 г. администст. сослан.—259.
Арефьева, социалистка.—172.
Арончик, Айзик Борис., народов., шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—246, 271, 275, 279.
Асквит, Герберт Генри, англ. политич. деятель.—412, 417—418, 424—425, 427.

Ашенбреннер, Мих. Юльевич, член воен. организ. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-и».—348.

Б.

Базар, Амон, франц. утопич. социалист.—55.
Бакунин, Мих. Ал-др, революц.-анархист, эмигрант.—49, 52, 56—58, 66—68, 72—73, 75, 89, 92—94, 96, 185, 369—372, 450, 476, 483.
Бакунина, Татьяна Ал-др., сестра М. А. Бакунина.—372.
Бальфур, леди, англ. деятельн. женского движения.—409.
Баранников, Ал-др Ив., землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—233—236, 242, 245, 251, 253, 258, 264, 271, 275, 278, 325—327.
Баранов, полицеймейстер.—276.
Бардина, Софья Илларион., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—46—48, 56, 59, 70, 79, 86—89, 101, 108, 120, 124—126, 173, 184, 186—187, 191—192, 194, 196, 199—202, 227, 317.
Бардовский, Григ. Вас., адвокат.—195, 199.
Баринов, Ив. Вас., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—187.
Бариновы, братья.—186.
Батюшкова, Варв. Ник. чайковка, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—184, 192.
Бах, Алексей Ник., член киевской группы «Н. В.», эмигрант, химик.—316.
Бебутов, кн., коллекционер по революц. движению.—449.
Белоголовый, Ник. Андр., врач.—199.
Берлинерблау, женщина-врач.—82.
Бестужев, декабрист.—381.
Бестужева, Елена Ал—др., сестра декабристов.—374.
Бестужевы, братья, декабристы.—374.
Бибиков, псковский губернатор.—13.
Бибикова, Ольга Мих., по мужу Фигнер, жена партизана 1812 г.—13.
Блан, Луи, франц. социалист.—56, 89, 92, 451.
Блинова, Марья Ал-др. (по мужу Жебунева), народница, чл. «Н. В.».—55, 119.
Бобохов, Сергей Ник., революц., кариец, ос. в 1879 г.—229.
Бобриков, Ник. Ив., ген.-губ. Финляндии.—396.
Богданович, Марья Петр. (урожд. Михаэлис), жена Н. Н. Богдановича.—205, 210.
Богданович, Ник. Ник., почет. мировой судья.—172, 205—206, 210.
Богданович, Татьяна Ал-др., член революц. Красного Креста.—448.
Богданович, Юрий Ник., чайковец, землев., член Исполн. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—33, 137, 172—174, 179, 206—207, 212—213, 300—302, 305—306, 329—330, 340.
Боголепов, Ник. Павл., министр нар. просв.—441, 462.
Боголюбов—см. Емельянов, А. П.
Богословская, курсистка.—308.
Богучарский (Яковлев), Вас. Як., историк.—149, 277, 333—334, 338, 345—347, 349—350.
Бокова, М. А., врач.—51.
Борисов, Андрей Ив., декабрист.—382.
Борисовы, братья, декабристы.—381.
Боровиковский, Ал-др Льв., юрист, поэт.—108, 195, 199—200.
Бороздин, Корнилий Ал-др., писатель и адвокат, агент «Свящ. Дружины».—333, 335, 343—344.

Бохановский, Ив. Вас., член группы южных бунтарей, эмигрант.—229.
Бродский, Ник. Леонтьев., историк литературы.—200.
Броун, мисс, англ. суффражистка.—421—423.
Брусс, Поль, франц. социалист.—73.
Буланова, Ольга Конст. черноперед., адм. высл. в 1882 г.—310.
Булич, Ал-др Петр., подсуд. по «проц. 16-и» в 1880 г.—309, 313.
Бурнашов, начальник Благодатского рудника.—381, 384.
Бурцев, Владим. Львов., эмигрант, писатель.—227, 277—278, 465.
Бутурлин, Ал-др Серг., лаврист, адм. выслан в Сибирь в 1881 г.—159, 163.
Бух, Ник. Конст., землев., народов., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—309.
Буцевич, Ал-др Викентьев., член воен. орган. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—338.
Бьюкенен, Джордж Вильям, англ. посол.—486.
Бюзо, Франсуа, деятель Великой Франц. Революции.—451.
Бюрри, Эрнест, авиатор.—361—362, 364—365.

В.

Варзар, Вас. Егор., статистик.—188.
Вартанова, Анаст. Осип., тетка А. Д. Михайлова.—218, 261—262.
Варынский, Людвиг Северин., член польской партии «Пролетариат», шлиссельб., ос. в Варшаве в 1883 г. по делу «пролетариатцев».—290.
Васильев, Николай, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—124—126, 184, 186—187, 191.
Ваховская, Варв. Ив. (по мужу Бонч-Осмоловская), ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—119.
Введенская, Екат. Ал-др., подсудимая по «проц. 50-и».—154, 156, 184, 191.
Веймар, Орест Эдуард., врач., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-и».—131—132, 209—210, 213, 301.
Веневитинов, Дмит. Владим., поэт.—376.
Вернадский, Владим. Ив., академик, минералог.—454.
Вестермарк, деятельн. финского женск. движения.—392.
Виташевский, Ник. Алекс., член группы южных бунтарей, кариец, ос. в 1878 г. по делу Ковальского.—235.
Виттенберг, Соломон Як., член группы южных бунтарей, казнен в 1879 г. по одесск. «проц. 28-и».—243.
Витязев, Ферап. Ив., писатель.—57, 64.
Вишняков, рядовой, сослан в 1882 г. по делу о сношениях Нечаева с «Н. В.»—309.
Владыкин, Мих. Ник., помещик.—77—79.
Владыкина, Леоннида Як., врач.—80.
Войнаральский, Порф. Ив., революц.-народник, кариец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—229, 231, 234, 271, 309.
Волкенштейн, Людм. Ал-др., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-и».—385.
Волконская, Марья Ник., жена декабриста.—32, 374, 376, 378—386, 388—389.
Волконский, мировой судья.—103—104.
Волконский, кн., Сергей Григ., декабрист.—377, 382, 384.
Волошенко, Иннок. Федор., член группы южных бунтарей, кариец, ос. в 1879 г. в Киеве по проц. Осинского.—149, 316.

Волховский, Феликс Вадим., нечаевец, чайковец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х», с. р.—125, 202.
Вольф, Ферд. Бернгард., декабрист—388.
Воронцов-Дашков, Иллар. Ив., граф, министр двора.—317, 336—338, 343, 345, 349—352.

Г.

Габель, Орест Мартын., революц., сослан. в Сибирь в 1878 г.—145, 147—148, 151.
Гагман, деятельн. финского женского движения.—392.
Гакстгаузен, Август, нем. писатель.—93, 476.
Гамкрелидзе, Антимоз Евдович, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—121, 156, 201.
Ганецкий, коменд. Петропав. крепости.—264.
Гарибальди, Джузеппе, деятель итальянск. освобождения.—20—21, 135.
Гартман («Сухоруков»), Лев Ник., землевол., народов., эмигрант.—245, 248, 271.
Гебль—см. Анненкова, П. Е.
Гегель, Георг-Фридрих-Вильгельм, нем. философ.—371.
Гейден, графиня.—162.
Гейкинг, жанд. офицер.—229.
Геккер, Наум Леонтьев., черноперед., кариец, ос. в Одессе в 1882 г.—315, 319.
Гельфман, Геся Мирон., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и», народов., ос. по делу 1-го марта 1881 г.—133, 184, 191, 202, 323—324.
Георгиевская, Над. Григ., подсуд. по «проц. 50-и»—154, 156, 184, 191.
Георгиевская, Праск. Григ., сестра Н. Г. Георгиевской.—173—174, 180.
Георгиевский, Мих. Григ., пропагандист, ос. по «процессу 50».—126, 191.
Герард, Владим. Ник., адвокат.—195, 279.
Герцен, Ал-др Ив., писатель-революционер, эмигрант.—93, 376, 450.
Гильом, Джемс, швейцар. сторонник Бакунина, историк Интернационала.—70, 72—73.
Гинзбург, Лев Сав., лаврист.—66, 139, 159.
Глаголев, моск. врач.—163.
Гладстон, англ. министр внутр. дел.—428—429.
Глушкова, Зин. Ион. (по мужу Жебунева), член кружка пропагандистов, эмигрантка.—55, 119.
Гогоберидзе, прокурор.—136.
Гоголь, Ник. Вас., писатель.—28.
Головня, Елиз. Христоф. (урожд. Куприянова), тетка В. Н. Фигнер.—168.
Головня, М. Ф., муж тетки В. Н. Фигнер.—84.
Гольденберг, Григ. Давид., народов., предатель.—208—209, 240, 242, 245, 339.
Гольденберг, Лазарь Борис., революц., эмигрант.—123, 189.
Гольдсмит, Исидор Альберт., журналист.—301.
Гольдсмит, Софья Иван., жена И. А. Гольдсмита.—212.
Гольштейн, Владим. Август., эмигрант.—52, 57.
Гончаров, Ив. Ал-др. писатель.—28.
Горвиц, Мартин Исаев., профес. военно-медиц. академии.—164.
Горький, Максим (Пешков, Алексей Макс.), писатель.—282.
Грачевский, Мих. Федор., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—186, 192—193, 338.
Гребницкая, Екат. Ив. (урожд. Писарева), цюрих. студентка.—48, 202.
Грейлих, Герман, швейц. соц.-дем.—73.

Грессо, содержатель ресторана.—144—145, 148—150.
Грибоедов, Ник. Алекс., чайковец.—130—132, 301, 305.
Григорович, Дм. Вас., писатель.—28.
Грингмут, Владим. Андр., реакц. журналист.—288.
Грязнов, Вас., землевол.—159—160, 186 — 187, 206 — 207, 213.
Грязнова, Марья Вас., землев., народов., ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—309, 313.
Гурамова, Ольга Ал-др., женевская студентка.—134, 343.
Гурьяновы, родственники В. Н. Фигнер.—11.
Гюго, Виктор, франц. писатель.—265, 281.

Д.

Давыдов, Вас. Льв., декабрист.—381—382.
Давыдова, Ал. Ив., жена декабриста.—375, 379—380, 385.
Дантон, Жорж, деятель Великой Франц. Революции.—451.
Дарвин, Чарльз, англ. естествоиспытатель.—42.
Дебагорий-Мокриевич, Владим. Карп., член группы южных бунтарей, ос. в 1879 г. по киевскому «проц. 14-и», эмигрант.—75, 337.
Дебагорий-Мокриевич, Ив., революц.—145—151.
Девель, Мих. Владим., землевол.—311.
Дегаев, Сергей Петр., член воен. орган. «Н. В.», предатель и провокатор.—317—318, 336, 346—349, 436.
Дейер, сенатор.—276, 278—280.
Дейч, Лев Григ., член группы южных бунтарей, черноперед., один из основат. группы «Освобожд. Труда», с.-д., кариец, ос. в 1884 г.—229, 244.
Делярю, Мария, школьная подруга В. Н. Фигнер.—38—39.
Дементьев, рядовой, сосл. в 1882 г. по делу о сношениях Нечаева с «Н. В.».—309.
Дементьева, Алекс. Дм. (по мужу Ткачева), революц., ос. в 1871 г. по проц. нечаевцев.—85.
Демерт, Ник. Ал-др, публицист.—22.
Деспард, деятельн. англ. женского движения.—410, 425—426.
Джабадари, Ив. Спирид., революц., кариец, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—121, 125—126, 186—187, 190—192, 198, 201, 309.
Джонсон-Хикс, англ. политич. деятель.—412.
Диккенс, Чарльз, англ. романист.—28.
Диксон, Вильям, англ. писатель.—84.
Дмитриева, врач.—82.
Дмоховский, Лев Адольф., ос., в 1874 г. по проц. долгушинцев.—309.
Добржинский, А. Ф., прокурор.—346, 350.
Добролюбов, Ник. Ал-др., критик.—285.
Долгушин, Ал-др. Вас., ос. в 1874 г. по проц. долгушинцев, кариец, шлиссельб.—309.
Дор, бернский професс.—164.
Достоевский, Федор Мих., писатель.—389, 460—461, 485.
Драго, Ник. Ив., чайковец, землев.—139, 169, 171, 212—213, 300—303, 305.
Дрентельн, Ал-др Романов., шеф жандармов.—229, 238, 316.
Дриго, Влад. В., доверенный Д. А. Лизогуба, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и», предатель.—309, 313.
Дубровин, Владим. Дм., революц., казн. в 1879 г. за вооруж. сопротивление при аресте—229.
Дьяков, Вяч. Ал—др, пропагандист-революц., ос. в 1875 г. 183.

Е.

Егоров, Филат Егор., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—125, 184, 187, 198.

Елисеев, Григ. Захар., публицист.—199.

Емельянов (Боголюбов), Архип Петр., ос. в 1877 г. по делу о «Казанской демонстрации».—213, 228, 231, 302.

Емельянов, Ив. Пантелейм., народов., кариец, ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—275.

Ентальцев, Андрей Ив., декабрист.—379.

Ентальцева, Ал. Вас., жена декабриста.—374, 385.

Ж.

Жебуневы, братья, революц.—55, 119.

Желябов, Андрей Ив., член Исп. Ком. «Н. В.», казн. по проц. 1-го марта 1881 г.—17—18, 188, 223, 231, 242, 247, 250, 265, 275—276, 288, 321—323, 326, 443, 460.

Жуков, прокурор.—182.

Жуков, Ив., народник.—187.

З.

Завадская, Евг. Флориан. (по мужу Франжоли), ос. в 1878 г. по проц. «193-х», народов., эмигрантка.—48, 119, 202.

Загорский, врач.—305.

Заславский, Евг. Осип., руководитель «Южно-Рос. Союза Рабочих», ос. в 1877 г.—183.

Засулич, Вера Ив., член группы южных бунтарей, черноперед., эмигрантка, одна из основат. группы «Освобожд. Труда», с.-д.—228—231, 244, 485.

Зданович, Георгий Феликс., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и», кариец.—121, 127, 188, 191.

Зеге фон-Лауенберг, Влад. Влад., член моск. группы «Н. В.»—248, 272.

Зибер (Шумова), врач.—82.

Зибер, Ник. Ив., экономист.—75.

Зибольд, женщина-врач.—82.

Златопольский, Лев. Соломон., народов., кариец, ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—275.

Злобин, Ив. Андр., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и»—191.

Зубковский, Афан. Андр., народов., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—309, 313.

Зубок-Мокиевский, Степ. Вас., чайковец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—173, 301, 305.

Зунделевич, Арон Исак., землев., член Исп. Ком. «Н. В.», кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и, эмигрант».—123, 229, 236, 239, 241, 271, 283, 300, 309, 313.

И.

Ибсен, Генрих, норвежский драматург.—378.

Иванов, Ив. Ив., член нечаев. кружка.—68—69, 85, 183.

Иванов, Сергей Андр., народовол., шлиссельб., ос. в 1887 г. по «проц. 21-го».—334—336, 342—343, 350.

Иванова, Софья Андр. (по мужу Борейшо), член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1880 г. по «проц. 21-го».—245, 284, 309.

Ивановский, Вас. Сем., народник, эмигрант.—153—154.

Иванчин-Писарев, Ал-др Ив., землев., народов.—113, 130, 137, 144, 173, 206—207, 211—216, 301—302, 304—306, 476, 478, 484.

Ивашев, Вас. Петр., декабрист.—374, 388.

Ивашева, Камилла Петр., жена декабриста.—374.

Ивичевичи, братья, революц.—229.

Игнатов, Вас. Ник.,землев., чернопередел., один из основателей группы «Освобожд. Труда».—240—241.
Игнатьев, гр., Ник. Павл., мин. внутр. дел.—276.
Идельсон, Розалия Хаим., цюрих. студентка, лавристка.—56, 61.
Иоанн Калита, князь московский.—138.
Ионов, Всев. Мих., пропагандист, кариец, ос. в 1878 г.—153—154, 178, 181.
Исаев, Григ. Прокофьев., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—245, 253, 275, 337, 342.

К.

Кабе, Этьенн, франц. социалист.—56, 92, 451.
Каблиц («Юзов»), Иосиф Ив., публицист-народник.—75, 289.
Кадьян, Ал-др Ал-др, врач, подсуд. по «проц. 193-х».—75.
А. Н. Казина, писательница.—206.
Калюжная, Марья Вас.,народов., карийка, ос. в Одессе в 1884 г.-318.
Каминер, сестры, народницы.—206.
Каминская, Бетя Абрам., пропаганд., привлекалась по «делу 50-и».—48, 56, 70, 113, 120, 124—126, 128, 130, 151, 164—168,184,186—187,191—193,202.
Кампанелла, Томмазо, итальян. философ-коммунист.—56.
Караулов, Ник. Андр., народовол.—195.
Кардашов, Степ. Мартын., кариец, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—121, 127, 201.
Карл X, франц. король.—387.
Карлотти, итальян. посланник.—486.
Карпович, Петр Владим., шлиссельб., ос. в 1901 г. за убийство министра Боголепова, с.-р.—441—442, 462.
Катков, Мих. Никифор., редактор ретроградн. жур. «Русск. Вестник» и газ. «Московские Ведомости».—288.
Кафиеро, Карло, итальян. анархист.—72.
Квятковский, Ал-др Ал-др., землевол., член Исп. Ком. «Н. В.» казнен в 1880 г. по «проц. 16-и».—209, 229, 233—234, 239, 241—243, 245, 252—253, 265, 275, 307—309, 313.
Кедрин, Евг. Ив., адвокат, обществ. деятель.—259, 281.
Кейр-Гарди, англ. политич. деятель.—408, 428—430.
Кемпбелль-Баннерман, англ. политич. деятель.—412.
Керенский, Ал-др Федор., адвокат, член Госуд. Думы, член и глава Времен. правит.—486.
Кибальчич, Ник. Ив., народов., казнен по делу 1-го марта 1881 г.—18, 243, 247, 323.
Кикодзе, Исид. Григ., народник, эмигрант.—156.
Кистяковский, Богдан Ал-др., юрист, публицист.—333.
Кладищев, флигель-ад'ютант.—109, 199.
Клеменц, Дм. Ал-др., чайковец, землев., адм. сослан в 1881 г., этнограф.—130, 206, 211—212,231,236,282,300,305.
Клеточников, Ник. Вас., народов, депроизвод. III-го отдел., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—250—251, 253, 258, 275, 281, 307.
Клячко, Самуил Льв., член Моск. кружка чайковцев, эмигрант.—130.
Кобылянский, Людвиг Ал-др., кариец, шлиссельб., ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—208—209, 240, 309.
Ковалев, Вас. Онуфр., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—127, 191, 196.

Ковалик, Сергей Филип., народник-революционер., кариец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—75, 231, 309.
Ковальский, Ив. Мартын., член группы южных бунтарей, казн. в 1878 г. за вооруж. сопротивл. при аресте.—229, 235, 315.
Ковальский, Як. Игн., преподаватель.—75.
Козицкая, мать Е. И. Трубецкой.—375.
Кольб, Георг-Фридрих, нем. статистик.—88.
Коленкина, Марья Ал-др., член группы южных бунтарей, карийка, ос. в 1880 году по «проц. 11-ти» (Веймара).—229, 236.
Колодкевич, Ник. Ник., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—242, 253, 275, 327—328, 330.
Комаров, Вис. Вис., реакц. журналист.—462.
Комиссаров, Осип Ив., мастеровой, якобы спаситель Александра II.—209.
Кони, Анат. Федор., юрист, писатель.—228.
Коновницын, Петр Петр., генерал, участник войны 1812 г.—375.
Конт, Огюст, франц. философ-позитивист.—371.
Кончаловский, владелец книжн. магазина.—335.
Корба (Прибылева), Анна Павл., член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—214, 222, 232, 259, 263, 338, 484.
Корнилов, Ал-др Ал-др., историк.—372.
Корнилова, Алекс. Ив. (по мужу Мороз), чайковка, адм. сосл. по «проц. 193-х».—169, 171, 284, 301, 358—359, 362.
Корнилова, Люб. Ив. (по мужу Сердюкова), чайковка.—169—171, 301.
Корнилович, Ал-др Осип., декабрист.—386.
Корниловы, сестры.—136, 170—171.
Королев, С. Д., скульптор.—323.
Короленко, Владим. Галакт., писатель.—467—469.
Корш, адвокат.—22.
Коста, Андреа, итальян. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72.
Де-Костер, Шарль, бельг. писатель.—447.
Костомаров, Ник. Ив., историк.—49, 93.
Костюрин, Викт. Федор., подсуд. по «проц. 193-х», член группы южных бунтарей, ос. в 1879 г., в Одессе по «проц. 7-и»—149.
Костюшко, Тадеуш, польский национ. деятель.—450.
Котляревский, прокурор.—229.
Кохер, бернский професс.-хирург.—112, 163.
Кравцов, Вас. Христоф., кариец, ос. в 1879 г. по одесск. «проц. 28-и».—316.
Кравчинский, Сергей Мих., чайков., землев., эмигрант, писатель.—130, 144, 149, 211—212, 231, 235—236, 300, 305.
Крайский, Болесл. Ант., член воен. орган. «Н. В.»—348.
Кривенко, Сергей Ник., публицист-народник.—344, 352.
Кропоткин, Ал-др Алекс., брат П. А. Кропоткина, сосл. в Сибирь.—65.
Кропоткин, Дм. Ник., харьк. губерн.—229.
Кропоткин, Петр Алекс., чайковец, эмигрант, анархист, ученый.—65, 75, 131, 187, 235, 300, 465—472, 485.
Крылова, Марья Конст., землев., черноперед., сосл. в 1881 г. по проц. «Черного Передела».—236.
Кузнецов, Алексей Кирил., революц., кариец, ос. в 1871 г. по «проц. нечаевцев».—85.

Кузьмин-Караваев, Влад. Дм., юрист и обществ. деятель.—454.
Кулябко-Корецкий, лаврист.—159.
Куприянов, Петр Христоф., дядя В. Н. Фигнер.—15, 37, 84—85, 97, 104, 168.
Куприянов, Христофор Петр., дед В. Н. Фигнер—15.
Куприянова, Л. П., член революц. Красного Креста.—448.
Куприянова, Наталья Петр., двоюродн. сестра В. Н. Фигнер.—39.
Куприянова, Настасья Федор. (урожд. Данилова), бабушка В. Н. Фигнер.—15.
Кутузова, акушерка, агент III отдел.—250.

Л.

Лаваль, граф, отец Е. И. Трубецкой.—375.
Лавров, Петр Лавр., революц., писатель-эмигрант.—56—58, 61—66, 68, 75, 79, 83, 106, 108, 185, 297, 343, 350, 476, 479, 483.
Лаврова, Софья Ник., бакунистка.—119.
Ланганс, Мартын Рудольф., чайковец, член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—231, 253, 275.
Лассаль, Фердинанд, нем. социалист.—56, 60, 92, 95, 185.
Lawrence, Pet., англ. деятельн. женского движ.—431.
Леббок, Джон, англ. естествоисп. и археолог.—113, 212.
Лебедева, Татьяна Ив., чайковка, член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—231, 247, 253, 275, 386.
Леданту—см. Ивашева, К. П.
Лепарский, Станисл. Роман., комендант Нерч. каторги при декабристах.—380, 387—388.
Леруа-Больe, Анатоль, франц. публицист и историк.—128, 200.
Лессинг, Готгольд-Эфраим, нем. писатель.—465.
Леткова (Султанова), Екат. Павл. писательница.—322—323.
Лешерн-фон-Герцфельд, Марья Павл., землев.; народов., в 1883 г. адм. сослана.—130, 137, 206, 212—213, 301, 305.
Лешерн фон-Герцфельд, Софья Ал-др., член группы южных бунтарей, подсуд. по «проц. 193-х», карийка, ос. в 1879 г. по проц. Осинского.—229.
Лизогуб, Дм. Андр., чайковец, землев., казн. в 1879 г. по одес. «проц. 28-и».—248, 309, 316.
Линев, Ив. Лог., народник.—301.
Ллойд-Джордж, Давид, англ. полит. деятель.—409.
Логовенко, Ив. Ив., член группы южных бунтарей, казн. в 1879 г. по одесс. «проц. 28-и».—243.
Ломброзо, Цезарь, итальянск. психиатр и криминалист.—323.
Лопатин, Герм. Ал-др, народов., шлиссельб., ос. в 1887 г. по «проц. 21-го».—290—291, 465, 485.
Лопатин, Всев. Ал-др., народник, суд. по «проц. 193-х».—157.
Лорис-Меликов, Мих. Тариэл., мин. внутр. дел.—289.
Лукашевич, Ал—др Осип., чайковец, ос. в 1877 г. по «проц. 50-ти».—125—126, 186—187, 191.
Львов-Рогачевский, Вас. Льв., историк литературы.—200.
Любатович, сестры.—56, 113, 120, 130, 184, 192, 317.
Любатович, Вера Спирид. (по мужу Осташкина), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—66, 70, 101, 125, 127, 187, 191, 195, 200.
Любатович, Ольга Спирид. (по мужу Джабадари), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и», землев., член Исп. Ком. «Н. В.».—70, 125, 127, 173, 186—187, 191, 194, 196, 200, 350.

Любибратич, начальник отряда в Герцеговине.—149.
Людовик XVI (Людовик Капет), франц. король.—452.
Люстиг, Ферд. Осип., кариец, ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—276, 279.

М.

Макаревич, Петр Маркел., ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—55, 115.
Макаров, жанд. подп.—235—236.
Макдональд, Джемс-Рамзей, англ. политич. деятель.—408.
Маковский, Конст. Егор., художник.—322—323.
Малатеста, Энрико, итальянский анархист.—72.
Малиновская, Ал-дра Ник., землев., ос. в 1880 г. по «делу 11-ти» (Веймара).—236.
Марат, Жан-Поль, деятель Великой Франц. Революции.—129, 451.
Мария Антуанетта, франц. королева.—452.
Маркс, Карл., нем. социалист, основоположник научн. социализма.—73, 106, 109—111, 197.
Мартыновский, Сергей Ив., землев., народ., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—309.
Мачтет, цюрих. студентка, бакунистка.—119.
Медведев (Фомин), Алексей Федор., землев., ос. в 1879 г. за попытку освобожд. Войнаральского.—233—234.
Медведева, Елена, подсуд. по «проц. 50-и».—184, 191, 194.
Мезенцов, Ник. Владим., генерал, шеф жандармов.—173, 229, 231—232, 235, 238, 271, 276.
Менделеев, Дм. Ив., химик.—42.
Меркулов, Вас. Полиевкт., народов., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и», предатель.—276, 347.
Мертваго, Сусанна Ал-др., начальн. Казанского института.—37, 100.
Мехелин, Лео, финский политич. деятель.—400.
Милль, Джон-Стюарт, англ. мыслитель.—56.
Минаков, Егор Ив., революц., кариец, шлиссельб., ос. в Одессе в 1879 г.—438.
Мирский, Леон Филипп., революц., кариец, равелинец, предатель.—238.
Михайлов, адвокат.—281.
Михайлов, Адриан Федор., землев., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-и» (Веймара).—173, 206, 210, 233—236.
Михайлов, Ал-др Дм., землев., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—137, 193, 209, 213, 217—227, 231—234, 236—243, 245—255, 257—278, 280—281, 283, 288, 302, 324—325, 342.
Михайлов, Мих. Иллар., поэт и революцион.—446.
Михайлов, Н. Д., историк.—12.
Михайловский, Ник. Конст., публицист и критик.—106, 108, 214, 318, 333—338, 340—342, 346, 350—352, 477, 479, 483—484.
Мозалевский, Ал-др Евтих., декабрист.—386.
Molander, деятельн. финского женского движения.—392.
Мор, Томас, англ. социалист.—56.
Мороз—см. Корнилова, А. И.
Морозов, Ник. Ал-др, чайковец, землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—122, 130, 132—137, 189, 209, 211, 214, 229, 231, 233, 236, 239, 241—243, 245, 253, 259, 271, 275, 282—284, 286, 289, 299, 364, 484—485.
Морозова, Федосья Прокофьевна, боярыня - раскольница.—265.
Муравский, Митроф. Данил., революц., ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—231.

Муравьев, Ник. Валерьян., прокурор, позже мин. юстиции.—276.
Муравьева, Алекс. Григ., жена декабриста.—374—375, 380, 384—385, 387.
Мышкин, Ипполит Никит., революц., кариец, шлиссельб., ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—80, 231, 233, 309, 438, 443.

Н.

Набоков, Дм. Ник., мин. юстиции.—276.
Наполеон I, франц. император.—12.
Нарышкина, Елиз. Петр., жена декабриста.—374—375, 384—385.
Натансон, Марк Андр., чайковец, землев., с.-р., в 1878 г. адм. сосл.—138—139, 143, 154, 211, 213, 222, 268, 300—302.
Натансон, Ольга Ал-др. (урожд. Шлейснер), чайковка, землев., ос. в 1880 г. по «проц. 11-ти» (Веймара).—138, 213, 222—223, 236—237, 268, 270, 301.
Наумов, Ник. Ив., писатель.—189.
Некрасов, Ник. Алекс., поэт.—32, 98, 103, 199, 310, 376, 479—482.
Нерон, римский император.—383.
Нессельроде, граф, помещик Саратовской губ.—306.
Нечаев, Сергей Геннад., революц., основатель общества «Народн. Расправа», равелинец, ос. в 1873 г.—68—69, 183, 342.
Нивинский, Э. И., агент «Свящ. Дружины».—343, 350.
Никитина, Софья Вас., член киевской группы «Н. В.», в 1883 г. адм. сослана.—316.
Николадзе, Като, женевская студентка.—116—117, 134.
Николадзе, Ник. Як., публицист.—317, 333—336, 338—339, 341—344, 349—353.
Николаев, землеволец.—311.
Николаев, Ник. Ник., революц., ос. в 1871 г. по проц. нечаевцев.—85.
Николаев, Пафнутий, подсуд. по «проц. 50-и».—191.
Николай I, император.—25, 218, 370—373, 378, 476.
Николай II, император.—456, 466.
Никонов, предатель.—348.

О.

Оболенский, Евг. Петр., декабрист.—381—382.
Оболешев (Сабуров), Алексей Дм., землев., ос. в 1880 г. по «проц. 11-и».—206, 222—223, 236—237, 268, 270, 302.
Огарев, Ник. Платон., поэт, эмигрант.—376, 450.
Огюст, m-lle, содержательн. пансиона.—71, 74—75.
Одоевский, Ал-др Ив., декабрист, поэт.—376, 385.
Окладский, Ив. Федор., народов., ос. в 1880 г. по «проц. 16-и», предатель и провокатор.—248, 276, 309.
Окунькова, цюрих. студентка.—79.
Ольхин, Ал-др Ал-др., адвокат, поэт, адм. выслан в 1879 г.—195, 198.
Орехов, рядовой, сосл. в 1882 г. по делу о сношениях Нечаева с «Н. В.».—309.
Орлов, беглый каторжник.—336.
Орлов, Ник. Алекс., посол в Париже.—79.
Осинский, Валерьян Андр., землев., казн. в 1879 г. по «проц. киевских террористов».—193, 239, 265.
Остров, подсуд. по «проц. 50-и».—194.
Оуэн, Роберт, англ. утопич. социалист.—56, 95.
Ошанина (урожд. Оловенникова), Марья Ник., землев., член Исп. Ком. «Н. В.», эмигрант-

ка.—233, 242, 249, 261, 272, 290, 298, 335, 341—342, 350.

П.

Павел I, император.—12.
Пален, Конст. Ив., мин. юстиции.—121.
Палеолог, Морис, франц. посол.—485—486.
Панкхерст, Кристабель, англ. деятельн. женского движения.—409—410, 412, 423, 431.
Панютин, правит. канцелярии одес. ген.-губ.—302.
Пекарский, Эдуард Карл., землевол., этнограф, ос. в 1881 г.—201.
Переяславцева, Софья Мих., зоолог.—80—81.
Перовская, Марья Льв. (по мужу Загорская), сестра С. Л. Перовской.—305.
Перовская, Софья Львовна, чайковка, землев., член Исп. Ком. «Н. В.,» казн. по проц. 1-го марта 1881 г.—17—18, 200, 231, 233, 245, 249, 265, 271, 275—276, 305, 320, 443.
Пестель, Пав. Ив., декабрист.—377.
Петерс, сенатор.—197, 232, 252.
Петр I, император.—12, 258.
Петров, рядовой, сосл. в 1882 г. по делу о сношениях Нечаева с «Н. В.»—309.
Петров, Антон, руководитель крестьянского бунта.—21.
Пещуров, Алексей Алекс., тов. морск. министра.—31.
Пирожков, яросл. врач.—163—164.
Писарев, Дм. Ив., критик.—22, 48, 106, 202, 285.
Плеве, Вяч. Конст., директор деп. полиции, позже мин. внутр. дел.—264, 298, 350, 456.
Плеханов, Георгий Валент., землев., черноперед., один из основат. группы «Освобожд. Труда», с.-д.—209, 213, 218, 222, 226, 229, 237, 241, 243—244, 259, 302, 333.
Плещеев, Алексей Ник., поэт.—188.
Плятер, граф, польский магнат.—449.
Победоносцев, Конст. Петр., обер-прокурор синода.—299.
Побережская, фиктивное имя Е. Н. Фигнер.—307—308.
Подолинский, Сергей Ал-др., лаврист, эмигрант.—57, 66.
Поливанов, Петр Серг., народов., шлиссельб., ос. в Саратове в 1882 г.—275, 328.
Поликарпов, телеграфист.—181.
Полонский, Вяч. Павл., историк.—371.
Полонский, Як. Петр., поэт.—200.
Помяловский, Ник. Герасим., писатель.—28, 108.
Понсон дю-Террайль, франц. романист.—22.
Попко, Григ. Анфим., кариец, ос. в 1879 г. по одесс. «проц. 28-и». 316.
Попов, народник.—311.
Попов, Мих. Родион., землев., кариец, шлиссельб., ос. в 1880 г. в Киеве по «проц. 21-го».—190, 209, 230, 240—241.
Постников, Ал-др Серг., экономист.—93.
Потапов, Як. Семен., ос. в 1877 г. по делу «казанской демонстрации».—186, 305.
Потоцкая, цюрихск. студентка, бакунистка.—119.
Похитонов, Ник. Данил., член воен. орган. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1884 г., по «проц. 14-и».—348.
Преображенский, професс.-математик.—75.
Пресняков, Андрей Корнеевич, народов., казн. в 1880 г. по «проц. 16-и».—229, 253, 265, 309.
Прибылев, Ал-др Вас., народов., кариец, ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—338.

Прыжов, Ив. Гавр., революц., писатель, ос. в 1871 г. по процессу нечаевцев.—85.
Пугачев, Емельян Ив., вождь народного восстания.—96, 146, 189.
Путята, женщина-врач.—82.
Пушкин, Ал-др Серг., поэт.—28, 376.

Р.

Раевский, Ал-др Ник., брат М. Н. Волконской.—381.
Раевский, Ник. Ник., генерал, участник войны 1812 г.—32, 374, 380.
Разин, Степан Тимоф., вождь народного восстания.—49, 50, 76, 96, 146.
Ралли (Арборе), Земфир Конст., бакунист, в 1869 г. адм. сослан, эмигрант.—52, 57, 64, 67—69, 123, 189.
Рейнштейн, Ник. Вас., провокатор.—229, 251, 348.
Реклю, Элизе, франц. географ и анархист.—73.
Решетников, Федор Мих., писатель.—28, 108.
Рик, горный офицер.—383—384.
Робеспьер, Максимилиан, деятель Великой Франц. Революции.—129, 451.
Рогачев, Дм. Мих., чайковец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—80, 305, 309.
Рогачев, Ник. Мих., член воен. орган. «Н. В.», казнен в 1884 г. по «проц. 14-и».—348.
Рождественский, Ив. Алекс., подсуд. по «проц. 50-и».—194—195.
Рожественский, Зиновий Петр., адмирал.—457.
Розанов, учитель.—178, 181.
Розен, Анна Вас., жена декабриста.—375, 379, 388.
Розенфельд, издатель.—65.
Розенштейн, Анна Марк. (по мужу Макаревич), эмигрантка.—55, 119.
Рольстон, Вильям, англ. писатель.—191, 200.
Романенко, Герасим Григ., член Исп. Ком. «Н. В.», впоследствии ренегат.—350.
Росс—см. Сажин, М. П.
Руссо, содержат. школы пения.—307.
Руссо, Жан-Жак, франц. мыслитель.—115, 117.
Рылеев, Кондр. Федор., декабрист, поэт.—377.
Рысаков, Ник. Ив., народов., казнен по проц. 1 марта 1881 г., предатель.—132—133, 265.

С.

Святловская, цюрихская студентка.—63.
Саблин, Ник. Алекс., чайковец, подсуд. по «проц. 193-х», народов.—130, 132—135, 159, 162, 173, 189, 211, 249.
Сажин, Мих. Петр. (Росс), бакунист, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х», эмигрант.—32, 52, 57—58, 67, 80, 149, 231, 234, 309—310.
Салова, Неонила Мих., член распорядит. комиссии «Н. В.». карийка, ос. в 1887 году по «проц. 21-го». — 290, 342,
Сбромирский, Григ. Ал-др, подсуд. по «проц. 50-и».—194.
Свитыч-Иллич, Владисл. Станисл., член группы южных бунтарей, кариец, ос. в Одессе в 1878 г. по делу Ковальского.—235.
Святловский, Владим. Владим., бакунист, эмигрант.—67.
Святополк-Мирский, Петр Дм., мин. внутр. дел.—456.
Семяновский, Евг. Степ., народник-лаврист, кариец, ос. в 1876 г.—183.
Сен-Симон, Анри, франц. утопич. социалист.—56, 450.
Сергей Александрович, вел. князь.—457.

Сердюков, Анат. Ив., чайковец, привлек. по делу «193-х».—170—171, 300.
Сердюкова—см. Корнилова, Л. И.
Середа, генерал.—346.
Сидорацкий, Григ. Петр., революц., подсуд. по «проц. 50-и».—228.
Симонович-Шор, женщина-врач.—82.
Синегуб, Сергей Силыч, чайковец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—300.
Сиряков, Алексей Ив., революц., ос. в 1875 г.—183.
Скарятин, казанск. губернатор.—21.
Скворцова, Дарья, жена рабочего.—191.
Слепцов, Вас. Алекс., писатель.—108.
Смецкая, Над. Ник., бакунистка, в 1878 г. сослана в Сибирь.—119.
Смирнов, Валерьян Ник., эмигрант, лаврист.—52, 56—57, 61, 66—67.
Сноуден, англ. политич. деятель.—408.
Соболевский, Вас. Мих., редактор «Рус. Ведомостей».—478.
Созонов, Егор Серг., член боевой организ. с.-р., шлиссельб., ос. в 1904 г. за убийство Плеве.—455, 457, 459—464.
Соколов, Ник. Вас., эмигрант, писатель.—67.
Соловьев, Ал-др Конст., землев., казн. в 1879 г. за покушение на Александра II.—33, 131, 137, 172, 205—211, 213, 229, 240—241, 243, 265, 276, 306—307.
Соловьев, Вениам. Ник., барон, декабрист.—386.
Соломина, Э., член революц. Красного Креста.—448.
Союзов, Ив. Осип., ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—125, 186.
Спандони-Басманджи, Афан., Афан., член киевской группы «Н. В.», кариец, ос. в 1884 г. по «проц. 14-и».—315—319, 336, 347.
Спасович, Владим. Данил., адвокат.—195, 259, 280—281, 321, 326.
Спиридонова, Марья Ал-др., член боевой орган. с.-р., ос. в 1906 году.—426.
Стахевич, Сергей Григ., революц., ос. в 1863 г.—32.
Стемпковский, Адольф, поляк-эмигрант, предатель.—68.
Стефанович, Як. Вас., член группы южных бунтарей, черноперед., член Исп. Ком. «Н. В.», кариец, ос. в 1883 г. по «проц, 17-и».—229, 244.
Стрелкова, член комитета помощи амнистированным.—310.
Стрельников, генерал, воен. прокурор.—339.
Субботина, Евг. Дм. (по мужу Козловская), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—187, 190—192, 201, 317.
Субботина, Марья Дм., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—191.
Субботина, Над. Дм. (по мужу Зубок-Мокиевская), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—201.
Субботины, сестры.—56, 61, 119, 127, 143, 153, 184, 191—192, 194, 317.
Суворин, Алексей Серг., писатель и издатель, реакционер.—298.
Судейкин, Георгий Порф., инспектор секрет. полиции.—290, 337—338, 340, 345, 350, 437.
Суровцев, Дм. Як., народов., шлиссельб., ос. в 1884 г. по «проц. 14-и».—318.
Суслова, Над. Прокофьевна, врач.—51.
Суханов, Ник. Евг., член воен. орган. и Исп. Ком. «Н. В.», каз. в 1882 г. по «проц. 20-и».—18, 137, 253, 258, 275, 281, 328—330, 348.
Сухинов, Ив. Ив., декабрист.—386.

Т.

Таксис, Ант. Феликс., лаврист, эмигрант.—139,159—161, 475—476.

Траубе, фотограф.—252.

Теккерей, Вильям, англ. романист.—28.

Теллалов, Петр Абрам., член Исп. Ком. «Н. В.», ос. в 1883 г. по «проц. 17-и».—249, 272.

Терентьев, рядовой, сосл. в 1882 г. по делу о сношениях Нечаева с «Н. В.».—309.

Терентьева, Людм. Дементьевна, народов., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—275.

Теруань де-Мерикур, Анна, деятельн. Великой Франц. Революции.—451.

Тетерка, Макар Вас., народов., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—275, 280.

Тимофеев (или Трофимов?), прокурор.—179.

Тихомиров, Ал-др. Льв., сын Л. А. Тихомирова.—299.

Тихомиров, Лев Ал-др., чайковец, землевол., член Исп. Ком. «Н. В.», эмигрант, впоследствии ренегат.—188, 218, 223, 231, 236—237, 242, 253, 259, 261, 272, 282—295, 297—299, 335, 340—344, 349, 352.

Тихонов, Як. Тихон., народов., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—248, 309.

Ткачев, Петр Никит., революционер-эмигрант, писатель, редакт. «якобинского» журнала «Набат».—114—117.

Толстой, Дм. Андр., мин. внутр. дел.—338, 345, 349—350.

Толстой, Лев Ник., писат.—478.

Топоркова, Анна Григ. (по мужу Горева), ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—56, 113, 125, 184, 191, 201.

Тотлебен, Эд. Ив., воен. инженер, времен. одес. ген.-губ.—302, 316.

Трепов, Фед. Фед., петерб. градоначальник.—228, 244.

Тригони, Мих. Ник., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—253, 275, 280.

Трофимов (или Тимофеев?), прокурор.—179.

Трощанский, Вас. Фед., землев., кариец, ос. в 1880 г. по «проц. 11-и» (Веймара).—236.

Трубецкая, Екат. Ив., жена декабриста.—374, 376, 379, 381—386.

Трубецкой, Сергей Петр., декабрист.—382, 384.

Трудницкий, Георгий, предатель в «деле 193-х».—55.

Туманова, Екат. Борис. (по мужу Гамкрелидзе, потом Зелинская), ос. в 1877 г. по «процес. 50-и».—120, 156, 184, 191—192, 201.

Тумановы, сестры.—79.

Турати, Филиппо, итальян. социалист.—119.

Тургенев, Ив. Серг., писатель.—28, 66, 191, 200.

У.

Успенский, Глеб Ив., писатель.—113, 131, 212, 475—479.

Успенский, Ник. Вас., писатель.—108.

Успенский, Петр Гавр., революц., ос. в 1871 г. по проц. нечаевцев.—85.

Ф.

Фалецкий, полковник.—114, 116—118.

Фанелли, Джузеппе, итальян. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72.

Фарга, Пелисье, испан. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72.

Фаусетт, м-сс, англ. деятельн. женского движения.—409—410.

Fugner von Rudmersbach.—12,14.

Фигнер, Ал-др Ал-др., дядя В. Н. Фигнер.—14.
Фигнер, Ал-др Ал-др, дед В. Н. Фигнер.—14.
Фигнер, Ал-др Самойл., партизан 1812 г.—12—14.
Фигнер, Арк. Ал-др., дядя В. Н. Фигнер.—14.
Фигнер, Влад. Влад., племянник партизана.—12—14.
Фигнер, Влад. Самойл., брат партизана.—12.
Фигнер, Евг. Ильин. (урожд. Кружевникова), бабушка В. Н. Фигнер.—11, 14.
Фигнер, Евг. Ник. (по мужу Сажина), сестра В. Н. Фигнер, землев., народов., ос. в 1880 г., по «проц. 16-и».—12, 32—33, 137, 150, 206 ,304—312.
Фигнер, Екат. Ал-др, тетка В. Н. Фигнер.—14.
Фигнер, Екат. Христоф. (урожд. Куприянова), мать В. Н. Фигнер.—11.
Фигнер, Елиз. Ал-др. тетка В. Н. Фигнер.—14.
Фигнер, Лидия Ник. (по мужу Стахевич), сестра В. Н. Фигнер, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—12, 16, 31—32, 47, 49, 56, 66, 79, 108, 120, 125—126, 136, 155, 182, 184, 186—187, 191—192, 194, 199—200, 309, 311, 314, 317.
Фигнер, Марья Павл., мать партизана.—13.
Фигнер, Ник. Ал-др., отец В. Н. Фигнер.—11, 14, 19.
Фигнер, Ник. Ник., оперный певец, брат В. Н. Фигнер.—12, 14, 16, 23, 31, 33—34, 305, 307.
Фигнер, Ник. Самойл., брат партизана.—12.
Фигнер, Ольга Ник. (по мужу Флоровская), сестра В. Н. Фигнер.—34, 150, 311, 478.
Фигнер, Петр Ник., горный инженер, брат В. Н. Фигнер.—14, 23, 33—34.
Фигнер, Сам. Самойл., отец партизана.—12.
Филиппов, Алексей Викт., судебный следоват., муж В. Н. Фигнер.—38—39.
Флеровский (Берви), Вас. Вас., писатель-революционер.—86—88, 93, 476.
Фонвизина, Нат. Дм., жена декабриста.—374, 379, 385.
Франжоли, Андрей Афан., чайковец, подсуд. по «проц. 193-х», народов.—231.
Фрей, цюрих. професс.—44.
Фриденсон, Григ. Мих., член моск. группы «Н. В.», ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—276.
Фроленко, Мих. Фед., чайковец, землев., член Исп. Ком. «Н. В.», шлиссельб., ос. в 1882 г. по «проц. 20-ти».—233—234, 242, 247, 253, 271, 275, 337.
Furuhjelm, Annie, деятельн. финского женск. движения.—392.
Фурье, Шарль, франц., утопич. социалист.—56, 91—92, 450.

Х.

Халтурин, Степан Ник., основатель «Сев. Союза русс. рабочих», член Исп. Ком. «Н. В.», казн. в 1882 г. за убийство Стрельникова.—248.
Хоржевская, Алекс. Серг., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—48, 125, 127, 130, 156, 184, 187, 191—192, 200, 202.
Хотинский, Ал-др Абрам, землев., народов., эмигрант.—302.

Ц.

Цебрикова, Марья Конст., писательница.—189.
Церетелли, женевская студентка.—134.
Цицианов, Ал-др Конст., кариец, ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—121, 125, 127, 156, 186, 191—192, 201, 309.

Цукерман, Лаз. Иос., народов., ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—309.

Ч.

Чавчавадзе, княжна, вымышл. фамилия.—116—117.
Чайковский, Ник. Вас., член кружка чайковцев, эмигрант.—130, 282.
Чарушин, Ник. Апол., чайковец, кариец, ос. в 1878 г. по «проц. 193-х».—284.
Челищева, Ек. Мих., фиктивн. жена А. К. Соловьева.—210.
Чернышев, граф, отец А. Г. Муравьевой.—375.
Чернышевский, Ник. Гавр., писатель-революционер, ос. в 1864 г.—32, 56, 232, 285, 342—343, 351—352, 446.
Чернявская, Галина Фед. (по мужу Бохановская), народов., эмигрантка.—248, 272.
Черняев, Мих. Григ., генерал.—171.
Черняк, Максим Андр., революц., казн. в 1865 г. по делу о «Казанск. заговоре».—17.
Черчиль, В., англ. политич. деятель.—412—413.
Чехов, Ант. Павл., писатель.—282.
Чикоидзе, Мих. Ник., ос. в 1877 г. по «проц. 50-и».—121, 125—126, 186,—187, 191, 201.
Чингис-Хан, адъютант Александра III.—276.
Чубаров, Сергей Фед., член группы южных бунтарей, казн. в 1879 г. по одесс. «проц. 28-и».—316.
Чхеизде, Ник. Сем., с.-д., член Госуд. Думы, председ. Петроград. Совета Раб. и Солд. Депутатов.—487.

Ш.

Шатилова, Вера Андр., подсуд. по «проц. 193-х».—143, 153—156, 158—161, 167, 172.
Шах, В., член революц. Красного Креста.—448.
Швицгебель, Адемар, швейц. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72—73.
Шелгунов, Ник. Вас., публицист.—205.
Шеллер (Михайлов), Ал-др Констант., писатель.—28.
Ширмер, цюрих. студентка.—163.
Ширяев, Степ. Григ., член Исп. Ком. «Н. В.», равелинец, ос. в 1880 г. по «проц. 16-и».—242—243, 275, 309, 313.
Шлыкова, врач.—82.
Шпильгаген, Фридрих, нем. романист.—28, 97.
Шпихигер, А., швейц. сторонник Бакунина, член Интернационала.—72—73.
Штофф, женщина-врач.—82.
Шувалов, гр., Павел Петр.—345, 349—350.

Щ.

Щапов, Афан. Прокофьевич, историк.—93.
Щеголев, Павел Елис., историк.—69.
Щербатов, кн., деятель «Свящ. Дружины».—343, 350.
Щербачева, жена мирового судьи.—93.

Э.

Элпидин, Мих. Конст., эмигрант.—80, 117.
Эльсниц, Ал-др Людвиг., эмигрант.—52, 57, 123, 189.
Эмме, цюрих. студентка.—48, 75.
Энгельс, Фридрих, нем. социалист.—86—87.
Энкуватов, Пимен Ал-др, нечаевец, землев.—149, 305.
Эркман-Шатриан, франц. писатели.—123, 188.
Ehrnrooth, деятельн. финского женск. движения.—392.

Ю.

Южакова, Елиз. Ник., революцион. якобинка.—69.
Юнг, Артур, англ. писатель.—96.
Юшневская, Марья Казим., жена декабриста.—374—375, 379.
Юшневский, Алексей Петр., декабрист.—379.

Я.

Ядринцев, Ник. Мих. публицист, сибирский областник.—93.
Якимова, Анна Вас. (по мужу Диковская), подсуд. по «делу 193-х», член Исп. Ком. «Н. В.», карийка, ос. в 1882 г. по «проц. 20-и».—243, 245, 247, 253, 275.
Яков, рабочий-ткач.—160.
Яковлева, врач.—82.
Якубович, Ал-др Ив., декабрист.—381—382.
Якушкин, Ив. Дм., декабрист.—374.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 7

ОЧЕРКИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ

Родословная 11
Дедушка 15
Отец 19
Мать 25
Студенческие годы 37
Цюрих 40
Университет 43
Женский ферейн 45
Цюрихские кружки и библиотека 51
Лавров и Бакунин 56
Выдача Нечаева 68
Вакат 1873 г. 69
Указ правительства. Конец Цюриха 75
Новые идеи делают меня социалисткой 83
Влияния христианства 97
Аскетизм 100
Влияния литературные 105
Берн 112
Злая шутка 114
«Фричи» 118
Новые знакомства 128
Решение 137
Последняя встреча 144

Стр.

Москва. Ярославль. Бетя Каминская 151
Вместо Сербии — Пугачевка 169
Процесс «50-ти» (1877 г.) 182

ОЧЕРКИ БИОГРАФИЧЕСКИЕ

А. Землевольцы 205
Александр Соловьев 205
А. И. Иванчин-Писарев 211

Б. Народовольцы 217
Александр Дмитриевич Михайлов 217
Александр Михайлов—народоволец 260
О процессе А. Михайлова 275
Лев Тихомиров 282
Н. И. Драго 300
Евгения Николаевна Фигнер 304
Афанасий Афанасьевич Спандони 315
Портреты народовольцев 320

СТАТЬИ

Из политической жизни 80-х годов 333
Без приюта 354
На белых крыльях большой птицы 358
«Исповедь» М. А. Бакунина 369
Жены декабристов 374
Женское движение в Финляндии 390
Женское движение в Англии 402
Письмо из Англии (о женском движении) 421

РЕЧИ

Речь на русско-английском митинге 23 июля 1909 г. в South Place, в Лондоне 435
«Памяти борцов за свободу» 445
О Музее Революции. Речь на вечере 2 июня 1917 г. 448
Речь на вечере памяти Е. Созонова 26/XI 1921 г. 455
П. А. Кропоткину 465

Стр.

П. А. Кропоткин и В. Г. Короленко 467
Вступительное слово 9 декабря 1924 г. на вечере П. А. Кропоткина 470
Вступительное слово на вечере 20-летней годовщины 9 января 1905 г. 473
На вечере (6/IV, 192 г.) в память 25-летия смерти Г. И. Успенского 475
На вечере (8 января н. ст. 1928 г.) памяти Н. А. Некрасова 479
Вступительное слово на вечере (10 февраля 1929 г.) 25-летия со дня смерти Н. К. Михайловского 483

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из записок французского посла Палеолога 485

Именной указатель 489

Обложка работы художника Алексея Кравченко.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

	Между стр.
Бети Каминская	160—161
Пугачевская Башня (Бутырки)	176—177
Софья Бардина и Петр Алексеев	192—193
Александр Михайлов	256—257
1. Софья Перовская и Андрей Желябов	320—321
2. Андрей Желябов и Николай Кибальчич	
3. Геся Гельфман и Александр Михайлов	
4. Александр Баранников и Николай Колоткевич	
5. Евгений Суханов и Юрий Богданович	